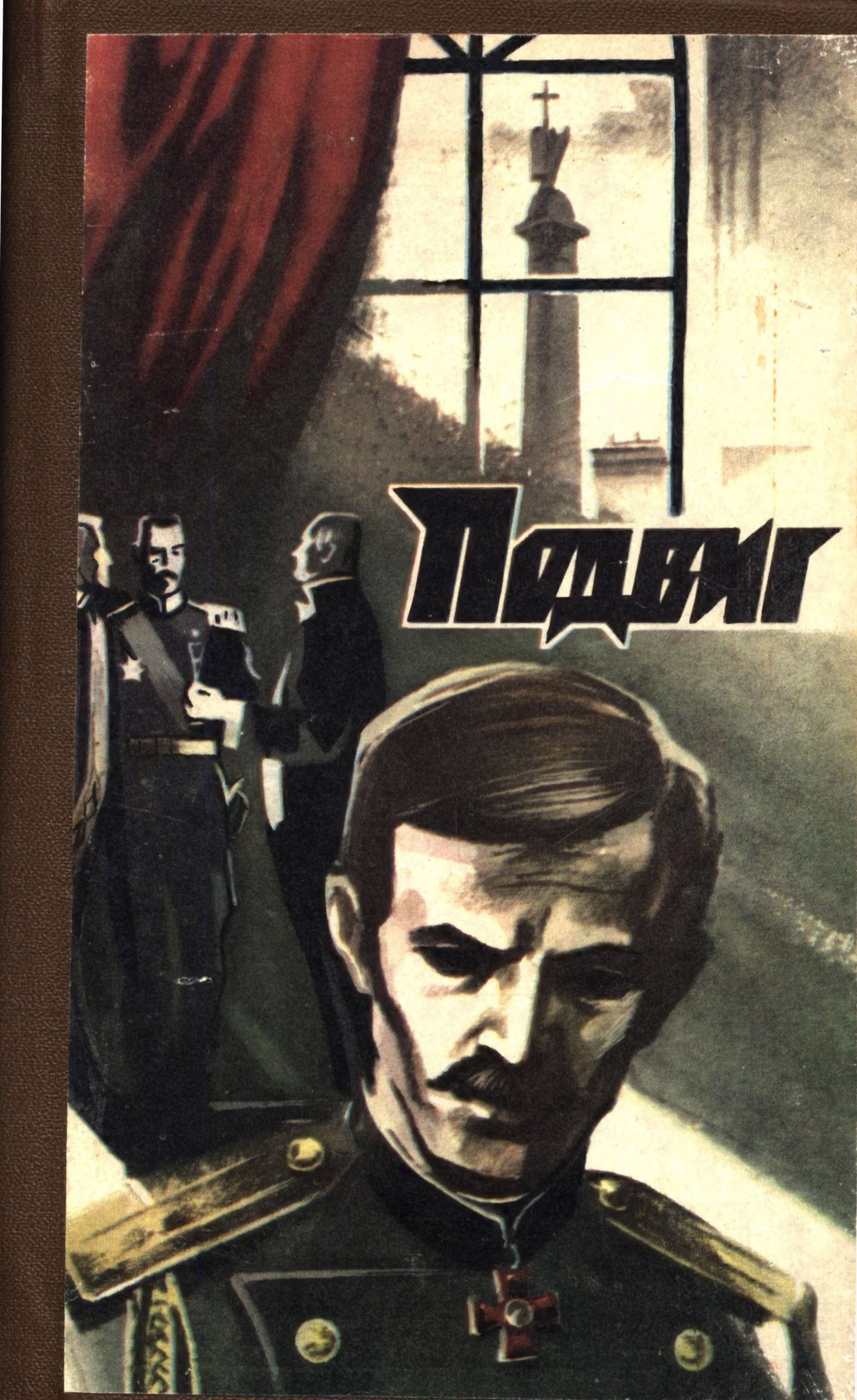

Подвиг



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

С. СМОЛЯНИЦКИЙ
Е. ИВАНОВ

ГВАРДИЯ"

МОСКВА 1982



С. СМОЛЯНИЦКИЙ



МАЙСКИЕ ВЕТРЫ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Полк, где служил старшина Дежков, был в первом эшелоне январского наступления трех фронтов, получившего название Висло-Одерской операции. Дежков не мог знать ни масштабов, ни целей этого жесточайшего сражения, которое началось на берегах Вислы, а через двадцать три дня завершилось форсированием Одера в семидесяти километрах от Берлина, но он знал, что война неотвратимо катилась туда, где должна кончиться.

Фронт стремительно отодвигался все дальше на запад от польской деревеньки, где полк Дежкова, обескровленный в первые дни прорыва долговременной обороны немцев, получил приказ остановиться, чтобы пополниться людьми и вооружением, и сейчас сюда даже не доходил глухой гул сражения, как это было несколько дней назад, лишь чуть в стороне, по шляху, шли и шли войска второго эшелона.

Старшина понимал, что могло означать такое быстрое продвижение огромной массы войск. А ведь немцы со всей своей техникой, которой они нагнали сюда видимо-невидимо, хотели намертво вцепиться в землю на этих рубежах, защищавших их собственную территорию. Выходит, не устоять им теперь, и как ни поворачивай, а войне скоро конец. И город Берлин не за горами, не за морями. А то, что Гитлера надо достать в самом Берлине, в его логове, — в этом лично он, Дежков, не сомневался.

Мысль о скорой победе, однажды возникнув, уже не покидала его и вызывала другие, которые раньше он гнал от себя, чтобы не затоско-

вать, но теперь здесь, в деревне, хоть в польской, а все ж в деревне, он уже не мог с собой ничего поделать. Днем еще так-сяк, ему и поесть-то было недосуг (известное дело — на пополнении у солдата считай что отдых, а у старшины хлопот полон рот), а вот ночью... Лежа без сна, попыхивая цигаркой, старшина вспоминал Чистоозерск, залитый горячим степным солнцем, свой дом, поставленный им чуть на отлете, возле тополиной рощицы, где люди начали строиться лишь перед самой войной. И то ли это было, да быльем поросло, а теперь вот вспоминалось, то ли фантазия такая, а только чудилось ему, будто видит он сквозь сон, как жена, Надежда, намыливала сидящую в корыте Маришку и так складно приговаривала что-то — то ли для себя, то ли для Маришки, — и он будто чувствовал особенный теплый парной запах ребенка, и мыльной воды, и натопленного дома...

Но об этих ночных мечтаниях старшины в роте никто и помыслить не мог, да и сам он, если вправду сказать, удивлялся и корил себя — да что поделаешь? Ночью человек над собой не волен, хоть приказывай себе, хоть не приказывай — все одно... Видно, устал от войны. Большая эта война, огромная, без конца и края, а тут край обозначился...

Удивлялся себе Василий Андронович не напрасно: был он человек строгий, можно сказать, суровый. И наружностью. И характером. Сухой, жилистый, ростом невелик, чуть выше среднего, зато широкий в кости. Запоминалось его лицо, темнокожее, с резкими чертами, словно обточенное ветром и подсушенное солнцем, и светлые, чистой воды зоркие глаза.

Действительную Дежков отслужил еще в тридцать шестом на Украине. А как вернулся на свою Кулунду, в Чистоозерск, женился, и поставили его бригадиром в колхозе... Да было ли все это? Утром, когда опять приказывала война, прошлая, довоенная жизнь отходила и от большого расстояния как бы уменьшалась в размерах и покрывалась рябью, будто смотришь на нее издалека — на нее и на себя самого, только другого, довоенного.

Об этом и думал старшина, проснувшись засветло. Он лежал, неторопливо курил, смотрел, как под потолком медленно растекается синеватый дымок. Но время шло к подъему, и пора было вставать. Пока старшина одевался, мысли его приняли привычное направление, которое дала им война, ее заботы.

После завтрака, обойдя хозяйство роты и проверив, все ли идет как положено, Дежков направился к командиру за указаниями. Он не торопясь шел по заснеженной улице села, полной грудью вдыхая чистый морозный воздух, в котором чуялся горьковатый, всюду одинаковый домашний запах дымка. Война войной, а печи надо топить и хлеб надо ставить.

Утро выдалось солнечное, ясное, с радужными искорками, какое в Сибири бывает в марте, когда отшумят метели и уже чувствуется — зима пошла на убыль. Вот и весна скоро, подумалось Дежкову. Еще одна весна...

Подходя к дому, где жил командир, старшина услышал дале-

кий гул. Он остановился, снял шапку. «Так и есть, наши летят, — определил он по звуку. — Давайте, ребятки. Всыпьте ему, чтоб издох поскорей». О фашистах Василий Андронович всегда говорил в единственном числе, хотя повидал всяких — и солдат и офицеров. Но для него все они были на одно лицо. А гул уже превратился в ровный рокот, и вот, сверкая красными звездами, в голубом бездонном небе показались наши самолеты. Дежков по фронтовой привычке быстро сосчитал их.

Они летели широким растянутым клином — тупым углом вперед, шесть штурмовиков, «горбатых». А над ними по двое впереди, справа и слева шли верткие «ястребки».

Так, удовлетворенно отметил про себя Дежков, шесть и шесть. Попробуй сунься. Это тебе не сорок первый. Он-то знал, что это такое, когда над тобой все они — с черными крестами на крыльях. Когда видишь, как отрываются от них черные капли, и бежишь из колонны, с дороги, глотая горячий воздух с пылью и потом, бежишь, чтобы ткнуться в траву, и вдавиться в нее, и ждать, когда надвигающийся, раздирающий душу вой столкнется с землей и вся она вздрогнет и разорвется со страшным грохотом, готовая поглотить тебя. Их много, и некому остановить их. Вой мешается с ревом и грохотом, и ты теряешь счет времени. А когда поднимешь голову, сквозь огонь и дым, сквозь черные тучи, наползающие на солнце, увидишь другие самолеты, тоже с крестами на крыльях, и они на бреющем будут расстреливать тебя из пушек и пулеметов и погонятся за тобой, если ты побежишь. А наших нет и нет, и ты не помня себя, в бессильной ярости, лежа на спине, бьешь из винтовки.

Самолеты пронеслись и скрылись, а он все стоял, прислушиваясь, пока не стих удаляющийся глуховатый рокот. Потом глубоко вздохнул, надел шапку и вошел за ограду дома, где разместился командир со своим заместителем. Строго взглянув на часового, пританцовывающего на крыльце, открыл дверь.

Командир роты старший лейтенант Кравцов, худой, со впалыми щеками, хотя и молодой, но с нездоровым, желтовато-пергаментным цветом лица, сидел за столом, низко склонившись над бумагами. Только сейчас Дежков почему-то обратил внимание на седину, пробивавшуюся в коротко остриженных русых волосах его командира, и подумал о том, как трудно достается человеку война. Конечно, от такой войны в сторону не отойдешь — совесть не позволит. А все лучше этому учителю из самой Москвы сидеть где-нибудь в штабе дивизии, а то и армии, планировать операции или там разведданные собирать. А он и в атаку ходил, и под огнем полз, и на марше замерзал, и голодным сидел — всякого хлебнул со своей ротой. И не жаловался, и снисхождения к себе не имел. И то ли ночные мечтания размягчили сердце Василия Андроновича, то ли оттого, что утро выдалось такое славное, чистое и солнечное, с краснозвездными самолетами, летящими туда, за Одер, да только захотелось ему сказать командиру что-то хорошее, подбодрить, поддержать: ничего, мол, выдюжишь, потерпи маленько — теперь-то уж скоро...

Командир против обыкновения выслушал рапорт до конца и, хмуро взглянув на старшину, предложил сесть. Кравцов давно оценил спокойное мужество и хозяйственную сметку Дежкова и втайне считал, что такого старшину послал ему сам господь бог. У этого твердого, рассудительного сибиряка всегда был наивозможнейший на войне порядок, а ученого учить — только портить. Но на этот раз он изменил своему обычаю и произнес краткую наставительную речь.

Дежков решил, что старший лейтенант получил нагоняй от начальства, которое на пополнении и формировании становится до крайности придирчивым. Суть его указаний сводилась к тому, чтобы людей не распускать и чтобы по бабам — ни-ни.

— Ты, Василий Андронович, без либерализма. Никаких поблажек, — закончил он свою речь, хотя прекрасно знал, что уж в чем, в чем, а в либерализме старшина не грешен. — А то, знаешь, себе дороже. Вон Ладейщикову из-за ерунды два наградных листа завернули.

Что это за «ерунда», старший лейтенант не счел нужным уточнять, но Дежков понял и без объяснений. Выговорившись, командир вздохнул с облегчением. Ясное дело, указания свыше надо выполнять, на то и армия. Вот он и выполнил. Но в том, как все это говорилось, в самом голосе Кравцова старшина уловил отзвуки своего настроения, возникшего, когда он смотрел на наши самолеты в голубом солнечном небе и вдыхал особенный, утренний, с дымком воздух, в котором уже чуялась скорая весна.

Командир и не думал скрывать своего сожаления, что капитану Ладейщикову «из-за ерунды» завернули два наградных листа. И то верно: не пустым же домой приходить, если честно воевал. «Будь моя воля, — подумал Дежков, — я бы, как кончится война, каждого солдата наградил — за то, что смерть переборол, что тонул, да не утонул, что мерз, да не замерз, в огне горел, да не сгорел. Ведь кто живой останется, тому жить...»

— Так-то, Василий Андронович, — помолчав, прибавил командир. Спросив для порядка, все ли ясно и есть ли вопросы, он отпустил старшину.

Минут через тридцать, когда Дежков находился у автоматчиков, он снова услышал приближающийся рокот с другой, западной стороны. Он вышел на улицу и увидел возвращающиеся с задания штурмовики в сопровождении истребителей. Самолеты, похоже, были те самые, утренние, только было их всего три. Где же остальные? А истребителей — четыре. Не шесть, а четыре. Неужто такие потери — три Ила, два «ястребка»? Восемь ребят — целое отделение!

Старшина не раз видел, как это бывает. Как пламя схватывает самолет и он, потеряв управление, с воем несется вниз, оставляя дымный хвост. Потом взрыв — и с земли вздымается огонь и черный дым... И у Дежкова заныло сердце, словно он знал этих ребят, хлебал из одного котелка, стоял рядом в окопе,

готовый по сигналу вместе с ними рвануться вперед. Сколько их пало — даже имен не упомнить. Но вдруг, когда не ждешь, в памяти всплывает молодое лицо и тот бой... Война есть война, а все к этому не привыкнуть. Василий Андронович вздохнул. А может, не все погибли? Кто сел на вынужденную, кто с парашютом выбросился. Всякое случается...

Самолеты давно улетели, но в воздухе еще стоял тонкий прерывистый звон. Тонкий-тонкий. Да это уж и не самолеты — звенит тишина. Будто и не было ничего. Там, в бездонной, без конца и края вышине, не остается следов — она все поглотит, все смоет.

Старшина собрался было идти, но что-то его остановило, вроде послышался гул какой-то... Или показалось? Нет, теперь он уже явственно различил далекий рокот. Все ближе, сильнее. «Ну да, те самые ребята и летят, те самые, — обрадовался Василий Андронович. — Просто отстали малость. Бывает». И верно: в слепящей голубизне, сверкая звездами, показались два «ястребка» и начали со снижением разворачиваться над деревней, а в следующий миг он увидел как бы летящий с горы штурмовик, оставляющий дымный хвост, и над ним в глубоком вираже еще один. Старшина успел заметить, как несущийся прямо на лес штурмовик с черной полосой дыма за собой изменил направление и, едва не задев брюхом верхушки сосен, плюхнулся в снег, подпрыгивая, прополз еще несколько метров и остановился.

Дежков, увязая в снегу, побежал к нему через поле, напрямик. Над ним пронесся второй штурмовик и с разворотом ушел вверх.

Старшина что есть силы бежал к самолету, по самые крылья провалившемуся в снег, а штурмовик и два истребителя продолжали кружиться над деревней.

* * *

Солнце поднялось уже высоко, и самолеты сверкали в его лучах. В чистом воздухе ни одного пятнышка. Мерный гул моторов сливается с тишиной голубеющего неба. Но Борис знал, как обманчивы эти ясные солнечные просторы и как далеко видна их ровно идущая шестерка с висящими над ними Яками.

Внизу было все бело, и на белом бесшумно плыли удлиненные тени самолетов.

— Внимание. Подходим к линии фронта, — услышал Борис голос командира. Голос, как всегда, был спокойный, с легким, еле уловимым акцентом.

Слева обозначился лесок. Деревушка. Развилка дорог.

Борис взглянул на карту — скоро.

— Увеличиваем скорость. Держать строй.

Борис дал газ, оглянулся на ведомого. Когда он слышал голос командира в воздухе, ему казалось — командир рядом. И все видит. И придет на помощь, как это было тогда, в первый тренировочный полет в зону.

И вдруг мелькнуло воспоминание. Борис только пришел в полк и хотел показать, что кое-чему его научили. Взлетев и набрав высоту, он на боевом развороте так круто заложил глубокий крен, что не успел поддержать скорость и сорвался. Мгновенно, уходя и надвигаясь, земля закрутилась вокруг него. Что-то оборвалось в нем — штопор. И тут он услышал спокойный голос командира, там, на земле, руководившего полетами. Командир напомнил, как выходить из штопора. Несколько слов, спокойный, властный голос.

«Так. Хорошо». Командир будто видел, что он делает в кабине. Еще мгновенье — и в падении что-то начало меняться. «Так. Хорошо». Голос был спокойный, твердый. И вот уже земля надвинулась снизу и справа. Выравнивай. Так. Борис еще не успел понять, только почувствовал — вышел из штопора.

Всего три витка, но, ощутив устойчивость горизонтального полета, Борис словно впервые увидел ровное сияние света вокруг и землю внизу с легкими скользящими тенями от облаков; словно впервые услышал радующий сердце чистый, звенящий голос мотора — и испытал то ликующее чувство свободного полета, когда машина заодно с тобой, верна и послушна малейшему движению.

Земля, чуть покачиваясь, переливалась зеленым, желтым, синим и тоже, послушная ему, поворачивалась под крылом и поднималась, окунаясь в безбрежную голубизну.

Воспоминание это вызвало давнее и сейчас же ушедшее ощущение. Оно лишь коснулось Бориса. Мелькнуло — и исчезло. Прибавить обороты, держать строй. Это означало — скоро.

Но все происходит не так, как ждешь. Командир молчал, и сам он не увидел ничего. Увидел Димка, его стрелок, одновременно, а может, на секунду позже Яков, которые шли выше их. Когда Димка крикнул: «Мессеры!» — и Борис оглянулся, два Яка, один справа, другой слева, открыв огонь с дальней дистанции, шли с набором высоты, видимо, наперерез «мессерам». В ту же секунду застучал Димкин пулемет. Ясно, «мессеры» пикировали сзади, со стороны солнца. Сколько их?

— Рви вправо, — крикнул Димка.

Борис мгновенно сработал рулями, и самолет резко ушел в сторону, сразу же (промедли он хоть долю секунды!) выше и слева от него пересеклись рваные дымные полосы — следы «эрликонов». В следующий миг Яки взмыли свечками, чтобы атаковать «мессеры» с высоты, но и те, почти одновременно (вот когда Борис увидел их) по двое в каждую сторону, ушли боевым разворотом. Так. Сейчас там начнется чертова карусель. Два наших — четыре «мессера». Но у наших высота.

Где командир? Взгляд выхватывает впереди и чуть в стороне два силуэта. Борис дает газ, но ему снова приходится маневрировать по командам Димки. Еще одна атака с хвоста. Теперь заработали пушки его ведомого, Николая. Два «мессера», боясь напороться на огонь Николая, отвернули и один за другим проскочили вперед.

В натужном реве мотора слышится стремительный горячий перестук Димкиного пулемета. Частые короткие очереди — заградительный огонь. Ага, пауза. Значит, отвернули. Длинная очередь — прицельная. И вторая, наверное, вслед.

Сквозь потрескивания в шлемофоне прорываются отрывистые команды Яков — они крепко сковали «мессеров», хотя тех, видно, намного больше. Теперь главное — не оторваться, не отстать. Взгляд через плечо — ведомый сзади метрах в двадцати. Молодец, Коля, молодец.

Внизу, на земле, сверкают разрывы, бой истребителей идет с нарастающим ожесточением. Слегка качнув крыльями (Коля, внимание!), Борис прибавляет обороты. Командир и его ведомый приближаются. Далеко позади и ниже их Борис видит два других Ила — здорово же они отстали.

— Идем к цели! Идем к цели! «Семерка», подтянись! — Голос командира раздается в самый нужный момент, спокойный, ровный голос.

Отставшая «семерка» рвется на высоту, ведомый за ней, сейчас они подстроятся, но командир опять вырывается вперед. Он идет почти на предельной скорости. И все же понемногу широкий растянутый клин восстанавливается. И стрельба отдаляется. От «мессеров» оторвались — Яки вцепились в них намертво.

Командир меняет направление — солнце остается в хвосте, но заметно смещается влево. Скользящие тени самолетов на снегу косо вытягиваются. Командир идет вверх — тяжело нагруженный самолет медленно набирает высоту. Борис то и дело проваливается — все труднее дается каждый метр.

— Цель впереди по курсу, — раздается команда, — приготовиться к атаке. Начинаем маневр!

Впереди возникают темные пятна разрывов. Их так много, что они сливаются — сплошная стена заградительного огня. Командир с ведомым, маневрируя, уплывают вправо, потом влево. Над ними сразу же повисают темно-серые хлопья. Борис размашисто, как это делает командир, бросает самолет из стороны в сторону. Но разрывы неотступно следуют за ним — ближе, кучнее.

Он у них на виду, весь на виду. Колющий холодок медленно разливается в груди. Грязно-серые хлопья вспухают со всех сторон. Резким скольжением Борис меняет высоту — темное расползающееся пятно мгновенно возникает над ним. Ушел все-таки. Но дымные шапки опять появляются рядом, источая едкий проникающий запах, от которого подкатывает тошнота. Запах гибели. Он уже вьется в кабине, опутывая, обволакивая, перехлестывая...

— Маневр! Маневр! — властно требует голос командира.

Борис снова — в другую сторону — уходит вниз, под разрывы, и только теперь сразу за лесом видит цель — стоящие в два ряда двухмоторные «юнкерсы» с черными крестами на крыльях и фюзеляжах. К дальней кромке взлетного поля, где возвышает-

ся белое здание, ползет бензозаправщик. Остальные, видно, успели убраться. С той стороны беспрерывно сверкает огонь зениток.

— Внимание! Атака! Атака!

Самолет командира впереди уже вошел в пикирование. Борис на боевом курсе. Он идет в сплошных разрывах, но маневрировать нельзя. Еще немного. Чуть-чуть! Пронеси! Едкий запах закручивается вокруг него. Запах гибели. Медленно надвигается поле с самолетами. Еще немного! Пора! Борис опускает нос самолета, впивается глазами в сетку прицела. Бомбардировщик с крестами быстро растет и уплывает вправо. Доворот — «юнкерс» почти в перекрестье. Еще доворот — самый раз.

Борис жмет на гашетки — из-под крыльев вырываются эрэсы. Очереди из пушек и пулеметов. На земле сверкают разрывы, вспыхивает пламя.

Самолет с ревом несется вниз, со свистом распарывая встречный воздух. Высота — восемьсот пятьдесят. Восемьсот. Аэродром стремительно увеличивается. Семьсот пятьдесят. Семьсот. «Юнкерс» заполняет кольцо прицела. Отчетливо видны черные кресты с белой обводкой. Шестьсот пятьдесят. Еще чуть. Шестьсот. Ну! Борис жмет на кнопку сброса бомб — самолет вздрагивает от толчков, бомбы летят на цель. Мощный взрыв. И сразу за ним еще один. Взгляд назад: там, где стоял бомбардировщик, столб огня и дыма. Пламя бушует еще в трех местах — работа командира и его ведомого. Сзади пикирует Николай, и уже опустил нос еще один штурмовик.

Впереди за аэродромом — лес. Верхушки сосен почти на уровне глаз. «Горкой» Борис проскакивает через лес, ищет взглядом командира. Сверкающие трассы несутся вслед, пересекаются, обгоняют его. Прямо перед ним повисают разрывы снарядов. Борис резко уходит боевым разворотом.

Командир оказывается выше и слева — маневрируя, он набирает высоту.

— Повторная атака! Повторная атака!

Видимость никуда — все небо в черных расползающихся пятнах и полосах. Еще один круг в кольце разрывов. Оно все сжимается, будто он сам притягивает эти грязно-серые хлопья.

Оглушительный хлопок над ухом — самолет встряхивает. Острый запах тонкой петлей захлестывает горло. Самолет заваливается на крыло. Борис мгновенно срабатывает рулями. Выровнялись, кажется. Выровнялись. В левом крыле рваная дыра, но машина послушно идет вверх. Все хорошо, надо только придерживать ее, чтобы не валилась.

— Жив?! — Голос Димки срывается на крик.

— Порядок. Идем на второй круг.

Внизу полыхает пламя. Черный дым густыми клубами заволакивает аэродром.

Командир уже снова в атаке. В наплывающей черно-бурой клубящейся массе просвет, в котором обозначается распластанный на земле «юнкерс». Борис резко опускает капот машины. Встречный ветер со свистом бьет по бронестеклу. Вспышки огня

впереди, на земле, слепят глаза. «Юнкерс» в перекрестье снова заволакивает дымом. Рядом вырывается столб огня, один за другим на земле рвутся снаряды — самолет командира «горкой» выходит из атаки и скрывается за лесом. Ветер сбивает пламя — теперь Борис видит, как стелется дым, и доворачивает вправо. Огонь вырастает, разгорается ярче, краснее. В прицеле серая дрожащая дымная пелена с неровной расширяющейся полосой просвета. Там почти в перекрестье — «юнкерс». Еще довернуть. Высота пятьсот пятьдесят. Самолет несется в красном накаленном воздухе. «Юнкерс» в центре перекрестья — Борис жмет на гашетку. Успел! — в прицеле опять сплошной дым. Взрыв сотрясает воздух. Борис вырывает машину из пикирования, ее подбрасывает взрывной волной; «юнкерс» пылает как факел. Снова «горка», разворот — и вдруг взрыв, будто молотом по бронекапоту, самолет проваливается, лицо обдает брызгами, Борис подбирает ручку — рули действуют, самолет ползет вверх, но начинает расти температура воды, заколебалась стрелка давления масла.

Сколько протянет двигатель — минуту, две, пять? До Одера — там линия фронта — минут восемь-десять. Борис сбавляет обороты, чтобы не перегружать мотор, и сразу же его ведомый, Николай, проскакивает вперед.

Борис карабкается вверх — нужна высота, побольше высоты, чтобы спланировать, когда заглохнет мотор. Когда заглохнет... Теперь главное, единственное — оттянуть этот момент. Выиграть минуту, две. А то три или четыре. Дотянуть до своих.

Натужно, из последних сил ревет мотор, самолет срывается, проваливается, но высота все-таки понемногу растет — еще, значит, живем.

— Сбор! Сбор! Сбор!

Голос командира будто помог увидеть его самолет слева, далеко впереди. Маневрируя, скрываясь в черных расползающихся полосах дыма и опять появляясь, он шел от аэродрома — прямо на солнце, и теперь оно било в глаза зенитчикам и слепило их. Борис хорошо видел уменьшенный расстоянием силуэт его самолета, как бы ответно вспыхивающего, когда на него падал солнечный луч. Ведомые рвались к командиру — их швыряло по волнам, вскипающим черной и грязно-серой пеной, но все же они быстро сократили разрыв и уже подстроились к ведущему. Один. Второй. С командиром три машины. Не четыре — три. Феди нет...

Борису их не догнать. Они уйдут без него. Такая свалка, чертова карусель, дым, огонь, а Бориса прознобило.

Один — весь на виду у немцев.

И неожиданно в шлемофоне голос командира:

— Маленькие, маленькие, прикройте «пятерку». Прикройте отставшую «пятерку».

И сквозь легкие потрескивания низкий, с хрипотцой голос ведущего истребителей:

— Вас понял, вас понял... — И сразу команда: — Шилов,

прикрой отставшую «пятерку». Прикрой отставшую «пятерку». Как слышишь?

Наверно, командир видел, как Бориса шарахнуло на развороте, и все понял, когда он убрал газ и Николай проскочил вперед.

Три самолета, сверкая в лучах солнца, исчезая за оранжевыми бликами и снова появляясь, уходили в чистый просвет, в голубизну. Они были уже там, в другом, невероятно далеком, а может, и несуществующем мире. И с ними Николай — только не разглядеть его. С ними, по ту сторону черты.

Впереди вспухают грязные, черно-серые хлопья разрывов, сверкают молнии вспышек. Борис с креном лезет вверх — обойти заградительный огонь и не потерять высоту. Но его опять «повели» — разрывы идут след в след. Ладно — два раза подряд не попадают. Все равно никуда не денешься. Хотя, бывало, попадали. Он один здесь, теперь-то уж Николай догнал их. Один. Что-то разлилось в груди — обожгло не то холодом, не то жаром. В горле высохло — не глотнешь. Он опять в кольце: разрывы справа, слева, сзади. Сейчас бы рывок, чтобы убраться, и еще рывок — догнать своих, но увеличивать скорость нельзя. Хорошо хоть тянет. Как-никак, а тянет. Ладно, два раза подряд не попадают. А бывало, попадали. Ладно, только бы не заглох. Взрыв рядом с кабиной. Самолет заваливает. Дым застилает бронестекла. Борис резко уходит скольжением на крыло. Метры, завоеванные с таким трудом, потеряны, но разрывы остаются позади. Теперь довернуть на солнце. Может, и выкрутимся.

Николай возник слева — выскочил, как черт из коробочки. Откуда взялся? Хорош, нечего сказать. Ну подожди же!

— Дорофеев, приказываю догнать группу. Как слышишь?

Николай покачал крыльями — слышу, мол (передатчик был только у ведущих), — и выдвинулся немного вперед, но было ясно, что уходить он не собирался.

— Дорофеев, приказываю догнать группу, — повторил Борис. — Уходи, Коля. Приказываю — уходи! Я дотяну. Уходи!

Они были уже почти в створе солнца. Сейчас уйти со снижением на предельной скорости и нырнуть в балку — это почти наверняка спасение. Да, как же, так Коля и послушался его, для того, что ли, вернулся и крутится тут под огнем! Так, значит, теперь нас двое.

Николай на небольшой скорости, чтобы не отрываться, шел впереди. Теперь он повел Бориса. Разрывы еще тянулись за ними, вот-вот достанут, но солнце уже мешало зенитчикам, и они все-таки уходили. Медленно, а уходили. И впереди было чисто — голубизна, легкие перистые облачка...

Тяни. Надо тянуть. Вот к этому облачку. Стрелка давления масла подвинулась к нулю. Так. Все равно надо тянуть.

— Давай, Боря, давай. Дотянем. — Это Димка. Голос такой, что сам черт не брат. С ним не пропадешь.

— Над нами два Яка! — докладывает Димка. — Прикрывают?

— Прикрывают.

— Ясно. Вроде почетных мотоциклистов.

— Не болтай. Смотри лучше.

— Есть смотреть лучше.

Облачко приблизилось — легкое, полупрозрачное. Удлинилось — края его смазались, в середине появились голубоватые просветы, как трещины в льдине. Они расширяются, рассекая ее на части, и вот уже куски льда с треском обламываются и налезают друг на друга, сдавленные со всех сторон шевелящейся, трущейся с шершавым звуком массой. Влажный сильный и плотный воздух давит и бьет в лицо — воздух весны и воли, и от этого и от шуршания и треска ледохода легко и сладко кружится голова, перехватывает дыхание, и будто зовет куда-то смутный, щемящий, далекий-далекий звон... Вздымающаяся ото льда река под мостом, гул и треск ломающихся льдин, неведомо откуда идущий тонкий звон — все это вспыхнуло и исчезло.

Облачко растеклось: не одно — три маленьких пятнышка. Долетим, пока совсем не растает?

Внизу белые поля, волнистые, с голубым отливом снега. Справа по откосу петляет чуть темнеющая дорога. Вокруг нее черные пятна — следы бомбежки. Николай тащит за собой вниз, к откосу, к складкам оврага. Все правильно, Коля. Только нам с Димкой снижаться нельзя. Нам нужна высота, чтобы тянуть. Тянуть и тянуть.

Яки над головой — тут все в порядке. И облачко, если то самое, вот оно. Осталось одно пятнышко. Одно из трех. Но все равно — можно считать, проходим под ним.

В натужном реве мотора что-то дрогнуло — или показалось? Будто дрогнула и начинает расползаться туго натянутая струна, состоящая из множества нитей. Они рвутся, ползут, но ниточка, может быть одна-единственная, еще держится. Ну не рвись. Еще немного не рвись. Впереди и чуть выше опять возникает Николай: понял — снижаться нельзя. Никак нельзя. Молодец, Коля. Все-таки легче, когда он впереди.

Борис чуть-чуть прибавляет газ, чтобы догнать Николая. И сразу заколебалась стрелка давления масла. Так, теперь осторожно, чтобы не сорваться, подобрать ручку — взять хоть несколько метров. Пот заливает глаза, от напряжения перехватывает дыхание. Будто он карабкается по скользкому камню. Сползает вниз и опять карабкается, в кровь раздирая руки.

Николай качнул крыльями: хорошо, давай жми. Хорошо-то хорошо, но резко подскакивает температура воды. Она на пределе. В тонком, все утончающемся от натуги вое мотора приближается сбой. Борис снова убирает газ, и его тотчас тянет вниз. По скользкому камню — вниз; он хочет удержаться, сдирая кожу, цепляется за холодную шершавую поверхность, но остановиться не может. Самолет проваливается, и его уже не поднять. Удержаться бы на этой высоте и потянуть, хоть еще немного потянуть.

Внизу широкая дорога, похоже, шоссе, рассекает лес, взбегает на холм; по обе стороны аккуратно поставленные домики. И там,

где открывается белое пространство, возникает широкая полоса, сверкающая на солнце, — широкая и плавно изгибающаяся полоса с темными обводами.

Одер!

— Одер! — Это уже не он сам, это кричит Димка. — Одер! — И потом чуть тише: — Давай, Боря, давай!

Мотор задыхается. В его прерывистом, тяжком вое что-то гаснет, блекнет — убывают последние силы. Вот-вот оборвется та самая одна-единственная ниточка. Борис уже почти над темнеющей линией западного берега. За этой линией, за белым, в темных разводах полотном льда и воды — наши.

Масло на нуле.

Димка молчит. Он понимает, что значат эти секунды. Ну потяни еще немного. Совсем немного. Но мотор уже еле дышит. Человек падает, поднимается из последних сил, делает два шага и снова падает. Ну поднимись. Всегда можно сделать еще один шаг. Хотя бы один.

Брызги масла попадают на переднее бронестекло — оно быстро мутнеет. Одно к одному. Приходится открыть боковую форточку — ветер бьет в лицо, режет глаза. Борис опускает очки. Там, внизу, вода, лед.

В кабине появляется едкий дымок. Он идет снизу, из-под ног, — загорелся маслобак?

Медленно, слишком медленно наплывает восточный берег — секунды растянулись. Одна — и Борис над берегом. Но масло на нуле. И дым стал гуще — сейчас пробьется пламя. И мотор заглохнет. Остановится. Сейчас. Или в следующий миг. И вдруг Бориса обожгло: уже начался и идет какой-то другой, неизвестный ему счет времени, неизвестный и непостижимый. Лес. Деревня. Там — наши.

Время изменилось. Оно стало безгранично большим и единым, вместившим в себя все жизни, которые Борис прожил, и одновременно оно стало бесконечно малым — цепью мгновений: когда оборвалась ниточка, мотор заглох и винт, как во сне, завращался бесшумно; и когда земля быстро начала надвигаться на него; и когда он увидел белое пятно, полянку, зажатую между деревней и лесом, и успел довернуть, чтобы садиться по диагонали; и еще — толчок и треск и потом тишина...

А все, что было после этого, было уже другой жизнью, вернее, возвращением к другой, привычной для Бориса жизни, протекавшей в привычном и понятном для него времени.

Глава вторая

Всякое случается на войне. Разве объяснишь, каким чудом они остались живы? Как ухитрились не врезаться в лес, когда заглох мотор и самолет будто с горы понесся вниз? Как не перевернулись и не разбились вдребезги на полянке величиной с

пятачок, когда от удара в бугор снесло шасси? А их потянуло дальше, прямо на деревья. И снегом забило пламя, а потом в двух-трех метрах от старых елей и сосен развернуло, и они остановились. И когда старшина Дежков подбежал к распластанному в снегу самолету, он увидел тех самых родившихся в рубашке ребят, целых и невредимых. Стоя по колено в снегу, они махали шлемами своим товарищам, кружившим над ними. Тот, что был повыше ростом, темноглазый и темноволосый, видно, летчик, в короткой кожаной куртке, подбитой мехом, заметил его первым. Он повернулся к Дежкову, протянул руку, но, встретившись с ним взглядом, порывисто и как-то неловко обнял его.

— Живы, значит, соколы! — Старшина оглядел обоих, будто не веря своим глазам. — Считайте, что с этой вот точки жизнь ваша и начинается! На волосок от погибели находились.

— Чуть-чуть не в счет, отец! Все по краю ходим, — философски изрек второй, крепко тряхнув руку Дежкова и хлопнув его по плечу.

Рыжий, приземистый, с чуть согнутой спиной, в унтах и комбинезоне на коричневом меху, он был похож на медвежонка, вставшего на задние лапы, чтоб с ним поиграли. Сходство было так разительно, что старшина рассмеялся.

— Смех в строю, разговорчики, — сказал рыжий, видимо слегка обидевшись, но оборвал себя и внимательно, чуть склонив голову набок, что еще больше усугубило сходство, посмотрел на Дежкова: — Послушай, отец, а ты, случаем, не туляк? Что-то, я смотрю, больно ты хваткий...

— Хваткий — народ вятский, — отпарировал старшина. — А я, парень, из иных краев, я человек степной, а лучше сказать — лесостепной, — прибавил он, любивший во всем точность. — Фамилия моя Дежков, а по званию старшина. — Теперь он обращался и к молчавшему летчику.

— Лейтенант Волынин, — незамедлительно откликнулся летчик.

— Дмитрий Щепов, — представился рыжий, опустив свое звание.

Может, он тоже старшина. Под комбинезоном лычек не видно. Или младший лейтенант. Да мало ли кто! Воздушными стрелками и капитаны из штаба летали и майоры. Кому-то хотелось испытать, какая она, война, в воздухе, кто для дела летал, а кто и ордена зарабатывал. Счет боевым вылетам всем идет одинаковый, что сержанту, что майору.

— Дмитрий так Дмитрий, — усмехнулся старшина, дав понять, что небольшая эта хитрость от него не ускользнула. — Пойдемте, товарищи соколы, к командиру, коли вы в силах. Представитесь, побеседуете, а там и определим вас отдохнуть.

— Пошли, — сказал Борис.

Старшина двинулся вперед, по каким-то одному ему известным признакам угадывая, где снег плотнее и где его поменьше.

На дорогу выбирались молча. А когда зашагали рядом по утоптанному снежку, мягко похрустывающему под ногами, Дежков неожиданно повернулся к Борису:

— Ты уж прости, лейтенант, а хочу спросить. Тебе сверху-то виднее... Фронт — он к Гитлеру близко подошел?

— Близко, — ответил Борис. — Если считать от западного берега Одера по прямой, по шоссе через Зееловские высоты до Берлина километров шестьдесят.

— Высоты, говоришь?

— Холмы там такие. Фрицы их в крепость превратили. Одних зенитных батарей не сосчитать.

— Да-а... Немало еще поляжет нашего брата... А все ж шестьдесят! До самого Берлина! Значит, скоро. Считай, нынешней весной, — заключил старшина. Он замолчал и потом за всю дорогу до дома, где находился командир, не проронил ни слова.

Старший лейтенант Кравцов, видимо, был предупрежден об их приходе. Не успел старшина подойти к его двери, как он сам появился на пороге.

— Проходите, товарищи летчики, проходите, — сразу заговорил командир. — Раздевайтесь, присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.

Последняя фраза прозвучала как-то уж совсем по-домашнему, и Димка незамедлительно отреагировал:

— Но и не забывайте, что в гостях?

— Отчего же? Если сможете, забудьте, — ответил комроты, пододвигая стулья.

Здороваясь, он назвал свое звание и фамилию, и Борис, представившись, протянул ему удостоверение. Внимательно рассмотрев его, Кравцов еще раз предложил им сесть.

— Нам бы чайку, да покрепче, — сказал комроты длинношеему белобрысому солдату, сидевшему у телефона.

Тот молча вышел. Комроты пододвинул к Борису и Димке лежавший на столе кисет с махоркой. Когда все четверо закурили, неторопливо проговорил:

— Рассказывайте, лейтенант, рассказывайте!

Борис пожал плечами. Что рассказывать? Как они подошли к цели, и как атаковали аэродром, и сколько уничтожили самолетов противника? Как сбили Федора, а они с Димкой тянули сюда, за Одер? Или сказать ему, какой у них командир и что за парень Николай, его ведомый? Вырваться из огня, пристроиться ко всем, а потом опять вернуться в пекло только для того, чтобы одним своим видом помочь командиру, — как это назвать?

Крепко затянувшись, Борис почувствовал, как комната качнулась и поплыла перед глазами.

Кравцов, увидев, как побледнел лейтенант, пробормотал:

— Да вы курите... Торопиться нам некуда.

— Задание выполнили, — вмешался Димка, выдержав приличествующую паузу. Откинувшись на спинку стула, небрежно бросил: — Подробности письмом.

Старшина даже не улыбнулся. Он с осуждением взглянул на Щепова. Что ему, цирк здесь, что ли? Как-никак спрашивает старший начальник, командир роты. Да что там — этот рыжий парень и перед генералом не сробеет. Дай только волю: обсмеет и разукрасит своим языком — мать родная не узнает. Он, Дежков, видал таких. Вот только каков этот молодец в деле?

Димка слегка поежился, встретив прямой и настойчивый взгляд серых, с темной глубиной глаз старшины. «Чего это он так на меня? Жену от него я не уводил. И не увел бы, — признался он сам себе, — не посмел. Бедные солдатики — с таким старшиной не разгуляешься. Тут уж, ясное дело, дисциплинка на высоте. Это уж точно. Как пить дать. Так-то оно так, а вот такой ли он храбрый, когда стреляют?»

Теперь и Димка, в свою очередь, бросил на Дежкова долгий изучающий взгляд. И то ли оттого, что от всей крепкой фигуры старшины веяло собранностью, скрытой силой, то ли Димке понравились его большие смуглые руки с широкими ладонями, руки рабочего человека, не жадные, а ловкие, которые сейчас, отдыхая, свободно и мягко лежали на коленях, то ли от чего другого, о чем трудно сказать словами, но только главный этот вопрос был решен в пользу старшины. Димка улыбнулся и подмигнул старшине: мол, мы знаем, что знаем. Дежков был несколько удивлен этими неожиданными знаками, но не придал им особого значения и отнес за счет Димкиного «шутовства». Он-то склонен был этот вопрос — каков Димка в деле — решать не в его пользу. Но факты, как ему было хорошо известно и как его учили, — упрямая вещь. А этот рыжий вместе с молчаливым летчиком, который ему положительно нравился, только что вернулся о т т у д а, и на его глазах они чуть не погибли. Так что от окончательного вывода Дежков все-таки воздержался.

— Ладно, — подытожил Кравцов, — будем считать, лейтенант, что рассказ состоялся. Ну а передний край показать можете? Вот здесь, на этой карте...

— Попробую. — Борис встал и склонился над картой, лежащей на столе. Она была не такая, как у него, и другого масштаба, но, найдя Кюстрин, Борис сразу сориентировался и провел красным карандашом черту Кинитц — Гросс — Ноендорф — Рефельд...

— В этом районе наш первый плацдарм на западном берегу Одера, — сказал он, кладя карандаш. — Семьдесят километров от Берлина...

— Вот мы и в Германии, — задумчиво произнес Кравцов, — и семьдесят километров от Берлина... Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд, — медленно, со вкусом повторил он.

Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд — было непривычно для уха, и смысл этих названий, которые сразу, с ходу и не выговоришь, был загадочен. Но для Дежкова и всех, кто находился в комнате, они прозвучали как самая сладкая музыка. И неважно, были ли это деревушки, не имеющие стратегического значе-

ния, или укрепленные города, открывающие путь к самому Берлину, — это была Германия, территория врага. Его собственная территория, та самая, откуда война пошла полыхать по всему свету.

— По этому поводу не грех выпить, — проговорил Дежков. И не то чтобы вопросительно, а так, для порядка, взглянул на комроты.

— Действуйте, старшина, — сразу же отозвался Кравцов.

Чай запаздывал, а спирт, разлитый в кружки, появился моментально.

Все встали, молча чокнулись, выпили. Слова были не нужны. Их даже как-то страшно было произносить: то, за что мысленно пили, никогда не было так близко — вот-вот дотянешься рукой. Не спугнуть бы, пока не ухватили...

Молчание затянулось — о чем только не подумаешь в такую минуту! Старшина, как ему и полагалось, опомнился первым. Все-таки здесь он был хозяин, а летчики — гости. Даже его личные гости. И Дежков приступил к выполнению своих обязанностей хозяина. Ловко орудуя финкой, он одну за другой открыл две банки тушенки.

— Закусывайте, товарищи летчики, закусывайте.

— У вас, я смотрю, просто, без плошек-ложек и всего прочего, — сказал Димка, подцепив своей финкой с цветной наборной ручкой из плексигласа кусок мяса и пододвинув банку Борису. — Я лично не возражаю.

— А ты возрази, нам больше достанется, — усмехнулся Борис, беря банку.

После нескольких глотков спирта разговор пошел посвободней. Димка разошелся и, отвечая на как бы невзначай брошенные вопросы Кравцова, в ярких красках, со многими почти невероятными подробностями изобразил воздушный бой с «мессерами» и бомбежку аэродрома. Это было очень похоже, и Борис не стал его прерывать, тем более что Димка в эту минуту, пожалуй, и сам не смог бы отличить быль от небыли в своем рассказе, где все так перемешалось и переплелось.

— Вот ведь вы какие... — сказал Кравцов, вздохнув. — А у нашего брата, пехоты, война другая. Сколько еще земли придется переворошить этими вот руками, сколько километров на брюхе под пулями проползти! Трудно, тяжко, а все-таки... — Он помолчал. — А все-таки победа там, где солдат прошел. Но это к слову. Я о другом... Когда-нибудь скажут о муках пехоты, все вынесшей на своих плечах. Все — и холод, и бомбы, чужие, а когда и свои, и танки, и безвестность. Тогда и увидится ее подвиг...

— Да ведь летчиком не каждый сумеет, — неожиданно поддержал старшина престиж авиации. — До войны мне приходилось на самолетах пассажиром, знаю. Ну, там на совещание какое из района в область — Сибирь-то, она большая, на поезде долго проканителишься. Так иной раз небо с овчинку покажется — земля, к примеру, наверху, а ты внизу. А то камнем

вниз летишь и не знаешь, вынесет ли кривая... А тут бой вести надо. А сам-то ты на виду — и ползком не подберешься, и в окоп от пули да снаряда не спрячешься...

— Зачем уж ты так, старшина, — примирительно заявил Димка, — солдат, он везде солдат. Что на земле, что в воздухе — стреляют одинаково.

Димка явно лукавил. Он-то был убежден в превосходстве авиации, в том, что летуны — народ особенный, не чета пехтуре. Но хозяева были гостеприимны, с каждым глотком спирта все более симпатичны ему, и он не хотел обижать их. Впрочем, произнося эти слова, Димка не удержался и слегка скосил глаза на Бориса: дескать, ничего не поделаешь, приходится...

— Я понимаю вас, товарищ старший лейтенант, — проговорил Борис. — Очень хорошо понимаю. Я не о победе — она общая. Вот вы сказали — муки. И безвестность... Странно, никогда не думал об этом.

— А вам и не полагается, — усмехнулся Кравцов.

— Чего уж там! — Дежков слегка ударил ладонью по столу, как бы заключая разговор. — Так оно и есть, как старший лейтенант сказал. Каких только мук не принял солдат, чтобы победу нашу добыть! Вы, лейтенант, не обижайтесь: не в укор говорится, — повернулся Дежков к Борису. — Когда вы, соколы, в небе, у солдата и сердце радуется и сила прибавляется. А воюем где кому пришлось.

«Ишь как запел, — подумал Димка, — приказали бы тебе на штурмовку слетать — смог бы? Подучили — и смог бы, — ответил он себе. — Это уж точно. А я сам? Если бы пришлось в пехоте? Пошел бы в разведку. «Языков» брать. Это по мне. А если бы не вышло в разведку? — продолжал он допрашивать себя. — Ну и что? В атаку ходил бы. В рукопашную. Так что вы, товарищ старшина, не очень».

— Где кому пришлось... — повторил Борис, и Димка, хорошо знавший своего командира, почувствовал: какая-то мысль взволновала его. — Послушайте, — тихо сказал Борис, ни к кому не обращаясь. — Ведь если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?

Вот куда его повело от спирта от этого, а право же, хорошо почитать бы сейчас стихи. Но так же неожиданно Борис замолчал.

Старшина слегка кашлянул, а Кравцов, улыбнувшись, спросил:

— Любите Маяковского?

— У нас учитель литературы был, Алексей Ксенофонтович Романовский. Это все его наука: и Маяковский, и Пушкин, и Блок...

Борис оборвал себя, будто сказал нечто такое, о чем не следует знать другим. Слишком уж много стояло для него за всем этим. Он сказал — Блок, а в памяти всплыл с пронзительной ясностью тот сухой ветреный октябрьский вечер, когда он уходил в армию, и они с Риммой сидели на скамеечке во дворе

ее дома на Чистых прудах, и он читал «Май жестокий с белыми ночами...».

— Вы учились у Романовского? — ошеломленно проговорил Кравцов. — У Алексея Ксенофонтовича Романовского?

Если бы сейчас перед домом появились немецкие танки, Кравцов был бы меньше потрясен (о привидениях нечего говорить, танки на войне пострашнее). Ведь этот парень, который оказался учеником Романовского, в самом прямом смысле свалился с неба. Стоило прошагать тысячи километров по дорогам войны, выходить из окружения в сорок первом, в сорок четвертом под Витебском, чуть-чуть не отдать богу душу от осколочного ранения в правый бок, потерять стольких товарищей, чтобы здесь, в польской деревушке, встретить выпускника той самой школы на Кировской, той самой 309-й школы, где в одних классах преподавал Романовский, а в других он сам, Кравцов!

Конечно, десятки раз они сталкивались друг с другом — на общешкольных вечерах, на уроках Романовского, которые Кравцов посещал при малейшей возможности, наконец просто в школьных коридорах, сталкивались нос к носу, но не обращали внимания друг на друга. Но теперь Кравцов по-иному, другими глазами взглянул на Бориса. Он заново увидел его. Высокий, худой. Темноглазый. С небрежно отброшенными набок коротко остриженными волосами. Его легко представить себе за шахматной доской — скажем, против гроссмейстера Лилиенталя, который как раз перед войной в мартовские каникулы давал сеанс в их школе... Кажется, парень он застенчивый, мягкий. А резкая складка посреди лба — это война. И резковатость в движениях — тоже война. В воздухе, в бою, все решают секунды, доли секунд. А лицо у него славное...

Кравцов хорошо знал этих ребят, у которых не так давно пробились усы и не успели затвердеть голоса, порывистых и увальней, все схватывающих на лету и тугодумов, самых обычных и ярко талантливых, — этих золотых московских ребят, запоем читавших книги, удиравших с уроков, отчаянных спорщиков, шахматистов и остряков, готовых судить обо всем на свете. Кто-то из них ухитрялся заниматься в аэроклубах, втайне мечтая об Арктике, о дальних перелетах; кто-то целыми вечерами торчал в кабинетах физики или возился дома с радиоприемниками; а кто-то пропадал на стадионах и в физкультурных залах, не смущаясь обилием двоек. Они жили горячо, стремительно, жадно — казалось, для них не было невозможного, все было достижимо, все могло свершиться, стоило только по-настоящему захотеть. И это они, ни секунды не раздумывая, пошли добровольцами на фронт в первый же день войны или, будучи уже в армии, встретили врага кто где — на земле, в воздухе, на море, — и дрались до последнего, и умирали, и не сдавались... «На земле, в небесах и на море...» — была такая песенка до войны. И был сорок первый и эти ребята, которые дрались, и умирали, и выстояли.

И этот вот летчик один из них — Кравцов почувствовал это

сразу. И еще он оказался учеником самого Алексея Ксенофонтовича Романовского, сидел у него в классе за партой, слушал его, и выходил к доске, и, вероятно, провожал старика, нес до его квартиры тяжеленный, туго набитый книгами портфель, а может быть, и бывал у него дома, и ему позволялось рыться в книгах уникальной библиотеки Алексея Ксенофонтовича, а потом они со стариком пили крепчайший чай за круглым старинным столом темного орехового дерева...

Но было ли все это? Алексей Ксенофонтович, великий знаток XVIII века, автор единственной в своем роде книги о Новикове, который так и не удосужился защитить ни докторской диссертации, ни кандидатской и так и не смог уйти из школы, переступив ее порог молодым человеком, сразу после университета... Было ли это — вечера в его тесной от книг комнате, разговоры обо всем на свете за крепчайшим чаем? Черт возьми, но ведь ему, только ему Кравцов читал свои стихи и ему одному дал рукопись, когда составилась книжечка, с условием сказать всю жестокую правду, ничего не смягчая. Он даже взял со старика честное слово — чтобы никакой пощады. А потом ходил около его дома в Кривоколенном переулке, не решаясь войти в подъезд, и подняться на третий этаж, и позвонить, — ведь если бы Романовский сказал «нет», он ни за что не отнес бы рукопись в издательство, хотя ему очень, очень хотелось, чтобы вышла книжка, он был переполнен своими стихами, которые требовали выхода и рвались на простор.

Он ходил около дома, был вечер, уже зажглись фонари, и падал мягкий снежок и светился в голубоватом полумраке, и прохожих было мало, и они не торопились — такой хороший был этот вечер, тихий, с невесомым снежком и легким морозцем. И он все ходил, придумывая новые и новые поводы, чтобы оттянуть эту минуту, когда придется все-таки подняться, и позвонить, и встретиться взглядом с Алексеем Ксенофонтовичем.

«Сначала пройду за угол к телефонной будке, если она свободна — тогда прямо без всяких иду. Если нет — возвращаюсь и начинаю все сначала. Пока не будет свободна». Будка оказалась свободной, и Кравцов решительно зашагал обратно, к дому Романовского. Но против его подъезда ноги сами остановились. Ладно. Пусть сначала мимо пройдут три человека — две женщины и один мужчина.

Прохожие шли, но в другом сочетании. Вот из подъезда выскочила девочка в красной вязаной шапочке, с сумкой, перебежала улицу и скрылась за углом. Две женщины и один мужчина не появлялись. Как назло (а может, и к лучшему, впрочем, не все ли равно!), два раза подряд прошли двое мужчин и одна женщина. Классический треугольник. У Кравцова начали мерзнуть ноги. Что за малодушие, в самом деле? Как будто от того, когда он войдет, что-нибудь изменится! Но что бы он себе ни говорил, взгляд его продолжал искать среди прохожих тех самых двух женщин и одного мужчину.

Красная шапочка показалась из-за угла (наверно, посылали за

хлебом) и, размахивая сумкой, перебежала дорогу и скрылась в подъезде. Вот тут-то и возникли искомые две женщины и один мужчина. Он шел посредине и был очень приметный — дородный, с тростью, в богатой шубе и высокой «боярской» шапке. Довольно редкий экземпляр, видимо, реликт старой артистической Москвы. А женщины Кравцову не запомнились — они как-то потерялись на его фоне.

Удивительно вообще, как запомнился ему весь этот вечер в мельчайших подробностях — красная шапочка с сумкой, дородный артист с тростью (не иначе какой-нибудь бас), легкий снежок, крутящийся в зыбком бело-голубоватом свете фонарей, темнота и даже запахи лестницы, по которой он поднимался, когда все-таки решился, и вот неожиданность — приоткрытая дверь квартиры Алексея Ксенофонтовича. «Смелее, — послышался голос Романовского. — Я битый час за вами смотрю, как вы там изучаете прохожих». Вот так так: он и забыл, что окно Алексея Ксенофонтовича выходит прямо в переулок.

Усадив его за этот знакомый круглый столик и не спеша приготовив чай, старик затеял «светский» разговор о том о сем — он был великий мастер вести подобные беседы. О чем шла речь, Кравцов не мог сейчас вспомнить, он был занят своими мыслями, гадал, что бы мог значить такой прием, переходил от отчаяния к надежде, то клял, то подбадривал себя и, естественно, слушал Романовского вполуха. В памяти отчетливо осталась та минута, когда он наконец поднялся и начал прощаться. Чай был выпит, обо всем переговорено, о стихах — ни слова. Вот тогда-то Алексей Ксенофонтович, подавая ему в передней пальто (чем всегда повергал Кравцова в великое смущение, но все его протесты категорически отклонялись), как бы между прочим заметил: «А я, знаете ли, Евгений Сергеевич, вашу рукопись в издательство отнес, вы уж не обессудьте. Прекрасная будет книга стихов, превосходная. Многих стихов ваших я не знал прежде — не удостаивали... — Старик помолчал, усмехнулся: — Вы от меня правду хотели, правду и только правду — так вот получайте!»

Это было сверх всяких ожиданий. О таком Кравцов не мог и мечтать — а ведь было же это! Было ли? Но он уже держал в руках верстку будущей книги, чуть влажную и пахнущую типографской краской, рукопись на удивление легко и быстро пробивала себе дорогу. И уже эта верстка была подписана в печать и отправилась в типографию, где ждала своей очереди, но не дождалась, так как наступило воскресенье 22 июня 1941 года.

Теперь же довоенные стихи, что помнились ему, казались и странными, и наивными, и — пророческими. Он и удивлялся им и любил их больше, чем прежде, как любил ту невероятно далекую жизнь, которая словно бы смутно просвечивала сквозь черный, закрывший небо и стелющийся по земле дым.

Он и сейчас писал стихи, потому что не мог не писать их, но

это были другие стихи. Как будто они принадлежали другому человеку.

Почитать бы что-нибудь из тетради в коричневой обложке этому лейтенанту, которого он будто бы знал давным-давно, знал и любил и теперь встретил нежданно-негаданно. Всякое случается на войне! И тетрадь — вот она, всегда под рукой (Кравцов коснулся пальцами ее шероховатого клеенчатого переплета), всегда вместе с картой, на которой обозначен противник. Но мало ли что приходит в голову! Вот если бы они были вдвоем... Но напротив сидел воздушный стрелок с хитрющими всевидящими глазами, и рядом с ним старшина Василий Андронович Дежков, человек серьезный и положительный. Старшине и в голову не может прийти, что командир роты балуется стишками. И слава богу! Лишь бы в него верили, а там пусть считают и сухарем и службистом — оно и лучше: и командовать и воевать легче.

«Так что уж в другой раз, — решил Кравцов. — А будет ли этот другой раз? Неужто будет, и они вместе с этим летчиком встретятся, скажем, у Почтамта на Кировской, захватят бутылку вина, и пойдут к старику, и будут пить чай и вино за круглым ореховым столиком, и говорить, и читать стихи...»

— На войне загадывать нельзя, — сказал Кравцов, обращаясь к Борису, — а все же давайте рискнем. Чтобы мы встретились после войны у Алексея Ксенофонтовича. За это и выпьем!

Что-то мелькнуло в глазах Кравцова — такое, что у Бориса сжалось сердце. Он молча поднял свой стакан, чокнулся, выпил одним духом. «Хочу, чтобы ты остался жив. Чтобы ты остался жив, — произнес про себя Борис. Он почувствовал, как между ними протянулась нить. — Это Романовский, старче Алексей, божий человек, это он связал нас. И нас и то, что было, с тем, что есть и будет», — подумал Борис.

Странно, но ему вспомнилось, как они всем классом вместе с Алексеем Ксенофонтовичем ходили в Большой театр на «Пиковую даму» и старче угощал их пирожными, а Борису не досталось, он постеснялся сказать, и они с Риммой ели одно пирожное, и дурили, и затеяли такую игру — кто откусит меньший кусочек. Ерунда какая-то, но сейчас почему-то вспомнилось ему именно это.

— Значит, после войны у Ксенофонтовича? — повторил Димка, как всегда, на свой манер. — Возражений не имеется? Принято единогласно.

Кравцов нахмурился. Этот парень ведет себя слишком развязно. Впрочем, может, и к лучшему. Разрядить обстановку не мешает, а то он совсем расчувствовался, так и подмывает поговорить с этим летчиком по душам, рассказать о себе, о детдоме, о том, что значит в его жизни Алексей Ксенофонтович Романовский. А это ни к чему — только себя разбередишь понапрасну, да еще, чего доброго, жалеть себя начнешь. А на войне это последнее дело. На войне, чтобы воевать, все силы нужны — все, без остатка.

Старшина почувствовал перемену в настроении командира и

понял это по-своему: дескать, пора закругляться. Он-то хорошо знал, что на сегодня у командира дел невпроворот.

Деликатно кашлянув, чтобы привлечь внимание, старшина обратился к Кравцову:

— А где, товарищ старший лейтенант, будем размещать товарищей летчиков?

— Сам знаешь, Василий Андронович. Смотри только, чтобы свободно было, чтобы могли отдохнуть хорошенько. И недалеко.

Борис и за ним Димка поднялись. Кравцов их не задерживал, дел у него действительно было невпроворот.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, за хлеб-соль, — сказал Борис.

— Ну уж, — развел руками Кравцов, — это вам спасибо. Правда, правда... — Он хотел сказать — Москве поклонитесь, но вовремя удержался и усмехнулся этой своей шальной мысли: ребята ведь отправляются туда же, где очень скоро будет и он, — на передний край. И неизвестно, кому из них первому доведется увидеть Москву, да и вообще, доведется ли...

— Как бы нам теперь домой добраться? — словно размышляя вслух, сказал Борис. Чем черт не шутит, вдруг командир роты подкинет машину?

— В вашу часть мы сообщим, — ответил Кравцов (ясно, машины не будет), — так что не беспокойтесь.

— Приедут. Никуда не денутся, — заметил Димка откуда-то из угла комнаты, где он натягивал комбинезон. — Николай видел, как мы сели. За сопровождающих мотоциклистов не отвечаю, а полуторка, на которой баллоны с воздухом возят, прибудет. Это уж точно. Как пить дать.

— Тогда... — Борис помедлил, — до Москвы, до встречи в Кривоколенном!

Кравцов молча пожал руку Бориса, и опять в его глазах мелькнуло то самое ускользающее выражение, от которого становится не по себе.

— Значит, до завтра, — повторил Борис и пошел к дверям.

Яркое бело-розовое солнце брызнуло им в глаза, когда они оказались на улице. Надо было остановиться, чтобы после помещения привыкнуть к блеску снега и ослепительному сиянию воздуха.

— Господи боже, благодать-то какая, — проговорил старшина, вздохнув полной грудью.

Димка усмехнулся. Ему, городскому человеку, смысл этих церковных словечек был непонятен.

— Поповщина. Темнота и невежество, — процедил он сквозь зубы, но так, впрочем, чтобы старшина не услышал. «Не мешало бы поддеть его («Один мой знакомый архиерей, большой любитель до этого дела...»), но не будем. Пусть живет. Мужик он вроде свойский».

— Есть тут недалеко свободная хата, — заговорил старшина, когда они тронулись. — Паненка живет. Одна-одинешенька. Мужика своего ждет не дождется. Больно просила не занимать на

постой. Устала, говорит, от войны. От нашего брата отбиваться. Ну я и вошел в положение. Обещался без крайности — никого. А тут крайность. Больше идти вам некуда. Чтобы и свободно и от командира недалеко.

— Не боись, старшина, не обидим твою паненку, — многозначительно произнес Димка, подмигнув Борису.

Борис, занятый своими мыслями, не обратил на это внимания. Не шел у него из головы Кравцов — видно, он что-то хотел сказать, да раздумал или не решился. Многое поднялось в душе, когда вспомнили Москву... Потянулись друг к другу, а вот воли себе не дали. Может, и зря. Кто знает, придется ли еще свидеться.

Шли они, кажется, недолго, минут пятнадцать. На углу улицы старшина остановился. За оградой в глубине дворика из-за сугробов, подступивших к самым окнам, виднелся низенький домик. Почти у самой калитки высилось большое раскидистое дерево, ствол которого метрах в двух от земли расходился надвое. Снег белой высокой шапкой накрыл макушку дерева, но не смог удержаться на широко расставленных во все стороны черных ветвях в середине ствола, тускло поблескивающих на солнце легкой изморозью.

Дом был угловой. Здесь кончалась улица, по которой они шли, а другая почти под прямым углом поднималась вверх.

— Подождите покуда, — сказал старшина и толкнул калитку.

Борис огляделся. Кругом было бело. Сразу за домом начиналось поле, метрах в трехстах обрываясь у леса. Похоже, они находились у самой окраины села и поле было то самое. Вблизи все так сверкало, что трудно было смотреть, но чуть подальше белизна гасла и снег становился матовым, с синеватым отливом. Эта часть поля, наверно, попадала в тень леса. Такие длинные расплывающиеся тени бывают во второй половине дня. Они хорошо видны с воздуха.

Только сейчас Борис подумал о времени — с тех пор, как они сели, прошло часа три. Может, и машина за ними выехала. Он все никак не мог надышаться этим воздухом — чистым, холодным, с колющим горло морозцем. Борис прикрыл глаза и будто снова почувствовал, как их тряхнуло, как зашуршал снег под фюзеляжем и как с треском, подпрыгивая и покачиваясь, самолет неудержимо несся к лесу и он уже хорошо видел прямо перед собой темные стволы низких раскидистых елей... И ему захотелось посмотреть на свою «пятерку» — сейчас показалось странным, что она там, где-то в поле, отдельно от него, и что э т о прошло, кончилось и они с Димкой живы. Целы. Живы.

Он пошел от дома, с удовольствием ощущая под ногами упругий поскрипывающий снежок. Поднявшись по дороге, что вела в деревню, остановился. Отсюда было хорошо видно все ослепительно белое поле, чуть синеющее ближе к лесу. Вглядевшись, Борис заметил неровную прерывистую полосу. Хвост «пятерки» торчал из снега в конце этой полосы, у самых деревьев.

Теперь Борис сразу представил себе, где они, будто увидел все это с воздуха: справа деревню, слева лес и этот белый клочок, зажатый между ними, — спасение, если удастся сесть. А мотор уже заглох, но он успел на снижении довернуть, чтобы сесть по диагонали, — лес косо надвинулся на него так близко, что Борис отчетливо увидел ветви на деревьях. Почти у самой земли удалось выровнять самолет. Потом толчок, и треск, и еще толчок чуть слабее, и шуршание, и снег, и деревья — и вдруг тишина...

Борис не заметил, как т а тишина перешла в эту, а он стоит запрокинув голову, и его охватывает то знакомое с детства ощущение, которое приходит, когда долго смотришь в небо и кажется, что ты становишься маленьким, все меньше и меньше и небо притягивает тебя...

— Эй, товарищ лейтенант, где ты там? — кричал Щепов.

Борис оглянулся. Димка стоял у дома и махал ему рукой. Борису не хотелось уходить. Кругом все сверкало, искрилось и было так тихо. Совсем тихо, ни ветерка. Низенькие, приземистые домишки, разбросанные по склону, темнели на снегу. Кое-где над крышами поднимался голубоватый дымок. А над всем — и полем, и деревней, и войной — стояло высокое, без конца и края небо... «Когда же это кончится — огонь, смерть?..» — подумал Борис, и у него резануло сердце, будто копившаяся изо дня в день усталость всей своей тяжестью навалилась на него. Боль резанула и исчезла, но тяжесть уходила медленно, растекаясь по всему телу. Чуть кружилась голова, в ушах возник далекий легкий звон. Такое бывало, когда вылеты шли один за другим, и Борис знал, что скоро это пройдет.

Димка, видно потеряв терпение, уже шел к нему, размахивая руками, — где он успел набраться? Вздохнув, Борис двинулся ему навстречу.

— Вы что, товарищ лейтенант, местность изучаете или просто так, природой любуетесь? — поинтересовался Димка, остановившись, однако, на положенной по уставу дистанции от командира.

Когда ему случалось перебрать незаметно от Бориса, он чувствовал некоторое угрызение совести, переходил на «вы», «товарищ лейтенант» и вообще всячески старался подчеркнуть, что он не лыком шит и службу знает не хуже других.

— Природой любуюсь, как видите, — в тон ему ответил Борис. — Что же касается вас, товарищ старший сержант, то вы, сдается мне, на такие пустяки время не тратили.

— Это уж точно, — охотно согласился Димка. — Пока вы местностью любовались, я земляка обнаружил.

— У тебя земляки и в джунглях найдутся.

— Точно. Туляк туляка видит издалека. Туляк, он как гвоздь — куда войдет, оттуда и выйдет, — изрек Димка. Его желтые, с золотым отливом глаза, еще более рыжие, чем он сам, масленисто и довольно поблескивали; веснушчатая даже зимой физиономия слегка порозовела; шлемофон был сдвинут на затылок, комбинезон расстегнут чуть ли не до пояса. Димка

так и сиял благодушной лихостью. В такие минуты на него нападал стих разглагольствования, службистское рвение довольно-таки быстро испарялось и в обращении к своему командиру явно проявлялся тон дружеского превосходства, который обычно Димка старался не выказывать.

Бывший «фабзаяц», потом токарь-расточник, порядочно потершийся в рабочей среде, он вообще считал себя человеком многоопытным, которому сам бог велел покровительствовать своему лейтенанту. И хотя Борис был моложе всего лишь на год, но что он мог понимать в жизни, что видел, кроме своих книжек? Десятилетка, один курс института, аэроклуб, летная школа — откуда ему, салаге, знать, какая она, жизнь, на вкус?

— Порядок дня такой, — говорил Димка, стараясь попасть в ногу с командиром, — обед, ну, конечно, как положено по норме, боевые сто грамм...

— Свою норму ты уже перевыполнил.

— Точно. Я всегда нормы перевыполнял. Что на заводе, на гражданке, что здесь, в боевых условиях. На том стоим.

Борис промолчал, и Димка продолжал разглагольствовать:

— Далее краткий отдых. Знакомство с населением. Если будут вопросы насчет обстановки и текущего момента, разъясним. Все как положено. Отбой без расписания...

— Без расписания... Пришлют машину, а тебя ищи-свищи...

— Не пришлют, товарищ лейтенант. Кому охота на ночь глядя ехать? Командованию что главное? Знать, что мы живы и здоровы и готовы к выполнению любых боевых заданий. Командование, оно свое дело туго понимает. Так что, товарищ лейтенант, ждите машину завтра к утру...

Когда они подошли к ограде, старшина уже ждал.

— Идите в хату, товарищи летчики, — сказал он. — Хозяйка сейчас печь затопит. Здесь и заночуете. Ужин пришлю. А коли что, дам знать.

— Родина тебя не забудет, старшина, — покровительственно произнес Димка и осекся, опять встретив, как ему показалось, насмешливо-жестковатый взгляд старшины. «Ну и черт с рогами, уж и пошутить нельзя! Тоже мне генерал-самозванец от инфантерии выискался. Как зыркнул! Еще по команде «смирно» поставит». И уже совсем другим тоном, каким он удостаивал разве что старших командиров, Димка добавил: — Разделите компанию, товарищ старшина. Не пожалеете. Тут кое-что имеется, — хлопнул он по карману комбинезона.

Старшина, не выказав ни малейшего удивления по поводу непостижимой расторопности воздушного стрелка (он, кажется, понял, что от этого парня всего можно ожидать), отрицательно покачал головой:

— Уж извините. Недосуг мне. — Чуть помедлив, прибавил: — Ну, отдыхайте. Желаю здравствовать. — И, приложив руку к новенькой ушанке, зашагал прочь.

— Сурьезный дядя, — пробормотал Димка.

Борис первым пошел по узенькой, расчищенной от снега до-

рожке, ведущей к дому. Перед дверью остановились. Борис помедлил немного и постучал. Никто не отозвался. Димка дернул дверь. Она была открыта. Переступив порог, Борис и Димка оказались в полутемных сенцах.

Глава третья

— Проше, панове, входите, — послышался женский голос, и тотчас открылась вторая дверь.

Хозяйку они увидели, когда вошли в просторную и светлую комнату. Она стояла, все еще держась за ручку двери. Димка учтиво поклонился, и это было все, на что он оказался способен. Борис удивился, но, встретившись взглядом с глазами хозяйки, и сам не нашелся что сказать. Это произошло секундой позже, а в первый момент он не разглядел ее лица, так как солнечный луч из окна падал ему прямо в глаза.

— Дзень добрый, панове, — снова заговорила она. — Я смотрела, как вы падали, убивались, и так за вас перепугалась! Матко боска! Это было очень страшно. Но все кончилось хорошо... Мне на имя Анна...

— Дзень добрый, ясновельможная пани Анна. — Димка наконец обрел дар речи. — Меня зовут Дмитрий. — Он снова поклонился и бросил на Бориса победный взгляд: вот, мол, что значит общение с местным населением.

Она рассмеялась:

— О нет! Я совсем не ясновельможная. Не госпожа. Я простая учительница. Мой муж был звёнзковы актывиста *. И... воевал за Польшу... — Она слегка запнулась, но не сказала «погиб», сказала «воевал».

«Надеется, что вернется, — подумал Димка, — наверно, получила плохую весть, да не верит. Не хочет верить. Надеется».

— Я простая учительница, — повторила хозяйка. — Не госпожа, не ясновельможная. — Она улыбнулась. Сейчас она была хозяйкой, ее горести, заботы никого не касались.

Борис назвал себя и чуть пожал протянутую руку. Удивительно, непонятно отчего в памяти всплыло: «И в кольцах узкая рука...» Там, у Блока, еще упругие шелка и шляпа с траурными перьями...

Рука была действительно узкая, с обручальным кольцом, но не было никаких шелков и траурных перьев, а было старое, сильно изношенное синее платье, и серый, накинутый на плечи платок, и обыкновенное лицо, или нет, милое лицо, и перехваченные синей косынкой темные волосы, худая нежная шея, и не то серые, не то серо-синие глаза, и еще что-то такое в улыбке, в голосе, отчего Димка не сразу обрел дар речи, а Борис не нашелся что сказать.

Тяжесть, которая навалилась на него, когда он остался один,

---

* Профсоюзный активист.

медленно уходила. Они с Димкой живы — вот что! Словно только сейчас, увидев эту женщину, Борис по-настоящему понял, из какой передряги они вырвались. Чудом. А ведь вырвались! Значит — им жить! И эта пани, встретившая их на пороге, была из той, предстоявшей им жизни — как ее обещание...

Заметила ли она, как смутился этот высокий худой лейтенант, молча пожавший ее руку? Кажется, да. И это было неожиданно: Анна давно уже отвыкла от того, чтобы мужчины смущались от ее взгляда, улыбки, от ее слов.

Для местных, большей частью пожилых крестьян она была учительница, своя и не совсем своя — пани учительница, приехавшая из города с мужем накануне войны; для связных из леса — человек, которому можно доверять; те же немцы из бауэров и полевой жандармерии, кому она нравилась, разумеется, не собирались этого скрывать (какое уж там смущение!), а, наоборот, старались получить то, чего хотели, как можно скорее. Лучше всего сразу же, немедленно. Война приучила их не церемониться. Чтобы противостоять этому, Анне пришлось мобилизовать все силы, всю волю без остатка. Она развила в себе дьявольскую проницательность, научилась змеиной хитрости. И вот эта проницательность сказала ей, что у молодого русского летчика не было (и не могло быть!) в мыслях ничего дурного. Ему стало неловко, потому что он вошел в дом к молодой женщине, это ведь так понятно. Он смутился, встретив ее взгляд, как это бывало в те далекие, немыслимо далекие времена, когда, знакомясь с женщиной, мужчины могли бледнеть и не находить слов от волнения. Матко боска, что война делает с людьми — самые естественные человеческие проявления кажутся подозрительными!

И все же Анна не позволила себе размагнититься, размякнуть, как ни симпатичны были ей эти русские летчики: она жила одна и еще шла война.

И — Анджей... Почему она подумала о нем именно сейчас, в эту минуту?

Ну да — эти жолнеже* ее гости. И отныне лишь друзья будут переступать порог ее дома. И люди перестанут бояться друг друга. Вот и начинается жизнь, о которой они мечтали с Анджеем. Только он не придет. Он убит. Верный человек передал. Но кто сказал, сам не видел. И она не поверила. И полгода ждала хотя бы весточки от Анджея. А сейчас Войско Польское воюет здесь, в Польше. Был бы жив, дал бы знать о себе.

Но мало ли как бывает — еще идет война. И нельзя распускаться. Как бы там ни было, а распускаться нельзя.

Так она говорила себе, но опасность появляется там, где ее не ждешь. Опасность или скорей ее предчувствие возникло в ней самой. Тонкой иголочкой кольнуло в самое сердце, когда этот летчик, похожий на студента, пожав ее руку, смутился и опустил глаза. Потом он поспешно сдернул с головы шлем и попы-

---

* Солдаты.

тался пригладить коротко остриженные темные волосы. Иголочка была тонкая — кольнуло и прошло. Анна вздохнула с облегчением и поспешила на помощь своим слегка растерявшимся гостям:

— Проше, снимайте ваши рыцарские доспехи, садитесь, отдыхайте. — Она опять почувствовала себя привычно собранной. Ей стало легко, кажется, легче, свободнее, чем обычно, но теперь это ощущение не настораживало — оно нравилось ей.

Анна даже подумала о себе в третьем лице и как бы представила себя со стороны: конечно, платье и весь наряд были не бог весть какие, но не в этом дело... Не в этом, а в том давно забытом ощущении своей силы, которое появилось в ней. Теперь все будет получаться, ладиться — все, что бы она ни затеяла.

— Где прикажете располагаться, пани Анна? — спросил Димка. Он сбросил свой меховой комбинезон, а Борис куртку.

Комната была чистой и светлой — такой чистой, что страшно входить. Напротив двери под окнами стояла широкая лавка и длинный стол из темного дерева, в углу шкаф с посудой, справа у стены деревянный диванчик, на крашеном полу чистый половик. В левой половине дома, куда вела полуоткрытая дверь, были еще комнаты, одна или две, и, вероятно, печь и кухня.

Анна усадила их на диванчик и вышла, прикрыв за собой эту дверь, которая действительно вела на кухню, так как оттуда послышалось звяканье посуды. Через несколько минут она вернулась.

— Я хочу угостить вас чаем, панове, — слегка запинаясь, сказала она, — я вам сделаю такой очень крепкий чай...

Димка сразу смекнул, что хозяйке нечем их угостить, и попросил ясновельможную пани не беспокоиться — им ничего не нужно, они только из-за стола.

— Дело в том, — прибавил он, — что в честь нашего прибытия командир местного гарнизона дал банкет на сто три персоны. Командир, мы двое и еще сто человек для ровного счета. Сами понимаете, пани Анна, не хотелось его обижать, пришлось отведать всего понемногу.

— Я вам сочувствую, — Анна сделала грустное лицо, — когда много блюд, очень трудно выбрать. Как это... расходятся глаза во все стороны.

— Совершенно верно, — подтвердил Димка. — Точно так с нами и произошло. Положение хуже губернаторского.

Он продолжал болтать, упорно называя Анну ясновельможной пани. Она делала вид, что сердится, то хмурилась, то отвечала улыбкой, вроде бы смущенной, а на самом деле лукавой.

Вообще у нее с Димкой как-то сразу установились дружеские отношения, даже заговорщицки-дружеские, словно они заключили тайный союз. Видимо, возникло что-то, объединившее их. Хотя это могло и показаться. Во всяком случае, Борису оставалось только — в который уж раз — удивляться Димкиной неотразимости.

Посмеиваясь, Борис слушал его болтовню. Сам он больше помалкивал и старался не встречаться взглядом с ясновельможной пани Анной. Когда она выходила из комнаты, Борис откидывался на спинку диванчика, закрывал глаза — и сразу вставало перед ним лицо Кравцова с тем непонятным ускользающим выражением, от которого сжимается сердце. Встретятся ли они в Кривоколенном? Ох и длинная же дорога вела в Москву, в Кривоколенный — через Одер, через Берлин!

Подумав об этом, Борис представил ее себе — запруженную войсками, без конца и начала, уходящую за дымный горизонт, Борис увидел эту дорогу с воздуха: она изгибалась, поднималась в гору, спускалась в лог, упиралась в переправу, в дым, в огонь, кипящую воду, а на другом берегу танки ползли вверх, и за ними бежали люди, и черная земля взрывалась у них под ногами. Борис не смог бы сказать, где и когда это было, но вся дорога, как бы составленная из разных кусков многих дорог, сейчас ясно представилась ему.

— Пан офицер устал?

Борис открыл глаза и увидел близко от себя лицо Анны. Чуть склонясь, она протягивала ему блюдце с чашкой дымящегося ароматнейшего чая. Он взял чай, обжигаясь, отхлебнул, пробормотал: «Спасибо, большое спасибо...» — снова торопясь сделал глоток. Он чувствовал себя как школьник — не знал, что сказать, а молчать было и того хуже.

Анна улыбнулась, и так хорошо, будто смущение Бориса доставило ей удовольствие.

— Чай горячий. Очень горячий, — сказала она. — И у нас много, много времени.

— Чего торопиться, — поддержал ее Димка, — чай не водка, много не выпьешь...

Лицо Анны уже отодвинулось далеко-далеко — она стояла у стола и что-то выкладывала из небольшой банки. Когда по ее настойчивому приглашению с чашками чая в руках они подошли к столу, то увидели, что это была почти пустая банка, на донышке которой оставалось еще немного меда. Ясно, мед этот хранился для особых случаев. Теперь в красивой вазочке он был подан к чаю.

И Борис и Димка почувствовали, как мягко замкнулся тихий теплый круг. Будто кто-то наколдовал. Там, за чертой этого круга, бушевала война, стыли занесенные снегом ее мертвые пространства, а здесь, внутри маленького круга, совсем маленького, вроде светлого пятна, который отбрасывает лампа под абажуром на стол, было так хорошо, так уютно, тепло, что боязно двинуться — как бы не развеялись чары. Но оба понимали: ничего не исчезнет, не развеется, пока ходит по комнате, говорит, улыбается эта женщина, их хозяйка, пани Анна, потому что все от нее — и покой, и тепло, и тишина.

Они пили чай с медом, и брали мед понемножку чайными ложечками, и вели с пани Анной чинную беседу. Как всегда, инициативой владел Димка. Анна ему помогала, и Борису оста-

валось слушать, поддакивать. Иногда ему казалось, что в некоторых фразах, сказанных Анной, содержится потаенный смысл, но пока он пытался понять его и обдумывал ответ, разговор переходил на другое, и опять приходилось помалкивать.

Борис не смотрел на Анну, но видел ее каким-то особым зрением — как она выходила из-за стола, улыбнувшись ему, будто спрашивала разрешения, и шла к двери, ведущей на кухню, исчезала там, потом появлялась и садилась напротив.

«Что это я? — подумал про себя Борис. — Что со мной? Чертовщина какая-то. — Он попробовал посмеяться над собой: — «Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой...» — Но досказать строчку не успел, потому что как раз в этот момент Анна вошла. Борис не увидел ее (Димка, сидевший ближе к двери, наклонился к столу и заслонил от него эту часть комнаты), не увидел, но почувствовал, что она вошла, по тому волнению, которое охватило его.

Анна принесла чайник со свежезаваренным чаем и теперь, придерживая крышечку чайника пальцами левой руки, наливала по второй чашке — сначала Димке, потом Борису.

Было так хорошо смотреть, как она это делает, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. И Борису представилось, что все это происходит в Москве, на Кировской, в их комнате, и за столом сидят мама и отец, конечно, он сам с Димкой и Анна разливает им чай, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. Если бы так было! Сердце его сжалось: не будет этого, никогда не будет. «Так вот я о чем, — с удивлением отметил про себя Борис, — как же это началось?»

Может, с той минуты, когда он думал о Кравцове, и вдруг услышал голос Анны («Пан офицер устал?»), и увидел близко от себя, а потом далеко-далеко ее лицо, и возникло это чувство, будто он знает Анну давно, очень давно, и они потерялись, а сейчас он нашел ее и теперь самое главное — снова не потерять ее.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился солдат. Шапка, плечи и воротник шинели, как и два узких, чуть изогнутых алюминиевых котелка, которые он держал в левой руке, были в снегу.

— Ужин вам. Старшина прислал, — сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Что на дворе, — спросил Димка, принимая котелки, — буран?

— Да буран не буран, а так, метет помаленьку.

— Метет, значит?

— Вроде того.

— Понятно, — глубокомысленно протянул Димка. — Ничего не попишешь — полеты придется отменить. Можете отдыхать, товарищ лейтенант. А старшине передай благодарность от лица службы.

— Есть, — ответил солдат, слегка озадаченный тем, как стар-

ший сержант распоряжается лейтенантом. Поди разберись, кто у них, у летчиков, главный. — Старшина велел передать, — сказал он, обращаясь к Димке, — что завтра в семь ноль-ноль придет машина.

— Ясно, — вздохнул Димка.

— Разрешите идти?

— Иди, иди. Гуляй.

Солдат повернулся и шагнул за порог, а Димка остановился у двери, где висел его комбинезон. Вернулся к столу, помахивая бутылкой:

— Земляки не дадут пропасть! Со свиданием да с расставанием.

— Пан, как это... фокусник! — улыбнулась Анна.

— Сам знаменитый Кио, главный маг и волшебник нашей эпохи, приходил консультироваться. Ну, я — пожалуйста. В свободное от работы время. Почему не помочь человеку?

Борис не успел оглянуться, как Димка с Анной накрыли на стол. И каша с мясом дымилась в тарелках, и водка была налита в рюмки.

Димка сделался серьезным. Он всегда становился серьезным, когда хотел предложить тост. Как будто верил в магическую силу слов, произнесенных как заклинание. Верил не верил, а все легче на душе, когда скажешь: вернее сбудется.

— Чтобы живы были. Ты, Борис, и все мы. — Димка залпом выпил свою рюмку и поставил ее на стол.

Анна поняла: это означало, что пили они за победу и за то, чтобы увидеть ее и узнать, какая она, победа. Чтобы дожить до победы. Неожиданно для себя Анна выпила всю водку до конца, до самого донышка, и не почувствовала опьянения — только теплее стало. Теплее — и легче, проще. Она уж и забыла, когда последний раз пила вот так сразу, без оглядки. «Что-то слишком разошлась», — промелькнуло у нее. Ну и пусть. Так и надо — поднять голову и ничего не бояться. И почувствовать себя женщиной, и не убивать ее в себе.

Дмитрий. Борис. Они и не подозревают, как помогли ей. Ведь уже началась другая, новая жизнь, а она не может отрешиться от старого — настороженности, страхов. Ничего не надо бояться. И себя тоже.

Анна подняла глаза на лейтенанта. Она была готова встретиться с ним взглядом. Что скажут его глаза? О нем самом. О том, что у него на душе. Но теперь, когда Анна сидела напротив, так близко, Борис почувствовал необъяснимую робость: не смел даже краешком глаза взглянуть на нее.

Анна неожиданно рассмеялась:

— Панове настоящие рыцари... — Она смолкла, потом тихо сказала: — Так направде... Я хотела, — снова начала Анна, — пожелать панам большого счастья... Чтобы их дождались...

— Спасибо, пани Анна. Спасибо, — сказал Борис, протягивая через стол свою рюмку, чтобы чокнуться с ней.

Он поднял глаза — и пропала вся робость. Удивительно, не-

понятно отчего. Будто кто-то сорвал с него путы, которые сковывали его, и сразу стало легко, и он ощутил свою силу. Пусть она все поймет. Узнает его мысли. Все, в чем он и сам еще не разобрался.

Но взгляд Анны скользнул куда-то мимо него. Нет, глаза их встретились, и Борис почувствовал, что она поняла и испугалась...

— Панове, проше... — сказала Анна. — Когда пьют вино, надо немного поесть.

На ее лице не было и тени испуга. Она говорила спокойно, и улыбка была спокойная, легкая, одинаковая и для Бориса и для Димки. «Неужели показалось? — подумал Борис. — И ничего она не узнала и не поняла?»

Димка, на этот раз молча выпивший свою рюмку, притихший, сказал:

— В самую точку попали вы, пани Анна. А я так скажу: кто ждет, тот дождется. — Он снова замолчал и потянулся за кисетом, лежавшим на столе.

— Проше, курите, курите, — поспешно проговорила Анна. — Я не боюсь дыма.

Борис, хорошо знающий Димку, с удивлением наблюдал за ним: сворачивая цигарку по всем правилам искусства и стараясь делать это как можно медленнее, Димка заметно волновался. Пальцы его чуть дрожали, и он никак не мог разровнять махорку на бумажке, чтобы цигарка как бы сама собой свернулась и заклеилась. А Димка был великий мастер на эти фокусы. Наконец он добился своего, зажег цигарку, затянулся.

— Кто ждет, тот дождется... — повторил он. — А если ты понять не можешь, ждут тебя или нет? Что тогда?

Димка сказал это, ни к кому не обращаясь, но Анна женским чутьем своим угадала, что он хочет услышать ответ именно от нее. Кто знает, возможно, она оказалась той единственной женщиной, с которой вот так — за столом и тихим дружеским разговором — судьба свела Дмитрия на дорогах войны?

Анна много пережила и о многом передумала за эти страшные годы, и она поняла: в жизни человека наступает такой момент, когда ему необходимо, чтобы его выслушали. Иногда просто выслушали. А иногда помогли развеять сомнения, укрепить надежду. И так уж устроены люди: мужчине легче довериться женщине, и притом незнакомой.

— Она пана ждет, — произнесла Анна, смотря на Димку. — То правда. Я немножко колдунья. — Она улыбнулась.

«Колдунья. Конечно, колдунья, — подумал Борис, — вот и Димка: он и мне не говорил такого».

А Димка ждал, что еще скажет Анна. Он забыл затянуться, и цигарка его погасла. Он ловил каждое ее слово — и верил, потому что очень хотел верить. И Анна очень хотела, чтобы так все и было. Она не думала над тем, как говорить, слова возникали сами собой:

— До войны она никого не любила. Только себя, свою гор-

дость. Она очень красивая. Для чего ей любить, когда все кругом ее любят?

— Точно! — вырвалось у Димки. — Все точно!

— А теперь не так... — Анна покачала головой. — Нет... Теперь она полюбила и узнала, что женщина несчастлива, когда сама не любит... — Анна замолчала, словно и забыла, что ее слушают. Длилось это недолго, может быть, полминуты или минуту.

Взглянув на Димку, Анна поняла, что он нетерпеливо ждет. Она улыбнулась виновато и грустно одновременно. Вздохнула:

— В эту войну люди много поняли, и про любовь тоже... Что надо ее сберегать... И паненка дождется вас...

— Вы и вправду колдунья, пани Анна, — тихо (и Борису показалось — со страхом) проговорил Димка. — Все знаете... Вот... — Он оборвал себя, видно, собирался что-то прибавить, но не решался. — Все знаете... — после короткой паузы повторил он.

Анна подняла на Димку глаза, как бы поощряя его выговориться до конца. Но Димка молчал — куда делась его прыть? Сказать-то ему хотелось, да что-то мешало. Ладно. Пусть набирается храбрости. Борис знал по себе, так бывает — сразу не скажешь, а потом уж трудно.

— Пани Анна... — Борис остановился. Он почувствовал, как забилось сердце. Ему захотелось еще раз повторить это имя, произнести его вслух. Пани Анна. Пани Анна. Он с трудом сдержался. — А какие предметы вы преподавали здесь в школе?

Анна не заметила, как дрогнул его голос, или сделала вид, что не заметила. Она весело рассмеялась:

— О, пан был бы очень хороший дипломат! Хороший летчик и хороший дипломат? Так не бывает. Пан хороший летчик, так?

— Возможно, есть и получше, — заметил Димка, — но лично я не встречал.

— Так я и думала. У меня был риторический вопрос. — Теперь она открыто улыбнулась Борису. — Так... А преподаю я польский язык и польскую литературу, и еще историю, а еще географию, если нужно. У нас в деревне не хватало учителей.

— А еще магию. Черную и белую. Всех цветов радуги. — Димка уже справился с замешательством. — Так вот... — Он остановился, набрал воздуху, словно собираясь нырнуть. — Так вот... Как коллеге, другу Кио: вы это серьезно про мою девушку? (Ага, набрался все-таки храбрости!) Что она любит. И что ждет. Серьезно или так, для утешения? Пусть, мол, солдат спокойно воюет, а там, после войны, разберемся, любит или не любит. Скажите, пани Анна... Только правду. Как есть. Вы мне, а я никому. Не бойтесь, меня с копыт не собьешь. Туляк, он как гвоздь: куда вошел, оттуда и вышел. — Для вящей убедительности Димка подкрепил свою любимую присказку лихим жестом.

Анна ничего не поняла про копыта, про туляка и про гвоздь и решила, что это какая-то шутка, основанная на игре слов, но

она видела Димкины глаза — они не смеялись и не шутили. Они требовали ответа. Честного и прямого. Только правду. Чистую правду. И Анна сказала:

— Я не утешаю. Это так. — Лицо ее застыло, как у прорицательницы. — Она любит пана. И больше пан не должен спрашивать.

Анна замолчала. По тому, как она побледнела, Борис почувствовал, какого напряжения стоили ей эти слова. Она заставила поверить в них себя потому, что хотела, чтобы поверили ей. И сделала это ради человека, которого видела в первый и, может быть, последний раз в своей жизни. Удивляться тут нечему — она поступила как медсестра, перевязывающая раны тому, кто в этом нуждается. Удивительно, что у нее хватило сил.

«У тебя худые руки, длинные пальцы, и худая нежная шея, и большие не то серые, не то синие глаза. А ты такая сильная». И опять Борису пришлось сделать над собой усилие, чтобы не произнести ее имя вслух, — мысленно он все повторял его на все лады, со всеми возможными оттенками: Анна, Аня, пани Анна...

Димка сидел, прикрыв глаза рукой. Будто все еще вслушивался в звук ее голоса. Он, наверное, не заметил, что уже несколько минут длилось молчание.

Анна первая нарушила его:

— Тихий ангел пролетел...

— Знаете что, братцы, — заговорил Димка, — это, наверно, сон: Люся меня встречает (он первый раз назвал ее имя, и так, будто Анна и Борис давно его знают), тихо подходит поезд, народу на перроне тьма, а я вижу из окошка вагона, как она стоит с цветами, ищет глазами меня и переживает... Понимаете, я — самый обыкновенный. Парень — как все. Ну, повоевал. А она... Гордая, и душа широкая — все поймет, все сделает, чтобы выручить. Если надо, последнее отдаст... Да что там — второй такой на целом свете не сыщешь! — Димка неожиданно оборвал себя, будто опомнился, потом взял свою цигарку, стряхнул пепел, попытался улыбнуться. Пробормотал: — Ну ладно... Такие, значит, дела... Поехали дальше...

— Пан счастливый, — сказала Анна. — Самый счастливый. Пан не должен искать, ходить по белому свету. — Она помолчала. — А пан Борис? Он тоже нашел свою невесту?

Димка усмехнулся:

— Еще не родилась такая царевна. — Понемногу он уже начал обретать свой обычный тон. — А, пан Борис? Верно я говорю?

— Верно, пан Дмитрий, верно.

— Бедный пан Борис! Мы его должны пожалеть. — Анна притворно-печально опустила глаза. — Пока царевна родится и вырастет, пан Борис сделается совсем старый. Вот с такой бородой. — Анна показала, какая длинная будет борода, до самого пояса.

Она шутила, так комично показывая, какая длинная, до са-

мого пояса, будет у него борода, и голос ее, когда она спросила, нашел ли он свою невесту, прозвучал легко и равнодушно, даже небрежно, — ей-то было все равно, нашел он или нет, она спросила из вежливости, просто так, чтобы заполнить паузу, дать возможность Димке прийти в себя. «Она хозяйка, — подумал Борис, — очень хорошая хозяйка, а мы ее гости. Вот и все». И ничего она не поняла тогда, встретив его взгляд, и не испугалась. А может, и поняла, но сделала вид, что не поняла, потому что ей все равно.

«А ты как хотел? — спросил себя Борис. — Пришел, увидел, победил? А собственно говоря, почему должно быть именно так? У нее своя жизнь, о которой ты ничего не знаешь. И знать тебе не дано. Разлука с мужем. Оккупация. А прошлое? Оно для тебя за семью печатями. Случайно тебя занесло в ее дом — на одну ночь. Что же из этого? Завтра тебя здесь не будет. Был — и нет. А может, и совсем не был. Сколько таких, как ты, стучалось в дверь этого дома, чтобы обогреться или выпить воды? Она даже и не пыталась скрыть, что ей все равно, нашел ты ее, свою царевну, или нет».

— Пан Борис загрустил? Я не обидела пана Бориса?

В голосе Анны послышалась тревога и такая теплота, будто она коснулась его теплой рукой. А самой стало зябко — она передернула плечами, закуталась в платок. Она больше не сказала ни слова и не улыбнулась и как-то вся сникла. Видно, ее силы и впрямь были на исходе. Борис почувствовал, как она устала. Бесконечно устала. От войны. Опасностей. От немцев. От ожидания. От нескончаемых одиноких ночей. От борьбы за то, чтобы сохранить себя. А сейчас наступил предел.

Конечно, такие минуты, когда кажется, что нет сил шевельнуться, пройдут. Борис это знал по себе. Но усталость останется. Удивительно, что он подумал об этом, что такое пришло ему в голову! Да нет — удивительнее другое: как он мог еще минуту назад сомневаться, что она узнала его мысли и все поняла, и предположить, что ей все равно, нашел он свою царевну или нет. У нее не хватило сил вести дальше игру, занимать своих гостей и казаться веселой, потому что она все поняла и не хотела ничего скрывать от него. Не хотела быть лучше — сильнее, увереннее в себе, красивей. Она должна была быть такой, какая есть.

Борис не представлял себе, что будет дальше, и не загадывал, но он знал — настанет минута, когда они смогут все сказать друг другу.

Анна нашла все-таки в себе силы улыбнуться:

— Простите меня, панове, что я такая скучная. Мне очень хорошо с вами. Вы как мои старые, старые друзья.

— Так есть, — торжественно провозгласил Димка, козыряя, как он считал, польским оборотом. — Эх, пани Анна! Неужели мы вот так, как чужие люди, разойдемся? Увезти бы вас — и дело с концом! А то ведь и на свадьбу не приедете.

— Приеду, пан Дмитрий. Обязательно приеду.

— Честное ясновельможное слово?

— Честное слово.

— Тогда за это самое...

Они выпили, и Димка налил еще по одной, по последней. Анна было запротестовала, но Димка успокоил ее:

— Мы вас не неволим, пани Анна. У нас демократия.

Эту последнюю рюмку они, разумеется, выпили за ясновельможную пани Анну, за Аннушку, за ее счастье, чтобы все у нее было хорошо и чтобы после войны им троим встретиться и в Москве, и в Туле, и в Варшаве.

Потом Анна опять уходила и приходила, убирала со стола, стелила чистую скатерть, зажгла лампу, принесла откуда-то для них с Димкой подушки, простыни, перины...

Что еще надо было ей сделать? Борис мысленно прикидывал. Ведь каждый ее шаг, каждое движение приближали ту минуту, когда они останутся вдвоем. Только они — и больше никого.

Борис смотрел, как Анна уходит, приходит, и отсчитывал время. Теперь время измерялось тем, что еще ей надо было сделать. Его охватило нетерпение. Он поднялся из-за стола, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Пойду подышу.

У двери остановился, накинул на плечи куртку, оглянулся — Анны в комнате не было, Димка сидел, подперев голову руками. Видно, последняя рюмка, которой в этот день предшествовало множество предпоследних, сделала свое дело.

Очутившись в темных холодных сенях, Борис остановился. Ему показалось, что слабо белеющее, расплывающееся пятно впереди — платок Анны. Он стоял, всматриваясь в это пятно, боясь шевельнуться, вздохнуть. Во рту стало сухо. Но никакого пятна уже не было — оно расплылось, исчезло. Вместо него в черноте заплясали зеленые искорки. В ушах возник далекий прерывистый звон, будто эти бесчисленные искорки, сталкиваясь и кувыркаясь, чуть слышно позванивали, и все звуки сливались в один тонкий и легкий гул, который накатывался обгоняющими друг друга волнами.

Борис закрыл глаза, а когда открыл их, искорки пропали, но пятно опять появилось. Он уже понял, что Анны здесь нет, но все еще не мог прийти в себя: сердце учащенно билось, как после долгого бега.

Пока он стоял так, успокаиваясь, глаза понемногу привыкли к темноте, и по очертаниям можно было догадаться, что смутно белеет какая-то одежда, висящая на стенке возле входной двери. Борис пошел вперед и действительно нащупал овчинный полушубок, а вероятнее всего, то был тулуп, необходимый в деревне, без которого в морозы, да еще на открытых санях, далеко не уедешь. Он толкнул дверь — и холод ударил ему в лицо.

На крыльце было светлее, чем в сенях. Кругом лежали сугробы, которые намело за эти несколько вечерних часов, и от них как бы исходило слабое свечение. Луна еще не взошла, и небо было матово-темное, мглистое.

Стояла тишина — глубокая, полная. Она окутала землю, разлилась по всей вселенной, остановила время.

Борис спустился с крыльца, запрокинул голову и увидел прямо над собой слабо мерцающую россыпь Млечного Пути, которая не имела ни начала, ни конца. Он закрыл глаза и почувствовал, что как бы перестает существовать и сам становится невесомой частичкой этой тишины, плывущей в вечность.

— Пан Борис не замерзнет? — услышал он.

Голос прозвучал совсем близко, и это был голос Анны, и опять Борис ощутил в нем теплоту, будто она коснулась его теплой рукой. И теперь рядом была Анна, живая Анна, а не призрак. И она хотела увести его в дом, потому что было морозно, а он стоял с непокрытой головой. Борис повернулся — лицо ее оказалось так близко, что он почувствовал ее дыхание, а потом плечи под своей рукой и всю ее, приникшую к нему.

* * *

— Чудно... У тебя была своя жизнь, совсем другая. Неизвестная мне. Если бы не война...

— Все равно бы ты нашел меня. Боже, благодарю тебя... Все снесу, все, только бы ты был со мной. У тебя сильные руки. Я знаю, ты все сберег для меня. Не бойся ничего, я вся твоя.

— Я тебя не отдам. Никому... Никогда...

— Не надо об этом. Сейчас не надо...

...Она уснула, приникнув лицом к его груди. Он лежал на спине, закинув руку за голову, и земля, тихо покачиваясь, куда-то плыла вместе с ним. Легкий ветер обвевал его, и облака таяли и опять возникали над ним так низко, что можно было дотянуться до них, стоило только поднять руку. Но ему не хотелось двигаться. Тело стало легким, таким легким, почти невесомым, что волны несли его, едва прикасаясь к нему. Они тихо поднимали его все выше, пока дрожащее бледное облако не надвинулось на лицо. Он открыл глаза и не сразу понял, что оказался в полосе лунного света.

Взошла полная луна, и вся комната наполнилась серебристо-голубоватым полумраком. Ее лицо было на его груди — кожей он чувствовал ее теплое дыхание, волосы закрывали шею, и ему стало страшно, что все это сон и стоит ему пошевелиться, как все исчезнет. «Ну, только не уходи, не исчезай. Сейчас я отодвинусь — чуть-чуть, и ты останешься. Я не сплю — разве во сне думают? Нас подбили, и мы дотянули до этой польской деревни. И старший лейтенант Кравцов тоже из Москвы. Мы с ним из одной школы — триста девятой. Ее зовут Анна. Анна. Анна. Ну, теперь можно: это уж точно, что не сплю».

Он тихо отодвинулся, совсем немного, потом еще немного, чтобы увидеть ее всю. Дрожащие лунные блики падали на нее, и тело ее словно струилось, готовое раствориться в этом ускольз-

зающем свете. Она была вся перед ним. Беззащитная и счастливая своей беззащитностью.

Впервые он видел женщину, так открывшуюся ему. Он смотрел на ее хрупкое плечо и чуть согнутую в локте руку, немного прикрывшую грудь, на ее вытянутые ноги — и никак не мог представить себе, что эта явившаяся из другого мира женщина и есть та самая Анна в старом платье и сером платке, которая смутила их своими синими глазами, красивая, может быть, непонятная, но все-таки обыкновенная женщина, из плоти и крови, похожая на других. Ведь и ее, как и других, захватила война, принесла горе, научила ненавидеть, подавлять страх, скрывать свои чувства. «Война и разлучит нас, — подумал он, — и ничего я не смогу сделать, чтобы удержать ее. Ничего».

Она проснулась от его взгляда, увидела его лицо, поняла его печаль и улыбнулась ему:

— Я долго спала?

— Нет. Совсем немного. Чуть-чуть.

— Не смотри на меня так, а то я заплачу.

— Все равно я тебя не отдам.

— Ты приснился мне — значит, не отдашь. Я увидела тебя из окна вагона. Ты пришел, чтобы встретить меня...

— Встретить?

— То мой любимый сон. Когда я была девочкой, ложась спать, твердила себе: приснись, приснись...

— И получалось?

— Мама крестила меня, гасила свет и уходила, а я закрывала глаза, дышать старалась тихо-тихо, и незаметно начинался сон — не то сон, не то грезы...

Он подождал немного и спросил:

— Тебе не страшно рассказать его?

— Немножко: ты узнаешь, какая я... Но я хочу, чтобы ты знал... Все мы, поляки, мечтатели. — Она замолчала, вздохнула, улыбнулась чему-то своему...

— Когда я поступила в педагогический институт, — продолжала она, — началась совсем другая жизнь. Часто на хлеб не хватало, но мы, студенты, не унывали... Собирались, спорили, читали вслух. Я познакомилась с Анджеем. Он брал меня с собой на рабочие собрания. Я многое поняла тогда и сама стала вести работу в профсоюзе железнодорожников. Мы с Анджеем начали изучать русский язык, мечтали приехать в Советский Союз... И детский сон мой снился все реже и реже. Но все равно — я любила его. За всю войну он ни разу не приснился, а теперь приснился... — Она опять замолчала.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и ему казалось, что она идет откуда-то издалека. Приближается, останавливается как бы в раздумье и снова идет. И ни слова, а ее голос говорил ему, когда шаги ее замедлялись и когда она останавливалась, а потом делала шаг, и еще один, и еще...

Борис слушал ее голос и ждал, когда она придет к нему. А ведь еще несколько минут назад, увидев, как она спала, без-

защитная и счастливая в своей беззащитности, он думал, что она вся открылась ему — вся, до самой последней капельки.

— Вот видишь, — улыбнулась Анна, — хочу рассказать сон, а получается про всю мою жизнь.

Это она остановилась. Сделала шаг и остановилась. Борис попробовал помочь ей:

— Доберемся и до сна, правда?

— Правда, правда...

Ей вдруг вспомнился отец — его худое, изможденное лицо с рыжеватой бородкой, глубоко запавшие глаза. «Прости меня, я загубил твою жизнь», — его прерывающийся голос, когда он говорил это матери. Бедный отец... Гордый, вспыльчивый, талантливый — и неудачливый во всем. Больше жизни он любил маму, мечтал о славе ради нее, а стал маленьким почтовым чиновником. До конца дней отец не мог смириться с этим и страдал от бессилия. Одна мысль, что он загубил мамину жизнь, могла свести его в могилу. Если бы Борис узнал его жизнь, он понял бы многое...

— Мы жили бедно, — сказала Анна. — Очень бедно, на пятом этаже, под самой крышей, в маленькой квартирке. У нас в передней всегда чуть-чуть пахло нафталином, потому что мама доставала из большого сундука, который стоял под вешалкой, разные вещи и перетряхивала их, а что-то откладывала и несла в заклад. Сундук этот достался нам в наследство от бабушки. Мне казалось, что он волшебный, без дна, — мама только и делала, что вынимала оттуда то шаль, то кружевную мантилью, вздыхала и уходила со свертком...

Анна представила себе эту переднюю, обклеенную синими обоями, висячую лампу с белым стеклянным абажуром, похожим на остроконечную китайскую шляпу, и слева от двери под вешалкой, в углублении, низенький и широкий сундук, покрытый старым ковром. И опять будто почувствовала этот слабый запах нафталина...

Может быть, тогда, в передней, когда она смотрела, как мама, вздыхая, что-то достает из сундука, перетряхивает и кладет в сумку, — может быть, тогда и зародилась ее смутная, еще неопределенная мечта или сон, который она сама себе придумала?

— Какая красивая была моя мама в молодости, — тихо произнесла Анна. — Стройная, легкая, пепельные волосы, синие глаза... А ее руки — чуткие, нервные... — Она опять замолчала.

— Эти руки и эти глаза... — Он начал целовать ее руки, едва прикасаясь к ним.

Анна подождала, пока не утих этот легкий ветерок, пробежавший над ними. Ее пальцы, успокаивая его, тихо скользнули по волосам. Он понял и улыбнулся:

— Я перебил тебя. Ты говорила, что твоя мама была очень красивая...

— Я всегда любовалась ею, гордилась. У нее был замечатель-

ный голос... Как я любила вечера, когда она играла Шопена, Шуберта, тихонечко напевала... Ведь она училась в Варшавской консерватории, пока не встретила отца... Он тогда был студентом университета. Они полюбили друг друга, но родители мамы, люди состоятельные, не хотели этого брака. Отец был бедняк, круглый сирота, да еще из простых. Ни богатства, ни связей, ни дворянства — он и мечтать не имел права о такой девушке, как мама! Я знаю, у вас все по-другому, и тебе, наверно, этого не понять, но маме пришлось уйти из дому, чтобы выйти замуж за отца. Они поженились и уехали в Краков, где отцу обещали хорошее место. У вас говорят — работа... Но отца обманули — так и начались их мытарства... А потом родилась я. Когда мне было лет шесть или семь, отец заболел, и мама начала все продавать — посуду, серебро, свои платья, дошла очередь и до фортепьяно, которое подарила ей бабушка. Она очень любила маму и жалела... Из всей маминой семьи только она одна знала, где мы живем, и раз или два в год приезжала к нам из Варшавы. Но последние годы своей жизни она много хворала, и я ее не видела... Когда бабушка умерла, нас даже не известили. Мама собралась ехать в Варшаву, узнать, что с бабушкой, потому что мамины письма к ней пришли обратно нераспечатанными, но в это время мы получили сообщение от нотариуса о смерти бабушки. Там говорилось также, что она завещает нам часть своего имущества. Так появился у нас в передней сундук. А деньги мы быстро прожили.

— Волшебный сундук.

— Да, да! Как ты догадался?

— О простых сундуках не вспоминают.

Анна улыбнулась, закрыла глаза, взяла его руку, крепко прижала к своей щеке. Она не хотела отпускать его от себя.

— Ты знаешь, о чем я хочу рассказать?

— Про сон...

— Сейчас я подумала: наверно, начался он с того вечера на вокзале... Мы с мамой пришли встречать ее подругу, которая возвращалась в Польшу издалека. Я впервые увидела такой красивый поезд, в огнях, строгих кондукторов в форме и людей, приехавших оттуда. Они были важные, говорили на непонятном языке, носильщики несли за ними большие чемоданы... Значит, есть какой-то другой мир, где все не так, как у нас, и нет нужды, и маме, если бы она жила там, не пришлось бы уносить из дому серебро и вещи, чтобы заплатить доктору и купить папе лекарства, и она бы не плакала втихомолку, когда возвращалась домой с пустыми руками, потому что лавочник не давал ей в долг... И вот я стала мечтать о путешествиях вместе с мамой, о других заморских странах, из которых я все-таки приезжала в Варшаву... Не помню, когда появился в моем сне он. Я увидела его на вокзале. Мы встретились взглядом, и сердце мое оборвалось. С той минуты о нем я думала в моих странствиях. Я не смогла бы сказать, как он выглядит. Помню только свое чувство к нему. А лица не помню... Может быть, лица и не

было — ведь тогда я еще не встретила тебя. Но знала, что встречу...

Анна улыбнулась каким-то своим мыслям, замолчала, провела рукой по щеке Бориса, по его плечу, словно хотела убедиться, что он существует и что он здесь, рядом.

Луна спряталась за облаками, и серебристая мгла, наполнявшая комнату, погасла. Анна всем телом прильнула к Борису — что-то встревожило ее, испугалась, что он исчезнет?

Борис обнял ее, и опять ему показалось, что она вся открылась ему. А он сам? Анна ни о чем не спрашивала — будто все о нем знала. Она поняла самое важное: не было у него любви, никого не было, и он шел к ней, потому что она — его любовь. Это ему только казалось, что он влюблялся, а может, и действительно влюблялся, но по-другому. «Май жестокий с белыми ночами...» Борису представился тот ветреный октябрьский вечер, когда они с Риммой сидели на скамеечке во дворе ее дома на Чистых прудах и он грел в своих ладонях ее холодные зябнувшие руки...

Май жестокий с белыми ночами... Он вспомнил об этом с грустью, как о видении далекого детства, ушедшего навсегда. Неужели он так переменился за годы войны? А может быть, за одну эту ночь?

Каким же он был, к чему стремился? Аэроклуб, экзамены в энергетический институт... Собирался заниматься радиофизикой, мечтал о дальних перелетах — казалось, все было близко, достижимо, и впереди бесконечно много времени, и все успеется, и все будет...

«Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они — нет... Это ты, я, он, они, старик, Наполеон, Магомет — в одном. Понимаешь? Это огромно! В этом все начала и концы...» Костя Петров, чуть покачиваясь, с качаловскими интонациями читает монолог Сатина, и Алексей Ксенофонтович Романовский, пряча улыбку в седых усах, смотрит на него со своего учительского места за маленьким столиком, вплотную придвинутым к первой парте, и оранжевый луч из окна, в котором плавают пылинки, разбивается о Костино плечо, оставляя на пиджаке дрожащий радужный кружок, чуть передвигающийся, когда Костя покачивается, то вперед, то назад...

Эх, Костя, Костя, рыцарь без страха и упрека, открытая душа, так и не успевший найти свою звезду: мать написала, что Костя погиб под Москвой. Меньше всего он представлял себя солдатом, но в первый же день войны пошел добровольцем на фронт.

— Почему именно сейчас он вспомнил о Косте? Увидел в нем себя? Только не свое отражение, а другое, может быть, самое главное — ощущение жизни, той жизни, которая принадлежала им всем и где всего было так много, что глаза разбегались. Выбирай что хочешь... Так они думали. И так жили.

Как рассказать ей об этом? Вот если о Косте — поймет? «Был у меня друг...»

— Как странно, — проговорила Анна, — сейчас я подумала, что прожила много разных жизней и все они не связались в одну... А теперь началась новая жизнь. — Она помолчала. — А потом все вернется...

— Когда потом?

— Когда ты уйдешь.

— Я не уйду. — Он поправился: — Я приеду за тобой. Теперь тебе предстоит прожить еще одну жизнь — со мной.

Борис задохнулся от этой мысли. Сейчас, когда он ее высказал, почувствовал — иначе не может быть.

— Лучше бы мне не знать. — Она опять вся приникла к нему и начала его целовать. — Лучше бы мне не знать...

— Если знаешь, скажи.

— Не надо, мой коханый, не спрашивай. Нам и так мало осталось. Совсем мало. Ну что же ты...

— Неважно. Сколько бы ни осталось... — Голос Бориса помимо его воли стал холодным, чужим. Впервые в нем шевельнулась обида: он сказал, что приедет за ней, а она не поверила. Как могла она не поверить!

Анна неожиданно резко отстранилась от него:

— Ты хочешь знать? Хорошо. Я скажу. — Она усмехнулась. — Я ведь колдунья, правда? Да, ты забудешь меня, — Анна остановилась словно для того, чтобы собраться с духом, — забудешь, — повторила она тихо, — и очень скоро... Когда кончится война, ты приедешь в Москву и встретишь девушку. И она чем-то напомнит меня, а может быть, и нет... Ты не захочешь думать обо мне больше, ты устанешь от этих мыслей и будешь благодарен той, которая поможет тебе избавиться от них... — Анна замолчала и вдруг обхватила его голову, прижала к себе. — Нет, нет, я не то говорю. Тебе покажется, что ты забыл меня. Только покажется. Но я буду в тебе, в твоем сердце, в твоих желаньях, в твоих снах. И ты будешь искать в других то, что открыла тебе я, искать меня...

«Как могло мне прийти в голову, что Анна не поверила! — подумал Борис. — Она жизни не верит. Не мне, а жизни».

— Прости меня. Ты колдунья, а я обыкновенный смертный. — Борис запнулся. — И все-таки будет так, — он постарался придать своему голосу твердость, — я приеду за тобой и увезу тебя в Москву.

— А если я не захочу жить в Москве, ты приедешь в Польшу? Ты согласишься жить в Польше?

Борис долго не отвечал, и Анна сжалилась над ним:

— Вот видишь... Не надо об этом... — Она помолчала. — Но я все-таки скажу. Я хочу, чтобы ты понял... — Анна опять остановилась, подыскивая слова, те единственные слова, которые она должна произнести. — Если я поверю и буду ждать, а тебя не будет, — я умру.

Она сказала это так просто, как давно обдуманное и решенное, о чем не стоит и говорить. Пришлось к слову — вот и сказала. Борису стало страшно: так она и сделает и никто ее

не удержит. Он впервые подумал о ней одной — не о себе, не о своем чувстве к ней и не о том, как они будут жить вместе, а о ней, ее судьбе. Сердце его похолодело. Он прижал Анну к себе — так крепко, будто кто-то собирался отнять ее.

Анна поняла его, и ее движение к нему было таким же отчаянным. Целуя его, она что-то шептала по-польски, голос ее то удалялся и совсем пропадал, то приближался, и слова сливались в мелодию, полную напряжения и силы, и эта мелодия, разрастаясь, все больше овладевала им, и увлекала за собой, и не отпускала, и казалось, что восхождение это бесконечно...

Потом он ощутил глубокий покой. Тишина с легким звоном плыла над ним. И время остановилось. В том мире, где они существовали вдвоем с Анной, время могло останавливаться. И никто не мог отнять Анну, и ничто не могло разлучить их.

Постепенно этот мир принимал реальные очертания: матово-серебряные пятна там, где лунный свет просочился сквозь мглу, часть шкафа, выступающая из темного угла, причудливые тени на стене, похожие на беззвучно шевелящиеся ветви деревьев. И по мере того как отчетливей проступали реальные черты комнаты и тишина, со звоном плывущая в бесконечность, становилась обычной чуткой тишиной военной ночи, в которой можно было различить и понять отдельные звуки, — и по мере всего этого уходило чувство покоя. Как будто нужно было немедленно действовать — от этого зависит все, жизнь и смерть, а он не может двинуться. Какие-то путы сковывают его, он силится рвануться, разорвать их, но напрасно, а секунды, последние секунды уходят...

Ну да, скоро они расстанутся. Через несколько часов. И что-то надо придумать, решить. Пока еще не поздно, пока они вместе. Именно сейчас — другого времени не будет. Решить. Придумать. Борис твердил эти слова, будто в них самих и заключался выход.

Наверно, он застонал. Анна наклонилась над ним. Лицо Бориса испугало ее: напряженно сведенные брови, глаза, смотрящие в одну точку. Она начала успокаивать его: губами разгладила морщину на лбу, заставила оторвать взгляд от этой горящей точки в пространстве, ответить на ее поцелуи...

— Расскажи мне что-нибудь... — сказала Анна, когда почувствовала, что ей удалось вернуть его в тот мир, где они были вдвоем и где ничто не могло стать между ними. — Что-нибудь... — повторила она. — О себе.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и становилось легко, и начинало казаться, что все устроится, все будет хорошо, он обязательно что-то придумает.

— О себе... — повторила она. — О твоей самой лучшей минуте, когда ты был счастлив...

Как хорошо было слушать этот голос, настойчиво возвращавший его к той немыслимо далекой поре, которая теперь казалась счастливой, а тогда он просто жил, радовался, огорчался и не думал, не гадал, что это и есть счастливое время.

Борису увиделся тот жаркий июньский день, когда они сдали последний экзамен и, еще не веря, что окончили школу и впереди долгожданная, неизвестная, манящая своей свободой жизнь, поехали в парк культуры кататься на лодках. На «Кировской», где всегда ждали друг друга, сели в метро и вышли как раз перед самым Крымским мостом. Кто-то купил мороженое, и они всей гурьбой шли по мосту, ели мороженое, болтали, смеялись, острили. Их было шестеро — трое мальчишек и три девочки.

У входа в парк в репродукторах послышался знакомый голос — негромкий, теплый, близкий, который нельзя было спутать ни с каким другим: «Только глянет над Московою утро вешнее, золотятся помаленьку облака, выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему и, как прежде, поджидаем седока...» Это был Утесов. Улыбаясь и грустя, пел он шутливую песню о старом извозчике, жалующемся верной своей лошадке на метро, которое околдовало всех его седоков, сокрушающемся о том, как все в жизни хитро перепуталось: «Чтоб тебя запрячь, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро». Все они много раз слышали эту песню и не обратили на нее особенного внимания. Кто-то улыбнулся, кто-то начал тихонечко подпевать. Только и всего. Как будто песни и не было, а вернее, не могло не быть, потому что она естественно стала такой же частью этого дня, как ветер, поднявший пыль на шуршащих, посыпанных красным песком дорожках парка, когда они шли к лодочной пристани, как равномерный скрип уключин, всплеск воды за бортом и неподвижные белые облака в голубом бездонном небе...

Тогда Борис не замечал всего этого: ветер и пыль на дорожках, голос Утесова, облака... Он неторопливо греб, с силой отталкиваясь веслами, и напротив него сидела Римма, чуть наклонясь и спустив одну руку в воду, и солнце било в глаза, и ее лицо то исчезало в радужном слепящем блеске, то возникало, когда он прищуривался, и не было усталости, и казалось, они будут плыть долго-долго.

Удивительно — почти через пять лет все это до мельчайших подробностей неожиданно всплыло в памяти. Чего только не бывает на войне! Могло ли ему прийти в голову, что радисты, приехавшие однажды к ним в полк на крытой, похожей на фургон машине, чтобы установить радиомаяк, привезут среди других пластинку с той самой «Песней старого извозчика», и по просьбе Бориса «маяком» выберут именно ее, и голос Утесова поведет их на свой аэродром, когда они будут возвращаться с боевого задания? Но все произошло именно так — и голос Утесова воскресил тот июньский день с его светом и шумом, с тем ощущением легкости, даже пустоты, беспричинного волнения и нетерпеливого радостного ожидания. А за этим днем в памяти возникали и другие — когда они ездили кататься на лыжах в Сокольники и ходили в парк культуры с его первой тогда в Москве парашютной вышкой и открытым Зеленым театром, где бывали массовые вечера поэзии...

Все это и было той немыслимо далекой жизнью, о которой просила рассказать Анна, и вся эта жизнь, вся, виделась счастливой и состояла из счастливых минут.

Анна почувствовала его состояние и не мешала ему. Лицо Бориса разгладилось, и опять в нем появилась та мальчишеская открытость, которая так привлекла ее с первого взгляда. Раз или два он чему-то улыбнулся, да так хорошо! Как же много значила для него прежняя жизнь, а она-то вообразила, что прошлое не имеет над ними власти. Ревность к этой неведомой для нее жизни шевельнулась в ней, но Анна сразу же устыдилась этого чувства. Разве он виноват, что шли они разными дорогами? На один только миг судьба свела их... Анна испугалась этой мысли. Неужели она больше не увидит Бориса? Все-таки в глубине души надеялась, что они еще встретятся, и расстаться с этой надеждой было выше ее сил.

Борис почувствовал, что она на него смотрит, и открыл глаза.

— Бывает же такое, — сказал он, — лезет в голову всякая всячина... Вспомнилось вот, как на лодке катались... — Он помолчал. — Но все равно ты была со мной...

— В лодке? — усмехнулась Анна.

— Нет... Это трудно объяснить. Будто вспоминаем мы с тобой вместе... — Он перебил себя: — Знаешь... Что, если ты поедешь со мною в полк? Я поговорю с командиром — он все поймет. В БАО * тебя пристроим. Там бывают вольнонаемные.

Вот как. В БАО. Интересно, что это такое? Впрочем, неважно. Значит, он думал об этом. Ну, хорошо. Сейчас невозможно. Он не понимает. Не хочет понимать. А когда кончится война?

Анна неожиданно ясно представила себе тот день после войны, когда Борис приедет за ней, — тихий летний солнечный день, и его фигуру на пороге дома, и его счастливые глаза. Нет, нет, такое не сбывается. Мечта всегда остается мечтой. Так устроена жизнь. А тот день был бы для нее больше, чем исполнение всех желаний, больше, чем свершение мечты. Вот почему этого не будет. Не будет — и лучше совсем не думать об этом, а то не хватит сил, чтобы жить. «Матко боска, — мысленно взмолилась Анна, — избавь меня от наваждения. Успокой мою душу... Наваждение? — спросила она себя и испугалась. — Разве любовь — наваждение? И разве я хочу лишить себя любви? Нет, нет, прости меня, пресвятая матерь, просвети и дай силы выдержать все, что принесет мне любовь...»

Анна всегда испытывала глубокую потребность разобраться, что происходит в ее душе, когда ей бывало тяжело, понять себя, беспощадно, до самого конца высказаться перед собой, как бы мучительно это ни было. И чем строже была она к себе в такие минуты, тем легче становилось потом, свободнее дышалось и обретались силы, чтобы пережить и сомнение и отчаяние.

— Все, что принесет мне любовь, — повторила Анна. Она подумала о том, что только сейчас, когда призналась себе в

---

* Батальон аэродромного обслуживания.

этом, поняла, что любит и что значит это слово — любовь. Не наваждение, а любовь. Она любит, и ей не жалко себя, своей жизни, она сможет все выдержать, все пережить. Ее охватило знакомое состояние душевного подъема, всколыхнувшее в памяти давно забытые минуты.

Было ли это? Таинственный сумрак, за которым чудится беспредельность; черные застывшие тени там, в глубине; слабое мерцание желтого и красного света, пробивающегося сквозь витражи, гулкая тишина... И она одна на коленях в этой необъятности и тишине. Она исповедуется перед собой, и молится, и судит себя, и чувствует, как приходят к ней легкость и ощущение своей силы, — ведь она сумела осудить в себе все дурное, мелкое, эгоистичное, не испугалась правды и теперь уже ничего не испугается, все сумеет, потому что помыслы ее чисты и отныне всегда будут такими.

Сейчас ей еще вспомнилось, как она выходила из костела — с томительным и радостным предчувствием встречи со светом, солнцем, со всем миром. Она шла, сдерживая нетерпение, твердо ступая по каменным плитам, и гул шагов сопровождал ее и отдавался в сводах, замирал и вновь возвращался к ней, и Анне казалось, что она поднимается в гору с поразительной легкостью, не поднимается — взлетает, и нетерпение росло в ней: скорее, скорее! Она открыла тяжелую дверь, ведущую на улицу, и замерла.

Свет ударил ей в глаза, и первое мгновение это был только свет, ослепительное белое сияние, а потом она увидела снег на площади и на крышах, белые, чистые покровы снега, и светлое, голубое, беспредельное небо, и опять крыши и площадь, и угол дома с вывеской, и фигуры двух мальчиков, стоящих перед этой вывеской, — она увидела все это, и малое и большое, весь мир, с которым впервые в своей жизни ощутила такое глубокое единение.

Да, это было — и не ушло, осталось. Тогда ей исполнилось пятнадцать, и она решила начинать жизнь сначала. Потом был Анджей, война и его гибель, бесконечная война, и она вынесла все и вот опять хочет начать новую жизнь.

— Ты приедешь за мной, когда кончится война, — сказала Анна. — Только поскорей. Я буду считать дни и часы.

— Не беспокойся. Тут близко — из Берлина каких-нибудь десять минут лету. — Он улыбнулся. — Да я и пешком дойду.

— Десять минут, — повторила Анна.

Смешно. Десять минут будут разделять их, ее и Бориса. Всего лишь десять минут. Она готова ждать всю жизнь, а Борис будет от нее в десяти минутах полета. Действительно смешно. И страшно. Не расстояния разделяют людей...

— После войны мир будет другим, — сказал Борис, словно угадав ее мысли. — Наверно, это последняя война. Представляешь, какая будет жизнь...

— У многих людей нет куска хлеба, пан рыцарь. И так будет долго. Там, где прошли немцы, остался пепел...

— Да, это так... Я видел. Я такое видел... Трудно придется... И все-таки начнется новая жизнь. Совсем другая!

— Нет, нет, я не ошиблась. — Анна снова наклонилась над Борисом, близко заглянула в глаза. — Я ждала тебя. Одного тебя...

Мерцающие голубоватые отблески, вспыхивающие в полумраке, погасли, будто все затянуло серо-мглистым туманом, который просачивался сквозь окна. Борис не сразу понял: светает! Он еще не хотел верить — закрыл глаза, невольно вслушиваясь в чуткую ночную тишину (все было тихо, ни единого звука), снова открыл глаза и поднял голову. Стало заметно светлее — черное пятно в углу приняло форму шкафа; на стене обозначились темные прямоугольники фотографий; стул, стоящий рядом с кроватью, был уже хорошо виден... Борис повернулся к Анне: лицо ее было бледно, глаза закрыты. Вероятно, так же, как и он минуту назад, Анна прислушивалась к ночным звукам и так же, как он, не хотела верить, что светает. Близко залаяла собака. Потом послышался скрип шагов по снегу — наверное, разводящий с часовым. Через минуту снова шаги и голоса. В той стороне деревни, где находился командир, заработал мощный мотор, за ним другой, третий — видно, водители прогревали моторы. В комнате стало совсем светло. Туман как бы рассеивался — на окне заблестела изморозь.

— Вот и все, — сказала Анна с отчаянием. — Вот и все.

Она даже не шевельнулась, не открыла глаза, хотела удержать последние секунды этой ночи. Ведь сделать только одно движение — значит признать, что ночь прошла и начался день...

Но день все-таки начался, и не было такой силы, которая могла бы остановить время.

...Одевшись, они не сговариваясь присели — Анна на кровать, Борис к столу у окна. Они не могли решиться выйти из этой комнаты, которая была их единственным прибежищем. Здесь они были вдвоем — только они одни, а там, за порогом, кончалась их власть друг над другом.

Они присели, как перед дальней дорогой. Анна поднялась первая, подошла к Борису, притянула к себе его голову, потом отодвинула, чтобы посмотреть в лицо, в глаза.

И Борис навсегда запомнил: холодный белый свет зимнего утра, пробивающийся сквозь замороженное стекло, ее лицо с выражением застывшей боли и глаза, с немым вопросом пристально смотрящие на него.

Глава четвертая

«Здравствуй, дорогая Люся!

Пишу тебе на коротком отдыхе из пункта Н. И пункт этот на земле братской Польши, которую мы вместе с польскими воинами освободили от фашистского ига. Самая главная наша но-

вость — мы штурмуем и бомбим подлого врага на его собственной территории! Представляешь?! Поэтому настроение исключительно хорошее. А бои идут [несколько слов зачеркнуто военной цензурой] жестокие. Немец чувствует, что скоро Гитлер капут, и огрызается изо всех своих звериных сил [несколько слов зачеркнуто военной цензурой]. Правда, в последние дни погоды не авиационные — оттепель, туманы, все раскисло. Во время одиночных вылетов из-за тумана мой командир старший лейтенант Волынин показывает исключительное летное мастерство, мужество и находчивость. Ты спрашиваешь, как я живу, как воюю, что переживаю во время боя. Трудно ответить на эти вопросы: у нас, у летунов, каждая секунда несет так много невероятного, так много решает (жизнь или смерть), что обо всех секундах не напишешь — во-первых, некогда, а во-вторых, бумаги не хватит. Скажу одно: хотя Гитлер и насобирал из своей авиации что мог на этом [два слова зачеркнуты военной цензурой], все равно нашей техники больше — и на земле и в воздухе. Это уж точно. Так что живы будем — не помрем (ну, если, конечно, мотор не обрежет, или шальная зенитка не шарахнет, или «мессера»), но не должно быть! Очень хочется дожить до победы. А будет это скоро. Очень скоро (не называю срок, сама понимаешь, военная тайна) мы добьем фашистского зверя в его собственном логове, в городе Берлине.

А пока потерпи еще немного, Люся. Думаешь, не понимаю, как трудно вам, героическим труженикам тыла? Сам вкалывал, знаю. А ведь вы круглые сутки с завода не выходите. Да притом то я, рабочий парень, а то ты, артистка. Не обижайся на меня, Люся, что так говорю, я серьезно... Кончится война, будешь ты артисткой. Как в песне поется:

Все, что было загадано,
В свой исполнится срок,
Не погаснет без времени
Золотой огонек.

Между прочим, мне тут одна знакомая польская антифашистка нагадала и про тебя и про меня: все исполнится, о чем мечтаю. Смейся не смейся, а я ей верю. Не такой она человек, чтобы врать.

Эх, Люся... Вот думаю сейчас о тебе — и на душе светлеет. Верно говорю. Знай, что нет у меня ни дня, ни минуты без мысли о тебе. Ты всегда со мной, в каждом бою. Только бы ты нашла свое счастье. А уж мне полслова скажи — весь свет для тебя переверну, всю свою кровь по капельке отдам.

Помнишь, Люся, как мы с тобой после просмотра кинокартины «Цирк» шли домой через парк и заспорили, что такое любовь? Я хоть и спорил с тобой, а уже тогда чувствовал, что ты права. А сейчас говорю: мне просто стыдно за себя. Но будь уверена, такая ерунда мне уже в голову не придет. Бывало, что я и злился на тебя. Да что там вспоминать — многого я не понимал тогда. Все хотел большего, самого большого. А сейчас

хоть одним бы глазком посмотреть на тебя! Только бы взглянуть...

Будь здорова и жди, если... А за меня не беспокойся.

С фронтовым приветом, твой до последней капли крови.

Д. Щепов, воздушный стрелок».

Так случилось, что письмо, отправленное в самый разгар боев за Одерский плацдарм, сначала двинулось на запад и оказалось за Одером, совсем близко от Берлина, и только неделю спустя пошло на восток, в тыл. Письмо принесла Люсе сменщица и соседка по квартире тетя Таня, устроившая ее на этот завод, где производилось стрелковое оружие.

Люся получила его 7 апреля, когда заканчивала смену, как раз в тот день ее отпустили домой помыться в бане и выспаться.

Мать ее, работавшая нянечкой в госпитале, дежурила, и Люсе предстояло провести вечер одной. Ей казалось, что она очень любила свою маму, не могла без нее, — может быть, и так, но то была особая любовь, которая лишь принимала другую любовь, не задумываясь и не заботясь о ней. А теперь, когда Люся видела столько горя кругом, она поняла, какую жизнь прожила ее мама, одна, без помощи поставившая ее на ноги, поняла, какой сама была черствой, а то и жестокой в слепом своем эгоизме, и корила себя, и страдала от этого.

Люся вообще многое поняла за эти нескончаемые четыре года войны, которые казались ей целой жизнью, и чувствовала, что стала старше на целую жизнь. Не на пять лет и не на десять, а на целую жизнь. Она очень изменилась и внешне: похудела, стала тоньше и будто уже в плечах; черты лица заострились и как бы отвердели — не осталось в них ничего от недавней мягкости, округлости. А вот глаза, огромные, синие, по-прежнему притягивали своей глубиной, и в эту глубину так и тянуло заглянуть: спокойно, мягко светилась она.

Пожалуй, Димка не сразу узнал бы в ней ту, довоенную Люсю, которая любила больше всего себя и свои мечты, приносившую столько огорчений из-за своего взбалмошного характера, но и умевшую каким-то сверхчутьем, с полуслова понять, что происходит в твоей душе, Люсю того солнечного, с короткими шумными дождями лета сорокового года, когда он уходил в армию, а она собиралась ехать в Москву, чтобы поступить на актерский факультет Государственного института театрального искусства и стать такой же знаменитой артисткой, как Любовь Орлова.

Люся была влюблена в Любовь Орлову, в ее голос, глаза, улыбку. Она считала, что только такой и должна быть настоящая артистка — все уметь: танцевать, петь, переживать. В то лето Люсе и самой все удавалось, как артистке Орловой. Люся не ходила, а летала. Там, где она появлялась (готовая вот-вот вспорхнуть), время убыстряло свое течение, чтобы поспеть за ней. Никогда нельзя было угадать, что ей взбредет в голову в

следующую минуту. А уж как хороша она была! Тонкая, гибкая, и глаза синие-пресиние. И коса — как бледное золото. Вот Димка и потерял голову. Впервые в жизни почва заколебалась у него под ногами.

Смешно и глупо, но это было действительно так. Он, Дмитрий Щепов (между прочим, студент вечернего техникума), проработавший целых два года на заводе, расточник высшей квалификации, вел себя с этой девчонкой как школьник, как маменькин сынок — бледнел, краснел («и никто ему по-дружески не спел: капитан, капитан, улыбнитесь...»), то напускал на себя полнейшее безразличие, был холоден, неприступен, как Печорин, то, подобно Грушницкому, ловил каждый ее взгляд, каждое слово; то пропадал на несколько дней, то сторожил каждый ее шаг.

Смешно и глупо. Да к тому же неново. И все же, сознавая это, он тем не менее ничего не мог с собой поделать. Но что самое глупое и самое смешное — Димка ревновал. Да, да — и он вынужден был признаться себе в этом, — ревновал ее ко всем и ко вся! Бешено и слепо. Как последний бай и феодал. Как самый отсталый элемент. А Люсю это забавляло. Когда Димка со всей страстью принимался обличать ее и «выяснять отношения», она не только не отрицала своих мнимых и подлинных прегрешений, но еще и подливала масла в огонь — с самым беспечным видом такое наговаривала на себя, что у Димки дух захватывало. Слава богу, фантазии ей было не занимать. Впрочем, к Димке она относилась милостиво, что-то в нем ей нравилось, да и жалела парня.

Люся каталась с Димкой на лодке, гуляла в парке, ходила в кино — была с ним и не была с ним. Она жила в своем мире, где все ей удавалось, где все, о чем она мечтала, рано или поздно должно было свершиться. И кинокартина, в которой она сыграет главную роль, обязательно такую, чтобы все удивлялись ее таланту и жалели ее, и большая-пребольшая любовь к Нему.

Эту любовь, как пушкинская Татьяна, она пронесет через всю жизнь. Они не смогут быть вместе. Он уедет (куда и зачем — никто не должен знать) надолго, на многие годы. Может быть, навсегда. Она сумеет достойно принять свой удел, и никто из самых знаменитых и умных людей, окружающих ее, никогда не поймет, почему она, известная, любимая артистка, живет так печально и одиноко.

> А мне, Онегин, пышность эта,
> Постылой жизни мишура,
> Мои успехи в вихре света,
> Мой модный дом и вечера —
> Что в них?..

Любовь Орлова и пушкинская Татьяна — могло ли это совмещаться? Наверное, могло. И артистка, увлекающая веселым талантом, и прекрасная в своей гордой печали Татьяна Ларина, видимо, в равной мере отвечали каким-то стрункам Люсиной души.

Уверенная в своем успехе, Люся отправилась в Москву, но Институт театрального искусства закрыл перед ней двери. Люсю не допустили даже ко второму туру конкурса на актерский факультет. Попросту говоря, она провалилась.

Снова и снова пробившись через толпу жаждущих и страждущих, Люся перечитывала списки допущенных ко второму туру, надеясь, что ошиблась, не углядела, а вот сейчас увидит свою фамилию. Но фамилия так и не появилась, и Люся пошла выяснять в приемную комиссию — она не сомневалась, что где-то просто напутали.

Девушка, с неприступным видом сидевшая за столом в тесной комнате, где с трудом помещался еще один стол и застекленный книжный шкаф, набитый папками, выслушав Люсю, пожала плечами: какая путаница? У них такого не бывает. Но если абитурент настаивает — пожалуйста, она может посмотреть. Девушка достала папку, но тут зазвонил телефон. Она взяла трубку, небрежно бросила «да» и замерла, потом каким-то другим, упавшим голосом сказала: «И ты этому веришь?» — и опять замолчала и, помедлив немного, ни слова не говоря, тихо положила трубку. Прошло несколько минут, а она все сидела, уставившись в одну точку, видимо забыв о присутствии Люси. Снова зазвонил телефон. Девушка подняла голову, увидела Люсю, вспомнила, зачем она пришла, и принялась лихорадочно листать папку. Телефон надрывался, она не брала трубку и листала папку. «Нет никакой ошибки, — проговорила она наконец и всхлипнула. — Вас... не допустили... не допустили ко... второму туру». Слово «туру» она произнесла с плачем уже у двери. Люся осталась одна. У нее не было сил подняться. Ноги стали ватными, плечи и спина заныли, будто на нее навалили непосильную тяжесть. Она не заметила, как оказалась на улице, но в памяти осталось: у входа в институт стоят три девушки — смеются, болтают, посматривают по сторонам. Люся не слышит слов, но она понимает, почему эти девушки так беззаботно болтают, и весело смеются, и победно посматривают по сторонам: они уже там, за чертой, в том мире, куда Люсе хода нет. Может быть, минуту назад от страха и волнения у девушек все дрожало внутри и пересыхало во рту — они были как все. А теперь они п р и о б щ и л и с ь и стали другими, особенными. Почему-то именно эти девушки окончательно убедили Люсю: то, что не могло произойти, произошло. Она была оглушена, раздавлена, уничтожена...

Если бы теперь кто-нибудь напомнил Люсе об отчаянии, охватившем ее, о тех мыслях, которые бродили в ее голове, она скорее всего не поверила бы. Теперь вся эта история казалась незначительной, а она со своим отчаянием наивной и, пожалуй, немного смешной.

Война все переместила и всему дала свою цену. Сколько такого, что до войны казалось важным, волновало, огорчало, радовало, сейчас потеряло всякий смысл! И все же, принимая от тети Тани письмо, Димкин фронтовой треугольник, Люся поду-

мала: будь она артисткой, обязательно бы поехала с бригадой на фронт и встретила бы там Димку.

По-своему расценив молчание Люси, которая все еще держала письмо, тетя Таня сказала:

— Да ты не бойся! Письмо хорошее — чует мое сердце. От суженого от твоего.

Она попробовала улыбнуться, но улыбка получилась такая, что Люся внутренне сжалась. Муж тети Тани как ушел на войну, так и сгинул — ни словечка от него, ни весточки. И осталась тетя Таня одна с двумя ребятишками — Мишкой и Гришкой. Со здоровьем у нее было плохо. Люся представить себе не могла, как изо дня в день она простаивала целую смену и еще сколько надо на своих опухших, с набрякшими венами ногах, и очень жалела ее.

Да что было делать, когда на руках двое? Вот и получилось, что они, соседи, жили вроде как бы одной семьей и все у них было общее.

— Спасибо, тетя Таня, — сказала Люся, кладя письмо в карман спецовки.

— Письмо хорошее, — повторила тетя Таня.

— Ну, я пошла. О ребятах не беспокойтесь. Накормлю, уложу. Все сделаю.

— Иди, иди... — Тетя Таня легонько подтолкнула Люсю.

Люся не заметила, как вышла из проходной и направилась к дому. Одно слово, невзначай брошенное тетей Таней, не выходило из головы. Суженый — как просто она сказала! А ведь это значит — судьба.

* * *

Поднялся ветер, и ударило холодом, острым, мокрым. Люся спрятала лицо. Идти было трудно — сверху чуть подмороженный снег с влажным хрустом проваливался под ногами, сразу показывалась вода, и дорожка становилась скользкой. Пришлось немного сбавить шаг.

Оказывается, она уже шла пустырем. Еще немного, и сразу за ним — небольшой овражек с деревянными мостками, а там начинаются заводские дома; третий справа — ее. На пустыре было темно, огоньки виднелись впереди, и ветер так закручивался вокруг Люси, обдавал таким холодом, что захватывало дыхание. Время от времени она останавливалась, поворачивалась спиной к ветру, чтобы передохнуть, и тогда слышались шорохи, шуршание тяжко оседавшего снега, легкий и тонкий звон ломающихся льдинок. Вокруг что-то сдвигалось, менялось, и в самом воздухе появился (или показалось?) тот знакомый, горьковатый хмельной привкус, от которого замирает сердце и кружится голова...

Суженый, суженый. «То в высшем суждено совете... То воля неба: я твоя». Бывшие всегда на памяти, столько раз читанные на школьных вечерах стихи эти вдруг наполнились живым

содержанием: будто не пушкинская Татьяна, а она сама написала их. Сама — на том вырванном из тетради в косую линейку листке, на котором она писала письма Димке. Суженый — судьба... Что-то еще стояло за этими словами, что-то происходившее с ней, с ее жизнью. Разлука, горе... Наверно, это. И если суженый — так и должно быть.

Люся прошла мостки и остановилась. Тут казалось тише, виднелись дома и свет в окнах, и все же, повернувшись спиной к ветру и лицом к пустырю, она несколько раз глубоко вздохнула. Там, где она только что шла, была темнота и оседающий под ногами снег. И Люся будто сверху увидела себя — маленькую, согнувшуюся, бредущую наискосок по этому глухому холодному пустырю. И так ей себя стало жалко, что горло дернулось и теплые капли быстро-быстро покатились по щекам и губам стало солоно. Ох и дура же, дура! То ничего она не боится, а то ревет непонятно из-за чего. Тысячу раз ходила она этой дорогой, знала каждый бугорок, а сейчас — нет ей конца.

Ее дом вырос как из-под земли. Дверь на тяжелой пружине, надо придержать, а то хлопнет — как снаряд разорвется.

Внизу горела лампочка. На третьем этаже, где она жила, было темно. Люся достала ключ, негнущимися, деревянными пальцами с трудом вставила его в замочную скважину, повернула замок. На пороге остановилась, потом зажгла свет в прихожей, опустилась на сундук, стоявший под вешалкой. Ничего ей не надо — только вот так сидеть с закрытыми глазами.

...Потянуло теплым ветерком, и трава мягко касается лица. Кругом густые волны душистой травы. Они колышутся, поднимаются, подступают ближе, ближе, и уже нет ветерка, и трудно дышать, а волны поднимаются, подступают и сейчас сомкнутся над нею... Люся собирает все силы, открывает глаза и видит серую стену и узенькую прихожую с затертым ковриком на крашеном дощатом полу, полуоткрытой дверью на кухню и трехколесным Мишкиным велосипедом в углу.

Сколько времени она просидела так, одетая, на сундуке? Задремала (такое случалось с ней последнее время) или обморок? Ну вот еще — обморок! Просто устала немного, а тут в тепле разморило. Люся окончательно приходит в себя, и что-то настораживает ее. Ну да — тишина. Полная, ни единого звука. Где мальчишки? Она сбрасывает пальто, платок, короткие резиновые боты и в одних шерстяных носках идет в комнату тети Тани. Среди разгрома — сдвинутого стола, опрокинутых стульев, развороченной постели — на одеяле, брошенном на пол, спят Мишка и Гришка друг против друга, голова к голове. Мишка, старший, как и полагается по его характеру, — на спине, широко раскинувшись, а Гришка на боку, подложив руку под голову и подобрав ноги.

Люся решила не будить их. Она разобрала постели, раздела и уложила ребят. Когда переносила их, ужаснулась: какие лег-

кие! Особенно Гришка. Может, еще не так взяла его, узенькие худые руки повисли как неживые, голова на тонкой шейке резко качнулась, и Люся поспешила поддержать ее, перехватив свою руку. Накрыв Гришку, осторожно подоткнув одеяло под ноги, Люся отошла от него, а потом вернулась. Лицо Гришки и во сне было бледным, как у старичка. Люся тихонько коснулась его щеки. Она была теплая, кожа по-детски нежная... Гришка повернул голову, и Люся убрала руку. С минуту она постояла, прислушиваясь. Все было тихо. Еле-еле доносилось, скорее угадывалось ровное дыхание Мишки. Его кровать стояла напротив, и Люся видела Мишкины атаманские, почти льняные вихры. Он был сильнее войны. Сильнее всех. Наверно, его жизненная сила переходила и к Гришке, а то Гришке бы не выдержать. Господи, да когда же она кончится, когда придет конец этой войне?

Подумала об этом или сказала вслух? Она стояла с ладонью, прижатой к губам, будто зажала рот, но по-прежнему было тихо и ребята крепко спали. Подождав еще немного, Люся вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь можно сесть, прочитать письмо и потом перечитывать сколько захочется, и никто не помешает. Но Люся не хотела вот так, во всем рабочем, непричесанной, с грязными руками, пахнущими машинным маслом, раскрыть Димкино письмо. Она должна почувствовать себя другой, той, прежней Люсей, на которую заглядывались и к которой писал свои письма Димка.

Пока она умывалась, вскипел чайник. Люся достала из кухонного шкафчика жестяную банку, красиво расписанную красными китайскими драконами. Чая там оставалось немного, на самом донышке. Поколебавшись, Люся взяла четверть ложечки. Чай получился на славу — крепкий, ароматный. С чашкой этого свежего, дымящегося чая Люся пришла в свою комнату, села у окна.

Она отхлебнула глоток чая, аккуратно развернула Димкин треугольник. И сразу же одним духом прочитала письмо. И как это бывает, сначала поняла только, что все хорошо, все хорошо — Димка воюет и уже близка победа. Потом Люся двумя руками разгладила письмо, вздохнула, прикрыла глаза. Димка жив, и скоро войне конец. Теплота входила в нее, теплота и легкость, и не было мыслей, а только вот это удивительное ощущение согласия и покоя.

На подоконнике неровной стопкой лежали книги, которые Люся любила перелистывать и перечитывать. Давно она к ним не прикасалась. И давно не сидела вот так одна и не чувствовала такой теплоты и уюта этой их комнаты с золотистым абажуром над столом, маминой высокой кроватью, покрытой пикейным одеялом, сверкающим белизной, старинным комодом, отделяющим уголок, где спала она сама. Тепло шло от этих вещей, от всего, что было в комнате и находилось на своих местах.

В комнате стояла тишина, и за окном была тишина. Ветер

утих. Все застыло, остановилось. Люся читала письмо, улыбалась, хмурилась, а то вдруг сердце у нее падало: «..ну, если, конечно, мотор не обрежет или шальная зенитка не шарахнет...» Правда, Димка заключил это в скобки, подчеркнув тем самым малую вероятность такого исхода. Но все-таки написал. Значит, так может быть? Глупый вопрос — ведь война... Пусть война. Но этого не будет. Не погиб же Димка в самое тяжкое время. А уж теперь, когда «мессера» соваться боятся и зенитки не те, он и подавно будет жить. И в Берлин придет, и к ней вернется. А осталось немного. Еще немного — и войне конец. Надо верить. Когда веришь, все сбывается.

Люся не раз еще прерывала чтение, откладывала письмо, и ей виделись в черном дымном воздухе грозные штурмовики.

...По мощеной улице маленького польского городка мимо старинного костела идет Димка вместе со своим командиром. На площади уже собралась толпа. Подпольщики-антифашисты встречают их, обнимают, жмут руки. Они рассказывают о своей борьбе, о погибших товарищах. А потом та самая женщина, о которой написал Димка, польская подпольщица-антифашистка, много испытавшая и много видевшая, глядя ему в глаза, рассказывает, что с ним произойдет. Она сразу угадала Димкин характер и сказала правду, не ошиблась...

Неизвестно, сколько времени Люся просидела бы так, фантазируя, воображая, но именно письмо, от которого она отрывалась, а потом снова брала в руки, возвращало ее к реальной жизни. Вернее, не письмо, а сам Димка, стоявший за ним, живой и невредимый, тот самый, что за словом в карман не полезет, и прихвастнет, и напустит туману при случае, отважный, благородный Димка, который все безропотно сносил от нее, все ее насмешки и глупости. Вот он-то и возвращал Люсю на грешную землю. Она читала между строк, угадывая, что Димка хотел сказать, но не сказал, постеснялся, понимая, где он начал дурить, потому что боялся написать, как ее любил, а все-таки вырвалось несколько слов! А она ему скажет. Все скажет — и не побоится. Теперь она понимает, какой была взбалмошной, пустой девчонкой, которая ничего, кроме себя самой, не видела. Ведь только по письмам она по-настоящему начала узнавать Димку. Люся готова была провалиться сквозь землю, когда вспоминала, как глупо, отвратительно, подло вела себя с ним.

Пусть он забудет это. Она постарается быть достойной его. Она будет очень стараться. И чувствует — сумеет, потому что кое-чему научилась за четыре года войны... Вот так она ему и напишет, этими самыми словами, и сейчас же, немедленно, пока есть слова, пока хватает храбрости.

Люся взяла с подоконника лежащую на книжках свою тетрадку в косую линейку, старую школьную чернильницу, ручку и начала писать так быстро, что буквы падали на бегу и слова вырывались из строчек, но это было неважно, все было неважно, лишь бы рука поспевала за мыслью, лишь бы она сумела

высказать то, что чувствует, что хочет и должна высказать — все, до конца.

Она не заметила, как прорвалась тишина слабым, мягким, быстро исчезнувшим звуком. Тишина поглотила его и сомкнулась над ним — пусть думают, что и не было этого звука, что он почудился. Но через короткое время это повторилось в другом месте и затем еще где-то совсем близко, и звук был смелее, звонче, и — опять, но еще смелее и еще звонче. И уже отступила тишина, и со всех сторон, догоняя друг друга, все быстрее, быстрее падали, ударялись, шлепались капли и капельки, большие и маленькие, и с каждой секундой они множились, и что-то еще разбивалось, раскалывалось, сползало. Все вокруг трещало, звенело на все лады, и эта удивительная музыка росла, ширилась, вбирая в себя новые и новые голоса.

Люся не слышала ее, а если слышала, то особым, внутренним слухом, потому что ей казалось, что все это происходит в ней самой. И она торопилась все написать, пока звучит эта музыка.

Она оторвалась от письма, когда поставила последнюю точку, и услышала звон и шорох за окном, и поняла, что это капель! Весна!

Верь не верь, а пришла весна. Долгожданная. Особенная. Прилетела на больших зеленых крыльях.

Люся встала, приникла к окну. Расплющивая губы, нос, прижалась всем лицом к холодному стеклу: здравствуй, весна! моя весна!

Глава пятая

На следующий день Люся бросила свое письмо в почтовый ящик у проходной завода, и оно отправилось без каких-либо помех туда, на запад, по наезженной, кипучей дороге наступления. Но Димка не получил этого письма. Его получил Борис. В тот момент, когда письмо принесли в общежитие летчиков, Борис со своим звеном находился на КП полка. Дневальный в общежитии летчиков, которого послали передать Борису письмо, увидел его сидящим на скамейке возле входа в землянку, где размещался КП. Старший лейтенант не то дремал, не то задумался.

Дневальный в нерешительности остановился перед ним. Он знал, кому адресовано это письмо. Потоптавшись на месте, собрался с духом и по всей форме обратился к старшему лейтенанту. Однако ему пришлось повторить все еще раз и погромче, чтобы заставить старшего лейтенанта поднять голову.

— Письмо... — сказал дневальный, протягивая конверт.

— Спасибо. — Борис взял письмо, повертел его в руках. — Спасибо.

Дневальный с облегчением повернулся и быстро зашагал

прочь. Борис сунул конверт в карман гимнастерки и потянулся за кисетом. Рассыпая табак, с грехом пополам завернул цигарку, но никак не мог зажечь спичку. Наконец, истратив чуть ли не полкоробка, раскурил слегка потрескивающий табак и жадно затянулся крепчайшим горьковатым дымком.

Он понял, что это за письмо. Теперь предстояло прочитать его. Ладно. Только не сразу. И не здесь. Позже, когда их отпустят с КП и он останется один.

Письмо лежало в кармане гимнастерки и похрустывало, когда Борис поворачивался или наклонялся. Он курил, смотрел на голубоватое, начинающее сереть небо, на робко и нежно зеленеющие деревья, окаймлявшие поле, которое они приспособили под аэродром — наверно, последний в этой войне полевой аэродром, — на красные островерхие, причудливые крыши домиков, виднеющиеся за деревьями, и ему казалось, что все это не реальность, а фантазия, ожившая картинка из книжек его детства. Реальность была в другом — в письме, лежавшем в кармане гимнастерки, в его тяжести.

Но все это было, существовало: война, Германия, ранняя теплая весна и это поле на окраине местечка или городка под названием Шванте, расположенного примерно в сорока километрах северо-западнее Берлина. И существовало письмо, написанное не ему, а он должен его прочитать.

— Летчики свободны! — донеслось до Бориса.

— Пошли? — Кто-то тронул его за плечо.

Борис не отозвался, и больше его не звали. Так уж повелось в последнее время, вернее, с тех самых пор, — его не тревожили, когда он уходил в себя.

Выкурив цигарку и тщательно затоптав ее, Борис поднялся и не спеша пошел по краю поля, осторожно ступая на влажную, мягкую землю, выпустившую кое-где нежно-зеленые стрелки молодой травы. Он шел не к общежитию, а в обратную сторону — к городку, к кирке.

Вечерело. На ветвях деревьев, обозначивших плавный изгиб шоссе, повисла сверкающая полоска заката. Червонное золото плавилось и медленно стекало по бурым и малиновым черепичным крышам ближних домов. После быстрого короткого дождя пахло распускающимися липами.

День уходил неспешно, тишина завершала его, хотя и чуткая, как пугливая птица, — война кружила рядом. О ней бы забыть, поверить тишине, этому золоту, вспыхивающему на крышах, на высвеченных готических силуэтах, возвышающихся над ними. Да как забудешь. Напомнит. Хотя бы этим самым письмом.

Незаметно для себя Борис оказался у каменной стены, огораживающей кирку, но входа здесь не было, и он пошел вдоль стены, пока не наткнулся на боковую дверку старинного литья. Видимо, этим входом давно не пользовались: Борис никак не мог открыть заржавевший засов. Попробовал ударить увесистым

камнем, валявшимся рядом. Дверь поддалась со скрипом и лязгом.

За оградой было еще тише. И еще острее пахло распустившимися липовыми почками. От влажной земли шел теплый ток со сладковатым запахом прошлогодних прелых листьев, шуршащих под ногами.

Борис пошел по дорожке, теряющейся среди вековых деревьев. Странно было видеть на старых, черных, корявых ветвях молодые побеги с нежно зеленеющими, только что родившимися листочками. А почему странно? Просто он не замечал этого раньше, не обращал внимания. В Москве весна другая...

Подсыхающие тротуары, залитые теплым солнцем, говор, смех, толкотня, мелькание лиц — особенных, весенних, стук каблучков, мимозы, лежащие на лотках, — можно купить одну веточку, одну, потому что ранние мимозы стоят дорого. Мать в первый же день покупала эту единственную веточку и ставила в свою любимую хрустальную вазу, которую все в доме очень боялись разбить. А во дворе девчонки играют в классы, громыхают самодельные самокаты на подшипниках и выкатывается на улицу мяч...

В Москве весна начиналась весело, шумно, разноцветно. Вернется ли то время? Подумав об этом, Борис опять ощутил холодную тяжесть, которая шла от письма, лежащего в кармане гимнастерки. Может, вернется. А может, и нет, но только Димки в той жизни уже не будет. А сам он? Разве он сумеет забыть войну?

Он понял, вернее, почувствовал: ничего не возвращается. Ничего. И не будет уже такой беззаботной, шумной, веселой, разноцветной весны, а будет другое, потому что сам он другой.

Борис сделал еще несколько шагов. Деревья неожиданно расступились — и открылось кладбище. Слабые розоватые отблески падали на кресты, высокие каменные надгробья, и казалось — белый мрамор оживает в этих последних рассеивающихся лучах. Впереди Борис увидел боковую стену кирки — своим главным входом она была повернута к домам, к центру города. Заметно темнело. Борис сел на каменную скамью, стоявшую как раз там, где кончались деревья, и достал письмо. Аккуратно надорвав конверт, вытащил сложенные пополам листы, развернул их. Это были листы, вырванные из школьной тетради в косую линейку. Сначала почерк был аккуратный, потом, на втором листе, буквы заострились, побежали быстрее, сжимаясь и укорачиваясь на бегу. Третью страницу с первого раза уже не разберешь: она, наверно, очень торопилась, строчки полезли одна на другую. Конечно, это была она, та самая таинственная гордая Люся, о которой Димка однажды сказал, что он умрет, если она не полюбит его. Сказал вроде в шутку, но голос сорвался, и Борис подумал: всерьез. «Не полюбит — заставим, не умеет — научим», — отшутился Борис. «Такую не заставишь», — ответил Димка. Восхищение и гордость, прозвучавшие в этом ответе,

отдавали яростным самоуничижением. «Коли так, плохо твое дело», — хотел сказать Борис, но, посмотрев на Димку, промолчал.

Теперь письмо этой Люси было в его руках. Ну ладно. Хватит тянуть. Все равно надо прочитать.

Письмо оказалось обыкновенным, самым обыкновенным. «А помнишь, Дима...» А он-то ждал другого — даже обидно стало. Не хотелось верить первому впечатлению, и Борис перечитал письмо, а потом, не замечая этого, вернулся к первой странице. Слова были обыкновенные, но ему почудилось — он услышал живой голос. И уже нельзя было не поверить, что Люся любит Димку и будет любить всегда. Борис слышал, как она это говорила, верил ей, и видел набегающую черную землю, и почувствовал, как шасси легко прикоснулось к посадочной полосе именно там, где он и хотел, самолет чуть подпрыгнул, мягко опустился и покатился по прямой. Когда Борис выключил мотор, самолет немного развернуло. Он поторопился выключить мотор, бросил рули, открыл фонарь, отстегнул парашют, выпрыгнул из кабины, а механик уже был там, в кабине стрелка, потому что она была разворочена снарядом, и непонятно, как еще держался в этом месте фюзеляж. «Эй, кто там, помогите!» — крикнул механик, и несколько человек бросились туда, к кабине стрелка. Потом он шел рядом с Димкой, которого несли к санитарной машине, и услышал, как кто-то сказал: «Голову держи, голову!» — рванулся вперед и тут увидел застывшее, белое, без кровинки запрокинутое лицо Димки и понял, что Димка убит.

Он был убит, когда они уходили от цели, оставляя на земле пылающие танки, затянутые клубами черного дыма. Снаряд разорвался рядом с кабиной стрелка, взрывной волной самолет завалило на крыло, и Борису с трудом удалось выровнять его. «Димка! — крикнул он. — Димка! Отвечай! Ну ладно, хватит дурить! Отвечай! Отвечай!» — повторял Борис, а Димка молчал, и все внутри у Бориса похолодело, но он надеялся — ранен. Пусть тяжело, но все-таки ранен!

Самолет потерял высоту и плохо слушался рулей, но они уже летели над своей территорией. Борис посадил самолет и пока вылезал из кабины, Димку вынесли, потом он услышал: «Голову держи, голову!» — увидел запрокинутое белое, без кровинки лицо Димки и понял, что он убит.

Снова и снова память возвращала Бориса к этому мгновению. Вот какая чертовщина. Надо посидеть немного. Прийти в себя.

Вечер тихо, мягко спускался на кладбище, будто и не было войны. Ничего не было — только тишина. Глубокая. Бесконечная. Она подкрадывалась незаметно, лишала воли. Не надо было двигаться, думать, чего-то хотеть — только чувствовать эту тишину и подчиняться ей.

Борис посмотрел на дату — она стояла в начале, на первой странице, 7 апреля. Когда Люся отправила свое письмо, Димка

был жив. Прийти бы этому письму раньше — может, Димку и не убило бы. Дикая мысль! Димка сказал, что умрет, если Люся не полюбит его. Люся полюбила, а Димки нет. Но что это значит — нет? Для него Димка существует. И для Люси. И для Димкиной матери. Только он останется таким, каким был. В прошлом времени. Может, смерть — это и есть прошлое время? Пока живешь, куда-то движешься, вступаешь в новую жизнь, а те, кто умер, остались там, в той жизни, из которой ты ушел. Может, и так. Но от этого не легче — все равно Димки нет. Как же теперь Люся? Борис впервые подумал о Люсе, живой Люсе, которая любит, ждет, надеется. И он должен сказать ей.

Вот как — еще недавно казалось: кончится война — и жизнь пойдет ясная, без облачка, широкая, быстрая, как большая полноводная река. И ничего не надо будет решать, потому что все уже решено. Сколько же тех, чью судьбу сломала, покалечила война!

Поверить этой тишине — только она и была всегда. Была и будет. И все поглотит, все скроет. Все? И Димку? Борис поднялся со скамьи. Он не мог больше здесь оставаться. Тишина давила его. Хорошо, что песок, которым была посыпана дорожка, шуршал под ногами. Живой, шуршащий песок. Обойдя кирку, Борис оказался у главного входа. Отсюда был виден весь город.

Сумерки погасили краски. Темноватая синева залила дома и густела на глазах, смазывая контуры крыш и превращая их в бесформенные пятна. Надо торопиться — как бы его не хватились. Объясняй потом, что просидел на кладбище и воевал с тишиной. Борис усмехнулся: звучит действительно странно. Чушь. Мистика. Как сказал бы Димка, черная магия. Как трудно иногда объяснить самые простые вещи!

Через центральные ворота Борис вышел за ограду и зашагал к аэродрому. Скоро он увидел за деревьями широкую покатую крышу и по бокам островерхие башенки с флюгерами. Это и был дом, в котором поселили летный состав. Построен он был, должно быть, недавно, хотя выглядел как средневековый замок. Внутри тоже все было сделано «под старину», если не считать удобной планировки комнат и вполне современного комфорта. Вообще страсть немцев к готике, к мрачным романтическим атрибутам средневековья бросалась в глаза. В богатых домах, где довелось побывать Борису, что-нибудь в этом роде обязательно попадалось: шлем с забралом, меч, серебряный рыцарский кубок, красовавшийся на самом видном месте под стеклом. Все же остальное говорило о том, что хозяева более всего пеклись о своих удобствах, о комфорте, который им давала цивилизация середины XX века.

Эти дома, большею частью роскошные особняки, пустовали. Любопытно, что, удирая, их владельцы забирали с собой нечто более ценное, нежели ржавый тевтонский меч или тяжелый рыцарский крест на цепи. Забирали то, что им могло приго-

диться в XX веке, вплоть до посуды. Они были людьми практичными.

Говорили, что дом, в котором жили летчики, принадлежал управляющему угодьями, простирающимися к югу от городка. В эти угодья входило и поле, ставшее аэродромом. Видно, этот бюргер, исполнявший роль надсмотрщика над пленными русскими девушками, работавшими на фермах и полях, тоже стремился приобщиться к рыцарству.

Когда Борис подошел к дому, уже совсем стемнело. Благо часовой узнал его по голосу. Борис поднялся на второй этаж, где в большом зале со стрельчатыми сводами размещалась их эскадрилья.

— Ну вот, наконец-то! — сказал комэска, когда Борис открыл дверь. — Где пропадал? — И, не дав ответить, продолжал: — Мы тебя тут заждались. Тут, понимаешь, дело есть...

Комэска был несколько смущен, хотя всячески пытался скрыть это, но уж кому, как не Борису, знать его — слава богу, два с половиною года бок о бок что в воздухе, что на земле. Командир первой эскадрильи Герой Советского Союза капитан Жигарев, иначе говоря, Алексей, пришел в полк в том же сорок втором году, что и Борис, только он в начале, Борис — в конце. Но именно эти тяжелейшие бои в феврале, марте и апреле, когда погибло больше половины всего летного состава, превратили Алексея, «молодого, необстрелянного», в настоящего аса.

Эти несколько месяцев, может быть, стоили нескольких лет, но так уже считалось, что они с Борисом пришли в полк в один и тот же год, теперь оба стали ветеранами и как бы сравнялись в боевом опыте. Они были товарищами, ничего не скрывали друг от друга, и Борис твердо знал — не могло быть у Алексея причин для смущения. Не могло быть, да были. Алексей хитрить не умел: что на сердце, то на лице.

Этот медлительный человек, которому надо было подумать, прежде чем на любой вопрос ответить «да» или «нет», преображался, когда садился в кабину. Его сухощавая фигура с крупной головой сливалась с самолетом, движения делались быстрыми, точными, даже голос менялся. Иногда Борису казалось, что Алексей такой медлительный на земле потому, что ему скучно — ведь у него были крылья, а у других людей их не было...

Алексей, конечно, был прирожденным летчиком, летчиком от бога, может быть, таким же, как Валерий Чкалов. Кстати, он был из тех же краев, с Волги. «Ладно, — подумал Борис. — Не хочешь сказать сразу, выпутывайся сам. А я погляжу на тебя». Вслух он сказал:

— Я, товарищ капитан, воздухом дышал. Вечер хороший.

— Ну и как — надышался?

— Надышался.

Наступило молчание. Борис сел на кровать и начал не спеша сворачивать цигарку.

— Тут, понимаешь, вот какое дело... — Комэска наклонил ло-

бастую голову. — К тебе пополнение... — Он попробовал шутить: — Из резерва Главного Командования...

Шутка не получилась, и комэска поспешил добавить:

— Давай принимай...

Так вот оно что. Теперь все понятно. Значит, пополнение. Теперь его экипаж в полном комплекте. Это главное. А про остальное забудем. Как будто Димки и не существовало. Не было такого. А если был, то можно забыть. Война есть война. Верно. Все правильно.

Новый стрелок, пополнение из резерва Главного Командования, вышел из-за стола (а он-то сразу и не заметил его) и стал по команде «смирно».

— Товарищ старший лейтенант, младший сержант Кожухин прибыл в ваше распоряжение... — Он запнулся, словно позабыв, что надо говорить дальше. Губы его беззвучно шевелились. Вспомнил, но понял, что уже говорить не стоит, и все-таки пробормотал упавшим голосом: — Для дальнейшего прохождения службы.

«Прибыл», — повторил про себя Борис. Прибывают поезда, как шутил старшина в училище. А еще некоторые говорили — явился. Но чем это лучше? Можно ответить — являются только видения. Например: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье...» Черт знает какая чепуха лезет в голову.

Борис исподлобья смотрел на стоявшего перед ним паренька. Ну и ну. Всяких солдат видел, а таких не приходилось. Да ему от силы лет пятнадцать. Как он в армию попал? И еще в авиацию? Как? Очень просто. Взяли мальчишку, выросшего на голодном пайке, вот такого — щуплого, лопоухого, с цыплячьей шеей и огромными глазищами, выдали ему гимнастерку хабэ, ремень, кирзовые сапоги с широченными голенищами, показали, как обращаться с пулеметом Березина, подучили малость — и получился младший сержант Кожухин. И он «прибыл» на место Димки!

— Ты с какого года, товарищ младший сержант? — спросил Борис.

«А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...» Ну и старым же показался сам себе Борис! Будто прожил целых две жизни. Одну довоенную — короткую. Другую военную — долгую. Без конца и края, где все уже было. А что видел этот малец? Голодное детство?

— С тысяча девятьсот двадцать восьмого года, товарищ старший лейтенант.

— Свежо предание...

— Как скажу, так все не верят, товарищ старший лейтенант. А потом верят.

— Ишь ты, какой шустрик, — удивился комэска.

— А как тебя звать? — опять спросил Борис.

— Гена, товарищ старший лейтенант.

— Ладно, Гена, — усмехнулся Борис. — Только не стой, пожалуйста, по команде «смирно». Не подходит это к тебе.

— Есть не стоять, — недоуменно ответил Гена, не решаясь, однако, ослабить ногу, как это полагалось в положении «вольно».

Он был окончательно сбит с толку. Много раз Гена представлял себе, как он прибудет в часть и представится командиру и какой при этом будет разговор, что командир спросит и что он ответит, а сейчас все было не так. И еще одно обстоятельство приводило Гену в крайнее смущение. Он обнаружил, что не может глаз отвести от золотой звездочки, сверкающей на груди капитана. Гена впервые видел живого, самого что ни на есть настоящего Героя Советского Союза, не только видел — разговаривал с ним! Понятно, ему хотелось как следует рассмотреть капитана, и все было интересно: выражение лица, как говорит, смеется, курит. Но Гена стеснялся поднять на него глаза: а вдруг капитан прочтет в них все его мысли? От одного этого предположения Гену бросило в жар. Ведь он не школьник, а младший сержант, воздушный стрелок, и находится в боевой части, под самым Берлином, а не на школьном вечере. Что о нем подумали бы и капитан и этот хмурый старший лейтенант, его будущий командир, если бы они догадались, что он заставлял себя не смотреть в лицо капитана, Героя Советского Союза, и поэтому уставился на его звездочку и уже не может оторвать от нее взгляд!

— Да садись ты! Вот сюда, — сжалился над ним комэска, пододвигая стул. — Садись. Привыкай к нашей жизни. У нас ребята хорошие. Не бойся, не съедят.

— Я и не боюсь, — сказал Гена, присаживаясь на самый краешек стула (как он хотел, чтобы капитан увидел его в воздушном бою!). — Я на фронт приехал.

— Верно, — поддержал его комэска. — Немцев бить. Для того и приехал.

Борис вздохнул. Он знал и летчиков и стрелков, которые приходили в полк, и вот так же хотели как можно скорей слетать на боевое задание, и не возвращались после первого или второго вылета. Там, в школе, они учились преодолевать себя, испытали радость самостоятельного полета, мечтали о подвигах, о целой жизни впереди, а все кончилось в первые же дни приезда на фронт. Наверно, они были не хуже других, и многие из них могли бы воевать и стать асами, как Алексей. Могли, но не стали, потому что воздух, в который они рвались, был заряжен гибелью. Одним обходится, другим нет. А теперь даже имен не вспомнить: их и узнать-то как следует никто не успел. А Гене обойдется. Должно обойтись. Как-никак, а воздух наш.

Сколько же должно было погибнуть тех, чьи имена не вспомнить, и таких, как Димка, чтобы Гене обошлось, чтобы остался он целым и невредимым! И Борис подумал, что в образе этого худенького голубоглазого паренька, выросшего на голодном тыловом пайке, пришло к ним то новое поколение, которое начнет свою главную жизнь после победы. А вот у него и у

Алексея самым главным в жизни была и, может быть, навсегда останется война.

Димка погиб, чтобы Гене обошлось. Такие пироги, как говорит Алексей.

— Ты ШМАС * кончил? — спросил комэска, нарушая затянувшееся молчание.

— Ну да — ШМАС.

— Стрелять, конечно, умеешь? И летать не боишься?

— Не боюсь, — сказал Гена.

— А в авиацию как попал? Да ты не обижайся, — поспешил прибавить комэска. — Я вот помню... У нас богатырей заворачивали!

— Меня, товарищ капитан, не пускали. Да нельзя мне без авиации. Мне с фашистом надо встретиться — в воздухе. Чтоб один на один... — Широко распахнутые, светлые, как апрельское небо, глаза Гены сузились, потемнели. Он запнулся, замолчал.

— Счет у тебя к ним? — осторожно спросил комэска.

— Мы с мамой эвакуированные. Отец в партизанах остался. Пока из Новогрудка в Минск шли, по пять раз в день бомбили. Налетят, сбросят бомбы — и давай из пулеметов... Улетят, чай попьют — и опять... А когда патроны кончаются, над головой промчатся, чтоб добить, кто живой остался, воем своим, чтоб на всю жизнь страх этот запомнился... Там и Катьку, сестренку мою, убило...

— Понятно, товарищ младший сержант, понятно... — Комэска помолчал. — Сквитаешься еще с ними. И Гитлера прикончишь. В самом Берлине. Понял меня?

— Понял, товарищ капитан.

— Ну а дальше? — спросил Борис. — До Минска дошли. А потом?

— Потом нас эвакуировали на восток. Эвакуированные мы, — повторил Гена запавшее в душу с той поры словцо, которое все объясняло: бездомность, сиротство — все несчастья, все горести.

Гена замолчал, стараясь справиться с горячей волной, которая подкатывала к горлу. Вот же как бывает — в самый неподходящий момент... Рассказывать, выходит, хуже, чем на самом деле переживать.

— Закуривай, младший сержант... — Алексей протянул Гене красивый портсигар из плексигласа.

— Спасибо, товарищ капитан. Некурящий я, — ответил Гена и почувствовал, что отлегло, вроде никто ничего не заметил и он может продолжать рассказ. — Попали мы в Киров. Я в школу пошел, маму на фабрику взяли. А как стукнуло мне шестнадцать, стал заявления в военкомат писать...

— Ого, шестнадцать! А что скажешь, когда двадцать пять стукнет? — улыбнулся капитан.

---

* Школа младших авиационных специалистов.

— Рассказывай, Гена, рассказывай, — снова вмешался Борис. Он и сам не понимал почему, но хотел узнать всю историю этого паренька. Всю — до конца.

— Я на заявления целую тетрадь извел. — Гена проговорил это с сожалением: тетрадь была большой ценностью. — Целую тетрадь! А ничего не вышло. После один человек помог. Из райкома. Я в летную школу хотел. А набор был в ШМАС...

— Летчик из тебя бы вышел, — сказал комэска, похлопав Гену по плечу. — Точно говорю. У меня глаз на летчиков. После войны пошлем мы тебя в училище, в гражданскую авиацию. И станешь ты пилотом высшего класса. Будешь летать через горы, океаны. Вокруг шарика облетишь. Об этом Чкалов мечтал, да не пришлось ему. А ты облетишь. Всю землю увидишь — не на картинке, своими глазами. А самолеты построят — глаз не оторвешь. Скорости будут считать от звукового барьера. И любая погода нипочем!

— Такой самолет для тебя, Алексей, построят, — сказал Борис. — Ну а Гену мы к тебе вторым пилотом. Возьмешь?

— А как же! Обязательно возьму! Мы еще с тобой, младший сержант Гена, полетаем! — И капитан дружески подмигнул Гене.

«Что у него было? — снова спросил себя Борис. — Голодное детство? Верно. А еще война. Как у солдата. Да нет, Гене было хуже: в него стреляли, его убивали, а у него не было оружия, чтобы защититься. А кругом были женщины, дети. Мать, сестренка... «А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...» А у него на глазах сестренку убили».

И опять, как час тому назад на кладбище, Борис подумал, какая эта огромная война. Всех захватила. Никого не обошла. Расшвыряла, уничтожила, задавила. И опять вспомнилась ему череда людей, бредущих по дымной горящей дороге. «Голову, голову держите!» А Гену не убьют. Он должен жить. Он вернется, и его обнимет мама, и сядет напротив него, и будет смотреть, как он ест, и будет знать, что больше не стреляют, что впереди у Гены целая жизнь...

Комэска неожиданно проговорил:

— Вот так-то, Боря. Такие пироги.

Только сейчас Борис понял, почему Алексей сам представил ему нового стрелка. Алексей все брал на себя. Всю вину за то, что как бы первым сказал: погоревал — и хватит, надо дело делать. Гитлер еще не издох там, в Берлине. Принимай на Димкино место другого. Он сказал это и как товарищ и как старший командир, а Борису оставалось одно — подчиниться. Когда трудно решать самому, самое лучшее подчиниться.

Смотря в глаза своему новому стрелку, Борис сказал:

— Иди, младший сержант Кожухин, отдыхай. Завтра с утра покажу тебе наш аэроплан. А там, глядишь, и слетаем. Чем черт не шутит.

* * *

Утро начиналось как обычно, когда ожидаются вылеты. Еще не рассвело, а механики и мотористы заправляли самолеты горючим и маслом, запускали и опробовали моторы.

Проснувшись от разноголосого гула, доносившегося с аэродрома, Гена вскочил в холодном поту: ему привиделось, что самолеты выруливают на старт, чтобы лететь на боевое задание, а он проспал все на свете и его забыли разбудить. Гена огляделся и увидел спящих товарищей. Сразу отлегло от сердца — никто его, слава богу, не забыл. Опробуют моторы — значит, будут вылеты. Не дожидаясь команды «подъем!», Гена начал одеваться.

После того как он слетал на боевое задание, в разведку, Гена почувствовал себя полноправным членом экипажа, и теперь все имеющее хотя бы какое-нибудь отношение к полетам радовало его. Что же говорить о летном снаряжении, на которое так приятно было смотреть и еще приятнее знать, что оно принадлежит тебе по праву! С удовольствием натянув комбинезон, надев сапоги, Гена, нахмурившись, взял ремень с кобурой и пистолетом. Подпоясывался он не торопясь, небрежно, будто кто-то мог наблюдать за ним.

Гена уже и думать забыл, как на следующий день после его приезда в полк командир экипажа, старший лейтенант, полетел с ним в зону и помотал так, что, когда они приземлились, Гену вырвало прямо в кабине, и он очень боялся, что командир заметит! Тогда прости-прощай его боевые вылеты! Но старшему лейтенанту, видно, все это было неинтересно. Спрыгнув на землю, он, ни слова не говоря, махнул Гене рукой и не спеша пошел от самолета. Примерно через час, когда Гена окончательно пришел в себя, старший лейтенант, встретив его у столовой, спросил: «Ну как? Понравилось?» — «Конечно! — поспешно ответил Гена. — Очень понравилось!» Ответил так, будто речь шла о катании на карусели. Старший лейтенант усмехнулся и промолчал. После этой встречи Гена ходил как в воду опущенный: неужели догадался? Уж больно ехидной показалась Гене эта усмешка... Но прошел еще день, и они полетели на боевое задание, в разведку, и сразу забылись все эти страхи.

Одевшись и прицепив к поясу шлемофон, Гена счел себя готовым. Пока поднимутся другие стрелки, он решил выйти из дома и поглядеть, не затянуло ли звезды облаками. Стараясь не шуметь, Гена спустился со второго этажа по широкой деревянной лестнице с резными перилами, все время ощущая приятную тяжесть пистолета, чуть-чуть оттянувшего ремень с правого бока. Шлемофон в такт его шагам слегка похлопывал по ноге.

Закрыв за собой массивную входную дверь, Гена оказался на каменной площадке вроде крыльца, на три ступеньки возвышающейся над землей. Остановился. Зажмурившись и запрокинув голову, вдохнул холодный, сырой от рассеивающегося тумана воздух. Потом открыл глаза, огляделся.

Рассветало. Сероватая мгла растекалась, уходила, и в светлеющем воздухе все явственней, резче обозначились деревья, дорожка, ведущая от дома, кусты, металлическая ограда. Небо как бы раздвигалось, обнажая бледную голубизну высоты, где уже не было видно звезд. А там из-за волнистой розовой полосы, тихо разлившейся над крышами городка, в желтовато-белом накаленном кольце медленно выплывало солнце.

Замолчали моторы на аэродроме. Набежал и затих предрассветный ветерок. Все замерло, затаило дыхание, пока солнце поднималось все выше и выше, и светлело, и уменьшалось, будто таяло, отдавая тепло и свет.

Прислонившись к дереву, замер и часовой, завороженно глядя туда, на восток.

Стало совсем светло. Небо было чистым, только на западе оно казалось чуть темнее. Наверно, так и должно быть, пока солнце не забралось повыше. Небо чистое. Значит, будут вылеты.

Гена, как старый воздушный волк, цепким, примеривающимся взглядом (а если посмотреть со стороны, небрежным) скользнул по небосводу. Слева направо — по часовой стрелке, потом справа налево и, вернувшись к тому ориентиру, с которого начал обзор (островерхая башенка со шпилем — почти в створе солнца), уже больше не мог оторвать глаз от этого места.

Он смотрел на волнистые, изменчивые переливы света и сияния, на сверкающее солнце, уходящее в вышину, и подумал, что именно там, вот за этой башенкой, и есть тот самый край земли за горами, за долами, откуда оно выплывает в своем бело-золотом ослепительном ореоле...

Заглядевшись, Гена, как и часовой, боялся двинуться, и неизвестно, сколько времени они простояли бы так, но дневальный скомандовал: «Подъем!» — и сразу оборвалась тишина. Дом ожил, наполнился голосами, топотом сапог, заходил ходуном.

Наконец-то! (Будто минуту тому назад Гена не стоял как зачарованный, забыв о своем нетерпении, обо всем на свете.) Наконец-то! Завтрак пройдет быстро — и на аэродром.

Гена не мог ускорить течение времени. Ему казалось, что все делается крайне медленно. Как будто это запасной полк, а не фронтовое подразделение, которое в любую минуту может получить боевое задание. Он раньше всех позавтракал и раньше всех оказался возле своей «пятерки».

На летном поле было пустынно. Гена похаживал около самолета, то и дело поглядывая в сторону КП, откуда должны были появиться летчики. Он решил проявить характер и залезть в кабину, когда придет командир. Но летчики не показывались, и нетерпение его росло.

Мимо стоявших в одну линию самолетов эскадрильи, гремя баллонами с воздухом, проехала полуторка. И опять все тихо. Потом, правда в другой стороне (не там, где находился КП), возникла высокая фигура в комбинезоне. Когда фигура немного

приблизилась, Гена узнал своего механика. Это был хороший признак. Сначала приходит механик, потом летчик.

Механик слегка кивнул Гене, достал из кармана комбинезона отвертку, открыл нижний бронелюк мотора и засунул туда голову. Что-то он там высматривал или делал, Гена не мог определить, так как видел только его спину, а подойти поближе и заговорить постеснялся. Этот механик, как казалось Гене, был человеком мрачноватым, к тому же намного старше его, лет на десять, а то и больше. Старик стариком. Покопавшись, механик закрыл бронелюк, вытер руки ветошью и, ни слова не говоря, не спеша удалился. А летчики все не шли.

Гена решил снять с себя запрет и забрался в свою кабину. Первым делом он тщательно осмотрел пулемет, по всем правилам, как учили в ШМАСе. Проверил магазинную коробку, положение ленты, предохранитель. Подвигал ствол по вертикали, потом по горизонтали — турель шла, как и полагалось, легко, с мягким, чуть слышным постукиванием. Все в порядке. Он был готов к бою. А вылет почему-то задерживался. Как будто наши наземные войска, добивающие фашистов, не нуждались в поддержке с воздуха! Или, может быть, уже больше не существовало целей для атаки штурмовиков! Например, танковых колонн противника, двигающихся из глубины обороны к переднему краю? Огневых рубежей? Ближних аэродромов?

Гена уселся поудобнее на широкую брезентовую ленту вроде гамака, упершись ногами, чтобы не раскачиваться, закрыл глаза. Лучше уж думать о чем-нибудь другом. Как он делал дома, когда голодным ложился спать и так сосало под ложечкой, что невозможно было заснуть. И он заставлял себя думать не о еде, не о том куске хлеба и сахаре, которые лежали в шкафчике и которые они с матерью съедят утром за чаем, а о том, например, как он садится в истребитель и поднимается в небо и летит на перехват «юнкерсов»... Так и засыпал и, наверно, уже во сне пикировал на черные самолеты с крестами и до боли в пальцах жал на гашетки. Когда Гена просыпался, было уже утро; иногда он не мог вспомнить, видел во сне или нет, как вспыхивает «юнкерс» и в дыму несется к земле.

Но сейчас думать о другом Гена не мог, как ни старался. Мысли все время возвращались к тому вылету — единственному боевому вылету. И каждый раз всплывали новые подробности, которые вроде забылись или сначала казались неважными, но, выходит, нет, не забылись и теперь уже без них нельзя, потому что все нарушается и становится непонятно, почему командир и он сам действовали так, а не по-другому.

...Они полетели в разведку без ведомого — воздух был наш, и Берлин рядышком, и бои шли в самом городе. «За воздухом посматривай», — сказал командир. «Есть», — ответил Гена. А может, и не ответил, только кивнул. Голос плохо слушался, во рту было сухо. Но «посматривай» засело в нем.

Когда рулили на старт, ему казалось, что земля в бугорках

и трещинках со старой, выцветшей и зеленой, молодой, упругой травой, наклоненной воздушным потоком, его привычная земля, по которой он ходил, не замечая ее, теперь уже другая и не его, и у Гены сжалось сердце. Ему стало страшно покидать эту землю, отрываться от нее.

Страх прошел, когда они набрали высоту, легли на курс и Гену захватило чувство полета. Кругом все голубело. Солнце стояло почти в зените. Кое-где выше их растекались легкие перистые облачка, сквозь которые просвечивала голубизна. Видимость была отличная. Внизу чуть покачивалась земля — темная полоска леса, кусочки зеленеющих полей, домики, ниточки дорог...

«За воздухом посматривай...» По всем правилам обзора, как их учили, он несколько раз обежал взглядом все видимое пространство и потом снова, но уже не торопясь, методичнее. Все было чисто вокруг, искрилась голубизна, в тишине таяли облачка, и ровно звенел мотор, но холодок тонкими струйками пополз по Гениной спине. «Мессеры» могли свалиться на голову в любую секунду. А он и не заметит — воздух над ними так сверкает, что больно глазам. Смотреть можно несколько секунд, потом перед глазами плывут оранжевые круги. Оторвешь взгляд — а «мессеры» или «фоккеры» тут как тут.

Гена встал — так обзор был лучше, да и действовать сподручнее. Самолет шел ровно, на одной высоте, и Гена понемногу приспособился: пока смотришь вниз, налево, направо, глаза отдыхают, потом вверх и опять вниз, налево, направо...

...Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. Опираясь на палочку, капитан, начальник школы, стоит перед строем, и Гена опускает голову, чтобы не видеть его обожженное лицо с косым шрамом на лбу... Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. И опять Гена почувствовал холодок на спине.

Справа мелькнуло темное пятнышко. Мелькнуло и пропало. Почудилось? Ну появись! Давай! Ничего — только искры в глазах. Да нет, не искры — это воздух такой розовый. Что за черт — розовый! Розовый воздух! А теперь красный! Гена зажмурился, сосчитал до трех, открыл глаза: воздух был красно-розовый! И только над ними все голубело по-прежнему. Посмотрев вниз, понял: красный воздух — это отблески огня, гигантских пожаров, бушевавших там, впереди.

Командир заложил глубокий вираж — земля в серой клубящейся пелене дыма качнулась и пошла вверх. Гену прижало к стенке кабины, он чуть присел, потом почувствовал, что самолет набирает высоту. Когда выровнялись, Гена опять увидел разрезанные дорогами островки леса. Плотная серая завеса дыма с темными растекающимися пятнами, сквозь которые пробивалось пламя, осталась позади. И тут Гена услышал хлопок. Будто лопнул детский воздушный шарик. Один. Второй. Третий. И одновременно справа и слева возникли белые облачка, похожие на маленькие парашютики. Они быстро таяли, но сразу же по-

являлись новые — все больше и больше и все ближе к ним. Командир начал швырять самолет из стороны в сторону, вверх-вниз, а парашютики не отставали, стараясь дотянуться до них. Дотянуться и уничтожить.

У Гены похолодело внутри, руки стали непослушными. Сколько это длилось? Секунду, две? Он справился с собой, почувствовав боль в пальцах, впившихся в прохладный металл пулемета. Земля то уходила, то надвигалась. Гену мотало, но он все-таки увидел пушки, укрытые в лесу, по пламени, вылетающему из стволов. Гена приладился и дал одну за другой три короткие очереди по этим желто-красным языкам пламени.

И сразу в шлемофоне встревоженный голос командира:

— Почему стреляешь?

Возможно, Гена промедлил долю секунды, не больше, но тут же последовало резко, требовательно:

— Отвечай!

— Стрелял по зениткам.

— Хорошо.

Это «хорошо» прозвучало с удовлетворением. Как вздох облегчения. Гене показалось, что он и в самом деле услышал этот вздох. Но в тот момент он не подумал обо всем этом. Белые парашютики вспыхивали все ближе, и мысль была одна: скорее вырваться, уйти. А пока бить по пушкам, когда появляется пламя.

А потом, когда лесок уплыл назад и зенитки уже не доставали их, они опять попали в зону пожаров и опять летели в красном светящемся воздухе, но теперь уже под ними был Берлин — дым и пламя, черные дома, черные прямоугольники улиц, черные провалы развалин, вспышки огня. Рядом с самолетом в восходящих токах воздуха крутились кусочки сгоревшей бумаги, крупицы сажи, копоти. Казалось, горел сам воздух, и уже трудно было что-нибудь увидеть в этом сплошном огне...

Гена не мог сказать, сколько минут или секунд длился этот полет. Он только заметил, что над ними посветлело, и огонь бледнеет, как бы расступается, и теперь видно — это не огонь, а воздух, розовый от огня; а потом стало еще светлее, и кругом уже была ясная, солнечная голубизна, и внизу зеленели поля, и топорщились крыши домиков, и спокойно, ровно звенел мотор — будто в нескольких километрах от них не горел Берлин, и Гитлер не был в Берлине, и не было на свете никакой войны.

Они летели домой, на свой аэродром, и эти прозрачные, глубокие дали уже не казались Гене опасными. Теперь он имел некоторое представление о том, что такое настоящая опасность.

А вот и их колокольня на краю аэродрома. Командир делает круг и идет на посадку. Земля быстро приближается и убегает назад. Легкий толчок. Еще один, и они не спеша рулят на стоянку. Они дома, вернулись из боевого вылета, и все в порядке!

Командир выключил мотор, но Гена не торопился вылезать из кабины. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота. Стоило закрыть глаза — и земля начинала ходить ходуном и раскачиваться под ним. Посидеть бы немного, чтобы все прошло. Гена несколько раз глубоко вдохнул полной грудью — стало полегче. Потом не торопясь закрепил пулемет, накинул на него чехол. Тошнота начала понемногу проходить. «Эй, младший сержант, ты что там закопался, командир зовет!» — крикнул механик. Гена еще раз вдохнул как мог глубже и спрыгнул на землю.

Командир ждал его. Он уже отошел на несколько шагов от самолета, но остановился и ждал, пока Гена подойдет к нему. «Товарищ старший лейтенант...» — начал Гена, подойдя к командиру и становясь по команде «смирно». «Ладно, — оборвал его командир и, глядя в глаза, спросил: — Видел, как горит Берлин?» — «Видел, товарищ старший лейтенант». — «Теперь все. Понял? Войне конец! — Он положил руки на Генины плечи и приблизил его лицо. — И если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы!» Гена промолчал, а про себя удивился: командир всегда сдержанный, словечка лишнего не скажет — и вдруг такое...

...Теперь, сидя в кабине воздушного стрелка и вспоминая минута за минутой свой боевой вылет, Гена связал два эти разговора с командиром — в воздухе и на земле.

Будто опять услышал Гена голос командира: «Почему стреляешь?» — но только сейчас понял, что встревожило командира. Ведь их могли атаковать «мессеры» и Гена мог стрелять по «мессерам». Вот почему командир сказал «хорошо» со вздохом облегчения, когда Гена ответил, что стреляет по зениткам.

По зениткам, а не по «мессерам»! Нет, командир, конечно, не испугался «мессеров» — видал он их! Просто ему была обидна, очень обидна сама мысль о гибели, когда горит Берлин и войне конец. Так он и сказал, когда они прилетели, — войне конец! И еще сказал: если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы! А если уж командир все-таки испугался, когда подумал, что Гена бьет по «мессерам», то не за себя, а за него.

Мысль эта появилась неожиданно, неизвестно откуда взялась, но как это бывает с тем, что очевидно, сразу утвердилась, без всяких сомнений, будто Гена знал об этом всю жизнь. Тут и говорить нечего, командир испугался за своего стрелка. Ведь он не хотел его брать, сказал, что полетит один, что ему разрешили лететь одному, а Гена стоял перед ним, и не было у него таких слов, чтобы ответить командиру, потому что остаться, когда его командир улетит на боевое задание, было для Гены хуже смерти. Гена стоял перед командиром, смотрел на него, и молчал, и чувствовал, что у него дрожат губы и он ничего с этим не может сделать.

Наверно, командир понял, что творится у Гены в душе и что не брать его нельзя. Он махнул рукой: черт с тобой, полезай

в кабину! А потом, когда они рулили на старт и Гена близко, будто впервые, увидел землю в бугорках и трещинках, с наклоненной воздушным потоком травой вперемежку — старой, выцветшей, и молодой, зеленой, ему стало страшно отрываться от этой земли, и он возненавидел себя за этот страх. Но страх прошел, когда они набрали высоту, и легли на курс, и Гену захватило чувство полета, а потом его кольнуло — за воздухом посматривай — и он ждал атаки и боя, а потом...

Но у Гены не было сил снова раскручивать этот клубок и переживать все сначала. Он сдернул с головы шлемофон, вытер рукавом пот со лба. Вот чудеса! Будто он и вправду только что побывал над горящим Берлином, и попал под зенитный огонь, и бил из пулемета по желто-красным языкам пламени, вылетающим из пушек, и до боли в глазах вглядывался в сверкающую синеву, чтобы не упустить тот момент, когда на них свалятся «мессеры» или «фоккеры». Теперь надо успокоиться, прийти в себя.

От сидения в неудобном положении у Гены заныла спина, затекли ноги. Пора размяться. Гена закрепил пулемет и вылез из кабины. Попрыгал, несколько раз присел. Походил около самолета.

Аэродром по-прежнему был пустынным, лишь у нескольких самолетов виднелись фигуры технарей в серо-бурых комбинезонах. Погода установилась самая что ни на есть летная: небо синее, высокое, с редкими неподвижными белыми и пухлыми, как снежные сугробы, облаками. Солнце стояло уже над головой и начало помаленьку припекать. Если торчать тут, на самом солнцепеке, разморит окончательно. А ему лететь. Вернулся к самолету и сел на землю в тень, под крыло. От земли шел густой, влажный, острый, будто горьковатый на вкус дух — весенний дух, такой же, какой бывает и в Белоруссии.

Гена лег на спину, положил руки под голову, закрыл глаза. Ему вспомнилось, с каким нетерпением ждал он весну, замечал по разным приметам, как она приближается, как приходит и начинает хозяйничать — в поле, в лесу, на улице. В такие дни они всем классом, даже девчонки, убегали с последних уроков, а Гена со своим дружком Петькой шел в лес. Там было сыро, под ногами хлюпало, кое-где в низинках еще лежал снег, темно-серый, почти черный, как земля, а на буграх, покрытых выцветшей прошлогодней ветошью, уже зеленела молодая трава, и даже в чаще было светло, потому что деревья стояли голые, и если запрокинуть голову, сквозь ветви виднелось все небо — синее-синее... Не сговариваясь, они находили свою тропку, узнавали на ней все — низкую разлапистую темно-зеленую ель (она одна выделялась тут среди голых черных стволов), старый мшистый пень с выпирающими из земли корявыми корнями, а в стороне от него свежие кротовые норы и кучки выброшенной земли, чуть дальше стоял раскидистый могучий ясень.

Первые птицы уже прилетели, перекликались, в воздухе звенели их песни, и они с Петькой останавливались и угадывали

голоса: дрозд, зяблик, крапивник... А тропинка поднималась на пригорок, и что-то незаметно менялось (Гена опять ощутил эту неуловимую изменчивость), они замедляли шаги, с замиранием сердца ожидая, что сейчас это произойдет, но каждый раз оно происходило неожиданно и не так, как раньше. Неожиданно, в долю секунды, расступался лес, и в глаза ударял свет, и в переливах света возникал белый, совсем белый березнячок, и они с Петькой застывали на месте.

Тоненькие березки разбегались во все стороны и будто аукались, прячась друг от друга, выглядывая и опять скрываясь. Они светились, и свет разливался между стволами и уходил в синеву неба...

— А ну, парень, посторонись малость, — услышал Гена над собой густой, чуть хрипловатый голос.

Гена вскочил (неужто так замечтался, что не заметил, как человек подошел?) и увидел оружейника, старшину Ермакова. Вчера Гена наблюдал, как Ермаков играючи обращался с «бомбочками», и теперь смотрел на него с почтением и некоторым любопытством. Человек как человек. Роста обыкновенного. В плечах, правда, пошире других, но не так чтобы уж очень... А сила какая! Как схватит своими ручищами, так и все, и пикнуть не успеешь.

Ермаков поочередно открыл бомбовые люки, что-то там проверил, снова закрыл и, выпрямившись, заключил:

— Порядок! Сыпьте их прямо ему на голову.

— Кому на голову?

— Как кому? Гитлеру!

— Значит, летим! — обрадовался Гена.

— Ишь ты какой прыткий, — усмехнулся Ермаков. — Мы еще поглядим, годен ли ты к строевой...

— Я серьезно, — обиделся Гена.

— А если серьезно, так загорай. Твое дело такое: прикажут — полетишь. Понял?

— Я думал, вы знаете... — вздохнул Гена.

Ермаков внимательно посмотрел на него:

— Откуда ты такой выискался? Небось года себе приписал?

— Ничего я не приписал.

Гене сразу стало скучно. Слыхал он такое. Все одно и то же талдычат. Как будто дело в годах. Ну, допустим, и приписал. Что из этого? Гена молчал, но все это было написано на его лице, и Ермаков сказал примирительно:

— Ты, парень, не обижайся. Года — дело наживное. Ну и насчет ума-разума... Тоже прибавится. Так что перспектива у тебя имеется. А это человеку главное — чтобы была перспектива для роста...

Ермаков говорил серьезно, только глаза его посмеивались. Однако Гена никак не отозвался на эти шуточки — не обиделся, не разозлился, — может, до него и не дошло, и Ермаков решил: ни к чему тут разоряться, тем более что и публики-то не было. А главное, ему почему-то расхотелось в таком духе

разговаривать с этим лопоухим пареньком, что смотрел на свет божий синими, как у красной девицы, глазами, будто вчера родился, а захотелось провести ладонью по его стриженой голове, похлопать по плечу: так, мол, и так, ты, Гена, не тушуйся, пока я здесь, с тобою будет полный порядок. Но этого Ермаков не сказал, а, наоборот, сделал Гене как бы выговор:

— А почему, между прочим, ты здесь торчишь? Вам, стрелкам, приказано не отлучаться с КП, а не находиться у самолетов.

— Я думал...

— Думать не твоя забота. Иди-ка лучше на КП. Книжку почитай. А то письмецо напиши. Дескать, жив-здоров, чего и вам желаю. Готовьте, дорогая маманя, угощение, скоро буду собственной персоной. Как Гитлер издохнет, так и приеду. А дело это близкое. Может, завтра-послезавтра. Так что ждите, маманя, вскорости.

Проговорив все это, Ермаков на прощанье дружески хлопнул Гену по спине (Гена покачнулся, но устоял на ногах) и пошел к следующему самолету.

Все это было более чем странно. Никто никуда не торопился. В летную погоду! В тридцати пяти километрах от Берлина! Сегодня. Вчера. Позавчера. Три дня подряд!

Конечно, высшему командованию виднее, что к чему. Возможно, оно держит полк в резерве, подумал Гена. Все-таки ему было неприятно иронизировать по поводу высшего командования. Лучше было считать, что их не забыли, но так надо. Резерв есть резерв. Значит, такая судьба. С тяжелым сердцем Гена поплелся на КП.

После обеда стрелки его эскадрильи были отпущены с КП. Гена вместе со всеми пошел в общежитие.

Никто никуда не торопился. Ребята занялись своими делами, кто чем. Гена пробовал и писать и читать, но все бросал на полдороге. Он слонялся по комнатам, выходил на крыльцо. Где был командир, Гена не знал. Ему очень хотелось встретить командира и расспросить его напрямую. О боевой задаче полка. Проверить свои предположения насчет резерва. Но ни на КП, ни в доме командира не было.

Гена от нечего делать подсел к столу, где играли в шахматы. Здесь было, по крайней мере, не так шумно. Вошел кто-то из стрелков и сказал, что летуны собрались в штабе. Ничего особенного в этом не было, дело обычное, но довольно громкий разговор при этом сообщении прервался на полуслове, а шахматисты многозначительно переглянулись. Впрочем, никто ничего не сказал, и пауза была короткой. В штабе так в штабе. Значит, опять ждать.

Он снова спустился вниз и вышел на улицу. Солнце уже клонилось к горизонту. Порозовел небосклон, засветились золотом края волнистых облаков, сгрудившихся на западе. Наступал вечер. И теперь было ясно: если летчики и получают задание там, в штабе, то на завтра.

Конечно, так и есть. Предполагается массированный налет всего полка на опорные пункты противника. На подготовку этой операции и ушли последние два дня. Срок небольшой, если учесть, что не так просто разработать план взаимодействия с наступающими наземными войсками. Вот в чем дело! А он-то, лопух, не может понять, почему они бездействуют.

Только сейчас, когда все разъяснилось (что дело обстоит именно таким образом, в этом сомнения уже не было), Гена почувствовал, как устал за день. Ничего не делал, а устал, будто на нем воду возили. С трудом поднялся по крутой скрипучей лестнице в зал, где помещались стрелки, стащил сапоги, бухнулся на постель. Какие-то секунды он еще слышал голоса, потом они начали отдаляться, тускнеть, потому что самого его понесло вниз, в черный провал. Его несло, и он не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, и ужас сковал все тело, и оно начинало леденеть, и лед добирался до сердца. Только одна мысль вспыхнула и не уходила: рвануться, пока лед не дошел до сердца.

Он собирает всю волю, все силы будто по капле — еще и еще, теперь можно? Нет, надо еще, а то не хватит сил. Пора! Он выпрямляется — и падение останавливается, что-то подкатывает к сердцу и отступает. Становится легко. Он вдыхает полной грудью. Вокруг светлеет, и он ощущает себя в плавном полете. Он парит и кружит, как птица, потом спускается и сквозь застывшие облака видит пустынную дорогу, огибающую лесок. И дорога и лесок чем-то знакомы, он здесь был, только не знает когда. И вот он уже не летит, а идет по этой дороге и не слышит своих шагов, потому что здесь все мертво и свет серый, безжизненный, застывший, как и облака. Сейчас дорога прижмется к лесу, и как раз в этом месте он сядет на обочину, свесив ноги в канаву, на дне которой валяется пустая консервная банка. Все это было — кусочек дороги, подступившей к самому лесу, осыпающаяся канава с желтым песчаным дном и пустая консервная банка, было... Он знает, что сейчас разорвутся застывшие облака (только это не облака, а клубы пыли), и он свалится в канаву, и консервная банка вдавится в шею, и земля закачается, и на него посыплется песок... Но ничего такого не происходит (или это уже произошло?), он бежит, почти не касаясь земли, бежит изо всех сил, чтобы догнать маму, пока она не скрылась за поворотом дороги, но она сама поворачивается к нему и идет навстречу. И он видит ее лицо, глаза, и сбившуюся косынку, и растрепанные волосы и кричит: «Мама!» И рвется к ней, бежит, но не может приблизиться. «Мама! мама!» — кричит он и чувствует, что его крик тонет в грохоте. Что-то тяжелое, холодное наваливается на грудь. Гена, собрав все силы, двумя руками сбрасывает с себя этот тяжелый камень, садится. Перед глазами как из тумана выплывают кусок сводчатого потолка, узкое вытянутое окно, потом черная люстра с зажженными лампами, похожая на гигантского паука с множеством горящих глаз. Ну да, это зал, где спят стрелки. И ре-

бята, стуча сапогами, бегут вниз. И там, на улице, грохочут выстрелы. А сам он сидит на кровати, и это уже не сон. Налет на аэродром! Скорее вниз!

Гена лихорадочно натягивает сапоги, застегивает ремень и вслед за другими, также стуча каблуками по деревянным ступенькам, почти скатывается вниз. На крыльце останавливается, пытаясь сообразить, где свои, где немцы: стрельба идет со всех сторон. Кто-то толкает его в спину: «Чего стоишь? Давай! Давай!» — и тут же с ожесточением разряжает в воздух всю обойму.

Гена все еще не понимает, что происходит. Он стоит в нерешительности, и опять кто-то хватает его за руку, стаскивает с крыльца и, приплясывая, сорванным голосом кричит что есть мочи:

— Ура-а! Победа! Войне конец!

Голос тонет в общем шуме, криках, трескотне автоматных очередей и пистолетных выстрелов.

Теперь, привыкнув к темноте, Гена различает в сумеречном мерцающем отблеске звезд пляшущие, орущие фигуры. В небе огненным пучком взрывается первая ракета, медленно осыпаясь горящими каплями, и в ее тающем красноватом свете уже видится вся картина — прыгающие на месте, стреляющие в воздух, бегущие к самолетной стоянке люди. Гена срывается с места и бежит вслед за всеми.

Стрельба усиливается. Гена различает глуховатый перестук турельных пулеметов — один, второй, третий, — но вот уже все сливается в сплошной бушующий грохот. Со всех сторон, догоняя друг друга, расходясь и перекрещиваясь, летят во тьму красные и зеленые огоньки трассирующих пуль.

Гена подбегает к своему самолету, забирается в кабину, срывает чехол с пулемета и дает вверх короткую очередь. Небо полыхает разноцветными зарницами. Одна за другой вспыхивают ракеты. В их ослепительном белом, зеленом, красном свете возникают то кусок поля, то фигуры людей, то самолет...

Наверное, никто не смог бы сказать, сколько продолжался этот первый хмельной фейерверк победы. Он начал затухать, по мере того как подходил к концу боезапас — в обоймах, лентах, дисках. Стрельба стихала, и небо гасло, вспыхивая лишь время от времени. Первая волна ликования прошла, наступила пауза, короткая передышка. Что делать дальше? Бежать к дому? Оставаться здесь? Но Гена уже чувствовал, как поднимается в нем непреодолимое желание быть вместе со всеми — чтобы тебя тащили, толкали, хлопали по спине, клали руки на плечи.

Прямо над головой загорелась и повисла ракета, и в ее томительном, нестерпимо белом свете возникла фигура командира с поднятым вверх пистолетом. Гена спрыгнул на землю, бросился к нему и остановился, увидев близко его напряженное, сжавшееся, как от внутренней боли, лицо. Гена замер, но командир сам схватил его за шею, прижал к себе, потом оттолкнул и

побежал туда, куда бежали все, — к летному полю, где было свободно, где хватит места для всех.

Никто не отдавал никаких команд в эту ночь, но все делали одно и то же, повинуясь тому чувству, которое владело каждым в отдельности и всеми вместе. И Гена бежал за своим командиром и что-то кричал, уже забыв, что минуту назад испугался его лица, на котором проступила боль. Она появилась и исчезла, как воспоминание. Она и была воспоминанием, вспыхнувшим так остро потому, что в этот час рядом с Борисом должен был быть Димка. Не Гена, а Димка. Но боль появилась и отступила — радость была больше, сильнее боли. И Борис прижал к себе Гену и потом побежал туда, куда бежали все.

Боль у каждого была своя, а радость — общая и торжество — общее.

...Пройдет много лет, и многое забудется, а эта ночь у всех, кто был там, останется в памяти до конца дней. В разные моменты жизни, когда хорошо и когда плохо, в минуты удач и в минуты горечи, обид, нежданно, неведомыми путями придет это воспоминание. И каждый увидит свое и себя тогдашнего, молодого, счастливого, — и как негаснущая зарница вспыхнет живой отблеск того чувства, которое владело всеми вместе.

Глава шестая

Четыре дня, прошедшие после победной ночи, слились как бы в один долгий, шумный, разноголосый день с короткими провалами сна, поднимающимися, спадающими и снова накатывающими волнами праздника.

Бориса, как и всех в полку, поднимали эти волны и держали на своем гребне. И так же, как и все другие, за эти четыре дня он сумел лишь написать письма — коротенькое домой, к матери, еще одно к Анне и рапорт с просьбой предоставить ему отпуск на двое суток, который был вроде продолжением письма к Анне. По его подсчетам, еще вчера при всех обстоятельствах рапорт должен был попасть к командиру полка, и, следовательно, сегодня все должно решиться.

Выйдя после завтрака на крыльцо покурить, Борис все посматривал в сторону штаба, откуда должен был явиться посыльный. Впрочем, могло обойтись и без посыльного: если приказ есть, Алексей или адъютант эскадрильи передадут его сами. Еще и поплясать заставят. Посыльный не шел, и Борис решил сам разузнать, как там обстоят дела. Он спустился с крыльца и двинулся по направлению к штабу, но как раз в этот самый момент из-за ограды показался посыльный, веснушчатый и нескладный из-за непомерно высокого роста младший сержант, кажется, из второй эскадрильи.

— К командиру? — спросил Борис, прервав обращение посыльного.

— Точно! — ответил слегка удивленный такой осведомленностью младший сержант.

— Спасибо, младший сержант. Удружил. — Борис на радостях хлопнул его по плечу. — Ну, а сам-то он как, ничего?

— Кто? — не понял посыльный.

— Кто-кто... Командир, конечно, а не чужой дядя... Как настроение, самочувствие?

Младший сержант ухмыльнулся:

— Настроение бодрое, идем...

— Ясно, — прервал его Борис.

— А вообще-то смеется...

— Что?

— Смеется, говорю, наш командир, — повторил посыльный, — так что давайте топайте, товарищ старший лейтенант, прямо к нему: так, мол, и так, явился не запылился по вашему приказанию...

Командир и вправду смеялся, когда Борис вошел к нему. Он сидел за письменным столом, чуть наклонясь вперед, и смеялся тому, что говорил ему замполит, расхаживавший по комнате. Яркое утреннее солнце косо било в высокое окно, и вся фигура командира и половина стола были залиты оранжево-золотистым светом. Черт возьми — как здорово было видеть смеющееся лицо командира, и бьющее в окно весеннее солнце, и пылинки, плавающие в его оранжевых лучах, и замполита — комиссара, как они его называли, — жестами подкрепляющего свой веселый рассказ! Все это было продолжением праздника, днем пятым после Победы, после конца войны, и жизнь, не военная, а другая, еще неведомая, но прекрасная жизнь только начинала открываться, как открывается земля и раздвигаются ее горизонты, когда самолет набирает высоту. Сейчас Борис понял, что хотел сказать посыльный: неважно, чему или из-за чего смеялся командир, — он вообще смеялся! И Борис подумал, что и у него, у них с Анной, все будет хорошо, потому что не может не быть хорошо, еще только пятый день, как кончилась война и впереди много, много таких дней.

Увидев Бориса, командир полка, продолжая смеяться, рукой показал ему на стул.

— Проходи, проходи, старший лейтенант, садись, — сказал замполит.

Замполит, майор Кашин, был человеком не «авиационным». Впрочем, таким он пришел в полк, но довольно скоро летчики стали считать его своим. Вот уж кто летал за воздушного стрелка не ради орденов, потому что летал он в самое трудное время и столько, сколько было надо. Он мог без конца расспрашивать, как проходили вылеты, доискиваясь до мельчайших подробностей, и был благодарнейшим слушателем, когда начинались бесконечные летные байки; зато мало кто лучше его знал, кто как воюет и кто чего стоит. Удивительное дело: кадровый политработник, прослуживший чуть ли не двадцать лет в армии, он казался самым что ни на есть штатским, словно вчера сменил

рабочую спецовку на военную форму, — ходил горбясь, руки в карманы, ко всяким рапортам и командам «смирно» по разным поводам относился как к печальной неизбежности, которая лично ему только мешала разговаривать с людьми. Трудно было представить себе КП перед боевыми вылетами без его высокой сутулой фигуры с большими руками, без его шуточек, без его улыбки на смуглом цыганистом лице, обращенной именно к тому, кто более всех в ней нуждался. Естественно, что присутствие майора Кашина в такой момент Борис посчитал за хорошее предзнаменование. Он с готовностью взял стул, который подвинул ему комиссар, и, чуть отставив его от стола командира, молча сел на краешек.

Командир не торопился начинать разговор. Лицо его еще оставалось размягченным от улыбки, блуждавшей в глазах, в уголках губ, и Борис подивился про себя: как же меняется человек! Он-то привык видеть это лицо собранным, жестковатым, с резкими линиями и холодным твердым взглядом голубых глаз. Командир и летал так — резко, «твердо», без той легкости и артистизма, которыми отличалась манера Алексея, но по-своему тоже очень красиво. А уж в прицельном бомбометании и противозенитном маневре с ним вообще никто не мог сравниться. «Вот вы, оказывается, какой, подполковник Озолинь, — подумал Борис (он поймал себя на том, что и в мыслях называет его на «вы»), — вот вы какой, замечательный летчик и командир, с которым сам черт не страшен, такой серьезный и такой смешливый. Поразительно, какой смешливый. Вот этого-то как раз я и не знал».

Но командир уже справился со своей улыбкой. Он испытующе и, как начинало казаться Борису, с некоторым недоумением посмотрел на него. Потом взял со стола рапорт и, видимо, в который раз перечитал его. Снова положил бумагу на стол, помолчал (Борис слегка насторожился), наконец медленно, медленнее, чем обычно, подбирая слова, произнес:

— Я не совсем хорошо понимаю, что это означает — отпуск по личным делам. Вы москвич. Какие у вас в Польше личные дела?

Борис молчал. Он ждал подобного вопроса и был готов к нему, но он ждал, что вопрос этот будет высказан мимоходом, ради проформы, а не с таким искренним недоумением. Выходит, и отвечать надо серьезно. Что сказать? Он действительно москвич. А в Польше у него Анна, его жизнь. Да, Анна — это и есть его жизнь. И верно, как глупо: личные дела. Какие у него в Польше могут быть личные дела?

Он молчал, и замполит поспешил ему на помощь:

— В общем, к паненке едешь, старший лейтенант?

Борис кивнул. Что-то на него нашло. Даже слова не мог произнести. Все это было не так, не то, весь разговор, все их предположения, зачем и почему он едет...

— Вот что, парень, — вдруг сказал Кашин, — послушай-ка

ты меня, старого воробья, не езжай, брось ты это дело. Видел я такое, знаю, чем кончается...

— Я увезу ее в Москву. — Борис прямо взглянул в лицо Кашину.

Взгляд у него был жесткий, злой, но замполит выдержал его. Усмехнулся, отошел к окну.

— Это-то и скверно, что у тебя, как говаривали в старину, серьезные намерения. Так, проехаться, проветриться — я бы еще понял. Дело молодое... А то — увезу! Да это еще и вопрос, увезешь ли... А вот жизнь испортишь — и себе и ей. Конечно, сейчас ты можешь поехать туда и обратно. А через полгодика, а то и раньше будет граница. Государственная граница — и на западе и на востоке, и будешь ты для нее иностранец, хоть и братской страны, а все ж иностранец, и она для тебя иностранка...

Кашин остановился, чтобы дать время понять то, что он сказал. Понять. Почувствовать. Проникнуться. Он не торопил с ответом. Ясное дело, такого разговора этот парень не ожидал. Что ж, пусть пораскинет мозгами. Поймет — хорошо. Не поймет — нахлебается. Он-то, Кашин, не сомневался: время докажет его правоту, и предупредить — его прямой долг. Так-то оно так... Но как взглянул этот парень! Прямо ножом резанул. Неужто есть что-то такое... нехорошее в том, что он ему сказал? Может, и есть... Только это как посмотреть, с какой стороны. А как надо смотреть, с какой стороны, он знает. Здесь он не ошибется.

— Тебе учиться надо, — снова заговорил Кашин. — Демобилизуешься, приедешь в Москву, поступишь в институт. А то пошлем тебя в академию Жуковского.

«Чего он так старается?» — подумал Борис. Горячая волна, обжегшая его, когда он понял, к чему клонит Кашин, и взглянул на него, ушла, откатилась, и теперь он ощущал какую-то холодную пустоту. При чем тут институт, академия? А впрочем, неважно.

Замполит замолчал. Борис поднял глаза — Кашин по-прежнему стоял у окна, в той же позе, вполоборота к нему. Как будто Борис только сейчас вошел и увидел смеющееся лицо командира и оранжевый солнечный луч, в котором плавали пылинки, и не было всего этого разговора. А может, его и действительно не было?

Кашин стоял у окна и смотрел на него. Ждал ответа. И командир тоже смотрел на него. Солнечное пятно на письменном столе передвинулось чуть-чуть влево, захватив бронзовый массивный чернильный прибор, на котором загорелось, засверкало множество золотистых огоньков.

— Вы ничего не хотите сказать майору Кашину? — прервал наконец общее молчание командир. — Вы оставляете свой рапорт?

— Да, товарищ подполковник, оставляю.

Командир взглянул на Кашина, тот пожал плечами.

— Решайте, Петр Янович. Возражать не буду. Хотел бы я ошибиться! — прибавил он. — Очень хотел бы!

— Вы, старший лейтенант Волынин, упрямый человек, — сказал Озолинь, и было непонятно, одобряет он его упрямство или осуждает. — Хорошо, — продолжал он, промолчав, — хорошо, я отдам приказ...

— Спасибо, товарищ подполковник! — Борис вскочил, едва не опрокинув стул, на котором сидел. — Разрешите идти?

Озолинь усмехнулся:

— Не бойтесь, я не меняю своих решений. Документы получите в штабе. Через час отправится за Одер наш инженер, вы можете поехать с ним.

— Есть поехать с ним! — весело проговорил Борис.

— Ну вот и прекрасно, — сказал Озолинь, поднимаясь и протягивая Борису руку. — Я выражаю надежду, что все устроится превосходно.

В ответственных случаях в речи командира появлялись этакие книжные обороты, несколько на старинный лад. Сначала это казалось странным, но постепенно в полку к этому привыкли и даже стали считать, что именно так и нужно говорить о вещах серьезных. Борис, как и все, давно перестал замечать подобные фразы, но сейчас он с трудом сдержал улыбку — как славно у него получилось: выражаю надежду! Снова Борис почувствовал уверенность: все сбудется, раз сам командир надеется!

— Спасибо, товарищ подполковник.

Борис не нашелся, что еще сказать, но Озолинь понял, что творится в душе этого молодого человека (сам он в свои тридцать шесть лет считал себя уже пожившим, многоопытным), понял и улыбнулся ему.

...Инженер полка сидел рядом с шофером и за всю дорогу до самого Одера не проронил ни одного слова. По приказу штаба фронта он был временно откомандирован в распоряжение командования Войска Польского, но чувствовал, что оставляет полк надолго, может быть, навсегда. С полком он прошел весь путь до Берлина и свыкся с мыслью, что уже до самой гражданки не расстанется с людьми, ближе и дороже которых у него никого не было. И вот неожиданный приказ.

Молча, нахохлившись, смотрел инженер на бегущую дорогу, изрытые, искореженные снарядами и все-таки зеленеющие первой молодой травой поля, на чужие, незнакомые крыши. Удивительно, но никогда еще он, до войны исколесивший всю Россию и большую часть жизни проживший в Ленинграде, не испытывал такой острой тоски по своим родным рязанским местам, помнившимся с детства... Молчал и Борис, но молчал по-другому, весь отдавшись переполнявшим его чувствам нетерпения, радости, хмельного торжества, сладко кружившим голову. Он молчал, потому что слушал себя, свою музыку — все то, что кипело, бродило в нем.

Опустив боковое стекло, Борис, насколько это было возможно, высунул голову, подставив разгоряченное лицо встречному ветру, который хлестал по щекам, резал глаза, не давал вздохнуть. До-

рога, дома, деревья — все смешалось, вытянулось, плыло перед глазами, тонуло в слепящих солнечных пятнах и вновь возникало летящей навстречу живой нескончаемой лентой...

Изгибаясь, обтекая деревни, городки, дорога пошла вверх, на склоны Зееловских высот, и водителю пришлось сбавить скорость. Война словно поджидала их здесь. Затаилась и поджидала, чтобы напомнить о себе, показать свою былую силу: поваленные телеграфные столбы, спутанные, разорванные провода; по обочинам — брошенные пушки, перевернутые, наполовину сгоревшие машины, искореженные танки, самоходки. Все медленнее продвигались они вперед, то и дело объезжая воронки и завалы, и все чаще водителю приходилось останавливать машину и идти вперед, чтобы разведать дорогу.

Жутко было смотреть на чудовищную картину разрушения, изуродованные остатки бронированных машин, орудий, словно вобравших в себя всю ярость кипевшего здесь боя. А среди всего этого на возвышениях виднелись расчищенные желтеющие островки свеженасыпанной земли — братские могилы с фанерными, наспех сколоченными пирамидками и красной звездой на вершине. И чем дальше они продвигались, тем больше было таких могил и таких пирамидок.

Сколько же полегло здесь, под самым Берлином, в последние дни войны! Когда шли они на штурм этих высот, всем им уже чудилась близкая победа, тишина над целым миром, дорога домой... У Бориса защемило сердце, будто ему были хорошо знакомы эти ребята, их голоса, лица и было известно, о чем думалось им в то утро перед атакой. Он знал: как бы ни подбирался страх перед боем, а все же надежда, что твоя судьба — жить, сильнее всего. И они вот так — мечтали жить, вернуться домой...

Шофер, пожилой сержант с рыжими обвисшими усами, ни слова не говоря, остановил машину перед широким уступом, где виднелась пирамидка со звездой, и они все трое молча вышли и по каменным разбитым ступеням поднялись на этот уступ. У края свежей песчаной насыпи, в центре которой возвышалась пирамидка, остановились.

Чуть дальше, где зеленели молодые дубки и блестела залитая солнцем лужайка, слышался шелест листвы, щебет и пение птиц. И небо было ясное, голубое, с легкими прозрачными облачками, которые незаметно меняли свои очертания, расползались, куда-то двигались, оставляя почти невидимую дымку. Инженер нагнулся и поднял винтовочную гильзу. Близко поднес к глазам. Несколько раз подбросил на ладони, положил в карман. На память. Гильза от прощального салюта. Солдаты, отдавшие эту последнюю почесть павшим, стояли здесь, у края могилы...

Дорога еще круче пошла вверх, и еще больше виднелось брошенной изуродованной техники, разбитых, развороченных траншей, укреплений, дотов. Чувствовалось, с каким невероятным упорством цеплялись здесь немцы за каждый клочок земли, каждый выступ.

Они ехали как бы навстречу бою, который начался с другой

стороны холмов, на их восточных склонах, и здесь, на вершинах, командующих высотках, достиг наибольшего ожесточения. А кругом зеленели поля, сверкали на солнце красные черепичные крыши, в голубых далях рисовались легкие силуэты остроконечных башенок...

У въезда в Зеелов патруль проверил их документы.

— Все ближе к дому, — сказал старший патруля, коренастый широколицый сержант с медалью «За отвагу», возвращая им предписания.

Низенький веснушчатый паренек с автоматом и в лихо сдвинутой набекрень пилотке, стоявший за спиной сержанта, подмигнул Борису — просто так, оттого, что кончилась война, и он живой остался, и солнышко светило, и что теперь сам черт ему не брат... Не останавливаясь, они проехали Зеелов — мимо развалин, завалов из битого кирпича, которые разбирали немцы, мимо разрушенных домов с отбитыми углами, без крыш, с рваными проломами в стенах, мимо группы солдат, со смехом и криками качавших своего товарища, мимо крытых машин, все это уходило назад и вверх, потому что начался спуск к Одеру.

Одер был уже близко: явственно ощущалось его влажное дыхание. Сильный ветер нес с реки клочки тумана, и воздух потерял искрящийся голубоватый блеск. В матовом, приглушенном влажной пеленой свете раскрывались поля — все шире, свободнее. За этими полями, переходящими в равнину, изрезанную ручьями и каналами, в заливные луга, где еще стояла вода, угадывалась большая река — Одер.

Она тянулась на сотни километров с юга на север, через Чехословакию, по пути вбирая в себя бесчисленные притоки, и, прежде чем войти в море, всей своей массой — глубокой водой и ее ширью, берегами, превращенными в неприступные крепости, — заслонила Берлин с востока.

Там, впереди, на восточном берегу, при впадении в Одер Варты, — Кюстрин, крепость, держащая под ураганным огнем подходы к реке, крепость, и узел железнодорожных мостов, и город, от которого шла прямая железная дорога к Берлину. Там в феврале и марте шли кровавые бои за каждый метр плацдарма и на восточном и на западном берегу. И как раз в самые трудные дни 1 и 2 февраля, когда под бешеным минометным и артиллерийским огнем, под непрерывными бомбежками и атаками с воздуха пехота форсировала Одер, они не смогли взлететь с раскисшего аэродрома, чтобы помочь ей. Накануне шел мокрый снег, потом потеплело, началась распутица, и было ясно, что летунам, даже истребителям, пришлось туго на аэродромах, которые размещались на пашнях.

Все эти дни вместе с командиром они в полной боевой готовности торчали на КП. В землянке было холодно, сыро, со стен и потолка капало, под ногами хлюпало. Печка больше дымила, чем горела. А над взлетным полем, над лесом висел такой туман, что не только неба — человека в двух шагах не увидишь. О полетах нечего было и думать! А тут нет-нет да появлялся на-

чальник штаба и передавал командиру поступавшие сверху грозные запросы: когда, когда? Когда наконец самолеты смогут подняться в воздух? Что для этого делается? Немедленно доложить. Немедленно... Командир читал телефонограммы, морщился и выходил смотреть, не рассеивается ли туман. Несколько раз в день заглядывал на КП и инженер полка, который со всеми наличными силами БАО и технарей пытался что-то сделать со взлетной полосой, хотя и сам не верил в успех. И все же, как только чуть-чуть подсыхало и улучшалась видимость, они поднимались в воздух — по одному, по двое.

Борис хорошо помнил, как они с Николаем в те дни, с трудом взлетев, пробивались к Кюстрину сначала над сплошной облачностью, потом сквозь окна в тумане, едва не заблудились, вышли к городу с западной стороны, на шоссе обнаружили, атаковали и подожгли колонну автомашин и бронетранспортеров. Не вспомнить, сколько раз и раньше и потом, когда разгорелись бои за расширение Кюстринского плацдарма на западном берегу, а сама крепость со всеми своими зенитками на восточном берегу еще не была взята, они летали за Одер, бомбили и штурмовали укрепления на рубежах немецкой обороны, эшелоны на железнодорожных станциях, войска с артиллерией и танковые колонны, двигавшиеся из глубины к переднему краю.

Сколько раз эти места Борис видел с воздуха, вглядываясь в них, запоминая: изгиб реки, похожий на лук, обращенный на восток, крепость Кюстрин на островке, образованном слиянием Варты и Одера, а на западе, за Одером, кое-где поросшая лесом, неровная гряда Зееловских высот. Между изрезанной кромкой левого берега и подножием высот — затянутая туманом пойма Одера, ручьи, каналы, несколько шоссейных дорог. Теперь, на земле, все это выглядело по-другому: общая картина дробилась, ускользала, зато частности неожиданно вырастали, заполняя на какие-то секунды все видимое пространство, как будто именно они определяли характер рельефа.

Промелькнул редкий лесок, оборвавшись у лощинки, на дне ее — ручей, мостик, несколько домиков; еще круче вниз — развороченные траншеи, опоясавшие весь склон, разбитые пушки, воронки от бомб и снарядов, и уже наплывает низина, залитая водой, с кочками, островками, которую легко пролететь, да трудно пройти.

Туман впереди сгустился — это они приблизились к Одеру. Ветер закрутился вокруг них, захлестывая дыхание, оставляя на лице холодные капли. Здесь, в низине, он хозяйничал как хотел. Чуть-чуть потемнело, будто кто-то убавил света. Борис опять вспомнил, как они с Николаем искали окна в тумане. Он поймал себя на том, что пытается прикинуть, как лучше подобраться к Зееловским высотам, чтобы неожиданно свалиться на голову из облаков и тумана и затем уйти боевым разворотом прямо на солнце.

Он поймал себя на этом и усмехнулся. Видно, крепко засела в нем война. Он постарался прогнать мысль о войне. Было это не

так уж трудно: волны победы несли его и кругом было одно — победа. И казалось, что вся жизнь, все, что предстоит сделать, совершить, испытать, впереди и только еще начинается или, может быть, начнется завтра, послезавтра. А война в прошлом. Она кончилась, и ее не будет больше.

Пройдут годы и он поймет, что самым главным, самым значительным делом его жизни была война. Он немало испытает, но судьбой его навсегда останется война, те четыре года в юности, без которых не было бы его таким, каким он стал...

Борис поймет это много лет спустя, а пока он ехал по Германии, то освещенной солнцем, в голубом блеске и солнечных пятнах, то в туманной дымке, и ветер крутился вокруг него — ветер, дождичек, туман и солнце, и это была не Германия, а просто земля, по которой он ехал, вся земля, весь мир.

* * *

За Одером, когда они отмахали с ветерком еще километров сорок пять, у поворота шоссе Борис попросил остановить машину. Вдали на пригорке виднелась деревня, и как раз в этом месте, почти перед самым поворотом, начиналась довольно широкая проселочная дорога, которая через поле и редкий березняк вела, видимо, в эту деревню. Борис для верности еще раз взглянул на карту: сомнений быть не могло, та самая деревня.

— Ну вот, — сказал он изменившимся голосом, — здесь я выйду. Разрешите, товарищ инженер, пожелать вам...

Инженер вышел из машины и стиснул руку Борису. Потом обнял его. Борис был для него последним из летчиков полка, с кем он прощался. Инженер был немолод и понимал, что вряд ли он еще встретит людей, с которыми так крепко, всеми помыслами, всей жизнью свяжет его судьба — и жизнью и смертью. Такое случается один раз.

— Не забывай старика, — сказал он. — А я тебя найду. Бывай...

— Давай, старший лейтенант, погуляй, — тряхнул водитель руку Бориса. — Чтобы все, значит, было в аккурате. До скорого.

— Ну бывай... — повторил инженер, слегка ударил Бориса в грудь, как бы отталкивая его, повернулся и сел в машину, за ним уселся на свое место и водитель.

Мотор заурчал, машина покатила по шоссе и скрылась за поворотом.

Борис остался один. Он остался один на дороге, которая вела к Анне. Через полчаса, а может, и меньше он ее увидит. «Ну, смелей, воробей», — подхлестнул себя. Борис прыгнул в кювет, выбрался на другую сторону и наискосок пошел по тропинке, которая привела к проселочной дороге.

Кругом лежало блестевшее после дождя влажной чернотой поле, усеянное воронками от бомб и снарядов, все в неровных складках разметанной земли; кое-где пробилась и зеленела нежная молодая травка. Дорога пересекала поле и скрывалась в бе-

резнячке, который был гораздо ближе, чем это показалось с первого взгляда оттуда, с шоссе.

А может, все это он выдумал — и не было никакой Анны и той ночи, ничего не было? Так, приснилось, а он принял за правду. Но ведь сели же они на вынужденную в этой деревне. Тянули через Одер — и сели. И ночевали, и хозяйку звали Анной. Фу-ты черт... Он, кажется, убеждает себя, что Анна существует!

Недалеко, возле самой дороги, села стая воробьев, защебетала, загомонила, поклевала что-то и неожиданно с шумом поднялась в воздух. Солнечная голубизна неба поглотила ее. А он и не заметил, что снова сияло теплое солнышко и голубело высокое небо. Туман, нудный серенький дождичек, хмарь — все осталось там, на берегах Одера. А здесь щебетали и пели птицы, пахло сырой землей, и было издалека видно, как солнечный луч вспыхивал на белых, сияюще-белых стволах берез. Все будет хорошо. Сам этот день с его благостной тишиной, чистыми голубыми далями, со всей этой весенней, радостно-тревожной ширью и свежестью был как обещание удачи, счастья.

Поле незаметно переходило в небольшой и неглубокий овражек в нескольких метрах от дороги, на дне которого Борис увидел родничок. Он подошел к нему и, встав на колени, упершись руками в края влажной мшистой земли, сделал несколько глотков. Вода ломила зубы, чуть горчила, попахивала прелью. Когда поверхность успокоилась, он увидел свое лицо — слегка вытянутое, со смазанными чертами. Так и на душе: все смешалось, смазалось — страх, беспокойство, надежда.

Что может помешать им теперь? Что угодно — отъезд Анны в связи с непредвиденными обстоятельствами, несчастный случай, болезнь... Да мало ли что! Ерунда. Если так рассуждать, вообще нельзя думать о будущем. С любым человеком, где бы он ни находился, может случиться все, что угодно. Вот с ним, например. Разве не может быть, что где-нибудь в кустах засел маньяк-эсэсовец, чтобы дать очередь по первому же русскому офицеру, которого он увидит? Мало, что ли, таких сумасшедших разбежалось по окрестным лесам? А мины? Разве исключается, что под ногами окажется одна из тех, что лежат в этой земле? Так что такие случаи в расчет не берутся.

Он поднялся по пологому склону овражка и вошел в лесок, встретивший его многоголосым птичьим гомоном, шелестом упругой, только-только развернувшейся листвы.

Березнячок просвечивался солнцем. Золотистые лучи падали со всех сторон, перекрещивались, сходились, высвечивая то ворохи бурых скрюченных листьев, то торчащие из земли мокрые черные корни, то ответно сверкающую изумрудную россыпь молодой травки. Между стволами солнечно голубело, будто небо начиналось прямо от земли и омывало, обволакивало волнами воздуха и света каждое дерево.

Борис прислонился к тонкому стволу, дрогнувшему и недовольно зашелестевшему, глубоко вздохнул, сорвал фуражку, запро-

кинул голову. Безбрежная синева опрокинулась на него — и поплыла, и потянула к себе... Потом Борис перевел взгляд и под самым облачком увидел верхушку березы — так уж она встала, вытянувшись до самого неба. И он тоже мог достать до облака — надо было только поднять руку, прищуриться, найти такой угол зрения. Он все мог, и этот омытый солнцем весенний лесок с голосами птиц, которые разливались во всю ивановскую, был заодно с ним. Борис сошел с дороги и зашагал среди деревьев по мягкой, податливой земле, засыпанной старыми слежалыми листьями, а кое-где обнажившейся и бурно зеленеющей молодым разнотравьем. Он шел от одного приглянувшегося ему местечка к другому, не боясь потерять из виду дорогу — заблудиться здесь было невозможно.

Неожиданно Борис оказался на краю полянки. Вся она была залита солнцем. Здесь совсем не чувствовалось сырости, воздух был теплый, мягкий — так и тянуло остановиться, передохнуть. Борис заметил пенек с нежным мшистым подножием и сел на него, откинув голову и подставляя лицо солнечным лучам. На него вдруг нашла усталость — так бы, кажется, и просидел целый век не шевелясь. Но уже в следующую минуту он признался себе, что это не усталость, а трусость.

Возбуждение, охватившее Бориса в лесу, когда он уверял себя, что все будет хорошо, прошло, и снова вернулось ощущение тревоги, фантастичности всего происходящего. Он заторопился. Надо поскорее дойти. Тут каждая минута дорога, а он прохлаждается. Иногда несколько секунд решают все. А если именно сейчас Анна укладывает вещи в чемодан, и лошадь уже запрягли, чтобы отвезти ее на станцию, и все дело в том, успеет ли он дойти в эти оставшиеся минуты?

Оглядевшись, Борис заметил просвет между деревьями — видимо, там кончился лесок. Он скорым шагом направился в ту сторону и вышел на дорогу.

Деревня открылась сразу вся, как только Борис поднялся на пригорок. С гулко бьющимся сердцем стоял он, напряженно вглядываясь в разбросанные домики, пытаясь найти и не находя хоть что-нибудь знакомое, приметное. Впрочем, так оно и должно быть. Нечего и стараться — тогда была зима, снег и все выглядело иначе. Да, кроме того, он ведь не видел раньше деревню отсюда, с этой точки. С этой нет, а с воздуха видел. Две сходящиеся почти под прямым углом улицы, перед ними снежное поле, сейчас, вероятно, пашня, может, вот эта самая, которая широкой, ломающейся под углом полосой отделяет его от деревни. А за ней полянка, зажатая между деревней и лесом. Туда-то он и плюхнулся. Отсюда за домами она не просматривается, но лес виден хорошо. Если полянка действительно там, тогда дом Анны — крайний на улице, что начинается слева от него.

Борис пытался высмотреть дом Анны, но было слишком далеко, что-то темнело, а что — не разобрать.

Ему придется пройти почти всю улицу мимо дома, где жил старший лейтенант Кравцов, земляк из земляков... Где-то он сейчас? Жив ли? Поход к Романовскому в Кривоколенный, который тогда казался далеким, почти несбыточным, теперь дело вполне реальное. И Кравцов должен быть жив. Обязательно жив, потому что пришло время, когда исполняется все. Исполнится и это.

Борис вспомнил, как они шли втроем от Кравцова по этой улице — впереди старшина, а за ним он с Димкой, и день был солнечный, яркий, какой-то бело-розовый, и кругом блестел снег, и снег хрустел под ногами, и старшина говорил, что вот, дескать, некуда пристроить их на ночь, чтоб близко к командиру, кроме как к одной паненке, а она живет одинокая, ждет не дождется мужика своего, и он, старшина, обещался не занимать ее хату на постой, да делать нечего — больше ночевать им негде.

Старшина говорил что-то в этом духе, а Димка ответил ему: «Не боись, старшина, не обидим твою паненку» — и подмигнул Борису. Удивительно, тогда он эти слова вроде и не расслышал или не обратил на них внимания, а сейчас будто только что прозвучал голос Димки: «Не боись, старшина, не обидим твою паненку».

Такое случалось с Борисом не однажды: всплывет в памяти Димкина присказка и та минута, когда он ее произносит, — у самолета, в столовой, и его лицо, и хитрющая ухмылка... А бывало, он сам хотел вспомнить Димкино лицо, а оно расплывалось, ускользало, и Борису начинало казаться, что он забыл его. Потом это проходило. Пока он жив, будет жива и его память о Димке.

Они дошли до дома Анны, и старшина попросил их подождать, пока он предупредит хозяйку, и Борис пошел вверх по другой улице, а Димка остался, потом появился, успев порядком хлебнуть, каким образом, непостижимо, потому что и времени-то у него совсем не было, остался и появился, а может, Борису показалось, что не было, или этот момент просто выпал из памяти? Димка позвал его, и они пошли к дому Анны по дорожке между сугробами и, кажется, долго шли...

И опять что-то толкнуло Бориса: скорей, скорей! Давно уже был бы там, если бы не бесконечные остановки! Он рванулся вперед и зашагал как мог быстрее. Ему и в голову не приходило, что без них, этих остановок, он и шагу бы не ступил — душа требовала времени, роздыха, передышки, чтобы привыкнуть к мысли — он идет к Анне и сейчас увидит ее, и это не фантазия и не сон.

Над пашней висел легкий пар, который просвечивался солнцем. Желтел низенький пригорок, где он стоял несколько минут назад, за ним виднелся белоствольный лесок, как бы окутанный облаком света, а над всем этим, распахиваясь, расширяясь, голубело небо, радостно открывая себя, свою беспредельность. Нет, ничего не могло случиться в такой день, ничего!

Борис попытался угадать, что же Анна делает — стирает, го-

товит обед, может быть, шьет или читает? Но не за одним из этих занятий он не мог ее себе представить. А в памяти возникло ее бледное лицо с выражением застывшей боли, каким оно запало ему в душу в тот холодный предрассветный час, когда пришла пора прощаться, ее широко открытые глаза, пристально смотрящие на него, — возникло и исчезло...

Борис закрыл глаза. Но уже в следующую секунду он вздохнул с облегчением — словно пропала надвинувшаяся было тень от большой, черной, тяжело летящей птицы. Надвинулась — и пропала. И мир стал еще лучше, светлее.

Вот чудак — испугался воспоминания. Но что-то в нем еще оставалось, какая-то слабость, как после озноба. Пешеходная тропка, нечто вроде деревенского тротуара, немного возвышалась над проезжей частью дороги и успела хорошо подсохнуть. Идти было легко. Из-за деревьев виднелись приземистые деревенские домики в глубине дворов, обнесенных изгородью, которая почти сплошной ломаной линией тянулась вдоль дороги.

Борис шел, все прибавляя шагу, и в нем росло то возбуждение, которое будто само несло его вперед. Боковым зрением он увидел двух женщин, девочку, потом мужчину в черной широкополой шляпе — лица их промелькнули... Он не шел — летел, и вдруг будто кто-то схватил его за руку: стой, остановись!

Внутренний толчок был таким явственным, что Борис остановился. Ощущение силы, легко и стремительно несущей его, оборвалось. В нескольких шагах от него — невысокая изгородь с чуть приоткрытой калиткой и возле нее большое раскидистое дерево. Оно еще не покрылось сплошной листвой, и светло-коричневые зеленеющие прутики молодых побегов были хорошо видны на широком раздваивающемся стволе, на корявых растопыренных ветвях. Это было то самое дерево с его тускло блестевшими, черными, широко расставлеными ветвями, на которых не держался снег...

Силы оставили его. Он повернул голову и увидел поле, заросшее ярко-зеленой травой, и лес был гораздо ближе, чем он ожидал. А на соседней улице, поднимающейся по противоположному склону, стояли деревья, и по краям дороги тянулись кусты — все в белом цвету, и вдоль них шел мальчик с прутиком и сшибал эти цветы.

Оставалось одно — распахнуть калитку и пройти по дорожке, ведущей к дому, постучать в дверь, и дверь, как тогда, окажется незапертой... Или нет, пока он будет идти, Анна сама увидит его и выбежит навстречу...

А может, сначала посмотреть? Отворить калитку, оглядеться, спросить, если кто-нибудь появится, — в конце концов, он мог и ошибиться и это не тот дом. Борис знал, что дом тот самый и что говорит он себе так, чтобы оттянуть время, из малодушия, потому что осталось сделать только один шаг.

Поблизости кто-то колол дрова. Неторопливо, размеренно — кха, кха, кха... Только один шаг. И все равно его надо сделать, что бы там ни было.

Борис открыл калитку и увидел узкий двор, полузаросший мелкой травой, и прямо перед собой низенький домик под тесовой крышей, с двумя подслеповатыми оконцами и крыльцом без перил и навеса.

Дом стоял близко, метрах в двадцати, а ему помнилось, что шли они долго по дорожке между сугробами, и все-таки дом был тот самый — и сомневаться нечего, и спрашивать нечего. Борис двинулся вперед и только сейчас заметил в дальнем углу того, кто колол дрова. Человек этот был светловолосый и худой, кожа да кости, солдатские брюки, вправленные в польские сапоги с высокими голенищами, затянуты и перетянуты черным ремешком; нижняя белая рубашка с засученными рукавами болталась на нем, как на вешалке. И все ж топор звенел в его жилистых руках, и коротенькие березовые чурки с одного маху разлетались на две половинки. «Вон он где, — подумал Борис, — а по звуку оттуда, из-за ограды, не определишь».

Борис пошел к дому. Сейчас Анна выйдет навстречу и бросится к нему. Он и пяти шагов не успеет сделать. Не может же она не почувствовать, не взглянуть в окно!

Кха, кха, кха... — с сухим глуховатым звоном раскалывалось дерево.

Борис прошел еще два шага или три, и до крыльца было рукой подать, когда он увидел Анну.

Она бросилась к нему — и остановилась. Она побежала, когда заметила Бориса из окна и не поверила себе, но душа ее уже знала, что это он, а потом увидела его с крыльца, близко (глаза не обманули ее), и сердце готово было разорваться, оно стало огромным, больше ее самой, и тугой ветер подхватил ее и вынес навстречу Борису.

Она остановилась в двух шагах от него, и Борис прочел на ее лице надежду, счастье, отчаяние. Мертвая тень уже пала на лицо Анны, но свет еще оставался в глубине глаз, и Борис рванулся к этому свету. Но Анна вскинула руки ладонями к нему — отталкиваясь, защищаясь. Это было последнее движение, на которое у нее хватило силы. Вскинув руки, она тотчас опустила их, и плечи ее опустились, и спина согнулась, но в то же мгновение она подняла голову и взглянула в глаза Борису.

Взглянула открыто, прямо. Чтобы он все понял. И чтобы запомнить его — на всю жизнь. А потом она повернулась, как будто ища поддержки оттуда, со стороны, потому что силы ее исчерпались до самого донышка. Казалось, Анна вот-вот упадет, но его помощь она не могла принять. Она ждала ее оттуда, со стороны, и Борис повернулся вслед за ней.

Он повернулся и увидел того, кто колол дрова, светловолосого и худого, в солдатских брюках, заправленных в сапоги, и в нижней белой рубашке с засученными рукавами. Теперь Борис различил его широколобое, обтянутое темной кожей лицо с провалами щек, светлые глаза, устремленные на него, и понял, что это — Анджей, муж Анны, польский жолнеж, которого убили, а он пришел с того света.

Он смотрел на Бориса, и топор застыл в его руках. Потом опустил топор и перевел взгляд на Анну. Решалась его жизнь, а он не двинулся с места. Не бросился, не встал между ней и Борисом — он ждал. Наверное, научился ждать. От одного ее движения зависело все — жить ему или не жить, а он не шелохнулся. Отчаялся, онемел? А может, так надо, так он хотел, чтобы решила она сама, без него?

Он не знал, что она уже решила, когда остановилась перед Борисом и руки ее опустились. Он не знал этого, а Борис знал, и ему оставалось одно — повернуться и уйти.

Борис не видел земли, по которой ступал, и не видел ничего вокруг, а только опять услышал размеренные удары топора — кха, кха, кха...

Глава седьмая

Через час он увидит рейхстаг.

Полуторка шла по оживленной автостраде, мимо проносились машины, слышались песни, и они тоже пели, сидя в кузове очень тесно, чуть ли не друг на друге, но никто не замечал этого — они пели, перебрасывались шуточками, придерживали друг друга на поворотах.

Небо было ясное, солнышко пригревало, кругом все зеленело — лучшего дня для поездки в Берлин и не придумаешь. И впервые за последнюю неделю Борис мыслями и настроениями был вместе со всеми, и, как и всем, ему не терпелось увидеть рейхстаг, улицы Берлина. Он уже научился шутить, в то время как что-то постоянно точило его. А сейчас эта непрерывная боль впервые за последнюю неделю отпустила.

Борис никому не сказал, и, кажется, никто из товарищей не догадывался о том, что у него произошло с Анной. Догадался бы Димка и помог бы, но Димки не было, и справляться приходилось одному. Хуже всего было по ночам, когда в памяти всплывало одно и то же: как он идет по дорожке к ее дому, и Анна бросается к нему и останавливается, вся поникнув, безвольно опустив руки, и мертвая тень покрывает ее лицо, гасит свет, притаившийся в глубине глаз, и оно каменеет и умирает, — и потом все начиналось сначала...

Иногда боль утихала, уходила, вот как сейчас, когда они ехали и пели, а то казалось, что Анна близко и что все еще можно поправить. Пока еще можно... Хотя Борис понимал, что все кончено.

А разговоров кругом только и было о доме, об отпусках, о всякого рода перемещениях... Все жили ожиданием скорых перемен. И было ясно, что они коснутся всего и всех, каждого человека, никого не обойдут, потому что уже началась другая, мирная, послевоенная жизнь. И то, что вот так, с песней, они ехали в воскресный солнечный день в Берлин (первое воскресенье

июня, первого целиком мирного месяца), было приметой этой новой жизни, ее забот.

Полуторка уже подходила к Берлину. Водителю пришлось сбросить скорость, так как они оказались в довольно плотной колонне машин — легковых и грузовых, украшенных транспарантами и красными флажками, полных солдат и офицеров, также едущих в Берлин, к рейхстагу. С бортов машин встречного потока махали руками, что-то кричали. Отовсюду неслись песни. И они тоже пели и махали в ответ. Гена, опершись рукой на плечо Бориса и не замечая этого, встал, чтобы лучше видеть, что происходило кругом. Он сорвал с головы пилотку и изо всех сил размахивал ею. Так незаметно для себя они оказались в предместье города — увидели закопченные дома, развалины, трамвайные рельсы на мостовых.

Это была северо-западная окраина Берлина, район Шарлоттенбурга. Они миновали регулировщицу, которая направила всю колонну налево, и, когда перед ними открылась старая, типично городская улица с тяжеловесными домами, кое-где уцелевшими вывесками, Борис догадался, что это улица Кайзердам и что они едут к центру, к рейхстагу, со стороны Тиргартена. Теперь надо попасть на Шарлоттенбургер-шоссе, которое прорезает Тиргартен с запада на восток, прикинул Борис, и свернуть налево, на Зигес-аллее, она приведет на Кенигсплац, а оттуда до рейхстага рукой подать, по любой улице направо... Он вспомнил тот туманный, слякотный мартовский день, когда штурман полка привез из штаба дивизии планы Берлина, и серый тоскливый день, такой же беспросветный, как вязкое ватное небо (о полетах, пусть одиночных, нечего было и думать!), стал самым настоящим праздником!

Весть эта распространилась моментально, и, когда командир собрал летный состав, казалось, что штурм Берлина начнется чуть ли не завтра и погода будет — даром, что ли, начинало проясняться... Командир, как всегда серьезно и обстоятельно, разъяснил задачу — досконально, до мельчайших подробностей изучить план города, его рельеф. Он подчеркнул это — досконально. Территориальные ориентиры, радиомачты, высокие здания, вокзалы, их характерное расположение. Объекты и подходы к ним. Каждый объект в отдельности. «К выполнению боевых заданий будет допущен лишь тот, кто сдаст зачет по плану Берлина, — сказал он в заключение, — вы должны так знать город, чтобы смогли летать хоть с закрытыми глазами». «Но при этом и видеть, что вокруг делается», — пошутил штурман полка.

А полчаса спустя они с Алексеем уже сидели над планом и, еще не приступив к его изучению, сразу же нашли имперскую канцелярию, рейхстаг, Бранденбургские ворота. Потом оба, не сговариваясь, закурили. Перед ними был план Берлина. Рейхстаг, имперская канцелярия. К этому надо было привыкнуть...

Машина шла уже по Вагнерштрассе, поворот на Бисмаркштрассе. «Еще один поворот, — отметил про себя Борис, — и мы на Шарлоттенбургер-шоссе».

Справа и слева зазеленели деревья и лужайки Тиргартена — шоссе проходило по самой середине парка. Теперь хорошо были видны следы ожесточенных боев: обуглившиеся деревья без ветвей, с культяшками сучьев, деревья со срезанными верхушками, ломаные линии траншей, воронки; и опять и опять развороченная земля, окопы, траншеи; сгоревшая рощица, завалы, которые не успели еще разобрать. Борис вдруг подумал о том, как Анджей пробирался к Анне — сквозь горящий лес, по сожженной земле... Его считали убитым, а он выжил. Может, вырвался из окружения, расстреляв последний патрон — раненый, без крошки хлеба. Или бежал из плена. Вернулся с того света, потому что верил: Анна ждет его. Разве могла она бросить Анджея, уйти, когда он вернулся? Это была бы не Анна — другая... «Она ждала меня и больше всего боялась, что приду: знала — останется с Анджеем. Это сильнее ее любви. Это она сама...»

На скамейках, кое-где сохранившихся под зеленой листвой полуобгоревших деревьев, сидели мужчины с газетами в руках, женщины вязали. Рядом бегали дети.

Да, было воскресенье, и пожилые мужчины читали газеты, а женщины вязали. В первый момент Борис удивился — город лежал в развалинах, а они вязали! Но постепенно начал понимать, что женщины, сидящие на скамейках, беготня детей, степенно прогуливающиеся люди — все это и означает: жизнь начала входить в нормальную колею.

Они проехали несколько небольших перекрестков, и вот-вот должна была появиться широкая Зигес-аллее, где, как полагал Борис, они должны свернуть налево, к Кенигсплац. Но там, впереди, видимо, возник затор, и машины одна за другой сначала притормозили, а потом остановились. Борис, за ним Гена и еще несколько человек спрыгнули на землю. Разминаясь от долгого сидения, Борис прошел немного вперед и свернул на боковую тропинку, ведущую в глубь парка. Здесь почти не чувствовалось того стойкого запаха бензина и отработанных газов, который стоял на шоссе. Немного подальше по обе стороны дорожки высились разросшиеся вязы — удивительно, но этих старых раскидистых деревьев не коснулся ни один снаряд!

Сделав еще несколько шагов, Борис увидел скамейку, на которой сидели пожилая женщина и белобрысый худой низкорослый паренек в темной рубахе и новеньких, щегольских, явно широких для него светло-коричневых брюках. Борис безошибочно определил: мать и сын. Они ели хлеб, но ел, пожалуй, один паренек, жадно откусывая от аккуратно отрезанного ломтя, а мать больше смотрела на него, кивая головой (ешь, мол, сынок, ешь), и ее маленький кусок, который она держала в руках, по-видимому, так и оставался нетронутым.

Ему было лет пятнадцать — в апреле таких ребят из гитлерюгенда брали в фольксштурм, вооружали автоматами, фауст-патронами, гранатами, и они дрались на улицах Берлина, убивали, умирали, так и не понимая, что происходит. Понимали матери, не могли не понять бессмысленности гибели своих мальчишек,

и, может, кое-кому удалось их спрятать или вовремя отправить из Берлина куда-нибудь подальше.

Кое-кому, может, и удалось. И этот низкорослый паренек не из тех ли счастливчиков, что только сейчас, когда все кончилось, вернулся в Берлин, к своей маме целый и невредимый, и она никак не наглядится на него? Или он дрался и остался жив, а в последний момент одумался и прибежал к своей маме, и она переодела, умыла, успокоила его, и вот сколько дней прошло, а все не привыкнет к своей радости: жив ее Ганс, жив и война окончена?

Борис подумал: то, что связывало мать и сына, было сильнее ее страха, сильнее Гитлера, сильнее ее самой. Ганс благополучно умял свой кусок хлеба и, бурно жестикулируя, принялся с жаром что-то рассказывать матери; она заметила Бориса и, бросив искоса на него встревоженный взгляд, положила руку на колено сына, как бы предостерегая. Борис повернулся и пошел обратно к шоссе.

— По коням! — услышал Борис.

— Товарищ старший лейтенант, где вы? — крикнул Гена.

Борис вышел на шоссе. Полуторка стояла, прижавшись к обочине. Колонна уже тронулась, и машины объезжали ее. Борису помогли взобраться в кузов, потеснились.

— Вперед!

— Поехали!

— На Берлин!

Водитель выбрал момент, когда в колонне образовался просвет, вклинился. Ехали медленно, потом передние машины прибавили скорость. Замелькали черные пятна на зеленом — перекопанная земля, обгоревшие деревья. А вот и широкая Зигес-аллее, под прямым углом пересекающая шоссе. Регулировщица на возвышении показывает флажками — прямо, прямо. На скорости они проезжают перекресток. Так, значит, они едут не через Кенигсплац. Ну что ж, можно и по-другому — прямо до Паризенплац, потом налево, мимо Бранденбургских ворот. Снова передние машины замедляют ход — почти у самой Паризенплац останавливаются. Солдатик с красной повязкой на рукаве показывает место стоянки. Отсюда рукой подать до рейхстага.

— Приехали!

Водитель выключает мотор. Летчики с шумом прыгают на землю.

— Даешь рейхстаг!

— Братцы, а ведь здесь, на Паризенплац, были парады фашистов!

— Это и есть Бранденбургские ворота?

— А ты что думал?

— Один только коняга и остался наверху, да и то смотри, как накренился: вот-вот сверзится.

— А вот и рейхстаг!

— Глядите, братцы, во все глаза — рейхстаг же!

— Ну, славяне, чего только не придумают! Посмотри, куда забрался, к самому куполу!

— Правильно! На куполе распишется!

Площадь перед рейхстагом полна народу. Группа летчиков попала в самую гущу и постепенно уменьшалась — то одного оттеснят, то другого, удержаться в такой толчее всем вместе было невозможно. Но Гена как пришитый следовал за своим командиром.

Вот он, рейхстаг, длинное разбитое здание с зияющими провалами и проломами, в центре купол с обнажившимися перекрытиями, у подножия груды камней. Мелькают фигуры солдат, слышатся голоса. Борис, за ним Гена поднялись по каменным ступенькам фасада и остановились под колоннадой. Солдаты со всех сторон облепили каждую колонну — искали местечко, чтобы нацарапать свою фамилию. Центральный вход за колоннадой, окна в два этажа по всему фасаду — все было разворочено, разрушено; не двери и не окна, а рваные черные проемы, битый кирпич, камень, сквозняк гулял по всему зданию; оттуда, из глубины, тянуло гарью...

— Ну вот, Гена, — сказал Борис, — давай и мы с тобой распишемся. Ищи место и пиши фамилию. И город свой не забудь — Новогрудок, верно? Чтобы все знали: есть такой город в Белоруссии.

«А еще есть такой город Тула, — подумал Борис. — Туляк туляка видит издалека». Он будто услышал Димкин голос и обернулся. Но чуда не произошло — сзади него стоял Гена и примеривался, куда бы протиснуться, чтобы нацарапать свою фамилию. А Димка не дошел — всего лишь несколько шагов.

18 апреля. А 26 апреля авиация почти прекратила боевые действия в Берлине — бои шли в самом центре: дом наш, дом их... 18 апреля. 18 апреля. Уже два дня шел штурм Зееловских высот, и два дня шестерками и восьмерками они штурмовали и бомбили эти проклятые высоты, сплошь утыканные зенитками всех калибров. В то утро 18 апреля, как только рассвело, они поднялись в воздух шестеркой, которую вел Алексей, с задачей уничтожить огневые опорные пункты в районе Врицена, скопление танков и живой силы. Как раз над Одером их атаковали «фокке-вульфы»; шестерка по команде Алексея стала в круг, и началась карусель. «Фоккеры» маневрировали, чтобы не попасть под огонь стрелков, уходили и возвращались, и все-таки Димка подловил одного и поджег длинной очередью, а второй «фоккер», его ведомый, с перепугу проскочил вперед и угодил прямо под пушки и пулеметы Бориса, попал в самое перекрестье прицела: он вспыхнул на глазах. Остальные «фоккеры» отвалили, и они вышли на Врицен и увидели на шоссе, на западной стороне городка, колонну танков. «Атакуем танки!» — скомандовал Алексей.

Зенитки открыли бешеный огонь, и они пикировали на танки в сплошных разрывах. А потом, сбросив бомбы, снова зашли на цель и потом еще раз на бреющем... Танки горели как костры

в черном дыму, затянувшем землю, клубы дыма поднимались вверх и расползались в воздухе. Небо было в пятнах и полосах дыма. После третьей атаки Борис ушел боевым разворотом и успел набрать высоту, когда с грохотом рядом, чуть сзади, разорвался снаряд и взрывной волной самолет завалило на крыло. Борис с трудом выровнял самолет и крикнул: «Димка! Отвечай! Отвечай!» Самолет побалтывало, он начал терять высоту и плохо слушался рулей, но они перетянули через Одер и летели над своей территорией, и аэродром был близко; Димка не отвечал, но Борис надеялся: ранен. «Димка! Отвечай! — кричал Борис. — Отвечай!» Он посадил самолет и надеялся — ранен. Не убит — ранен. Но все понял, когда увидел запрокинутое белое лицо Димки... 18 апреля. А 26 апреля их полк прекратил боевые вылеты на Берлин.

— Товарищ старший лейтенант, — позвал Гена, — идите сюда, тут место есть. А я уже расписался.

Борис подошел и там, где показывал Гена, написал: старший сержант Дмитрий Щепов, а потом и свою фамилию.

— А теперь посмотрим, как там внутри, — сказал Борис.

Они вошли в здание. Проломленные стены и потолки, отбитые углы, битый кирпич вперемешку со штукатуркой и каким-то хламом. Где-то рядом раздавались гулкие шаги, слышались голоса. Они прошли несколько разрушенных комнат и остановились на краю глубокого провала — в этом месте, вероятно, находился большой зал.

— Может, хватит? — спросил Борис.

— И я так думаю, — ответил Гена. — Все ясно, товарищ старший лейтенант.

— Тогда пошли обратно.

Выйдя из здания, Борис остановился и взглянул на площадь, надеясь увидеть кого-нибудь из своих. Гена, незаметно для себя повторявший каждое движение командира, стал рядом с ним и несколько раз как можно тщательнее, переводя взгляд от одного ориентира к другому, осмотрел видимое пространство. Знакомых они не нашли. В ответ на вопросительный взгляд командира Гена огорченно пожал плечами.

— Ладно. Пошли, — сказал Борис и уже спустился на одну ступеньку, как вдруг услышал свою фамилию.

Кто-то настойчиво звал его. Борис посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос, и увидел энергично пробиравшегося к нему человека. Пока соображал, кто бы это мог быть, перед ним предстал коренастый старшина в офицерской фуражке, с орденом Отечественной войны на груди. Лицо его, загорелое, с крупными резкими чертами и светлыми пронзительными глазами, красивое какой-то необычной диковатой красотой, показалось Борису знакомым.

— Не признаете? — обрадованно улыбаясь, спросил старшина, и Борис сразу вспомнил его, и весь тот день в польской деревне, и все, что было потом...

— Старшина!

— Точно! Дежков. Он самый.

— Живой!

— Точно, живой!

— Вот и свиделись!

— Ну а вы-то как?

— Что мне делается? Жив-здоров, как видишь.

— Вижу, — усмехнулся старшина, глазами показывая на ордена Бориса. — Славное дело... А войне-то конец, а, старшой? — неожиданно проговорил он, видимо, в который уже раз повторяя эту фразу и все по-новому радуясь и удивляясь ей. — Скоро домой поедем. По домам, значит. Ты, старший лейтенант, часом, про демобилизацию не слыхивал?

— Вроде поговаривают.

— То-то и оно. России мужик нужен. Руки рабочие. Да и то: нельзя больше бабам одним с ребятишками. Значит, скоро. — Он счастливо вздохнул и, словно вспомнив что-то веселое, сдвинул фуражку на затылок: — Ну а рыжий-то, рыжий где? — И, увидев потемневшее лицо Бориса, осекся: — Ясно... А мне мнилось, не сработали еще такую пулю, чтоб его достала. А оно вот как выходит...

Они замолчали. Борис спросил:

— Ты, старшина, приехал на рейхстаге расписаться или стоите здесь, в Берлине?

— Здесь мы, в Берлине, в Карлхорсте то есть, — ответил Дежков.

— Понятно...

Борис не задал ему того вопроса, который возник словно сам собой, как только он узнал старшину и вспомнил все, что произошло в тот день, не задал, не успел. Так пошел разговор, что сразу, с ходу не получилось, а теперь ему трудно было спросить о Кравцове — что-то удерживало его, мешало, и Борис ждал, когда старшина сам скажет. Пусть сам скажет. Не может же он не сказать.

Почувствовав, что старший лейтенант не то расстроился, не то задумался, Дежков, в свою очередь, немного замялся: как тут разговор вести? Неловко человека тормошить, когда у него свое на душе. Ловко или неловко, однако надо. Помолчав, он проговорил:

— А у меня к тебе, старшой, дело. Я, коли правду сказать, тебя, почитай, неделю разыскиваю. Не веришь? — Старшина усмехнулся. — Вроде засады тут, у рейхстага, устроил. Право слово. Чуялось — тут тебя и повстречаю. Так оно и вышло. Кто воевал в этих краях, тому рейхстага не миновать. Должен солдат посмотреть на рейхстаг на этот и детям своим рассказать.

— Понял, Гена? — сказал Борис, обняв его за плечи. — Смотри. Запоминай.

Старшина, похоже, еще раньше смекнувший, кто такой Гена, который в продолжение всего разговора молча стоял чуть сзади своего командира, обратился к нему:

— Сам-то ты, малец, откуда, из каких краев?

— Из Новогрудка, — ответил Гена. — Есть такой город в Белоруссии.

У него заныло сердце, когда он сказал — Новогрудок, будто в одном этом слове заключалась вся его жизнь. Вчера вот тоже в сумерках ему почему-то взгрустнулось и вспомнилось, как тепло и хорошо бывало в их доме, когда за окном мело и он сидел за уроками или читал чего-нибудь, а мать собирала ужинать и украдкой посматривала на него...

Гена вздохнул, а старшина с сожалением покачал головой: ему бы хотелось, чтобы этот нескладный тощий малец с такими чистыми и синими, как родник, глазами был бы из его краев. Повстречать земляка на чужой стороне — считай, большая удача. Земляк, он вроде как из той твоей, довоенной жизни, и разговор с ним особый, другим непонятный. А уж этот паренек был бы ему как младший братишка. Глядишь, и демобилизовались бы вместе, и махнули бы к нему в Чистоозерск... Но тут Дежков остановил себя — чего это он размечтался: если бы да кабы... И чтобы уж окончательно все стало на свои места, полушутливо заметил:

— Поди, балует тебя командир. Вон и подворотничок кое-как пришит, и заправочка хромает.

Гена промолчал. Хотя он и почувствовал шутливые нотки в словах старшины, но невольно поежился от того резковатого тона, каким они были произнесены. Видно, говорить по-другому старшина не привык. Ну и ладно. Ему-то какое дело? Пусть командует над своими пехотинцами, а он, Гена, как-никак — авиация. Воздушный стрелок, а не хухры-мухры, как недавно объявил ему Николай Ермаков, самый главный оружейник в их эскадрилье. Вспомнив о своем новом друге, который по званию тоже был старшина, Гена усмехнулся: вот уж тот бы спуску не дал!

Ему снова стало весело. А в лицо старшины Гена не вглядывался, в голос не вслушивался и ничего, кроме «заправочки» да «подворотничка», не разобрал в его словах. Но слова были скучные, на них и отвечать-то нечего. И как только старшина обратился к командиру, Гена незаметно отошел в сторону.

Куда-то шли, встречались, останавливались, разговаривали, смеялись солдаты и офицеры всех званий и родов войск, но вся эта разноголосая и разноликая толпа, где у каждого было свое дело, своя забота, жила и волновалась одним ликующим чувством, которое поглощало все дела и все заботы. Гена смотрел на живой, неубывающий поток людей и не слышал, как Борис спросил у старшины: «Так какое, говоришь, у тебя ко мне дело?» — и как, чуть замявшись, вместо ответа Дежков предложил: «Давай, старшой, отойдем куда... Где потише». Гена не слышал этого, он только заметил, что они пошли — впереди старшина, потом командир, — и двинулся вслед за ними.

Старшина направился чуть наискосок к Бранденбургским воротам, над которыми бился на ветру красный флаг. Подойдя

ближе и скользнув по ним взглядом, Борис испытал легкое разочарование: ничего величественного в этих Бранденбургских воротах, о которых он столько слышал, не было — иссеченные пулями и осколками колонны, арка с отбитой штукатуркой и выщербленными кирпичами, чудом уцелевший железный конь, накренившийся набок. Как видно, и здесь под аркой была баррикада, одна из тех, что перекрывали подходы к центру; сейчас ее разобрали, но следы все же остались.

— С танками выковыривали... — сказал старшина, кивнув на воронки от снарядов возле колонн, уже засыпанные землей. — Эх и жарко было! — добавил он.

Борис промолчал. Он знал, что творилось в те дни в Берлине, — им приходилось по команде с земли бомбить, штурмовать, поливать огнем с бреющего чуть ли не каждый дом, каждую баррикаду.

С воздуха Берлин, рассеченный улицами на темные прямоугольники с зияющими провалами, обуглившимися скелетами зданий, грудами развалин, объятый бушующим пламенем, затянутый черными клубами дыма, серой мглой, кое-где светившийся кроваво-красным светом, со вспышками огня из тысяч стволов, опутанный со всех сторон рваными нитями трассирующих пуль, — с воздуха Берлин был весь пламя, дым, грохочущая бездна. И трудно было поверить, что в этом аду оставались люди. Но они оставались. Вели бой. Указывали по радио цели. Продвигались вперед — и ничто не могло их остановить.

А теперь вроде бы и не верилось, что все эти улицы и площади, шумные от праздничного многолюдья, и есть тот самый Берлин и над ним чистое синее небо и белые-белые облака.

Впрочем, не то чтобы не верилось (Берлин, разумеется, был тот самый, никуда ему не деться, и облака над ним белые, самые настоящие), а просто не остыло еще, не притупилось то чувство, которое несло с собой короткое слово — Победа. Оно было таким большим и так много заключало в себе, что все кругом освещало по-новому, по-своему, заставляя беспрестанно удивляться и радоваться каждому своему проявлению. И город Борис узнавал как бы заново, замечая то, что нельзя было ни представить себе по плану, ни увидеть с воздуха.

Унтер-ден-Линден, открывшаяся им у Бранденбургских ворот, широкая и прямая как стрела, была вся запружена машинами. Нескончаемой колонной они продвигались к центру, обтекая регулировщицу, стоявшую на возвышении впереди Бранденбургских ворот. Они пошли по правой стороне мимо разрушенных, обгоревших домов. «Может, к Кравцову ведет? — спросил себя Борис. — Но лучше не гадать. А старшина ведь был в той деревне и хорошо знал Анну... Но лучше не гадать. И о Кравцове пусть сам скажет. Сам...»

Старшина пропустил поворот на Вильгельмштрассе, которая пересекала Унтер-ден-Линден. Странная мысль пришла в голову Борису. Странная, дикая — у него даже похолодело внутри. Мало ли чего не бывает? Старшина хорошо знал Анну — и вот те-

перь... Неделю Дежков искал его, а с тех пор, как он сам видел Анну, прошло ровно девять дней. Ну и что? Ну и что? Борис понимал, что нельзя поддаваться этой мысли, и гнал ее от себя — с тем покончено. Навсегда. Он гнал от себя эту мысль, но нетерпение его все росло.

Наконец на большом оживленном перекрестке, где возвышалась регулировщица, миловидная девушка с измученным и счастливым лицом, уставшая отвечать на шуточки и соленые словечки солдат с проезжающих машин, Дежков остановился. С минуту подумав, свернул направо, на Фридрихштрассе. Здесь, на самом углу, был вкопан указатель с названиями берлинских улиц, написанных по-русски, какие ставились на фронтовых дорогах. Гена потрогал довольно грубо отесанный столбик, к которому были прибиты дощечки, изображающие стрелы, — как-никак русский указатель в самом центре Берлина! Дежков прибавил шагу, вероятно почувствовав нетерпение Бориса.

Разрушения стирают особенности — с первого взгляда довольно трудно было отличить одну улицу от другой. Рядом с целыми, хотя и пострадавшими зданиями торчали полуобвалившиеся стены, а то и вовсе зияли провалы с грудами покореженного металла, битого кирпича и стекла... Да теперь Борис и не пытался это делать. Занятый своими мыслями, он уже ничего не замечал вокруг. Ни прохожих, ни машин, двигавшихся навстречу им, к центру. В кузове одной из них сидели и стояли летчики, и кто-то, может знакомый, махнул Борису рукой. Гена, единственный из трех глазевших по сторонам и заметивший этот жест, махнул в ответ. Они прошли еще несколько шагов, и за домом с отбитой штукатуркой и развороченными окнами на верхнем этаже старшина повернул за угол — и они оказались на небольшой, сравнительно узкой и тихой улочке.

Здесь бы можно и остановиться, никто им не помешает, но Дежков продолжал идти. Он поймал себя на том, что оттягивает разговор со старшим лейтенантом. Можно бы и пораньше найти место, где потише, а он вот привел старшого сюда. Зачем? Не все ли равно где — там ли, здесь ли? Нет, не все равно, ответил себе Дежков. Надо, чтоб и не помешал кто, и минуту особую подстеречь. И сказать он должен такими словами, чтобы старшой проникся — все забыл, а это помнил. Потому и шел он так долго, что слов подходящих не находил — нету у него таких слов. А сказать, однако, надо.

Решительно свернув под низенькую арку ближайшего дома (так решительно, будто именно сюда он и шел), старшина остановился.

— Ладно, — проговорил он, оглядывая небольшой, сжатый со всех сторон домами двор, в углу которого были аккуратно сложены бревна, скорее всего от разобранной баррикады, — можно и здесь... Сядем, что ли, — кивнул он на эти бревна.

Они подошли к ним, сели, закурили. Гена, которому сразу же стало скучно, встал и, пока они молча курили, прошелся по двору, с любопытством поглядывая на окна, за которыми шла

неведомая ему жизнь. Вот за белой занавеской на втором этаже мелькнуло женское лицо — выглянуло и спряталось, — вот кто-то задернул тяжелые темные шторы. Гена не спеша возвратился к бревнам. Командир и старшина по-прежнему курили и молчали. Он присел рядом.

— Дело-то, видишь, старшой, вот какое, — сказал Дежков, бросив цигарку и затоптав ее каблуком. — Вот какое дело... командира нашего убило. Двадцать восьмого апреля. За два дня до взятия рейхстага. Когда вокзал этот, Ангальский, очищали. Очередью автоматной прошило. Я к нему, а он...

Борис уже знал, что именно это скажет ему старшина. Он ощутил непонятную тревогу еще там, у рейхстага, — неспроста же Дежков ни слова не промолвил о Кравцове, а пока шли сюда, это ощущение превратилось в предчувствие несчастья. Борис не хотел верить ему — о чем он только не передумал, пытаясь угадать, какое у Дежкова к нему дело! И даже сейчас, пока Дежков не сказал, оставалась надежда. Хотя Борис все понял, лишь только старшина произнес первые слова, а все же оставалась надежда, пока он не сказал. А теперь ничего не оставалось. И не встретятся они с Кравцовым на Кировской, у Почтамта, и не пойдут к Романовскому, к старче, в Кривоколенный. И не будет разговоров, стихов, воспоминаний. Ничего не будет.

Стало холодно от этой мысли — ничего не будет. Ему вспомнилось лицо Кравцова, когда напоследок они выпили за встречу в Кривоколенном, и то ускользающее выражение в его глазах, от которого Борису стало не по себе. Как будто он увидел, как промелькнула в них смертельная тень, и тогда уже знал, что Кравцова убьют. Но он не захотел этого знать и тут же постарался уверить себя: почудилось, показалось. Мало ли что может показаться! Так оно было проще, спокойнее. А если бы он не испугался этой тени, может, и получился бы у них разговор, которого не будет уже никогда. Ведь хотел же Кравцов (Борис почувствовал это безошибочно) поговорить с ним по душам, что-то сказать. Хотел, да раздумал. Борис не мог вспомнить сейчас, почему не вышло разговора, кто в этом виноват, но вину приписал себе. Кравцова убило, а он жив...

— Ты послушай, что я тебе скажу, — проговорил Дежков, решившись прервать молчание.

Встретившись взглядом с Борисом и убедившись, что он готов его выслушать со всем вниманием, Дежков сказал:

— Аккурат через неделю, как вы уехали, пришел приказ, и двинулись мы аж туда, к Балтийскому морю, догонять войска Третьей ударной армии. А первого марта перешли в наступление. Бой был тяжелый, видно, немцы приказ такой от Гитлера получили: не отходить... А тут распутица, дождь, туман. У нас в роте, почитай, половина людей полегла. А все ж в тот день из первых траншей немцев выбили. Ну а как стемнело и бой утих, командир подзывает меня: табачок, говорит, имеется? Закурили, он и говорит: есть у меня к тебе, Василий Андронович, просьба.

Обещаешь исполнить? Как, отвечаю, не исполнить просьбу своего командира? Ну вот и хорошо, говорит. Раз сказал — сделаешь. А просьба вот какая: если меня убьют, возьми в моем планшете тетрадь, вот эту самую, и, как война кончится, отдай тому летчику, земляку моему. Найди его и отдай. А уж он знает, что с этой тетрадкой делать. Тут вот, говорит, на последней странице фамилия его, часть. А коли не найдешь земляка моего или что случится (сам знаешь, война), перешли по этому адресу. Видишь, здесь написан — Москва, Кривоколенный переулок, дом шесть, квартира двадцать три, Романовскому А. К. Прочитал он этот адрес — я его и запомнил. Ночью разбуди — скажу. Да, слава богу, не понадобился. Оно, знаешь, вернее, когда сам отдаешь да видишь — кому.

Старшина открыл свою офицерскую сумку и достал обыкновенную общую тетрадь в коричневом клеенчатом переплете. Подержав в руках, передал Борису.

— Так ты уж, старший лейтенант, сделай что надо. Разбейся, а сделай.

— Сделаю, — сказал Борис. — Будь спокоен, старшина. Все сделаю.

Он не знал и не догадывался, что же должен сделать, — сама тетрадь подскажет. Почувствовав неровную, в бугорках, поверхность переплета, снова подумал о Романовском, о школе. И будто опять потянуло смешанным запахом масляной и клеевой краски, который стойко держался в коридорах и классах после летнего ремонта, и услышал звонок, и стихающий гул голосов, и крик: «Старче идет!» — и положил на парту чистую общую тетрадь в клеенчатом коричневом переплете, первые страницы которой будут заполнены красиво и аккуратно, и почувствовал радость, нетерпение, любопытство оттого, что сейчас увидит Алексея Ксенофонтовича Романовского...

Борис провел пальцами по обложке тетради и открыл последнюю страницу, сначала последнюю, и действительно вверху, в правом ее углу, увидел свою фамилию и номер части, а чуть ниже (на тот случай, если что с ним случится) адрес Романовского, его фамилию, инициалы. Борис захлопнул тетрадь, а потом снова раскрыл уже на первой странице — там, в центре листа, крупными печатными буквами в две клетки было выведено: «Евгений Кравцов», а в самом низу, как это бывает в книгах, стояла дата: 17 февраля 1943 года. На следующей странице Борис увидел тщательно вычерченную чернильным карандашом схему огневых точек, по-видимому, переднего края противника, и ниже пояснения к ней. Потом шли чистые листы, и вдруг — быстро набросанные строчки стихотворения с зачеркнутыми и вновь написанными словами то крупно, то мельчайшими буквами, то полностью, то в сокращении. Прочитать их было очень трудно, Борис свободно разобрал только первую строчку:

Кончится война, и на пригорке...

По этой строчке он и понял, что на другой странице переписано набело это же стихотворение, уместившееся в одно четверостишие:

> **Кончится война, и на пригорке,**
> **там, где друг мой принял смертный бой,**
> **в сказочной зеленой гимнастерке**
> **вытянется тополь-часовой...**

Борис закрыл тетрадь. Дежков пристально смотрел на него, но Борис не видел его взгляда — он опустил голову, рука его машинально поглаживала обложку тетради, лежавшей на коленях. Потом старший лейтенант начал листать страницы одну за другой, то задерживаясь надолго, то почти не глядя переворачивая их.

Тетрадь вся была заполнена стихами, тщательно переписанными, брошенными на полдороге, а то и совсем оборванными после двух-трех строк в черновом виде. Редко-редко между ними вклинивались записи, которые Борис почти не мог разобрать, и опять схемы расположения огневых точек. Тетрадь предназначалась для стихов, это ясно, только для стихов, лишь в самых крайних случаях сюда заносилось то, что требовала обстановка. «Кончится война, и на пригорке...» — строчка эта не выходила из головы, не давала покоя, будто в ней была разгадка какой-то тайны, которую во что бы то ни стало нужно было раскрыть.

«Кончится война, и на пригорке, там, где друг мой принял смертный бой...» Но он сам, не его неизвестный друг, а он сам погиб в этом последнем бою. Он погиб, а Борис жив, и у него в руках эта тетрадь. Как завещание. Кравцов просил передать ее ему, Борису. Он сказал старшине, что его земляк знает, что делать с этой тетрадкой. «...в сказочной зеленой гимнастерке вытянется тополь-часовой...» Кравцова убило, а он остался. Значит, он, больше некому, должен сделать так, чтобы люди узнали о Кравцове — как жил, как воевал.

— Вот какое дело... — проговорил Дежков, отвечая на какие-то свои мысли. Теперь-то он был уверен: все, что требуется, старший лейтенант сделает. Расшибется, а сделает. Борис, услышав голос старшины, поднял голову, но взгляд его скользнул как бы сквозь Дежкова. Старшина больше ничего не сказал, и Борис снова уткнулся в тетрадь.

Гена опять почувствовал неодолимое желание размяться, подвигаться, поглядеть на людей. Рассказ старшины Гена слышал вполуха, отдельные слова до него не доходили, и он так и не понял, почему оба они надолго замолчали и командир не может оторваться от этой тетради. Он встал и сначала прошелся по двору, а потом вышел за ворота, на улицу.

Сержант в начищенных сапожках и лихо заломленной пилотке, шагавший по мостовой, увидев Гену, выходящего со двора, ухмыльнулся и подмигнул ему: мол, давай, не тушуйся. Вслед за ним, оживленно и громко болтая, прошли две немки. Потом, опираясь на палку, проковылял старик в черном костюме и серой шляпе.

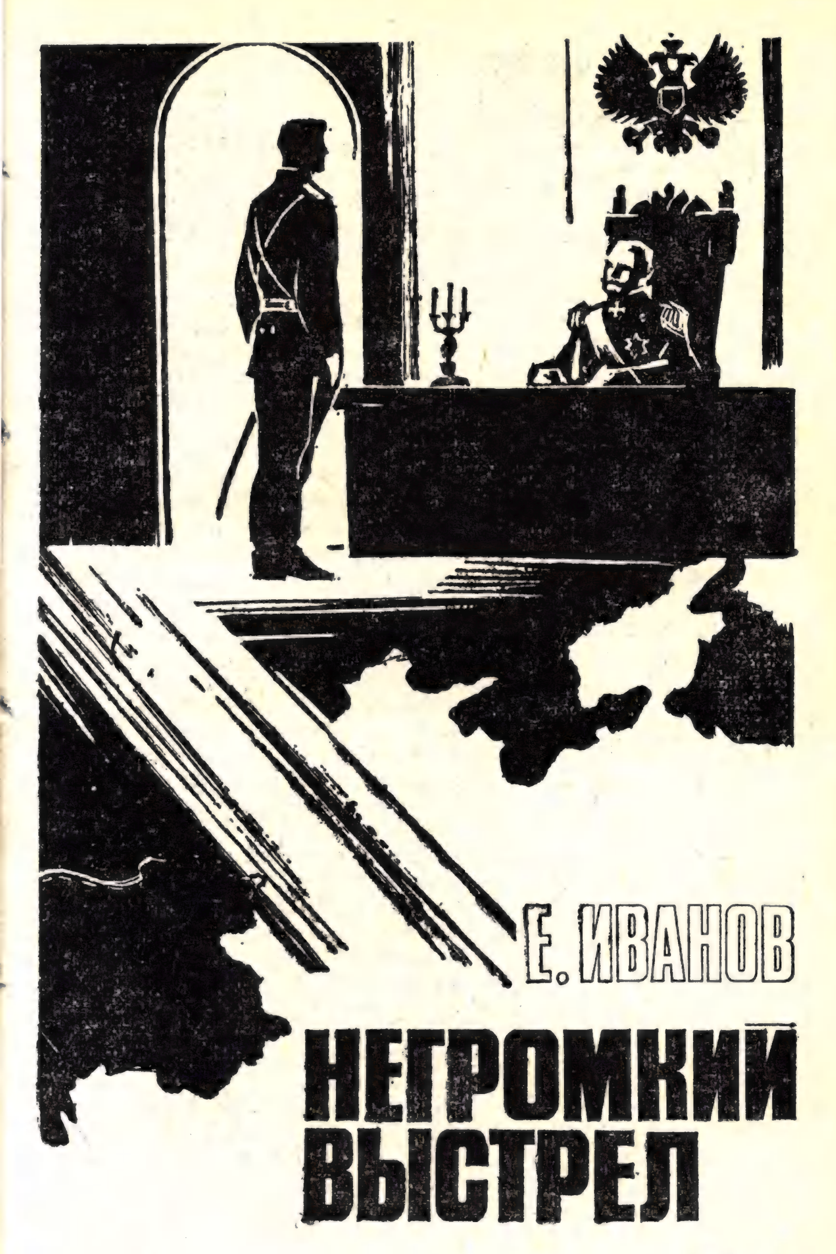
Поколебавшись, Гена направился в сторону, противоположную той, куда ушли две немки. Через несколько шагов перешел на другую сторону улицы, чтобы держать в поле зрения ворота, откуда выйдут командир и старшина. Пройдя еще немного, уперся в хвост небольшой очереди.

Это была очередь за хлебом, который население Берлина получало по карточкам, выданным советской комендатурой. Сквозь стеклянную витрину было видно, как ловко орудует солдат, отпуская буханки и полбуханки армейского образца.

Гена окинул взглядом очередь и увидел пацаненка лет шести или семи, который никак не мог устоять на месте и, наверно, давно бы ускакал, если бы мать не держала его крепко за руку. Мальчонка был забавный — белобрысый, конопатый, большеглазый, с оттопыренными ушами. Вроде лягушонка. Заметив Гену, с любопытством уставился на него. Гена подмигнул, и мальчонка, подумав немного, подмигнул в ответ. Гена постоял еще и пошел обратно. Обернувшись, увидел, что мальчуган машет ему. Гена тоже помахал и двинулся дальше. Возле арки никого не было.

Наверное, командир и старшина все еще сидели там, во дворе, на бревнах.


Берлин
Прага
Вена
Nikolas Nizetas



Е. ИВАНОВ

НЕГРОМКИЙ ВЫСТРЕЛ

РОМАН

Пролог

Веселое, но еще не горячее весеннее солнце поднималось над Санкт-Петербургом, заглянув предварительно во все уголки обширных пределов Российской империи. Одинаково безразлично оно дарило лучами на своем долгом пути хибарки крестьян, бараки рабочих, усадьбы помещиков, дворцы знати, посылало свет и тепло деревенькам и заштатным городишкам, аулам и хуторам, фабричным центрам и двум столицам — полудеревянной, полуспящей Москве и каменному, хладнокровному Петербургу.

Ночь отходила, под беспощадным солнечным весенним светом снова и снова обнажались нищета и крикливое богатство, лохмотья крестьянина, бредущего в город на заработки, и сияние эполет гвардейского офицера, летящего на лихаче из модного ресторана, сонная одурь купеческих лабазов и прокопченная убогость казарм, где ютился рабочий люд.

Вместе с восходом солнца вся Россия поднималась ото сна, истово крестилась или возносила иную, иноверческую молитву и принималась варить металл и ткать льны и ситцы, строить и торговать, валить лес и печь хлеб, заниматься тысячью других дел, имя которым — труд. Лишь малая толика подданных необъятной империи не видела, как поднимается солнце. Это были те, кто жил чужим трудом, проводил свои дни в единственной заботе — как бы украсить и скоротать свое время, порезвиться с подобными себе бездельниками или сделать вид занятости на государственной службе. Они отдыхали до

полудня для того, чтобы за полночь устать от развлечений.

Всю многомиллионную массу трудовых людей и миллион их захребетников охраняла от «врагов внешних» российская императорская армия, которую господа предназначили еще и для защиты самих себя от «врагов внутренних», то есть от лучших среди тех, кто трудился от зари до зари.

Приспешники царя, свора великих князей и прибалтийских баронов, занявшие в армии почти все важнейшие посты, пытались взрастить в российском воинстве повиновение без рассуждений, слепое исполнение команд «патронов не жалеть!».

Но и в армии солнце свободы проникало все дальше и дальше во все темные уголки, беспощадно высвечивало пороки и безобразия, обнажало трухлявые сваи и подпорки самодержавного строя.

В начале века далеко не все подданные Российской империи могли видеть путеводную звезду революции. Но таких людей день ото дня становилось все меньше и меньше.

...Веселое, но еще не горячее весеннее солнце поднималось над Санкт-Петербургом.

1. Петербург, март 1912 года

Алексей Алексеевич Соколов, кавалерист и любитель лошадей по натуре, военный разведчик по должности и подполковник Генерального штаба по чину, проснулся в это мартовское утро 1912 года затемно с радостным и тревожным чувством ожидания. Сильный ветер с моря разогнал облака, горизонт за окном сначала блеснул зеленой полосой, а затем из-за нее брызнули яркие солнечные лучи.

Соколов одним прыжком вскочил с постели, потянулся, разминая суставы. «Сегодня конкур-иппик *, — учащенно билось его сердце, — и я впервые в Петербурге буду спорить с сильнейшими наездниками столицы!»

Пока Соколов одевался и завтракал, он все время вспоминал свою лошадку, золотистой масти кобылицу государственного Стрелецкого завода.

В это время его Искра в своем деннике тоже готовилась к скачке. Вестовой Соколова делал ей массаж: крепко растирал стройные ноги вверх по жилам против шерсти и мягко оглаживал вниз. Потом накрыл дорогой попоной, из-под которой спадал золотой каскад хвоста. Грива, мягкая и волнистая от природы, была уже расчесана. Большие глаза на чистой, изящной и прямых линий голове смотрели ласково на солдата. Искра и сама

---

* Конкур-иппик — соревнования по верховой езде на чистоту прыжка́, проходившие обычно в закрытом манеже при большом стечении публики. Одно из любимейших спортивных состязаний в начале нашего века. *(Здесь и далее примеч. авт.)*

знала, что красива, а теперь по обхождению начинала понимать, что сегодня ее ждет что-то необычное...

Соколов кликнул подле своего дома извозчика. Ему казалось, что все людские потоки, стремившиеся в этот час по улицам, тянутся только в одну сторону — туда же, куда спешит и он, — к Михайловскому манежу.

На солнце уже пахло весной, радостно искрились сосульки. Толпы гуляющих по Невскому обтекали черных бронзовых коней и античных возничих на Аничковом мосту. Шум города складывался на проспекте из гомона толпы, цоканья лошадиных копыт по торцам мостовых, шелеста шин-«дутиков» и полозьев саней, фырканья моторов редких авто, треньканья трамваев. Внезапно симфония города дополнилась звуками труб — это на катке возле Симеоновского моста трубачи заиграли матчиш.

Алексей Алексеевич и раньше живал подолгу в Петербурге, в том числе и во времена учебы в Академии Генерального штаба, куда он вышел из Митавского гусарского полка. Теперь же, когда он вновь сделался столичным жителем, виды прекрасного города будили в его душе отголоски сладкой тоски, несбыточных мечтаний о душевной гармонии.

Гусарская служба оставила на Соколове неизгладимый след. Хотя он и был по природе веселым и живым человеком, серьезным, когда того требовала служба и обстоятельства, лихим наездником и неутомимым спортсменом, красивый гусарский доломан накладывал на него отпечаток какого-то внешнего легкомыслия, которого на самом деле в нем и не было. Зная это, Соколов все-таки часто надевал именно полковую форму, особенно когда хотел по какой-либо причине произвести на собеседника впечатление рубахи-гусара.

Теперь Соколов с любопытством разглядывал и нарядную толпу, и витрины магазинов, и дома, и дворцы. Он с удивлением отметил для себя, что почти ничего не изменилось здесь, в столице, за те годы, что он служил в Киеве. Так же розовел на набережной Фонтанки дом министерства Двора, а над ним рисовался в синем небе четкий силуэт Аничкова дворца. Направо, вдали, за желтым цирком Чинизелли, местом любимых субботних развлечений петербургской знати, чернели деревья Летнего сада. На афишных зеленых будках повсюду на Невском были наклеены листы, уведомляющие публику, что «в Михайловском манеже сегодня состоится выдающийся конкур-иппик», венцом коего будет приз высочайшего покровителя Общества любителей конного спорта.

В зеркальных окнах часового магазина Винтера сверкали на солнце золотые и серебряные диски карманных луковиц, солидно поблескивала латунь салонных, библиотечных и иных механизмов.

На углу движение остановила белая палочка городового, пропускавшего поток саней и трамваев на Владимирский и Литейный. Пока стояли в толпе повозок, Соколов разглядывал пестрые вывески и витрины. Он задержал взгляд на низком входе в ма-

газин Черепенникова, где за стеклами красовались горы апельсинов, яблок, винограда, полуящики с пастилами, финиками, изюмом, мармеладом и прочими сладостями.

«Ну и духовито там внутри, у Черепенникова!» — подумалось Соколову и захотелось зайти, но городовой взмахнул палочкой, лошадь дернула сани, повинуясь кучеру. Соколов откинулся на кожаную подушку. Мысли его снова устремились к ристалищу. Ему очень не хотелось отстать в состязании с петербургскими франтами. Он задумал свое участие в скачках как противоборство. От имени всех скромных провинциальных кавалерийских офицеров, тянущих суровую и нудную лямку гарнизонной службы, единственной достойной утехой на которой он считал конный спорт, Соколов мысленно бросал вызов чопорной и изнеженной столичной аристократии, тем, для кого манеж был всего лишь способом убить время между балом и караулом во дворце.

В боевом настроении Соколов подъехал к высоким задним воротам Михайловского манежа. Он легко выпрыгнул из саней, щедро дал на чай извозчику и, стараясь не запачкать блестящих сапог, перешел через натоптанный и грязный снег у входа.

Внутри после яркого дня было сумрачно и пахло сыростью. В предманежном дворике громоздились станки для лошадей. Высокая дощатая стена, отгораживая тесное пространство, служила одновременно задней стенкой трибун. Сверху с нее свешивались гирлянды еловых лап.

Здесь уже создалась толчея из солдат, вахмистров кавалерийских полков, офицеров, штатских наездников в жакетах и цилиндрах, лошадей.

Сразу от входа Соколов скорее угадал, чем увидел, золотистую гриву своей Искры. Он подошел к ней, ласково погладил по выгнутой шее. В ответ Искра потянулась к нему серыми концами губ. Соколов достал кусок сахару и почувствовал, как шершавая нежная губа осторожно смахнула угощение.

— Кобылка тоже волнуется, ваше высокородие, — обратился к нему вестовой Иван, такой же страстный лошадник, как и барин. — Во, смотрите, ваше высокородие, Алексей Алексеевич! Сначала кровь у нее к сердцу прилила и стала шерсть мутной, а сама Искорка побледнела вся, а теперь, смотрите, все жилки налились на ногах и боках! У-ух, попрыгунья!

Соколов огляделся. Вокруг так же, как и его Иван, хлопотали солдаты, вахмистры. Блестели погоны офицеров. Красных, голубых и белых военных фуражек было заметно больше, чем штатских цилиндров.

Кое-где вовзышались над толпой кавалергардские каски с привинченными по-парадному серебряными двуглавыми орлами на макушке, которых вся кавалерия называла почему-то «голубками».

Изредка змеились над головами кирасирские гарды из черного конского волоса, ниспадавшие с касок.

Весь цвет спортсменов 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских

дивизий собрался сегодня в предманежнике. Кавалергарды, конногвардейцы, кирасиры, лейб-казаки и атаманцы, конногренадеры, уланы, драгуны и царскосельские гусары — все они знали друг друга, были на «ты» и высокомерно оглядывали штатских наездников, решивших помериться силами с ними — элитой русской кавалерии. На Соколова они смотрели удивленно, отчужденно поднимая бровь в немом вопросе: «А это что еще за явление?!»

В груди Соколова закипал глухой протест против всех этих выхоленных и отутюженных барчуков, их холодных глаз, обращенных на его скромный мундир провинциального гусарского полка, на серебряный значок Академии Генерального штаба. Среди чужих лиц мелькало несколько знакомых, но не менее чуждых от того, что Соколов встречал этих людей в бытность свою в академии и по неписаному закону мог бы обратиться к ним на «ты».

Он взглянул на свои часы-луковицу: до старта оставалось еще порядочно времени. Чтобы не поддаться чувству злости, Соколов решил посмотреть на ристалище сверху, от трибун, и поднялся по ступенькам на деревянный помост узкого коридорчика, огибавшего овальную арку манежа. Стена направо была разбита на маленькие квадратики лож, стена слева разлинована боковыми трибунами. Косые лучи низкого весеннего солнца пробились через переплеты окон и золотили верхние места лож справа. Столбы радужной пыли от лучей стояли в туманном воздухе манежа. Перед царской ложей, на крытом зеленым сукном столе, полковник в серебряных адъютантских эполетах и аксельбантах расставлял призы — серебряные кубки вычурной работы. Штатский в каракулевой шляпе раскладывал для судей беленькие афишки с именами участников. Здесь же, на тонких полосатых, как шлагбаум, столбах, блестел сигнальный колокол.

У большого перепончатого, словно крыло стрекозы, окна в углу залы трубачи офицерской кавалерийской школы, в черных доломанах, сшитых по гусарскому образцу, но с желтым широким басоном, укрепляли пюпитры и пробовали свои инструменты.

Парадные ворота для публики, с колоннами и тамбуром, не закрывались, впуская вместе с толпой морозный воздух. Напротив входа чернели ущельем другие ворота и проход в манеж, где человек двадцать рабочих в красных рубахах и казаки лейб-гвардии полка в красных чекменях стояли у тяжелых барьеров и легких белых реек, дожидаясь команды ставить их на поле. Там же, чуть отступя от них, лицом к полю сгрудилась солдатская аристократия гвардейских полков — подпрапорщики, усатые и раскормленные вахмистры. Соколов оглядел залу манежа, толпу зрителей у вешалок. Яркими пятнами праздничных весенних туалетов выделялось много дам и девиц. Ложи начинали заполняться. Алексей оборотился назад.

В предманежнике было уже яблоку негде упасть. Солдаты-вестовые еще быстрее двигались возле лошадей, замывая и за-

чищая ноги, перебинтовывая их, осматривая и поправляя седловку.

Искра издалека увидела Соколова и тихо заржала. Он протолкался к лошади.

— Вот ведь, обрадовалась увидеть своего человека! — сказал Иван. — Я, ваше высокородие, с кавалергардским вахмистром за вас и за нее парей держал! Он — за своего ротмистра, а я за вас!

— Спасибо, Иван! — ответил на доверительность признания Соколов и стал проверять подпругу и седло.

Загремели трубачи. Эхо басов и геликонов возвращалось от стен, путая и делая неузнаваемой мелодию. Все свободные места на трибунах и многие кресла лож были уже заполнены. Последние парижские туалеты и только что привезенные из Ниццы корзины цветов радугой переливались в ложах. Резко и звонко, покрывая гомон зрителей, зазвонил колокол. Улан с перевязью распорядителя вошел в предманежник, басовито крикнул:

— Господа, начинаем премировку, прошу садиться...

Соколов перекрестился и по-жокейски, не касаясь стремян, прыгнул в седло. Серые дощатые ворота в стене распахнулись, трубачи кавалерийской школы грянули «рысь», всадники чинно, по номерам, заранее розданным, стали выезжать в манеж.

Посреди него уже стояли члены жюри — сухой и желчный барон Неттельгорст, командир лейб-гвардии казачьего полка; отставной кавалергард, граф Шереметев; стройный, как юный прапорщик, с тонкими и длинными «кавалерийскими» усами генерал-адъютант и георгиевский кавалер Струков; давешний улан-распорядитель и неизвестный Соколову штатский в цилиндре и длинном черном сюртуке.

Первым на вывозном из Англии гунтере — крупной охотничьей лошади — выехал конногренадер с погонами ротмистра. Он едва справлялся со своим гнедым. Хвост у жеребца был коротко обрублен и все время подергивался, а гривы не было вообще. Гнедой шел тяжело, болтая плоскими копытами. Массивный всадник возвышался над крупной лошадью, и его локти были по-спортсменски манерно расставлены в стороны. Соколов подумал, что именно против этого гунтера поставил свой рубль Иван.

Вторым шел вороной белоногий жеребец, хозяина которого шапочно знал Соколов. Коня, хотя он и был отпрыском арабского Искандера, звали, нарушая традицию, по-европейски Лорд Иксом. На нем выступал кавалергард граф Кляйнмихель, поступавший в академию в одной группе с Соколовым, но провалившийся на экзаменах. Граф был хотя и кавалергард, но щуплого телосложения. Отпечаток всех мыслимых пороков покоился на его бледном лице. Но в седле он держался хорошо.

Идти третьим жребий выпал Алексею Алексеевичу. Искра волновалась. Она прижимала тонкие, красивой формы уши, обнажала белизну зубов, морща губу под храпками. Волнение слов-

но подстегивало ее, и она едва касалась ногами пола манежа, отделяя левую переднюю от земли раньше, чем правая задняя опиралась о пол. Все лошади шли строевой рысью. Соколов мерно поднимался и опускался в такт музыке, его мягкие удары о седло усиливали ритмичность движения лошади. Казалось, Искра танцует по воздуху. Ее хвост шлейфом был откинут назад, мягкая челка разделилась на две прядки. Даже рядом с изящным вороным жеребцом она казалась утонченной красавицей. Впереди тяжело скакал гунтер.

Взоры всех зрителей были прикованы к Искре, и Соколов слышал, как на обеих сторонах манежа — на трибунах, где собралась простая публика, и в ложах по левую руку, — раздавались возгласы:

— Браво, красавица! Какая славная лошадь!

Иван, протиснувшийся в проходе почти до самого манежа, с восторгом смотрел на свою любимицу.

— Шагом! — скомандовал генерал Струков, и всадники прошли еще полный круг шагом.

Когда они покинули арену, среди судей разгорелся спор.

— Ваше превосходительство, — сказал улан-распорядитель, — можно кончать и раздать призы за экстерьер так, как они шли...

— Что вы! — возмутился Струков. — Этого тяжеловесного гунтера вы хотите поставить выше русских лошадей!

— Но ведь и у графа не военная лошадь. У нее трудный рот и ноги не совсем сухие... — вмешался в разговор граф Шереметев.

— Я би аух не доваль первий и фторой мест этим лошадь! — решительно заявил барон Неттельгорст, понимавший толк в хороших лошадях. Его слово решило спор в пользу Искры. Генерал сделал знак на вышку — ударили в колокол.

Всадники покинули манеж, а затем трех премированных лошадей вызвали на арену. Теперь у них под ушами уже были привязаны к оголовьям банты из розовых у Искры, голубых у вороного и гунтера лент.

Трубачи заиграли туш, и три всадника провели лошадей галопом. Снова ударил колокол. Радостный, но настроенный на более серьезную борьбу, Соколов вместе с возбужденной Искрой покинули манеж.

2. Петербург, март 1912 года

Артель рабочих в красных рубахах дружно выбежала на арену устанавливать препятствия. Зрители зашевелились, многие покинули свои места и пестрой толпой двинулись вдоль лож, разглядывая светских красавиц и их парижские модные новинки, переговариваясь со знакомыми, раскланиваясь и улыбаясь. Трубачи гремели модные мотивы, праздник был в самом разгаре.

Между тем все четырнадцать повышенной трудности препятствий заняли свои места. Из них самое высокое на вид и неприступное — кирпичная стенка высотой в два аршина, которое называлось в кавалерийском просторечии «гроб» и иногда вполне оправдывало свое название. Остальные были из бревен, но поверх каждого из них, в том числе и стенки, укладывались на легких шестах белые рейки, которые сваливались от малейшего прикосновения копыт.

На скачку записалось шестнадцать лучших наездников Петербурга. Все знали, как трудны препятствия конкур-иппика: неизбежны были падения, переломы рук, ног, а то и более страшные увечья. Доктор и фельдшер 2-й гвардейской дивизии были наготове.

Музыка затихла, зрители постепенно заняли свои места, в воздухе установилось то самое напряжение, которое бывает в цирке во время особенно опасного номера.

Призом победителю был не только огромный серебряный кубок, учрежденный высочайшим покровителем Общества любителей конного спорта, но и изрядная сумма денег от клуба.

Жребий бросал тот самый офицер-улан, что выступал распорядителем. Соколов никого из соперников не знал, и они смотрели на него как на чужака. Алексею показалось, что все обрадовались, когда ему выпал тринадцатый нумер. Он не был суеверным и не боялся «несчастливой» цифры, однако опасался, что Искра переволнуется и «перегорит» в своем станке, покуда дойдет очередь. Он то подходил к своей лошадке, нежно поглаживая ее шею, то возвращался к манежу и следил за наездниками. Подле каждого препятствия стояли по два лейб-казака в малиновых чикчирах и размеренно, как заводные куклы, поворачивались лицом к очередному соревнователю. Первые шесть соперников шли с большим количеством ошибок и без всяких шансов на успех. То и дело раздавался легкий шелест соскользнувших реек или тяжкий грохот падающих бревен.

Соколов отвернулся от манежа, но тут же сначала громкое «ах», а затем дружный смех заставили его оборотиться к полю. Одна из лошадей — тяжеловесный гунтер под ротмистром в конногвардейском мундире — подхватилась и, не слушаясь наездника, понесла, не разбирая препятствий, по манежу. Но офицер сумел овладеть положением — когда гунтер встал подле ворот, чтобы начать прохождение препятствий снова, шпоры наездника были все в крови, а бока серого коня-великана порозовели от острых колесиков.

Седьмым вышел на своем вороном Лорд-Иксе граф Кляйнмихель. Его крупный жеребец с места пошел уверенным галопом. Кавалергард сидел плотно, по новой моде наклонясь вперед и слегка отставив локти. Под блестящими подковами Лорд-Икса не шевельнулась ни одна рейка. Конь шел на каждый прыжок чисто и красиво. Перед препятствием всадник как бы выдыхал призывное «э-эп!» и легко переносился через бревенчатые и

хворостяные заборы. В манеже стояла напряженная тишина. Ее нарушал только мерный звук копыт лошади и негромкое поощрительное «э-эп!» наездника. Соколов не мог оторвать глаз от красивого зрелища и понимал, что каждый прыжок приближает графа к победе.

Предпоследним препятствием, тринадцатым по счету, был двойной бревенчатый забор, над которым легко возносились рейки. Лорд-Икс неотвратимо приближался без штрафных очков к нему и мерно, словно маятник часов, вздымался над препятствиями, легко перелетая барьеры. И вдруг перед двойным забором Кляйнмихель как-то неловко качнулся в седле, его лошадь сбилась от этого с ноги и передними ногами громко, словно по пустому ящику, ударила по верхнему бревну. Она сбила его вместе с рейкой. Гул разочарования прокатился по трибунам, особенно в ложах, где многие, наверное, хорошо знали блестящего гвардейца.

Граф остановил коня и тут же наказал его за провинность, а затем пошел на последнее — самое сложное — препятствие. Вороной легко перепрыгнул каменный «гроб», но весь эффект выступления Кляйнмихеля был потерян, и он, понурясь, заехал в предманежник.

Следующие номера выступали тоже не особенно удачно — сбивали и бревна, и рейки, попусту носились между препятствиями, не сумев овладеть конями.

Десятым выступал известный Соколову белобрысый и маленький корнет Махов из офицерской кавалерийской школы. Он пошел не на казенной лошади, которые в школе все были отменно хороши, а на своей, слабоногой. До своего заезда он похвалялся кому-то из знакомых, стоя рядом с Соколовым, что купил этого английского на семь восьмых скакуна с завода великого князя Дмитрия Константиновича, нахального лошадиного великосветского барышника. Алексей и раньше слышал, что великий князь собственноручно торговал лошадьми и, случалось, ловко умел всучить негодного скакуна молодому и робкому офицеру, зачарованному принадлежностью заводчика к царской семье.

Махов пошел на сложную скачку из явного упрямства и гордости. Соколов видел, что он был весьма слабым наездником, и тут же узнал от всеведущего Ивана, что корнет, стремясь преодолеть свою робость перед лошадьми и ездой, специально записался в офицерскую кавалерийскую школу и упорно выходил на манеж, доказывая себе и товарищам смелость, без которой, как учил еще Суворов, ни один офицер не смеет надевать мундир.

Перед выходом на арену Махов долго крестился, шептал слова молитвы, но в седле он держался как-то неуверенно, и его конь стал закидываться уже на первых препятствиях. Корнет дважды чуть не вылетал из седла, но, нахлестывая круп, все прыгал и прыгал, сбивая рейки. Почувствовав слабость наездника, лошадь встала наконец как вкопанная перед забором. Махов, ис-

терзав свой стек, заставил ее буквально перелезть через препятствие.

Наконец он приблизился к «гробу». Слабоногий скакун и наездник, неспособный послать его вовремя на прыжок, слишком близко от стенки начали движение вверх, раздался грохот падающих кирпичей и единогласное «а-ах!» зрителей. Проломив забор, живой клубок покатился по песку манежа. Первой встала лошадь. Всадник недвижимым остался лежать на земле. Тотчас из ворот выбежали лейб-казаки с носилками и врач, обступили согнутую фигуру.

— Он умер! — истерично выкрикнула какая-то дама, по-видимому, знакомая Махова. От царской ложи отделился адъютант и быстрым шагом направился к лазарету, куда казаки утащили корнета и где теперь никак не могли привести его в чувство.

— Что с ним? Не убился ли насмерть? — заволновались уже отскакавшие свое офицеры, толпившиеся в предманежнике. Прибежал вестовой Махова и, крестясь поминутно, принялся всем рассказывать, что, слава богу, его высокородие только сильно ушиблись и сломали ключицу.

Толпа зрителей, многие из которых пришли на скачки, жаждая опасности и крови, была удовлетворена. Она с еще большим интересом принялась следить за ареной и обсуждать конкур. Грянул колокол, извещая, что предыдущий номер перед Соколовым начал свой путь. Улан-распорядитель выкрикнул:

— Ротмистр Соколов, садиться!

Механически, словно пружина, он вознесся в седло, взял правой ногой зазубренное никелированное стремя и вдруг почувствовал себя легко-легко.

Он погладил Искру по шее, привычно пропустил между пальцев поводья и ощутил под собой горячее и мощное тело лошади, взволнованной от всей обстановки и ждущей, как и он, когда придет их время.

Перебирая точеными ножками, Искра приблизилась к воротам и стала горячиться. Заиграла сетка жил, натянутых на упругие мышцы и проступавших под атласной кожей с мягким коротким волосом золотистого цвета, стала подергиваться вверх сухая голова, блестящие глаза лошади закосили от волнения, стройные кости ног ниже колен беспрестанно двигались. Искра не поднималась на дыбы оттого только, что чувствовала на себе сильного и волевого всадника, которого любила и которому привыкла подчиняться.

Соколов с высоты седла видел через дощатые ворота, как заканчивал свою езду двенадцатый номер. Он спросил у казака, державшего щеколду ворот: «Сколько реек?»

Бородач, быстро прикинув на пальцах, ответил радостно: «Так что, одиннадцать, ваше благородие!»

Никто до Соколова не прошел чисто.

3. Петербург, март 1912 года

Ударил колокол, отбивая конец заезда, распахнулись ворота, впуская соперника после скачки и выпуская на манеж Соколова. Он остановил Искру супротив царской ложи и отдал честь сидевшим в ней, а также судейскому столу, хотя ничего уже, кроме препятствий, перед собой не видел. Снова грянул колокол, и Соколов пустил лошадь по арене, разогревая ее и давая оглядеть барьеры. Вокруг восторженно шептали зрители, узнав ту самую, занявшую первое место по своей стати, Искру. Оба слышали этот шум, но Соколов ничего не видел, кроме головы своей Искры с напряденными вперед ушами, желтого песка манежа и казавшихся необыкновенно высокими барьеров.

Сделали круг, и Искра разогрелась, кровь еще сильнее наполнила сетку жил. Иногда лошадь слегка обмахивала себя хвостом, словно освежая веером. Соколов понял чувством, знакомым только хорошему наезднику, что пора пускать Искру в дело, и слегка сдавил ей бока. Искра тут же прибавила шаг.

Они пошли на первый забор. То был хердль — высокая деревянная рама, заплетенная наглухо прутьями, поверх которой торчали щеткой веники, а на них, словно прямо на воздухе, лежали две тоненькие планки, колеблемые даже потоками воздуха. Рассчитать прыжок над таким отвесным тонким и высоким препятствием было почти невозможно.

По еле заметному движению всадника Искра поняла, что он готов к прыжку. Она уверенно прыгнула. Как только ее задние ноги встали на землю, не сбив ни единой планки, Искра снова взяла в галоп, а над трибунами пронеслось дружное «браво!». Потом возникла напряженная тишина, в которой мерно звучал стук копыт.

Следующим был жердевой барьер, поставленный наклонно. Барьер располагал к широкому настильному прыжку, и Искра с удовольствием перенеслась через него, рассчитав свой шаг с поворота.

Пока все шло хорошо. Искра очень старалась и с большим запасом одолела параллельные брусья, стоявшие на другом конце манежа, затем прошла наискось к барьеру из шести белых бревен и, словно играючи, перелетела над ними.

Соколов скакал, не думая ни о чем и ничего вокруг не видя. В едином инстинктивном порыве он переносился вместе с лошадью через препятствия. Он не мешал Искре идти туда, куда ей хотелось, после каждого взятого препятствия.

Они легко пронеслись над канавой, устроенной посредине манежа из брезента, налитого водой, где по бокам торчали редкие прутики с рейками на них, вторично через бревна и косые жерди, чтобы выйти на громадную кирпичную стенку с самой удобной для прыжка стороны.

В полной тишине Искра прибавила ходу, направляясь к «гробу», и тут, словно нарочно, когда лошадь была в нескольких са-

женях от него, через высокое окно ворвался луч солнца и ударил лошадь по глазам. Искра от неожиданности переменила ногу, зрители, ожидая худшего, вздохнули в тысячу уст и затихли сразу. Кирпичная стена выросла перед Соколовым. Луч солнца не испугал Искру, он только отвлек ее и рассеял ее собранность и готовность к прыжку. Еще больше ее отвлек единый вздох тысячи людей. Но ноги наездника слегка сжали ей бока, он дал почувствовать лошади, что надеется на нее.

«Отчего это вдруг подняли шторы?» — подумалось Соколову, который доподлинно видел, что тяжелые белые полотнища висели на окнах, препятствуя ярким лучам весеннего солнца врываться в манеж, слепить лошадей и наездников. Но эта мысль сразу же отошла на второй план и угасла, когда Искра взвилась в таком громадном и могучем прыжке, что все четыре блестящие подковы блеснули над красным бархатным барьером лож. Она далеко пролетела за каменную стенку и, гордо встав на свои точеные ноги, радостно заржала.

Гром рукоплесканий был наградой Искре и всаднику. Соколов, для которого все зрители до этого сливались в единую серую и безликую массу, вдруг как бы прозрел и прямо перед собой, на трибуне для простой публики, неожиданно увидел красивую тонкую девушку, которая в возбуждении вскочила с места и хлопала в ладоши. Ее лицо было обрамлено прической из пышных волос пепельного цвета, выделялись огромные синие глаза. Образ ее, словно молнией, пронзил Соколова, но азарт скачки тут же вытеснил видение, и он чуть повел поводьями, призвав Искру собраться на остаток борьбы.

Счастливая от своих сил и прыти, Искра словно подобралась и широким галопом пошла снова на канаву с плетнем, распласталась над тройной корзинкой и перелетела через хердль. Финал скачки прошел под сплошные рукоплескания. Даже в царской ложе их высочества лениво хлопали в ладоши, поддаваясь общему настроению.

Наконец, когда все препятствия были пройдены, а некоторые и по два раза, Соколов натянул поводья и остановил Искру против судейского стола. Звякнул колокол, и его удар потонул в буре аплодисментов, которыми публика наградила золотистую красавицу. Мелкой рысью, обмахивая взмокшие бока длинным хвостом, Искра подошла к воротам и скрылась за ними. Ложи и трибуны стали медленно затихать в рукоплесканиях.

Сияющий от счастья Иван бежал к воротам навстречу Соколову и Искре.

— Имею честь поздравить вас, Алексей Лексеевич. Усе бальеры чисто перескочили! — радостно говорил он Соколову, беря Искру за трензельное кольцо. — Ну и Искорка, ну и душечка!

— Погоди, Иван, погоди, еще три номера выступать будут!

— Эх, ваше высокородие, можно сказать, уже наша взяла! — убежденно заверил офицера Иван. — Какие это кавалеристы?! И лошади супротив нашей Искорки — чистые одры! Только покойников возить!

— Типун тебе на язык, Иван! Еще несчастье накличешь! — пожурил Соколов вестового.

Все удавалось Соколову в этот день. Единым махом он спрыгнул с коня и поразился тому, как резко переменилось отношение к нему среди господ гвардейских офицеров, по-прежнему переполнявших предманежник. Многие заспешили к нему, чтобы пожать еще не коронованному победителю руку, иные почтительно щелкали каблуками, когда он проходил мимо них, а вестовые — все как один — подобострастно вытягивались и «ели глазами начальство».

Иван с помощью проигравшего свой рубль вахмистра накрывал попоной Искру, предварительно насухо вытерев ее огромным полотенцем, а Алексей Алексеевич на нетвердых еще от пережитого возбуждения ногах отправился к наблюдательному пункту у ворот, где столпилось несколько кавалерийских офицеров.

Гвардейцы почтительно расступились, пропуская его к самому удобному месту, и он услышал, как за его спиной граф Кляйнмихель полушепотом объяснял нескольким желающим, что неизвестный победитель скачки не только гусар Литовского полка 14-й кавалерийской дивизии, но и подполковник Генерального штаба, полгода назад переведенный сюда, в Петербург, из Киева для прохождения службы в Главном управлении Генштаба.

Соколов, слушая слова графа, сразу вспомнил почему-то первую загадку дня — солнечные лучи, неожиданно ударившие по глазам Искру. Второй загадкой стала для него осведомленность Кляйнмихеля. «И когда он это успел разузнать насчет перевода в Генеральный штаб?» — размышлял Алексей.

Последние номера опять проходили по манежу с закидками и сбивая планки. Глядя на неловкость одного из всадников, который тщетно пытался заставить свою лошадь идти на «гроб», Соколов снова остро пережил неожиданность, с какой вдруг вырвался в затененный манеж солнечный поток.

Воспитанный на кодексе офицерской чести, предполагавшем порядочность и благородство, Соколов никак не хотел поверить в то, что кто-то нарочно, видя, как успешно он идет к первому месту, мог поднять именно ту штору, которая препятствовала потоку лучей литься на подступы к кирпичной стене. Но факт оставался фактом и требовал размышлений.

«Хоть они и гвардейцы и вроде бы все приятели теперь, но ухо надо держать востро!» — сделал предварительный вывод Соколов.

Его отвлек от тяжелых дум резкий удар колокола, вслед за которым сразу же стал шириться гомон на трибунах и в ложах. Скачка закончилась, но судьи еще не объявили места, хотя было уже ясно, что абсолютным фаворитом стал Соколов. Публика не стала расходиться сразу, а перемешалась толпой знакомых. Потихоньку она рассасывалась и с трибун. Алексей направился к тому месту, где, как он помнил, было ему чудное видение пепельной головки с синими глазами.

Высокий и стройный, с аккуратным пробором и пышными уса-

ми по моде, с широко расправленными плечами, затянутый в новый, с иголочки, мундир, позвякивая орденами на груди и шпорами на лакированных сапогах, героем дня шел он по манежу. Женщины шептались, глядя на него, восторженные взгляды мужчин светились симпатией в его адрес, несколько безусых корнетов следовали за ним, не решаясь заговорить.

Соколов искал глазами на трибунах для простой публики ту самую девушку, но не находил ее. Он повернулся спиной к царской ложе и к ложам, где блистали светские красавицы и элегантно затянутые в мундиры и фраки господа. Победителю прощалось все, даже невнимание к зрителям «из света».

Трубачи взялись играть вальс, и бравурные звуки понеслись под сводами манежа, умножаясь эхом и покрывая беззаботный говор толпы.

Незнакомки на трибунах не было. Алексей сначала огорчился, а потом подумал, что все равно он не смог бы вступить с ней в разговор, не будучи ей представленным. Раздосадованный неудачей, Соколов повернулся идти снова в предманежник, но к нему почтительно подошел адъютант, тот самый, что давеча выходил из царской ложи, чтобы узнать о состоянии упавшего Махова, и пригласил его к судейскому столу.

Казаки и рабочие, суетившиеся по манежу, убирали препятствия, казавшиеся в спешенном положении еще выше и внушительней, чем они выглядели из седла. Все расступались перед Соколовым, а бородатый казачий вахмистр, дирижировавший уборкой, вытянулся перед Соколовым, отдал ему честь и пробасил густым голосом: «Премного вам благодарны, вашескородие! Лётали вы, яко святой Егорий на небесном коне!»

Когда Соколов подошел к судейскому столу подле царской ложи, там уже выстроилась пестрая шеренга офицеров и штатских, принимавших участие в конкуре и выездке. Соколова, как победителя и того и другого состязаний, поставили с правого фланга.

Из ложи вышел долговязый и усатый великий князь Николай Николаевич, дядя царя, генеральный инспектор кавалерии и высочайший покровитель Общества любителей конного спорта. Трубачи грянули туш, ложи и трибуны зааплодировали. Великий князь погладил свои пышные усы рукой в белой лайковой перчатке и приготовился сказать поздравительную речь. Музыканты по знаку адъютанта замолкли, но великий князь вместо речи крякнул, подхватил огромный серебряный кубок, возвышавшийся над всеми остальными наградами, и, выйдя из-за стола, приблизился к Соколову.

— Молодец, гусар! От имени его императорского величества благодарю за лихость и умение! — рявкнул пропитым голосом Николай Николаевич и добавил: — Сам выезжал лошадь?

— Так точно, сам! — отвечал Соколов и получил в ответ: «Молодец!»

— Рад стараться, ваше высочество! — почему-то по-солдатски ответил Соколов и принял тяжелый кубок. Великий князь поже-

лал обнять и поцеловать победителя, но мешал громоздкий кубок. Соколов догадался сунуть кубок куда-то вбок, где как раз оказался Иван, и долговязый генеральный инспектор крепко обнял и поцеловал Алексея Алексеевича, дохнув на него перегаром шампанского и ароматом надушенных усов. Аплодисменты усилились, снова грянул туш трубачей, и великий князь оторвался от Соколова. Наступил черед кавалергарда графа Кляйнмихеля. Николай Николаевич несколько сократил церемонию, и на долю графа не досталось высочайшего поцелуя. Далее все шло еще быстрее, и вскорости все были свободны.

В манеже стало темнеть. Подняли полотняные шторы. Лучи заходящего солнца, хлынувшие через высокие полукруглые окна наискось через весь простор огромного помещения, багряными красками заиграли на противоположной стене, окрасили белые скамейки трибун в густо-розовый цвет.

Музыка по-прежнему гремела и дробилась под сводами манежа, публика в ложах все редела.

Кляйнмихель пригласил всех своих знакомых, принимавших участие в скачке или пришедших на нее, чтобы посочувствовать ему, выпить «шампитра», сиречь шампанского, неподалеку — в офицерском собрании армии и флота. Перед уходом все решили еще раз полюбоваться Искрой, и компания офицеров, весело переговариваясь, гурьбой ввалилась в предманежник.

— Ну, где твоя красавица? — перебивая друг друга, спрашивали новые знакомые Соколова. — Поди, теперь набегут барышники и будут торговать кобылку?! Неужто не продашь за хорошую цену? — уже донимал кто-то Соколова.

— Нет, не продам! — твердо отвечал Соколов.

Офицеры вдоволь налюбовались лошадью, погалдели, обсуждая ее экстерьер и прыгучесть, а затем вышли, минуя толпу у главного входа, через тяжелые ворота, приоткрытые для вывода лошадей.

День догорал. Солнце позолотило все вокруг. На фоне багровых красок заката четкими черными линиями простирались ветви деревьев. Розовый снег скрипел под железными полозьями саней, скользивших прочь от манежа, уносящих к вечерним развлечениям дам и господ. Вереницей тянулась цепочка зрителей, расходящихся пешком по домам.

Соколову было и радостно оттого, что он утвердил себя на столичном конкур-иппике, и грустно, что праздник этот уже закончился, что снова ждет кропотливая, бесконечная работа в Генеральном штабе и пустая холодная казенная квартира в Семеновских казармах, которую никак не натопит денщик.

Его что-то спрашивали, он что-то отвечал. Компания обогнула манеж и на другой его стороне, вдоль стены от парадного подъезда, нашла извозчиков. Расселись по саням и ринулись на Литейный, где на углу Кирочной улицы в громадном здании, выстроенном в русском стиле, размещалось петербургское офицерское собрание.

Стемнело. Во всех окнах огромного дома горело электричество.

Швейцар из ветеранов русско-турецкой войны гостеприимно распахнул двери перед компанией гвардейских офицеров, повеяло теплом, французской кухней и одеколоном, где-то вдали играли полковые трубачи. Заботы отошли на второй план. Соколов почувствовал, что устал и проголодался.

— Шампанское ставлю я! — заявил новым товарищам победитель скачки. Никто не стал перечить — традиция была соблюдена.

Старый артельщик * уютно разместил компанию офицеров в одном из укромных уголков просторного, но уже почти заполненного столового зала. Глядя на его пышную, русую с сединой бороду, Соколов вспомнил поздравление давешнего казака:

— Лётали вы, яко святой Егорий на небесном коне!

4. Петербург, конец февраля 1912 года

За неделю до конкур-иппика, как обычно в пятницу вечером, полицейское управление Санкт-Петербурга выслало наряд городовых на Сергиевскую, к дому графини Кляйнмихель. Было известно, что в зимний сезон по пятницам в салоне графини собираются послы и министры, генералы и сенаторы, а также заезжие знаменитости. Бывало даже так, что чужеземные звезды в российской столице — вроде Сары Бернар или гостившего у турецкого посла Туркан-паши великого визиря — сначала наносили визит старой графине, а после этого двор «замечал» их, и они удостаивались быть принятыми в Царском Селе у государя.

По заведенному командующим отдельным корпусом жандармов обычаю старшим по наряду назначался только тот из старослужащих, кто знал в лицо весь петербургский чиновный мир и дипломатический корпус, был сообразительным и способным сочинить наутро толковый отчет о всех пребывавших во дворце графини. Само собой разумеется, кое-кто из графской прислуги — агентов охранки — негласно привлекался в помощь составителю доклада, дополняя живописными деталями описание того, что происходило внутри, за стенами, куда полицейское око не смело и заглядывать.

Городовым было видно только, как к парадному подъезду, из которого на очищенный от снега тротуар сбегала красная ковровая дорожка, подкатывали высокие и нескладные моторы, элегантные кареты и наемные экипажи. Пассажиры, одетые в вечерние наряды, важно ступали на ковер.

Старший наряда, закрывшись башлыком от пронизывающего ветра с Невы и пользуясь ярким светом электрического фонаря на столбе, заносил в свою книжечку имена датского посла Скавениуса, шведского морского атташе Клаасена, прибывших первыми в одном автомобиле; графа Григория Бобринского и целой компании гвардейской молодежи — братьев Витгенштейнов, их

---

* Так в офицерских собраниях назывались официанты.

кузена Диму Волконского, племянника старой графини Петра Кляйнмихеля, его друга Андрея Крейца. После них прибыли граф Роман Потони и барон Эммануил Юльевич Нольде, управляющий делами совета министров. В большом авто, за рулем которого восседал негр — так что младший полицейский чин, увидев его, даже перекрестился, — прибыла дочь российского посла в Париже графа Бенкендорфа миссис Джаспер Ридли, в другом авто — принц Александр Баттенбергский.

Гости все прибывали и прибывали...

Анфилада зал на втором этаже особняка графини наполнялась. Хозяйка дома сидела, окруженная старыми друзьями, и с милой улыбкой лорнировала входящих. Сухопарая и подтянутая, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, графиня протягивала гостям для поцелуя надушенную морщинистую руку и нараспев по-французски ласково приветствовала знакомых. Иных она оставляла в первой зале, рекомендуя уже составившимся здесь двум кружкам, других мановением руки посылала в следующую залу, где у клавесина собралась гвардейская молодежь, третьим указывала на уютную библиотеку, где формировались столы для покера и бриджа.

Единственный, для кого графиня поднялась со своего кресла и кого она встретила на пороге зала, был министр двора барон Фредерикс, прибывший в сопровождении жены — испытанной и верной подруги графини и дочери Эммы. Предложив барону, который, несмотря на свой почтенный возраст, еще довольно бодро передвигался, руку, графиня повела его к самому покойному креслу подле своего любимого дивана и заботливо усадила его. Барон сделался как бы центром кружка говорящих, прервавших свою беседу в знак уважения к его сединам и встретивших его любезными улыбками.

В обществе, образовавшемся на диванах и креслах вокруг графини — хозяйки дома и почетного гостя — министра двора, говорили негромко, но весомо. Слово держал граф Пален, экс-министр юстиции и один из крупнейших российских помещиков.

— Господа, — продолжал он мысль, прерванную приходом Фредерикса, — разумеется, ни одно цивилизованное государство, державшееся в течение многих столетий известного направления в своей политике, — я имею в виду симпатии к германской цивилизации, — не может так легко заменить его на противоположное, как это делают господа Извольский и Сазонов.

— Вы имеете в виду, граф, профранцузскую ориентацию нашей нынешней дипломатии? — спросил Палена граф Александр Адлерберг. Этот тощий и остроносый завсегдатай салона графини, несмотря на свое европейское образование и знание шести языков, довольно медленно схватывал главные нити разговора и частенько переспрашивал о сути дела, дабы не потерять его смысл.

— Воистину так! — подтвердил Пален.

Графиня поддержала разговор и позволила себе перебить рассказчика, чтобы самой высказать давно наболевшие мысли.

— О да! Теперь все у нас устремилось к Франции! Не правда ли, господа? — Слушатели размеренно закивали бородами и бородками. — Мятежные либеральные партии считают Германию очагом консерватизма; офицерство — особенно происходящее из демоса — стремится к лаврам и считает, что они легко достижимы в войне с Германией и при условии союза с Францией... Интеллигенция, которая должна вечно благодарить за науку немецких профессоров, симпатизирует республике и счастлива возможностью петь «Марсельезу»... Подумать только, а за такое пение десять лет назад многие из них были сосланы и по сию пору не могут вернуться из сибирской ссылки...

Кружок государственных людей внимал графине с явным удовольствием. Она продолжала почти с воодушевлением:

— Русские купцы видят в своих немецких коллегах сильных конкурентов, рабочие на фабриках терпеть не могут аккуратного и требовательного мастера-немца. Даже неграмотные мужики считают себя вправе жаловаться на немца-управляющего, который вынужден наказывать пьяниц и лентяев! Наш состоятельный класс, бросающий большие деньги на Ривьере и в Париже, конечно же, выражает свои бурные симпатии французам и их ресторанам, бульварам, театрам, портным, кокоткам, полагая, что в этих симпатиях лучше всего выражается любовь к Франции!

От столь долгой и пылкой речи графиня утомилась. По ее знаку к кружку подошел с большим серебряным подносом, на котором стояли бокалы с французским шампанским, пузатый рыжий лакей в камзоле и белых нитяных чулках. Графиня, единственная женщина в самом серьезном кружке салона, взяла хрустальный бокал первой.

Пока государственные умы освежались шампанским, граф Пален стал продолжать свою мысль. Но прежде он решил расшаркаться перед хозяйкой дома:

— Как тонко графиня определила общественные корни антигерманского недовольства! У вас глубокий философский склад мысли, дражайшая Мария Эдуардовна! — закатив глаза, поднес он руку к тому месту, где должно было биться сердце и на камергерском мундире находился знак германского ордена «Черного орла», пожалованного ему в прошлом году императором Вильгельмом. Отпив из бокала, Пален продолжал:

— Это противоестественный союз двуглавого самодержавного орла России и красного галльского петуха, горланящего республиканскую «Марсельезу»...

— Да, да! — поддержал его принц Александр Баттенбергский, — куда естественнее союз двух орлов — германского и российского!

— Тому мы видим в недавнем европейском прошлом яркий пример, — согласился граф Пален. — Четыре года назад, когда Вена присоединила себе Боснию и Герцеговину в обмен на заверения Эренталя предоставить России свободу рук в Проливах, а затем неблагородно не выполнила своего обещания, Изволь-

ский имел беседу с французским послом. И знаете, что этот милый союзник заявил нашему министру иностранных дел? Он сказал, что французское общественное мнение не допустит, чтобы Франция была вовлечена в войну из-за сербских вожделений. Почти в те же критические дни Франция сама заключила с Германией соглашение о марокканских делах...

— Конечно, французские интересы были в тот момент не обострять отношения с Австро-Венгрией и Германией из-за далекой Сербии... Равно как и английские — не допустить российского влияния на Порту и нашего упрочения на Дарданеллах и в Босфоре... Ведь тогда Россия была бы слишком близка со своей армией к жизненным центрам Британской империи, — высказался вдруг молчавший до сего момента барон Роман Розен, один из подписавших Портсмутский договор и потому смело толковавший теперь вопросы британских имперских интересов и всего, что было связано с морями и океанами.

Его поддержал генерал Гартунг.

— О да, — сказал он, — я слышал, что лорд Грей отказал тогда нашему министру в проходе нашей эскадры через Дарданеллы для демонстрации против Австро-Венгрии с тыла — в Адриатике.

— Я и хотел отметить, господа, — важно продолжал свою речь граф Пален, — что русским аграриям, равно как и многим представителям торгово-промышленных кругов, крайне невыгодна перемена политического курса и сближение с аграрной Францией...

— Я могу вам со скорбью сообщить, что на берлинской бирже цены на наш хлеб упали за прошлую неделю снова со 157 до 130 марок за центнер на пшеницу и со 131 до 110 марок за рожь! — переключился от политики к торговле граф-помещик.

— Неужели так низко?! — забеспокоился граф Бобринский.— Но тогда я почти разорен!

— Господа, еще рано горевать! — успокоил слушателей Пален. — К весне цена на наш хлеб, я полагаю, как обычно, повысится! Я только хотел обратить ваше внимание на то, что если его величество будет продолжать свое сближение с Францией, то Берлин может снова обрушиться на нас высокими пошлинами на хлеб, мясо, птицу, как это было совсем недавно... Я полагаю, что долгом всех разумно мыслящих деятелей нашей плеяды является выполнение святой задачи — как Россию оторвать от союза с Францией и направить политику нашей империи в правильное русло — на благо дружбы с Германией? Только союз наших императоров способен приостановить пагубное развитие революционных идей в Европе... Подумать только, всего несколько недель назад, в минувшем январе, германские социалисты получили на выборах в рейхстаге четыре с четвертью миллиона голосов и посадили на его скамьи 110 своих депутатов! Если бы Германия была в дружбе с Россией, то, я полагаю, наша династия не допустила бы такого печального поворота событий!

— Его величество кайзер и сам сумеет справиться со смутьянами! — благодушно вымолвил Адлерберг. — Кстати, мне рассказывали друзья в Потсдаме, что среди социалистических депутатов появился новый лидер, некто Бернштейн. Это вполне управляемая личность! Он нашел особый, безопасный путь реформ, а не бунтарских революций...

— Посмотрим, посмотрим... — скептически проскрипел министр двора, словно просыпаясь от дремы, хотя он не пропустил ни одного слова.

...Уже давно не появлялся никто из новых гостей, как вдруг мажордом вновь растворил двери в зал и, стукнув жезлом, провозгласил:

— Супруга военного министра Екатерина Викторовна Сухомлинова!

Общий говор в гостиной мгновенно стих. Хозяйка беспокойно поднялась с места и радушно пошла навстречу красивой молодой женщине, которая уже два с половиной года была притчей во языцех «всего Петербурга». Все началось с того, что злоязычный свет в лице его самых родовитых и аристократических представителей обоего пола упивался скандалом в Киеве, где вдовец — командующий округом и генерал-губернатор Сухомлинов — отбил у адвоката Бутовича красавицу жену. После долгого и грязного процесса, который прекратил разводом сам государь, Сухомлинов женился на Екатерине Викторовне и, будучи назначен военным министром, привез красавицу в Петербург.

Петербургский свет не принял Екатерину Викторовну. Двери очень немногих родовитых домов были открыты перед ней, и она очень ценила, что сама графиня Кляйнмихель, законодательница политических мод и хозяйка популярного салона, всегда готова была ее видеть.

Дамы мило обнялись, и, чтобы гостья не прочитала презрения на чопорных лицах старцев, графиня повела ее скорее к молодежи.

— А что же его превосходительство военный министр не смог почтить нас своим присутствием? — с искренним радушием в голосе осведомилась графиня у Сухомлиновой.

— Владимир Александрович шлет глубокий поклон — он не вернулся еще из Царского, — с отменной любезностью сообщила Екатерина Викторовна.

Они вошли во вторую залу. Она была уютнее и отделана голубым с серебром штофом. Одиозная в глазах старой знати супруга военного министра оказалась здесь более ко двору — гвардейские офицеры и их дамы совершенно любезно приняли госпожу Сухомлинову.

Графиня на минуту присела на диван рядом с Екатериной Викторовной, как бы вводя ее в общество. Разговор вертелся вокруг предстоящего конкур-иппика, где одним из самых сильных конкурентов на главный приз обещал быть племянник графини Петр.

— О, берегитесь, граф, — вступила сразу в разговор Сухом-

линова, обращаясь к Петру Кляйнмихелю. — Владимир Александрович (она имела в виду своего мужа) перевел в Генеральный штаб из Киева одного из лучших тамошних наездников — Алексиса Соколова. На самых трудных парфорсных охотах Алексис побивал опытнейших спортсменов, приходил первым, и притом на любых лошадях.

— А где сейчас тренируется ваш чэмпион? — с вызовом задал вопрос граф Петр Кляйнмихель. — Я охотно полюбовался бы на него!

— Еще нигде, — с милой улыбкой ответила ему Сухомлинова. — Он только месяц назад принял в Главном управлении Генерального штаба австрийское делопроизводство и еще не огляделся в Петербурге...

Старая графиня поднялась со своего места.

— Молодежь, я вас покидаю ненадолго, чтобы распорядиться насчет ужина... Прошу любить и жаловать Екатерину Викторовну! Ее красота равна разве что ее уму, — сказала Мария Эдуардовна с загадочной улыбкой комплимент супруге министра и удалилась.

Боковым коридором графиня прошла к себе в кабинет, присела к раскрытому бюро, устало провела рукой по глазам, а затем решительно взяла лист бумаги с собственной монограммой, остро заточенное гусиное перо и написала размашистым почерком:

«Мон шер Филипп!

Всегда вспоминаю тот исключительно радушный прием, который мне оказывается в Потсдаме и Берлине, волнующие встречи с его величеством германским императором. Надеюсь, что вскоре, при моем проезде через столицу империи в Ниццу, куда я собираюсь на весенний сезон, снова смогу лично засвидетельствовать ему мое глубочайшее уважение и восторг перед его колоссальной миссией — простереть крылья германского орла над миром!

Пользуясь случаем передать маленькую информацию, полученную от противной и болтливой особы, госпожи Сухомлиновой, которую в высших кругах Петербурга с недавних пор и с легкой руки вдовствующей императрицы Марии Федоровны называют «великолепный демон». Мадам Сухомлинова проговорилась сегодня у меня о том, что в Петербург, в Главное управление Генерального штаба, переведен на должность начальника австро-венгерского делопроизводства небезызвестный разведчик ротмистр Алексей Соколов. По данным, которыми вы и я располагаем, Соколов возглавлял в штабе Киевского военного округа разведку против Дунайской монархии и высоко ценится в кругах Генерального штаба как аналитик и трудолюбивый собиратель агентуры. Для Срединных империй Соколов представляет несомненную угрозу. Он ловок и хитер, владеет основными европейскими языками, а на немецком и итальянском говорит, как на родных. Более подробной характеристикой располагает банкир Альтшиллер, присматривавшийся к Соколову во время службы ротмистра в Киеве.

Что касается моих взглядов на тот предмет, как нейтрализовать влияние при русском дворе господ Бьюкенена и Делькассэ *, столь настойчивых в укреплении антигерманских устремлений в России, то льщу себя надеждой изложить их его величеству при аудиенции у него.

Из интересных сплетен могу сообщить вам последнее mot ** посла Делькассэ. Министр союзной Франции при дворе Николая II и кавалер Российского ордена Святого Андрея Первозванного, даруемого только царственным особам, публично заявил: «Россия для меня только дипломатическая и военная величина, а участь 180 миллионов мужиков меня совершенно не интересует!»

Кое-кого в Петербурге эти слова весьма шокировали.

Примите уверения в искреннем и глубочайшем уважении

Ваша Мария Кляйнмихель».

Закончив письмо и обсыпав его из песочницы белым балтийским песком, дабы снять лишек чернил, графиня нажала на кнопку звонка, подвешенного к бронзовой лампе, и вынула из ящичка голубой листок с монограммой германского посла Пурталеса.

Вошел толстый рыжий лакей с крючковатым носом и в белых чулках. Он был явно одним из доверенных лиц графини и в германской армии носил высокий чин капитана. Его рекомендовал графине сам Филипп Эйленбург.

— Дипломатическая почта германского посольства уходит завтра после обеда, — сказала Мария Эдуардовна, вычитав цифры в листке. — Зашифруй письмо графу Филиппу Эйленбургу, оригинал сожги, как обычно, а криптограмму отдай в собственные руки посла Пурталеса. Иди!

5. Пресбург, август 1912 года

На пристани Пресбурга *** царило оживление, свойственное всем вокзалам мира. Зеваки любовались с набережной и из открытых кафе, как швартовался белоснежный пароход «Эрцгерцог Карл», пришедший из Будапешта и следующий вверх по Дунаю к Вене. Путешественники уже выстроили свои чемоданы и баулы подле сходней, суетились носильщики и слуги, изображая деятельность и готовность помочь.

Вежливый до приторности кондуктор выпустил с парохода пассажиров, желавших размяться по твердой земле во время часовой стоянки, и стал пропускать на борт тех, кто отбывал из Пресбурга. Это были люди, которые, очевидно, не очень торо-

* Послы Великобритании и Франции в России в 1912 году.

** Mot — словечко, острота *(франц.)*.

*** Так называлась до 1918 года столица Словакии — Братислава.

пились в столицу империи, поскольку паровичком можно было добраться из Пресбурга до Вены за час с небольшим, а путешествие на пароходе против течения быстрой реки занимало во много раз больше времени. К преимуществам поездки по Дунаю принадлежала прохлада, которую в жаркие летние месяцы великая река Европы дарила путешественнику, живописные берега открывали один за другим великолепные виды, на пароходах было просторнее, чем в вагонах, и работали неплохие буфеты.

Среди новых пассажиров на борт «Эрцгерцога Карла» взошел господин среднего роста в коричневом костюме, очень гармонировавшем с его рыжеватой шевелюрой и откровенно рыжими усами, аккуратно подстриженными и нафабренными. Умные карие глаза твердо смотрели на толпу, и кондуктор невольно подтянулся, встретившись с ним взглядом. Господин обладал явно военной выправкой, и его властная манера держаться говорила о том, что он занимал в императорской и королевской армии достаточно высокое положение. Носильщик пронес его чемоданы в одну из кают первого класса, и господин с военной выправкой отправился в буфет носового салона пропустить стаканчик моравского вина перед отплытием...

Когда колокол на пристани отбил все положенные удары и пароход, тяжело задышав машиной, ударил плицами по быстрой дунайской волне, пассажиры столпились у поручней правого борта, отмахиваясь платками и шляпами от толпы провожающих на пристани. Господин в коричневом штатском костюме по-прежнему занимал свое кресло у большого зеркального окна с видом на фок.

Он видел, как мимо его окна прошел по палубе коренастый полный человек с гривой седых волос, гладко выбритый и одетый в серый дорожный сюртук и темно-серые бриджи. Седой джентльмен, явно путешествующий англичанин, заглянул с безразличным видом в окно и влился в толпу пассажиров у поручней.

«Эрцгерцог Карл» медленно, почти незаметно, вышел на середину Дуная, и его колеса еще проворнее побежали по воде, а машина заухала чаще. Постепенно отступал назад собор святого Мартина, где короновались на царство австрийские императоры, отодвинулся вдаль четырехбашенный замок на высоком холме. По обоим берегам реки потянулись леса, ниспадавшие с отрогов гор к самой воде.

Мимо окна, у которого сидел в своем кресле господин в коричневом костюме, еще раз прошел коренастый седовласый путешественник. Теперь он решительно толкнул дверь с палубы и вошел внутрь салона...

— Разрешите устроиться за вашим столиком? — громко обратился он по-английски. Господин в штатском улыбнулся одними глазами и лишь сделал рукой жест, означавший приглашение.

Седовласый устроился поудобнее, отыскал взглядом официанта

и поднял палец. Официант, видимо, уже изучив вкус пассажира, принес ему большой хрустальный стакан виски с содовой.

— Здравствуйте, полковник! — вполголоса по-чешски сказал джентльмен, отхлебнул свое виски и продолжал, как со старым знакомым: — Как добрались от Брюнна * до Пресбурга? Вы ведь, кажется, были в отпуске у родных?

— Да, мои братья остались моравакамии ** и делают наше знаменитое вино Совиньон — не то, что я, солдат его величества императора... — с сожалением в голосе отозвался рыжеволосый. — Кстати, а для чего вы, Филимон, затеяли это путешествие из Будапешта в Вену на пароходе и нашу столь оригинальную встречу на борту «Эрцгерцога Карла»? Неужели нельзя было увидеться в каком-нибудь венском парке вечерком или посидеть в винном погребке?..

— Милый Гавличек! — вполне серьезно, без тени шутки, ответил ему Филимон. — Вы хотя и руководите оперативным отделом императорского и королевского Генерального штаба, но в элементарной конспирации ничего не смыслите. Вы же знаете, что по всей империи жандармы разыскивают вашего покорного слугу... и тех, кто с ним встречается. Я уже два года на нелегальном положении, а до сих пор не попался. Не попался потому, что всегда выбираю неожиданные места для встреч с друзьями. Подумайте, кто будет искать директора разведывательной организации на маленьком дунайском пароходе?

— В связи с риском в нашей работе, — сказал снова вполголоса полковник, — я хотел бы вас просить очень серьезно предостеречь моего коллегу Редля. В Генштабе говорят, что он в последнее время стал сорить деньгами и может привлечь внимание контрразведки...

— Хорошо, я переговорю с ним, — пообещал Филимон. — А как ваши дела? Не замечаете ли необычного внимания со стороны сослуживцев? Кстати, я следил, когда вы садились на пароход, и никаких признаков наблюдения не обнаружил.

— Если не считать презрения, с которым австрийцы относятся к нам, чехам, даже занимающим высокое положение на службе его христианнейшего величества, то все идет нормально...

— Скажите, полковник, когда вы обеспечите дочь — как это собирались сделать, начиная наше знакомство, — вы прекратите сотрудничество с русской разведкой? Что мне передать в Петербург? Могут ли мои товарищи рассчитывать на вас, ваши связи и опыт при анализе австрийской армии и ее планов?

Полковник задумался, механически прихлебывая красное вино.

— Филимон, я многое понял за эти годы. Я видел, как вы ежедневно рисковали своей свободой и всегда думали прежде всего о безопасности того человека, с которым шли на встречу. Я соприкоснулся с миром вашей души и вот что вам скажу:

---

* Так в Австро-Венгрии называлась столица Моравии — Брно.

** Уроженцы одной из чешских областей — Моравии.

борьба за освобождение славян, которой вы проявили необыкновенную преданность, зажгла во мне отзвук великой идеи. Мне хочется общаться с вами чаще и чаще. Я получаю от встреч с вами заряд душевной энергии, но эта проклятая конспирация мешает нам просто дружить, как мне хотелось бы... Если я неясно ответил на ваш главный вопрос, то вот вам еще ответ: во мне вы пробудили гордость славянина, саму народную сущность которого десятилетиями загоняли в потаенные уголки души немецкое воспитание, немецкая культура, приобщение к немецким материальным выгодам... Они сделали из меня полковника австрийской армии, без конца унижая меня, мой народ. Теперь я не с ними, а с теми, кто борется за освобождение славян от тевтонского господства, за независимые Богемию, Моравию и Словакию. Отец моей жены словак, вся моя родня — мораваки... Мне трудно разорвать сразу все узы, которые связывают меня с офицерским корпусом двуединой монархии, но я буду по-прежнему помогать славянским братьям, которые одни могут только и помочь нашему освобождению, — русским! Извините, если слова мои звучат несколько высокопарно.

— Спасибо, брат! — негромко сказал Филимон. — Хочу вам поведать, что в моей группе большинство чехов и словаков одушевлены именно славянской идеей. Эта идея все глубже входит в сердца политиков, солдат и простых людей нашей любимой родины... — Он достал из внутреннего кармана книжку с бумажной закладкой, раскрыл ее и продолжал: — «Отвечайте же, положа руку на сердце, братья, не Россия ли, подобно маяку, светила нам в наше печальное прошедшее, в глубокую ночь нашей жизни? Не Россия ли оживляла наши упования, ободряла наш упавший дух, подняла нашу почти угасшую жизненную энергию?.. Не Россия ли своим могущественным повелительным положением заставляет еще наших врагов несколько щадить нашу жизнь?..» Согласитесь, Гавличек, поистине жемчужину славянской мысли напечатали недавно в России... Людевит Штур: «Славянство и мир будущего». Не опубликованная доселе рукопись великого словацкого просветителя пролежала в архивах свыше пятидесяти лет! А мы сами не можем напечатать эту реликвию здесь, в нашей стране! Поистине прав был Штур, когда говорил, что все наши национальные стремления не имеют никакого смысла, значения и будущего без России! К тому же при непомерной ненависти к нам чужеземцев, которым мы уже покорились...

Филимон протянул книгу собеседнику. Полковник с интересом принялся ее листать.

— Одолжите мне ее, — сказал он наконец. — Моя жена хорошо знает по-русски и переведет мне труд своего выдающегося земляка. Я ее верну вам с очередным пакетом информации.

— Вы можете оставить книгу насовсем, — предложил Филимон. — Я уже внимательно ее изучил и почти со всеми размышлениями Штура согласен... Кстати, мы сейчас будем проходить его любимое место на Дунае.

Пароход приближался к излучине реки, где у высокой скалы Девин с остатками древней славянской крепости на вершине в Дунай впадает Морава. Путешественники вышли из салона на палубу и стали любоваться прекрасным видом, открывавшимся все шире с каждым оборотом колес парохода.

Под ярко-голубым небом сияла светлым камнем обрывистая скала. Словно корона, на ее челе красовались зубчатые стены древней крепости западных славян. И скала, и корона отражались в почти черной воде тихой заводи, которую образовало устье Моравы. За скалой поднимались пологие склоны Карпат, покрытые садами и виноградниками. И скала и крепость на ней не оставляли впечатления суровости и угрозы. Наоборот, пейзаж дышал миром и спокойствием.

Уютно раскинулись домики небольшого городка в долине между скалой и отрогами Карпат, неслышно несла свои воды в бурный и светло-коричневый Дунай зеленоглазая красавица Морава. Слева, за высокими холмами, покрытыми лесом, из-за которых приходил к Девину Дунай, лежала Вена — столица «лоскутной монархии», откуда управлялись и угнетались все эти мирные, добрые и трудолюбивые земли.

Глядя в сторону Вены, упрямо облокотившись о поручни, Филимон с вызовом произнес словацкую поговорку: «Мы были здесь до Австрии, будем и после Австрии!»

6. Вена, сентябрь 1912 года

Летний зной необыкновенно долго держался в тот год на берегах Дуная. Венцы, большие любители уличной жизни на променадах и в открытых кафе под пестрыми маркизами, с утра и до поздней ночи наполняли парки, скверы, набережные... Фиакры и моторы неторопливо двигались по улицам и Рингу, перед ними так же лениво перебегали дорогу мальчишки-посыльные и разносчики товаров, отчаянно звеня, толпу рассекали красные трамваи...

У железных ворот старого здания императорского и королевского Генерального штаба на Штубенринге остановился черный лакированный автомобиль той дорогой модели, которая только недавно стала носить имя Мерседес. Простые смертные не подозревали, что авто нарекли в честь дочери австро-венгерского консула в Ницце Еллинека, обогатившего фирму «Даймлер» сбытом ее продукции среди богачей на Лазурном берегу. Автомобиль был роскошный седан, обитый изнутри малиновым шелком, с начищенными медными фарами, лампами и радиатором. На дверцах экипажа красовалась пятизубчатая корона. Опытный глаз сразу же мог сделать заключение, что корона не дворянская, а бюргерская и сам факт украшения автомобиля таким атрибутом свидетельствует о тщеславии владельца, тайном желании при первой возможности сменить рисунок короны на дворянский. По поспешности, с каковой шофер соскочил со своего

сиденья и бросился отворять дверцу, можно было судить о требовательности хозяина и щедрости его жалованья обслуживающим людям.

Из авто вышел высокий крупный мужчина лет сорока пяти. На нем хорошо сидел элегантный серый костюм от дорогого портного. Темная мягкая шляпа, надетая несмотря на жару, свидетельствовала о строгости привычек этого барина. С гордой уверенностью в себе, подняв подбородок, над которым торчали по моде закрученные кверху густые пшеничного цвета усы, господин проследовал к воротам. Часовые, изнывавшие от безделья и жары, бодро сделали ему винтовками на караул. Господин небрежно козырнул и проследовал в глубину двора, туда, где за высокими зданиями военного ведомства скромно притулился старый серый дом. В этом небольшом строении, снаружи почти казарме, помещалось так называемое Эвиденцбюро — служба разведки и контрразведки Генерального штаба.

Походкой человека, хорошо знающего дорогу, господин взбежал на крыльцо, нажал кнопку электрического звонка, и ему открылась тотчас же массивная дверь с глазком посредине. За дверью стоял солдат, который вытянулся перед посетителем и, отдав приветствие, бросился открывать вторую дверь, которая вела из небольшой прихожей во внутренние коридоры.

— Здравия желаю, господин полковник! — почтительно вскочил из-за конторки, стоявшей за второй дверью, унтер-офицер и доложил: — Господин полковник Урбанский фон Остромиец приказали сообщить, что прибудут, — унтер посмотрел на карманные часы-луковицу, — через двенадцать минут, и просили подождать в его кабинете. Вас проводить?

— Я еще не забыл дорогу в свой бывший кабинет, — высокомерно бросил господин и неторопливо направился к дверям, из-за которых раздавался звук пишущей машинки. Пройдя мимо адъютанта, уважительно поднявшегося при его появлении и приветствовавшего его белозубой улыбкой, господин бросил перчатки в шляпу, оставил все это на столе и скрылся за двойными, похожими на громоздкий шкаф дверями кабинета начальника Эвиденцбюро. Тотчас же из коридора в адъютантскую заглянул молодой человек в форме лейтенанта и обратился к подпоручику, снова принявшемуся стучать на машинке.

— Карл, я слышал, что к нам приехал начальник штаба 8-го корпуса полковник Редль?

— Да, он сейчас как раз в кабинете Урбанского, — кивнул головой адъютант в сторону двойной, похожей на шкаф двери.

— Неужели этот тот самый великий Редль, который создал наше бюро из ничего, буквально на пустом месте?!

— Ты действительно наивен, как все новички, — улыбнулся подпоручик, поманил приятеля пальцем и, понизив голос, сообщил: — Наверное, ты бы еще не так восхищался, если бы прочитал те труды по разведке, которые оставил здесь в сейфе Урбанского Редль, когда его перевели по ходатайству генерала Гисля фон Гислингена в Прагу. Одни названия чего стоят: «Ин-

струкция о вербовке и проверке агентов», а в инструкции этой, между прочим, пятьдесят параграфов. «Как разоблачать шпионов внутри страны и за границей», «Мои экспертизы 1900—1905 года»... А, кстати, тебе показывали комнату для посетителей, которую оборудовали здесь по приказу Редля?.. Нет? — удивился подпоручик. — Тогда непременно надо посмотреть.

С иронической улыбкой подпоручик добавил:

— Ты можешь иногда приглашать туда гостей, в том числе и дам... но с разрешения Урбанского, разумеется.

Адъютант тут же вызвал унтер-офицера, присматривавшего за порядком у вторых дверей в бюро, и распорядился:

— Иосиф, ознакомить лейтенанта Фризе с нашей гостиной. Показать ему все ее чудеса и научить ими пользоваться! Приступайте!

В конце коридора, за поворотом, скрытым тяжелой портьерой, оказался вход в комнату, довольно просторную и ничем не отличающуюся по меблировке и оформлению от обычной приемной.

Унтер-офицер, выполнявший в Эвиденцбюро обязанности коменданта, с видимым удовольствием, как в любимом охотничьем домике, начал экскурсию по здешним достопримечательностям.

— Господин лейтенант, мы в волшебном замке, полном чудес. Разумеется, каждое чудо значится под грифом «совершенно секретно» и не запатентовано в Венском патентном бюро только по этой причине. Маг и волшебник, извиняюсь, господин полковник Редль самолично придумал и опробовал на практике каждое из них, будучи начальником Эвиденцбюро. Извиняюсь, мы очень сожалеем, что его перевели начальником штаба Восьмого корпуса в Прагу, хотя, как говорят господа офицеры, он там скорее получит чин генерала и дворянство из рук его величества императора.

Лейтенант с любопытством озирался. На первый взгляд ничего необычного: несколько картин на стенах, письменный стол, два кресла перед ним, стулья вдоль стены, ковер посредине зала. Тяжелые драпировки на широких окнах способны создавать интимный полумрак в солнечный полдень. Люстра в дюжину электрических ламп и несколько бра на стенах.

«Пожалуй, здесь слишком много электричества», — подумал он и стал с вниманием выслушивать пояснения.

Рассказ унтера сразу же объяснил причину иллюминации.

— Мы видим, извиняюсь, две картины. Они вовсе не украшения, а скрывают в себе объективы самых лучших фотоаппаратов. Расположение картин, подсветка электричеством позволяют незаметно для посетителя делать снимок в профиль и анфас. И этажерка для книг не что иное, как измерительная линейка: подвел к ней как бы ненароком гостя, неслышно щелкнул объектив — и на фото, до сантиметра, отсчитывай его рост...

Фризе с восторгом покачал головой и закатил глаза.

— В двух других картинах, — ткнул пальцем в сторону пейзажей Иосиф, — извиняюсь, микрофоны. Один задействован

прямо на стенографистку в соседней комнате. Через другой микрофончик можно сделать запись на фонограф Эдисона. Достаточно нажать кнопочку под крышкой стола...

Унтер попросил лейтенанта убедиться самому во всем. Тот обошел кресло и наклонился под крышку стола. Действительно, среди четырех других кнопок торчал прямой металлический клавиш.

— А остальные кнопочки?

— Сейчас увидим, — гордо, словно это было его изобретение, продолжал демонстрацию унтер. Он нажал на самую длинную из них — тотчас на столе зазвонил телефон. Лейтенант снял наушник, приложил к уху. Молчание. Он в недоумении повесил рожок на место и посмотрел на унтера. У того на лице было разлито удовольствие.

— Пока господин офицер, извиняюсь, разговаривают с посетителем, они могут заодно снять отпечатки пальцев. Для этого достаточно предложить гостю коробку с сигарами — если мужчина, или конфетами — если женщина. — Иосиф открыл тумбу стола и вынул две роскошные коробки.

— Разумеется, они обработаны «шелковым порошком», на нем следы особенно заметны.

— И все господа клюют на эту удочку? — усомнился лейтенант.

— Так что, не все, — согласился унтер. — Бывает, посетитель окажется слишком скромен, не хочет прерывать разговора курением. Тогда начинается игра в телефон. Следует нажать на кнопку звонка, снять трубку и разговаривать в аппарат почтительно, как бы с начальством. Внимание посетителя рассеивается, и тогда ему снова протягивают коробку. Если он курит только свои, — а такие чудаки, извиняюсь, еще попадаются, ха, ха, ха! — то ему дают зажигалку, также покрытую порошком.

— А вдруг посетитель некурящий?

— И на этот счет господин полковник все предусмотрели, — уважительно отозвался Иосиф. — Достаточно нажать на самую маленькую кнопочку, и это будет значить, что вас под благовидным предлогом надо вызвать из комнаты.

— Ну и что? — Лейтенант поднял бровь, силясь не расхохотаться: столько серьезности вкладывал служивый в свои объяснения.

— А то, — поучительно изрек унтер, — что на столе всегда лежит при посетителях портфель, а под ним — папка с надписью: «Секретно, оглашению не подлежит». Так что, извиняюсь, господин офицер схватывают портфель и делают вид, что забыли спрятать папочку со страшной надписью. А наши гости, они из той публики, что если где написано «секретно», то их туда так и тянет, как мух на мед. Не было еще ни одного хитреца, который, оставшись один в комнате, не заглянул бы в эту папку...

— А в папке, конечно, липа?..

— Когда липа, а когда и ди... дезинформация, — долго вы-

говаривал ученое слово унтер, а потом пояснил: — Ясное дело, если надо что-нибудь специальное, то господа офицеры нарочно сфабрикуют и подложат. А вообще обложка папки также вся в «шелковом порошке»: р-раз! — и отпечатались пальчики. Так что большое искусство здесь содержится, — и он снова обвел рукой вокруг себя.

Лейтенант Фризе тут же стал прикидывать, кого из своих венских знакомых он хотел бы пригласить в эту комнату...

Унтер-офицер, войдя во вкус объяснений, продолжал свой рассказ о тайнах «гостиной» Эвиденцбюро. Оказалось, что за потайной дверью скрывался выход, который через систему коридоров выводил посетителя, которого не следовало подвергать воле случая «засветиться» у главного входа, на тихую и отдаленную Биберштрассе... За другой дверью начинались служебные помещения — лаборатория, в которой любую книгу или папку с документами можно в течение нескольких секунд разброшюровать, спроектировать на экран, сфотографировать каждую сторону листа и снова переплести так, что в самое короткое время и как бы совершенно не тронутую ее можно было положить на место.

В другом зале — спецархиве — хранились альбомы и картотеки фотографий, почерков, образцов машинописи всех сомнительных лиц в Европе, которых Эвиденцбюро подозревало в агентурных отношениях с разведками, в особенности тех, кто вращался в таких центрах мирового шпионажа, как Брюссель, Цюрих, Лозанна...

— И все это создал один господин Редль? — изумленный обилием новинок, обрушившихся на него, спросил лейтенант в конце осмотра.

— В основном придумали они, но и после них, извиняюсь, за последние пять лет господин фон Урбанский дополнил коечем... — отвечал унтер.

...Когда полковник Редль оказался один в своем бывшем кабинете, он на мгновение замер, словно прислушиваясь. Затем медленно обошел кабинет, внимательно изучая стены. Видимо, не найдя никаких опасных признаков, он небрежной походкой, как бы случайно, приблизился к массивному столу шефа. Здесь на лице его отразилось разочарование, поскольку ни на столе, ни на этажерке подле него он не увидел никаких папок.

«Коллега, очевидно, весьма осторожен и не доверяет своему адъютанту, даже когда уходит в соседний дом к начальнику Генерального штаба», — подумал Редль.

Быстро достав из внутреннего кармана сюртука запасные перчатки и надев их, Редль приоткрыл верхний ящик стола и перелистал несколько бумажек. На одной из них он остановил свое внимание, а затем сунул на место. Столь же быстро проверил содержимое корзины для бумаг и на всякий случай собрал и положил в карман разорванные клочки какого-то черновика. Затем снял перчатки, аккуратно спрятал их в карман и уселся в глубокое кожаное кресло.

Минуты через три в кабинет пожаловал хозяин. Он широко улыбался, заранее предвкушая встречу с одним из светил австрийской разведки.

Редль поднялся с кресла и с такой же радостной улыбкой пошел навстречу коллеге. Они пожали друг другу руки, и после первых приветственных слов Редль сразу же приступил к делу.

— Август, ты знаешь, что когда меня направляли в Прагу, то одним из главных поручений было создание агентурной сети среди чешских национальных деятелей. Они все заражены панславизмом, и мне приходится в Богемии нелегко...

— Да, Альфред, я внимательно следил за твоими успехами на этом поприще и регулярно получал твои сообщения. Признаюсь, я сначала думал, что твои результаты будут слабенькими, поскольку ты ведь сам, кажется, славянин по крови...

— Как ты мог так подумать! — картинно вознегодовал Редль. — Традиции моей семьи, хотя и славянской, всегда были монархическими и прогабсбургскими. Как и мой отец, я уже тридцать лет верой и правдой служу нашему великому императору Францу-Иосифу и, надеюсь, кое в чем преуспел...

— Извини, коллега, но сейчас, как ты знаешь, в монархии растет недоверие к славянам. А ваша Прага стала просто рассадником крамолы. Иметь там такого человека, как ты, — большая удача для Эвиденцбюро и всего Генерального штаба...

— Спасибо за комплимент, коллега, но я трясся в автомобиле от Праги до Вены совсем не для того, чтобы выслушивать эти лестные слова... У нас в Праге распространился слух, что через несколько дней славяне начнут войну против Турции. Какие у вас есть данные на сей счет и какова будет позиция его величества, двора и правительства в отношении этого конфликта?

Урбанский ненадолго задумался...

— Видишь ли, в Вене кое-кто тоже полагает, — начал он, потирая висок, — что после македонского конгресса в Софии, где кричали о предъявлении Турции ультиматума ради автономии Македонии и Фракии, на Балканах вспыхнет война. Но я лично совсем не уверен, что балканские славяне наконец-то решились до конца освободиться от Оттоманской империи. Наши агенты пока не видят таких признаков...

— Хорошо. Но если на Балканах все-таки вспыхнет война? — настойчиво переспросил Редль. — Мне важно знать и с точки зрения боеготовности моего корпуса, втянемся ли мы в эту драку, или останемся в стороне от военных действий, ограничиваясь, так сказать, дипломатическими интригами?

— Дорогой Альфред, под большим секретом могу сообщить, что император Франц-Иосиф не хочет воевать сейчас. Мы будем делать вид, что верим в искренность России и Антанты, которые, как мы знаем, вынуждены также играть в миролюбие и нейтралитет. Во всяком случае, на данном этапе политической интриги Австрия не будет даже объявлять мобилизации — так решили только что, на большом военном совещании совместно

с дипломатами, из-за которого я и опоздал на свидание с тобой...

Редль изобразил неожиданно полнейшее безразличие на лице и перевел разговор на обстановку в чешских землях.

— Прага кипит, — коротко сформулировал он свои наблюдения, — и ключевыми фигурами являются наши старые знакомые — Крамарж, Клофач, Коничек *... К сожалению, мы не можем бороться с ними никакими средствами, кроме политических, а эти господа пользуются ярыми симпатиями населения, устраивают собрания в поддержку братьев-славян, собирают деньги, разлагают солдат моего корпуса... Не секрет, что в Чехии действует националистическая организация «Богемское государственное право». Так вот, к ее борьбе против венского централизма примкнули за последние месяцы тысячи новых адептов. Процесс национальных социалистов в Праге, ведущих антимилитаристскую работу, показал недавно, в какой степени сильна в этой могущественной чешской партии оппозиция против австрийской армии. Главари чешских панславистов официально и открыто сносятся с русским, сербским и болгарским правительствами. Летом на слет «Соколов», представляющий собой не что иное, как открытый смотр будущей чешской армии, приезжали в качестве самых желанных гостей представители генеральных штабов славянских государств.

— Часть из того, что ты говоришь, мы уже знаем, но многое я слышу впервые, — признался Урбанский.

— Что ты! Накал страстей растет! Не проходит дня, чтобы провинциальные чешские газеты не подвергались штрафам за оскорбление австрийских величеств: они то и дело публикуют сообщения о якобы хищническом хозяйничестве и жестоком обращении с чехами в Конопиште, имении эрцгерцога Франца-Фердинанда под Прагой, об издевательствах над несчастными чехами в других поместьях императорской семьи в Богемии и Моравии. «Долой Вену!» — это лозунг дня, под которым скрываются и антидинастические настроения, и государственная измена.

— У нас здесь не лучше, — пожаловался коллеге Урбанский. — Мы узнали, что в Сербии создана новая тайная организация под названием «Черная рука», или «Единение или смерть». Она ставит своей целью освобождение всех славян и раздел Австро-Венгрии. Мы, естественно, доложили это императору, но ты ведь знаешь нашу карусель. Тут же началась обычная неразбериха. Разумеется, граф Эренталь, как министр иностранных дел, настаивает на ограничении разведки против Сербии и на чрезвычайной осмотрительности. Последнее слово, как всегда, за ним, и Генштаб нашего высокоавторитетного у импе-

---

* Чешские национальные деятели славянофильского направления, выступавшие за различные степени федерации с Россией будущего государства чехов.

ратора органа сдается не сразу: господин генерал смутно чувствует угрозу какого-то бедствия и вновь ставит вопрос о восстановлении «усиленной разведки» против Сербии, а заодно об активизации наших разведчиков и агентов в России. Больше месяца Эренталь молчит, а затем отвечает, что не может дать такого поручения чинам посольства в Петербурге, поскольку именно в настоящий момент разведывательная деятельность в России будет навлекать на себя сильные подозрения и весьма рискованна. Вот и поди совладай с графом. — Фон Урбанский беспомощно развел руками и закончил с раздражением: — Наши германские коллеги вовсю ведут разведку и против России, и против Франции, и против кого угодно, а мы сидим со связанными руками по милости наших дипломатов... Даже у себя в империи мы не можем навести порядок и арестовать славянских агитаторов, которые разваливают монархию. Попробуй их тронь, сразу же поднимается жуткий крик со всех сторон, суды вынесут оправдательные приговоры, и опять кто во всем будет виноват? Генеральный штаб, дорогой коллега! Ну как тут не прийти в дурное расположение духа...

— Не расстраивайся, Август! Вот начнется война, и тогда ты отыграешься на всех изменниках, — поспешил успокоить полковник Урбанского. — Теперь предлагаю отобедать в «Ридгофе», а потом отправиться в оперетту — я уже заказал ложу на «Графа Люксембурга». Ты еще не был на этой новой прелестной штучке? От нее без ума не только вся ваша Вена, но и вся наша провинция!..

— Ты прав, разбитные мотивчики из «Графа» играют сейчас на всех венских углах, — мрачно улыбнулся Урбанский. — Благодарю за приглашение, дружище, но сегодняшний вечер у меня занят...

— Тогда честь имею кланяться! — поднялся полковник и щелкнул каблуками. Хозяин кабинета тоже поднялся, чтобы проводить гостя до дверей.

Так же уверенно, как и входил в Эвиденцбюро, Редль покинул свою бывшую контору; кивком головы отвечая на подобострастные приветствия офицеров, пересек двор и вышел к своему автомобилю.

Шофер обежал экипаж, чтобы открыть дверцу хозяину, а затем закрутил ручку магнето. Двигатель сначала чихнул, потом плавно и ровно заработал.

— К почтамту! — скомандовал седок в переговорную трубу.

Поездка к почтамту, расположенному в двух кварталах от военного министерства, не заняла много времени. Редль и здесь чувствовал себя уверенно. Он важно подошел к окошечку телеграфа и, не снимая перчаток, быстро набросал несколько строк на бланке телеграммы: «ДОКТОР ПРОПИСАЛ БАБУШКЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ВОДАХ. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЕЕ ПОВЕЗУТ В МАРИЕНБАД. ДЕДУШКА ОСТАЕТСЯ В ВЕНЕ. ФРЕД».

7. Прага, сентябрь 1912 года

В Праге его шифровка была получена в тот же день. Господин средних лет, которому посыльный вручил бланк, сразу куда-то заторопился.

Однако, прежде чем выйти из квартиры, господин вернулся в кабинет, снял рожок телефона и назвал станции номер.

— Это говорит вице-президент Живностенского банка Пилат,— назвал себя господин. — Могу ли я еще сегодня встретиться с господином депутатом? Спасибо, я буду в девять вечера.

...После восьми часов Прага кажется вымершим городом. Только на площади Святого Вацлава сияют газовые фонари, сверкают электричеством некоторые витрины, да приветливо светятся подъезды фешенебельных отелей. На всех остальных улицах жизнь теплится только в пивных и кафе. Завсегдатаи этих заведений, пользуясь теплой и сухой погодой, забредают сюда в шлепанцах на босу ногу. Разморенные жарой и пивом, они никак не могут оторваться от компании, хотя им, как и всем порядочным людям, пора уже отправляться ко сну.

Вице-директор Пилат в наемном экипаже, чтобы не закладывать на ночь глядя свою собственную коляску, довольно быстро добрался до Томашовой улицы и нашел дом, где жил депутат австрийского рейхсрата и профессор Карлова университета в Праге, один из популярнейших лидеров чешских националистов. Философ и политический деятель, он хорошо понимал, что освобождение Чехии, Словакии и создание независимого чехословацкого государства невозможно без согласия и поддержки России, без поражения пангерманизма и развала Австро-Венгерской «лоскутной» монархии. Среди всех мировых сил именно Россия с ее традиционной политикой поддержки своих братьев — западных славян, участием в борьбе за освобождение от оттоманского ига балканских народов снискала себе уважение всего чешского и словацкого населения, которое стихийно выражало надежды на помощь русских в национально-освободительной борьбе против Габсбургов и Гогенцоллернов, против проклятой неметчины, усиленно насаждавшейся австрияками. Профессор тонко учитывал симпатии чехов к России и русским, когда готовил и совершенствовал свою политическую программу. Но сам он был весьма критически настроен по отношению к великому восточному соседу. Прежде всего его беспокоил размах революционной борьбы в империи Романовых; он с ужасом думал о том, что этот свободолюбивый дух может перенестись на его народ и сделать его бунтующим и непокорным. Профессор знал, что в России все шире и шире распространяется марксизм, что в этой стране есть весьма активные революционные силы, которые стремятся переделать общество, и эта перспектива страшила его, ибо он категорически не принимал марксизма, хотя иногда и выдавал себя за знатока идей Маркса.

Совсем недавно профессор смог весьма близко познакомиться

с российскими социал-демократами: несколько месяцев назад они проводили в Праге партийную конференцию. Знакомство его напугало, а идеи гостей немало возмутили. Оказывается, здесь были почти одни большевики во главе с Лениным. Они избрали большевистский Центральный Комитет и изгнали из партии меньшевиков, на которых профессор возлагал столь большие надежды в укреплении благопристойного и вполне парламентарного духа оппортунизма царской власти, весьма гармонировавшего с его собственными настроениями в отношении Габсбургов.

Умом философа лидер чешских буржуа хорошо понял, что во время Пражской конференции российских социал-демократов в Европе возродилась небывало революционная марксистская партия, способная свергнуть не только самодержавие, но и потрясти все основы мира. И хотя профессор — депутат рейхсрата — презирал азиатский феодальный дух государства Романовых, еще больше он опасался могучих возможностей России, когда она освободится от своих оков.

Профессора весьма угнетала двойственность его собственной позиции: с одной стороны, он обожал парламентаризм Англии и Франции, был тонким знатоком и ценителем западноевропейской культуры. С другой — не мог не учитывать симпатий своего народа, столь бурно проявлявшихся в адрес России и братьев-славян.

Ориентируясь лично на Англию и Францию, лидер чешских националистов ясно видел вместе с тем, что ни общественное мнение, ни правительства этих стран не ударят палец о палец ради освобождения чехов от господства Габсбургов.

Испытывая антипатию к «русскому медведю», он был готов — и доказал это на деле — использовать в интересах установления идеального, по его мнению, умеренно-консервативного строя, финансовую и всякую другую помощь со стороны Российской империи. Без этого, как он реально понимал, было невозможно свалить еще более ненавистное ему австрийское иго и на его развалинах создать республику, где будет царствовать просвещенный и разумный капитал.

Вот почему он поддерживал совершенно тайные и законспирированные связи с резидентом российского Генерального штаба в Австро-Венгрии, направлял и корректировал в меру своего разумения деятельность группы Стечишина и старался как можно шире пользоваться ее информацией.

«Градецкий», как его называли в целях конспирации единомышленники и соратники, принял очень любезно вице-директора, своего старого приятеля и партнера по игре в покер. Слуга проводил гостя в кабинет, где на маленьком столике у дивана уже был накрыт кофе на двоих.

— На ночь я пью только пльзенское, — заметил Пилат после того, как приятели обнялись и коснулись бородами, словно в поцелуе. «Градецкий» дернул за шнур звонка, и слуга, открыв дверь, вырос на пороге.

— Пивечко! — бросил хозяин. Моментально появились круж-

ки с пенистым «Праздроем». «Градецкий» встал, собственноручно закрыл на щеколду дверь кабинета и вернулся к столику.

— Я получил вот эту телеграмму, — протянул Пилат бланк сообщения из Вены.

— Посмотрим, посмотрим, — протянул профессор и полез доставать из-под дивана записную книжку, в которой у него условными знаками, известными одному лишь хозяину, был изложен ключ к шифру.

Директор Пилат не мог удержаться от улыбки, видя, как грузный пожилой мужчина проворно встал на колени, а затем принял вообще немыслимую позу, шаря далеко под диваном в поисках книжки, которую без труда мог обнаружить любой полицейский, приди он с гласным или негласным обыском к давно подозреваемому австрийскими властями в крамольной деятельности профессору. Однако банкир не стал делать замечание уважаемому политическому лидеру, хотя про себя немало подивился его наивности и неумению конспирировать.

«Пан Градецкий» извлек свой ключ к шифру, внимательно изучил текст телеграммы, затем, подойдя к письменному столу, принялся набрасывать расшифрованную криптограмму на листок бумаги. Закончив сей труд, он важно и раздумчиво произнес:

— «Пан Блондин» просит срочной встречи. Он вскоре намерен увидеться со связным и передать ему собранную информацию. Вы что-нибудь хотели получить от «Блондина»?

— Да. Я сам просил его, а затем подтвердил через «доктора Блоха», с которым он встречался по расписанию, узнать в Вене, насколько основательны слухи о войне славянских государств на Балканах против Турции и готов ли австро-венгерский Генеральный штаб к войне с Россией по этому поводу... — спокойно произнес Пилат.

Профессор заволновался:

— Господин директор, я вас уже просил однажды не подвергать себя такому риску встреч с этим ценным русским агентом. В конце концов, «доктор Блох» мог бы потом встретиться еще раз с ним экстраординарно...

«Ну и хитрый старик! — подумал директор Пилат. — Жаждет один получать всю важнейшую политическую информацию и пользоваться ею в своих интересах! А то, что подобные сведения — будет большая война или не будет — представляют высокую экономическую ценность, особенно для моего банка, он и знать не хочет!..»

Недовольство, впрочем, никак не отразилось ни в лице, ни в поведении господина Пилата, и он заявил, что готов лишний раз презреть опасность, лишь бы не дать контрразведке случай заподозрить уважаемого профессора и политического деятеля в предосудительных связях.

«Пан Градецкий» раздумывал мгновение, а затем решил все же согласиться на дополнительную встречу директора Пилата с полковником Редлем. Он действительно стремился быть монопо-

листом получаемых от Редля военно-политических секретов и хотел распоряжаться ими по своему усмотрению, но профессор догадывался, что его молодой последователь и ближайший сотрудник, скрытый в разведывательной организации под псевдонимом «доктор Блох», мог и по своему почину, из желания услужить влиятельному банкиру, каким был директор Пилат, поделиться с ним кое-какими сведениями или предположениями. Поэтому «Градецкий» решил извлечь пользу из сложившейся уже ситуации и не только уверить Пилата в своем расположении, но и нейтрализовать его возможные подозрения.

— Да, я давно просил «доктора Блоха» поделиться с вами сведениями, которые сообщил нам полковник... — Профессор дернулся, оговорившись, и сразу поправился: — «Блондин» и другие осведомленные господа... Надеюсь, это поможет и вашему банку устроить свои финансовые дела, связанные с возможным военным столкновением балканских держав. Ведь у вас в Сербии и Черногории большие интересы?!

— Что вы, профессор! Там у нас гроши! — заскромничал пан директор. — Вот в Румынии мы действительно будем открывать филиал, но если турки разобьют румын и снова оккупируют эту страну, то все наши проекты пойдут прахом... Поэтому лучше, если я сам встречусь с «Блондином» и узнаю из первых рук о всей этой балканской заварухе...

Профессор слушал, полузакрыв глаза, и размышлял, как казалось, о чем-то весьма далеком от предмета разговора. Это был его способ выражать неудовольствие. Когда Пилат кончил свою мысль, «пан Градецкий» широким жестом пригласил его к столику.

— Закончим на этом дела и отведаем пивечка! — радушно предложил хозяин. — Только вчера мне доставили свежую бочку из Пльзеня, от «Праздроя»... — И с видимым удовольствием окунул свои седые усы в серую фаянсовую кружку, полную белоснежной пены.

— Как дела в вашем банке? — вежливо спросил профессор, утолив первую жажду.

— О, прекрасно! Мы открыли несколько новых наших контор в городах России и, представьте себе, даже на Волге!

— Неужели в России можно делать дела? — скептически поинтересовался депутат рейхсрата. Он был убежден, что только во Франции и Англии предприимчивые люди могут быстро наживать состояния и вести выгодную торговлю. Восточная Европа представлялась ему глухой полуколонией, где на огромных просторах разбросаны редкие полудеревушки-полугорода с урядниками во главе.

— Что вы, профессор! Наши финансисты совершенно справедливо видят в России необъятный рынок и возможности выгодного вложения капиталов! В нашем банковском отчете за прошлый год я видел любопытные цифры. Семь восьмых продукции автомобильной промышленности Чехии находит сбыт на русском рынке. Связанная с нашим банком автомобильная фир-

ма Лаурин и Клемент имеет свои филиалы в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Ростове-на-Дону. Сельскохозяйственные машины, половина всего имперского производства которых падает на Чехию, вывозятся тоже главным образом в Россию. Фирма Бати в Злине считает в своем экспорте обуви на первом месте Россию! Воистину Российская империя — золотое дно для маленькой Чехии. Поэтому, профессор, мы ценим, что вы и ваши друзья оказываете посильную помощь Петербургу, хотя, как известно, ваши личные симпатии далеко не на их стороне!

— Ну, мои личные симпатии оставьте в покое, — проворчал профессор. — Я прежде всего политик, а в политике эмоции только вредят. Наш малый народ может занять равное место с великими державами лишь в том случае, если сохранит свою средневековую самобытность, искоренит революционный радикализм и сомкнется в своей духовной культуре с Западной Европой, — вот мое политическое кредо. Именно поэтому я хочу использовать мощь России и славянства вообще лишь до того порога, от которого начнется наша собственная государственность. Пока нам хорошо в рамках Австро-Венгерской федерации, и надо ее улучшать, насколько это возможно. Но все имеет свои естественные пределы, и поэтому я сейчас начинаю с оптимизмом смотреть на Россию. Использовать Россию, Францию и Антанту вообще для национального освобождения и установления доброго мира всех сословий и сотрудничества в будущей республике — что может быть благодарнее для чехов! Давайте поднимем за это кружку доброго чешского пивечка! — предложил профессор своему гостю и собрату по партии.

— Прозит! — ответил банкир по-немецки и выпил свою кружку до дна.

8. Берлин, ноябрь 1912 года

Берлин, как обычно, жил уже несколько часов трудовой жизнью, когда в три четверти десятого на Потсдамерштрассе раздался автомобильный клаксон. Он был звучный и властный, не похожий ни на какой другой звук в германской столице. Большой лакированный экипаж, произведение фирмы Даймлера, с миниатюрными императорскими коронами, венчавшими медные прожекторы, катил на высоких колесах с тонкими белыми шинами во главе колонны из пяти авто.

— О, это наш кайзер следует во дворец из своей резиденции! — говорили друг другу, как и каждое утро, лавочники, приказчики, владельцы «гастштедтов» и других подобных заведений, расположенных от Потсдама до Унтер-ден-Линден. Обыватели выходили из дверей, раскланивались с соседями, а затем почтительно принимали стойку «смирно», пока «мерседес» и следующая за ним кавалькада, оставляя в воздухе густой перегар газолина, не промчатся мимо с бешеной скоростью сорок километров в час.

— О, его величество большой спортсмен и обожает столь опасную езду! — делился сосед с соседом каждое утро, закатывая глаза и выражая тем самым крайний восторг, смешанный с разумными опасениями за жизнь великого монарха.

Все население на улицах Берлина впадало в столбняк верноподданности, когда по ним несся экипаж Вильгельма II. И только проезжие в Париж или на воды русские баре, которых всегда в Берлине было с избытком, непочтительно и дико галдели между собой, завидев автомобиль императора.

В этом закопченном городе, который, казалось, был не выстроен, а нарисован серым грифелем на черной доске, лишь извивы реки, лишь каналы и парки представлялись взору голубой или зеленой аномалией, вкрапленной в нереальный серый мир под серым небом. Здесь, в самом центре Берлина, на острове между Шпрее и ее протокой, в мрачном дворце прусских королей, вызрел и оперся на железные когти пангерманизм, требовавший установления мирового господства Германии, передела карты Европы и колоний европейских держав в пользу империи Гогенцоллернов, в пользу германских промышленников и банкиров.

Своим главным противником и злейшим конкурентом пангерманисты не без оснований считали Великобританию. Другой стратегической идеей, осенявшей все шовинистические построения и лозунги, был «Дранг нах Остен» *. Уже тогда демагогические призывы «оградить Европейский континент от русских стремлений к мировому господству», «обеспечить культуртрегерскую миссию немцев и австрийцев среди «варварских славянских народов» сплачивали самые черные империалистические силы Центральной Европы.

...Без трех минут десять кайзер быстрым шагом прошел от авто в парадный подъезд замка, сбросил шинель на руки адъютанта и через две ступени взбежал по мраморной лестнице к своему кабинету. Следом за долговязой фигурой императора, позвякивая орденами, спешила небольшая свита.

Двери кабинета растворились бесшумно. Одновременно в глубине залы часы мелодично начали вызванивать десять.

Генерал-адъютант неподвижно замер у двери. С последним ударом часов Вильгельм, позвякивая шпорами, подошел к огромному дубовому письменному столу, посреди которого лежала закрытая сафьяновая папка с бумагами, и решительно опустился в кресло, словно пробуя его крепость.

Всем своим обликом, манерой говорить Вильгельм производил впечатление монарха самостоятельного и твердого. Царедворцы многих других властителей, знакомые с Гогенцоллерном, почтительно шептали своим друзьям: «Он может править и знает, чего хочет!» — по всей вероятности, не находя подобных качеств в своих собственных повелителях.

Вильгельм резко раскрыл папку, заранее приготовленным зо-

* «Дранг нах Остен» — «Марш на Восток» *(нем.)*.

лотым пером быстро начертал подпись на нескольких листках, которые он почти мгновенно пробежал глазами.

Огромная карта Балканского полуострова занимала половину боковой стены зала, прикрывая собой даже дверцы книжных шкафов. На другой стене предусмотрительно была приготовлена карта восточных границ империи, от Балтики на севере до Анатолийского полуострова на юге.

— Графа Эйленбурга и майора Николаи! — отрывисто скомандовал император, подняв голову от последнего листа.

Рабочий день кайзера начинался по традиции с доклада начальника отдела разведки Большого Генерального штаба, возглавляемого майором Вальтером Николаи. В его подчинении находились военные атташе, легальные агенты и шпионские группы в европейских и восточных странах, разведывательные отделы армейских и пограничных корпусов — словом, все дело шпионажа против любых соперников Германской империи. Предприятие было весьма разветвленным и пользовалось особой монаршей милостью.

Вильгельм обожал разведку. В отличие от многих других тогдашних европейских монархов и в первую очередь от Николая II, который приближал к себе собутыльников по гвардейским пирушкам, то бишь людей, как правило, никчемных, но родовитых, благоволил прежде всего к разведчикам, ничуть не заботясь об их родовитости. Он почитал за необходимость ежедневно и ежечасно при решении государственных проблем прибегать к результатам разведывательной работы.

Более того, Вильгельм не избегал и сам принимать активное участие на ниве профессионального шпионажа. Кайзер нередко инструктировал, давал задания и отправлял за границу агентов, а случись, что агент проваливался, не жалел сил и средств на выручку. В то же время «милый Вилли» очень любил указывать своим братьям-монархам на их зарвавшихся агентов, собственноручно сочиняя ехидные письма «родственникам» с укорами в неблагородных манерах.

Его особенной страстью была дезинформация других правительств в Европе, ради чего Вильгельм приказывал печатать в газетах и журналах особые статьи, написанные по его идеям. Не брезговал он и торговлей фальшивыми «секретными» документами своего штаба.

Традиции Бисмарка и его «короля шпионов» — Штибера упали на хорошую почву в душе германского кайзера. Он не стеснял себя никакими нормами морали, когда речь шла о тайной разведке.

Руководитель всех разведслужб Германской империи граф Филипп Эйленбург и майор Николаи бесшумно скользнули в кабинет и направились к своим обычным местам у длинного библиотечного стола, украшенного двумя старинными китайскими вазами. Вильгельм занял председательское место и кивнул офицерам. Оба сели.

— Что думает биржа об этой Балканской войне? — осведомился Вильгельм перед началом доклада.

— Акции заводов Круппа быстро растут. Так же быстро растут акции «Сименс-Шуккерт» и «Сименс и Гальске». В пакете «Фарбверке» повышается стоимость акций пороховых и динамитных заводов, — без запинки отвечал граф. — Особенно бурно растет стоимость бумаг гамбургской верфи «Блюм и Фосс»...

— Кстати, передали им заказ на новый броненосец?

— Точно так, ваше величество!

— Не останавливать этого процесса! Германская промышленность должна готовиться к войне! Процветание ее возможно поощрять в первую очередь ради снабжения армии и флота! — изрек Вильгельм и добавил: — Приступайте к докладу, майор!

Николаи быстро зачитал две странички о ходе военных действий на Балканах, о попытках французского Генерального штаба спровоцировать вступление в Балканскую войну России, о частичных военных приготовлениях Австро-Венгрии, которая готова поддержать Турцию против балканских союзников.

Последний абзац был посвящен закладке на Путиловской судоверфи двух новых миноносцев и подводной лодки.

— Это очень добротные сведения, господин майор! — одобрил кайзер доклад и особенно его военно-морскую часть. — А каким путем мы получили эти данные?

— Ваше величество! И директора Путиловской верфи — Орбановский, Бауэр, Поль, и начальник отдела военного судостроения Шилленг, и начальник отдела эллингов Летчер, и господа инженеры, и почти все чертежники, то есть свыше ста работников, — германские подданные. Они всегда готовы сообщить нам любые данные. Однако наш отдел старается без крайней нужды не прибегать к их услугам, которые могут быть квалифицированы русскими как шпионаж... У нас есть более надежный и безопасный путь. Мы привели дело к тому, что русские и германские страховые общества вступили в самые тесные деловые связи. Германские общества и банки — по нашему совету, разумеется, — берут на себя риск перестрахования военных кораблей в процессе их строительства. Русская перестраховочная контора «Шварц, Бранд и К°», общество «Фейгин и Тотин» и другие компании по страховке судов обязаны сообщать нашим обществам, имеющим с ними договорные отношения, все данные о классе судна, тоннаже, назначении, месте постройки, вооружении и машинах, управлении и тому подобном. И так — до самого спуска на воду, когда страховка прекращается...

— Продумайте, как сохранить эту систему через нейтральные страны на время войны, — посоветовал император.

— Всенепременно, ваше величество! — в один голос отозвались Эйленбург и Николаи.

— А как идет сбор экономических данных, необходимых нашему Большому Генеральному штабу для подготовки наступления на Францию и Россию? — осведомился Вильгельм, поправляя стрелки усов.

— Месяц назад повторен циркуляр Генерального штаба № 2348 от 7 апреля 1898 года, по которому германским фирмам за границей предлагалось зачислить в штат своих служащих лиц, командируемых Большим Генеральным штабом. Правда, следующим циркуляром мы вынуждены были принять на себя большие расходы, указав, что командируемым лицам значительное содержание выплачивается за счет сумм нашего отдела. Таким образом...

— Не стойте за расходами, — прервал Николаи кайзер, — каждая марка, выплаченная в разведке, сторицей возмещается на поле боя...

— Именно так, ваше величество, — подтвердил граф Эйленбург.

Николаи продолжал свой ответ на вопрос императора, проявляя недюжинную память, Вильгельм покровительственно улыбался, слушая своего любимца.

— Наши офицеры работают приказчиками, конторщиками, коммерческими директорами и другими служащими германских фирм в России. Беспечность русских простирается так далеко, что мы посылаем туда офицеров, которые совсем не говорят по-русски, но заводят весьма бойкие связи в торгово-промышленных кругах. Свои донесения они направляют нам под видом коммерческой переписки...

— Назовите мне достойнейших из моих офицеров, героев, которые ежечасно рискуют жизнью в этой варварской стране... — патетически произнес кайзер, снова погладив загибающийся кверху ус.

— О, ваше величество, они будут польщены, если узнают, что сам великий император интересовался их деятельностью на благо вашего величества и фатерлянда... — отвесил поклон майор и вновь продемонстрировал свою память на имена секретных агентов: — Офицер императорской кавалерии Вейследер — глава «Русского общества аккумуляторов Тюдор». Директор акционерного общества варшавской фабрики ковров майор Корф. Офицеры Герварег — технический директор «Общества соединенных кабельных заводов», Дик — владелец русского книжного товарищества «Деятель», Бонмюллер и Тайринг заведуют торговыми агентствами товарищества «Культура», фон Шенк — лесопромышленник и землевладелец. Капитан Глевене — инспектор страхового общества «Россия». Лейтенант Тильманс — совладелец торгового дома «Е. И. Тильманс и К°». Майор Эмиль Шпан — родной брат коммерсанта Шпана, владельца «Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов». Капитан Клян — управляющий фабрикой «Беккер и К°» в русской крепости Белосток...

— Довольно, майор, довольно! Я вижу, как много германских офицеров верно служит мне, не надевая военного мундира! Дайте указания этим господам, а также всем нашим агентам, в том числе и консульским, в России... — При упоминании о России великий кайзер задумался, вздохнул, а затем продол-

жил ровным и бесстрастным голосом: — Да, в России, а также аналогичным негласным сотрудникам разведки во Франции, чтобы они подготовили обстоятельную информацию о состоянии продовольственных запасов в крупных городах, о новых установках на заводах и фабриках, особенно военного назначения, а также о состоянии железных дорог. Сведения передать в военно-статистический отдел... Вам же, граф Эйленбург, надлежит представить пять-шесть офицеров, особо отличившихся в негласной разведке, к награждению Железным крестом. Они уже начали свою войну против славянских орд в России и заслужили боевой орден более, чем это можно сделать на поле сражения...

— Слушаюсь, ваше величество! — приподнялся граф в своем кресле, но кайзер тут же усадил его легким движением руки и сказал с неким подобием улыбки:

— Полагаю, наград достойны не только господа офицеры...

— Ваше величество, — безошибочно уловил мысль монарха Николаи, — выполняя вашу волю, мы уже несколько лет принимаем меры для возможно большего привлечения симпатий и привязанностей заграничных германских граждан, в первую очередь наиболее достойнейших купцов и финансистов, на сторону политики вашего величества.

— По ходатайству нашего бюро имперское правительство и ваше величество, а также его высочество принц Генрих Прусский удостоили многих заграничных немцев почетных должностей, связанных с правом на получение отличий и льгот. Ваше величество и принц Генрих Прусский, как вы помните, направили самым избранным из них милостивые письма. Так, например, в России владелец торгового дома «Кунст и Альберс», господин Адольф Даттан получил звание почетного германского консула, портрет вашего величества с собственноручной высочайшей подписью и право считать принца Генриха Гогенцоллерна восприемником при крещении его сына Адольфа.

— Очень хорошо! Это достойная личность! — вспомнил Вильгельм одного из тех, кто оказал немалые услуги его разведке в России.

— Аналогичные высокие отличия получили от имени вашего величества братья Шпан, господин советник Вильгельм фон Ратенау, директора русского отделения «Всеобщей компании электричества», представители заводов Круппа и «Фарбверке» в Петербурге. То же самое мы практикуем и в отношении германских подданных во Франции...

Голос Вальтера Николаи, дотоле ясный и звонкий, наполнился глухими нотками печали. Обер-агент решил перейти от успехов к провалам, дабы прикрыть неудачи хотя бы тем, что о них осведомлен лично кайзер.

— Ваше величество! Позвольте перейти к важнейшей проблеме, существо которой неописуемо нас волнует и заставляет печально биться наши германские сердца.

— Что же вас заботит, майор? — все так же благодушно поинтересовался Вильгельм.

— Мы обнаружили измену! — выпалил Николаи, заметно испугавшись собственного признания.

— Как? Где? — вырвалось у кайзера. Его настроение резко переменилось, черты лица заострились, грозно задергались приподнятые кончики усов, а на щеках заиграли желваки.

— Кто предатель?! — вопросил император. — Что он выдал нашим врагам?! — Руки государя, лежавшие до того спокойно на полированной поверхности стола, сжались в кулаки. Вильгельм, казалось, собственноручно готов был задушить черную гидру измены в германских рядах.

— Мы ищем его или их... — опередил ответ Николаи граф Эйленбург и, дабы смягчить удар, поспешил уточнить: — К тому же измена обнаружена не у нас, а в Вене. Наши друзья в России сообщают, что у русских слишком широкая осведомленность о том, что делается в Австро-Венгрии. В сейфах русского Генштаба заперты копии многих документов, которые — притом только в единственном числе! — имеются в Вене. Увы, ваше величество, подобных копий нет даже в Берлине, — съязвил граф в адрес австрийских союзников, которых презирал за беспечность, неорганизованность и беспорядок в делах.

— Но ведь недавно император Франц-Иосиф не подал руки на придворном балу русскому военному агенту* в Вене, полковнику Марченко, и этот московит был вынужден с позором убраться из Австро-Венгрии! — гневно возразил Вильгельм. — Вы мне докладывали, что за его преемником полковником Занкевичем установлено такое плотное наблюдение, что он не может выскользнуть незамеченным из своего дома даже глубокой ночью. Ваши австрийские коллеги докладывали вам, а вы успокаивали меня, что после поимки группы славянских шпионов в артиллерийском депо австрийской армии Вена очищена и больше нет повода для беспокойства? А теперь — из-з-мена?! — негодовал кайзер, все более распаляясь и взвинчивая себя до приступа неудержимого бешенства.

Молчали посрамленные Эйленбург и Николаи. Но тут вспышку монаршего гнева укротила простая мысль о том, что измена, хотя и вызрела среди германцев, но германцев австрийских, которых и он, Вильгельм, и все истинные пруссаки считали недотепами, ленивыми и распущенными, неспособными в одиночку, без старшего прусского брата, противостоять славянским скопищам. Он даже наслаждался этой мыслью, ибо теперь мог уколоть новой изменой своих южных союзников, а главное, этого зануду и самолюбивого упрямца, начальника австро-венгерского Генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа. Нет, не зря он, Вильгельм, в своем кругу иногда даже называл спесивого австрийца «горным бараном» — за страсть к альпийским полкам и военным действиям в горах...

— А теперь измена? — тихо, с укоризной переспросил государь.

* Военными агентами в описываемые времена именовались военные атташе.

— К сожалению, ваше величество, наши люди не могут пока найти подходов к русским разведчикам, — отвечал Николаи, не подымая глаз. — Вы знаете, у нас есть связи при дворе, в окружении военного министра Сухомлинова и его жены, но в отделении секретной агентуры генерал-квартирмейстера Генерального штаба России мы пока бессильны что-либо сделать. Эти русские и малороссы, которые там собрались, ненавидят Германию и даже тщательно скрывают все свои агентурные связи от тех своих начальников по Генштабу, которые носят немецкие фамилии...

— Ненавидят Германию? Ненавидят?! Тем более вырвать измену с корнем! — вновь неожиданно разъярился император. — А для этого найти его или их в кратчайший срок! Принять все меры! Добавить чиновников в «черный кабинет», и чтобы ни одно письмо из России не проскользнуло без перлюстрации. Создать отделения «черного кабинета» на всех пограничных направлениях, вменить им в обязанность просматривать всю корреспонденцию, исходящую из почтовых отделений на границе Германии с Россией, Францией и Голландией. Продумайте сами другие меры и доложите мне незамедлительно... Поймать изменников во что бы то ни стало! Дайте соответствующий приказ всей нашей агентуре в Петербурге, в штабах военных округов, в Варшаве, Вильно, Киеве и Одессе — особенно в Варшаве и Киеве. Обратитесь к прогерманским кругам в России, ко всем, кто симпатизирует рейху в российской столице. Полагаю, кое-что можно получить через Варшаву, от генерального консула барона Брюка. Надеюсь, там по-прежнему благоприятная ситуация для германских интересов? Или тоже запахло изменой?

— Все руководство военным округом и губернией, ваше величество, немцы до мозга костей. Они искренне считают, что Россия, чьими подданными они являются, должна быть в неразрывной дружбе с Германией, коей принадлежит истинное руководство в мировых делах, — отчеканил майор.

— Все руководство — немцы... — в задумчивости произнес Вильгельм. Он отменно знал расстановку сил в русском Варшавском военном округе и Привислянской губернии *, но любил, когда ему лишний раз напоминали, что немецкое засилье, бывшее подавляющим в Петербурге, Москве и других крупнейших промышленных центрах, в Варшаве было не просто подавляющим — абсолютным.

— Командует войсками округа и является генерал-губернатором Привислянского края генерал-адъютант Скалон, интимный друг нашего генерального консула Брюка, — начал майор, угадав настроение кайзера. — Начальником Варшавского жандармского управления служит генерал Утгоф. Губернатор — родственник Скалона, барон Корф. Помощник генерал-губерна-

---

* Так назывались тогда польские области, входящие в состав Российской империи.

тора — господин Эссен. Помощник Скалона по военному округу — барон Рауш фон Траубенберг. Управляющий конторой Российского государственного банка в Варшаве — Тиздель. Обер-полицмейстер города — Майер. Президент магистрата — Миллер. Прокурор палаты — Гессе. Управляющий контрольной палатой — фон Минцлов. Вице-губернатор — Грессер. Прокурор суда — господин Лейвин. Начальник Привислянской железной дороги — Гескет. Единственный русский, занимающий важный пост в этом военном округе, — начальник Варшавского разведпункта полковник Батюшин, но его дом на Саксонской площади в Варшаве находится под периодическим контролем наших агентов...

— О, это очень хорошо! — порадовался кайзер. — Надо подготовить план, как вывести господина Батюшина из строя. Разумеется, на случай войны...

Настроение Вильгельма, несмотря на неприятное сообщение об измене в Австро-Венгрии, несколько улучшилось. Кайзер встал. Повинуясь невидимым флюидам, за мгновение до этого граф Эйленбург и майор Николаи были уже на ногах. Николаи счел доклад оконченным и, стараясь не очень громко маршировать по дворцовому паркету, зашагал к двери, а Эйленбург, повинуясь знаку императора, остался в кабинете.

Когда створки двери сошлись за майором, император принялся нервно ходить по комнате, выдавая свое крайнее возбуждение.

Наконец он заговорил. По его мнению, нужно ускорить подготовку к войне. Будет уже поздно начинать ее в шестнадцатом, тем паче — в семнадцатом году. Необходимо опередить Британию. Это главный — самый опасный — конкурент. К тому же Россия успеет перевооружиться согласно своему плану и войдет в более тесные сношения с Францией. Готов ли Мольтке-младший представить окончательные планы ведения кампании против России и Франции? Следует обсудить их в неофициальной обстановке, пока что с глазу на глаз, чтобы поставить свою подпись под таким документом, которым поколения германцев будут гордиться... Кстати, возникла мысль, как нащупать изменников делу Германии, а главное, как подтолкнуть этих хвастливых галлов и слишком доверчивых русских к событиям, которые помогут рейху развязать победоносную войну...

— Вот что, — продолжал император после некоторого раздумья, — в Берлине нас будут бесконечно отвлекать от главной задачи разными мелочами... Завтра я выезжаю на охоту в Роминтен. Управляющий сообщает, что в Восточной Пруссии уже выпал снег, мы сможем всласть пострелять... Мы приедем с принцем Генрихом. От моего имени пригласите графа Мольтке-младшего и графа Бюлова... впрочем, последнего, пожалуй, не надо, а то он вечно призывает нас пойти на уступку Англии. Разумеется, я хотел бы видеть вас, господин советник императора, и вашего двоюродного брата, министра двора. Не забудьте майора Николаи — у него блестящая память, и ему не при-

дется везти с собой много бумаг... Кстати, Николаи докладывал позавчера, что в Берлине находится этот русский масон Кедрин. Он проездом из Парижа и Лондона в Петербург. Держите его поближе к Роминтену, хотя бы в Кенигсберге, — масон может понадобиться...

9. Прага, октябрь 1912 года

Высоко, над Прагой, в Градчанах, на Лоретанском намести *, по соседству со знаменитым монастырем Лореты возвышается дворец, заложенный Гумпрехтом Чернином из Худениц, бывшим императорским послом в Венеции. Построенный итальянскими мастерами, он был основательно разрушен в середине XVIII века прусским артобстрелом, затем изрядно пострадал во время наполеоновских войн и восстановлен лишь в середине XIX века для нужд австрийской армии. Ныне здесь располагались части и штаб 8-го корпуса императорской и королевской армии.

В одном из крыльев дворца высшим чинам были отведены казенные квартиры. К ним вела мраморная лестница с фреской на потолке «Гибель титанов» кисти Райнера, 1718 года.

Полковник Редль, как холостяк, занимал всего-навсего двухкомнатные апартаменты, весьма скромные и непрезентабельные для начальника штаба корпуса и первого кандидата на чин генерала. Туповатый денщик Иосиф Сладек, рядовой 11-го пехотного полка, следил за порядком в квартире и старался никого не пускать в ее пределы. К тому имелись веские основания. В темной комнате, предназначенной быть кладовой или обиталищем прислуги, полковник оборудовал по последнему слову техники фотолабораторию, в которой частенько запирался. Денщика совершенно не интересовало, почему плоды фотографических занятий полковника не составляют обычные для «хорошего дома» альбомы, не развешиваются по стенам в красивых рамочках или не ставятся в доступных для обозрения уголках квартиры.

Иосиф Сладек не совал нос в дела своего хозяина, к которому относился как старый и верный служака. Он с удовольствием уходил на ночь из тесной квартиры в казарму к друзьям-солдатам, когда полковник отпускал его и разрешал не возвращаться раньше утра.

При этом в кармане Сладека появлялось несколько блестящих геллеров или целая крона, уготовляемые, как обычно, сообществом друзей исключительно на пиво.

— Опять засядет в духоте в своем чулане, — незлобно ворчал денщик, спускаясь по лестнице. Но, когда Иосиф вышел на казарменный двор и заметил здесь своих верных собутыльников, как бы случайно оказавшихся в укромном уголке плаца с трубками в зубах, он сразу же забыл за более приятными хлопотами о любительских трудах своего полковника.

---

* Намести — площадь *(чеш.)*.

Редль между тем и не думал сразу же отправляться в фотолабораторию. Ему сначала нужно было подготовить свои донесения в Петербург, чтобы затем, написанные мельчайшим почерком, переснять их с уменьшением на фотопластинки. Как опытный разведчик, Редль хорошо владел фотографией. При печатании подобных репродукций с помощью специальных объективов техника позволяла уже в начале нашего века добиваться таких мельчайших размеров позитива, что пространные тексты сообщений разведчиков легко умещались под почтовой маркой обычного, не вызывающего подозрений коммерческого или личного письма, могли заделываться в пуговицу или иной тайник.

...Сумерки застали Редля сидящим за письменным столом. Аккуратнейшим каллиграфическим почерком, стараясь писать как можно мельче, он выводил строки очередного донесения:

«А-17» докладывает:

1. Из разговора с начальником Эвиденцбюро полковником Урбанским выяснилось, что австрийский Генеральный штаб ничего не знает о предстоящем начале военных действий между Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией, с одной стороны, и Оттоманской империей — с другой. Австрийский Генеральный штаб не намечает передислокации армейских корпусов, нет никаких свидетельств, что мобилизационный план начат исполнением.

2. На полигоне в Штайнфельде в присутствии комиссии для испытаний военного министерства проводились стрельбы новой мортиры. Калибр орудия 30,5 см. Мортира предназначена для осадной стрельбы по бетонированным или укрытым броней капонирам крепостей. Орудие испытывалось на различных дистанциях — 2, 4, 6 километров. Наиболее точная дистанция стрельбы — 4 километра. Для разрушения форта полного профиля из бетона потребовалось 300 снарядов. Заказ на мортиры передан артиллерийской фабрике Шкода в Пльзене. Первая партия для вооружения двух дивизионов поступит через год...»

Выводя мелкие ряды строчек, Редль то и дело сверялся со своими записями на небольшом клочке бумаги.

«...Данные получены от офицера, присутствовавшего на испытании. После стрельбы состоялся доклад председателя комиссии, сообщившего, что итоги испытания совершенно секретные и присутствующие не имеют права делать заметки в служебных блокнотах.

3. 4-й уланский полк передислоцирован в Восточную Галицию. Его эскадроны квартируют в Красноставе. Командир полка — граф фон Гемпель, начальник штаба — полковник Адлер. Данные получены от директора службы движения железной дороги Львов — Краков...»

Полковник собрался было промокнуть написанное, но затем, видимо что-то вспомнив, подошел к платяному шкафу и извлек из кармана серого костюма, в котором он навещал в Вене Эвиденцбюро, конверт с клочками разорванного черновика.

Привычными, отработанными движениями он разложил на

листе кальки смятые обрывки бумажного листка, разгладил их пресс-папье, а затем принялся собирать текст как игру. Наметанному глазу не потребовалось долго разгадывать ребус. Выяснилось, что Редль — воистину редкостная удача! — оказался обладателем черновика донесения, написанного рукой самого начальника Эвиденцбюро:

«Начальнику Императорского и Королевского Генерального штаба, его превосходительству фельдмаршалу-лейтенанту Конраду фон Гетцендорфу.

Докладываю:

Наш военный агент в Петербурге подполковник Мюллер сопровождал Его высочество наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда, наносившего визит Его величеству Николаю Второму, из столицы Российской империи до ее границы в Варшаве.

В этом главном городе Привислянского края он располагал потенциальным агентом, подготовленным на вербовку еще в Петербурге, — полковником Российского императорского Генерального штаба Кириллом Петровичем Лайковым. Упомянутый Лайков был переведен в Варшавский военный округ по причине обилия карточных долгов, сделанных им в офицерских собраниях Петербурга.

Подполковник Мюллер, имея в виду особую ценность подобного агента, испрашивает позволения исключить данный случай из общего указания Его высочества о приостановлении активного шпионажа в России, дабы не раздражать Его величество императора Российского во время и после нанесения высочайшего визита.

Полковник Лайков, по его словам, имеет доступ к мобилизационному плану русской армии, каковой он и предлагает за 200 000 рублей доставить на двое суток подполковнику Мюллеру. Перефотографирование возможно в помещении нашего Консульства в Варшаве. Поскольку все дело необходимо проводить особенно срочно, полагаю необходимым немедленно направить в Варшаву с испрашиваемой суммой одного из офицеров Генерального штаба.

Почтительнейше прошу Ваших указаний о выдаче испрашиваемой суммы и командировании капитана Краузе в Варшаву.

Военный атташе Мюллер остается в Варшаве на несколько дней под предлогом охоты в Беловежской пуще по приглашению консула Германии в Варшаве барона Брюка.

Начальник Эвиденцбюро Императорского и
Королевского Генерального штаба
полковник Урбанский фон Остромиец».

Редль с удовольствием потирал руки, читая и перечитывая документ. Затем он положил его между двумя стеклянными пластинами — для последующего фоторепродуцирования. Отложив на время пластины в сторону, он продолжал донесение:

«...4. При посещении Эвиденцбюро удалось добыть черновик

документа, из коего явствует, что Генерального штаба полковник Кирилл Петрович Лайков имеет быть агентом австро-венгерской разведки и располагает мобилизационным планом русской армии для продажи Вене. Фотокопию черновика Урбанского прилагаю.

5. На Ваш запрос сообщаю, что пропаганда славянофильских идей Славянским обществом в Петербурге на территории Австро-Венгерской монархии имеет большой успех. На сторону славянской идеи склоняется все большее число влиятельных лиц. Так, обширную военную и политическую информацию продолжает давать «доктору Блоху» член провинциального правительства в Зальцбурге доктор Эдуард Рамбусек. На этой же основе укрепляются контакты резидента Стечишина с господами «Градецким» и «доктором Блохом».

По сведениям, полученным из сокольских кругов, председатель национально-социалистической партии и депутат рейхсрата г-н Венцель Клофач готовит для вручения консулу России в Праге докладную записку с предложением создать в тылу Австро-Венгрии в случае ее войны с Россией широкую разведывательную и диверсионную сеть, используя симпатии славян к русскому народу и русской армии. Депутат д-р Крамарж разрабатывает проект «Устава Славянской империи». Д-р Крамарж исходит из поражения Австро-Венгрии в предстоящей войне с Россией и предусматривает создание под эгидой русского императора обширной системы славянских королевств — Польши, Чехии, Болгарии, Черногории. При этом в состав Чешского королевства должны войти не только Словакия и лужицкие земли, но и весьма значительная часть австрийских земель на Дунае вплоть до Вены. Составные части Славянской империи должны быть соединены с Россией федеральными отношениями, таможенным союзом, но сохранять полную автономию во внутренних делах.

Все это свидетельствует о том, что влиятельная часть чешских деятелей начинает отдавать себе отчет в том, что их традиционная ориентация на превращение собственно Австро-Венгрии в бастион против германской конкуренции и наступления пангерманизма нереальна. В основном подобная оценка высказывается младочехами, наиболее влиятельной партией среди городского населения Чехии. Аграрии и клерикалы по-прежнему ориентируются на Германию и укрепление Австро-Венгерской монархии.

6. В Австро-Венгерском Генеральном штабе рассматривается вопрос о назначении подполковника Евгения Штрауба военным агентом в Стокгольм, Копенгаген и Осло. Его задача не только наблюдать за Россией и заводить в ней агентурные связи с позиций третьих стран, но и организовать слежку за русскими разведцентрами в Стокгольме и Копенгагене. Эти центры оцениваются в Германском Большом и Австро-Венгерском генштабах как высокодейственные, а руководитель их — военный атташе России в Скандинавии полковник Ассанович — как исключительно активный и квалифицированный разведчик.

Подполковник Штрауб, избранный для противодействия Ассановичу, энергичный и знающий офицер. Не пьет и не завязывает беспорядочных связей с женщинами. Предан идее превосходства германской нации. Недостаток — не владеет русским языком. Самоуверен, не терпит возражений от агентуры.

7. Начальник разведывательного отдела (IIIB) Германского Большого Генерального штаба майор Вальтер Николаи совершил недавно негласную поездку по России, использовав фальшивые документы и свое хорошее знание русского языка. Его паспорт был выписан на имя Бернгарда Шульца, представителя германской фирмы «Кунст и Альберс» во Владивостоке.

8. Известную вам сумму в австрийских кронах прошу не передавать с «Мельником», а послать через Германию непосредственно в Вену, по адресу: Центральный почтамт, до востребования, девиз «Оперный бал», г-ну Никону Ницетас.

А-17».

Полковник вынул из книжного шкафа толстый том «Искусства войны» Клаузевица, достал из письменного стола записную книжку с ключом от шифра и пунктуально стал зашифровывать донесение.

Эта работа заняла довольно много времени. Затем он поднялся от стола и перешел в чулан, где в строгом порядке располагались мощные электрические лампы, репродукционный фотоаппарат самой последней конструкции, выстроились ванночки для проявления, промывки, закрепления пластинок и бумаг.

Началась ювелирной точности работа, которую Редль почитал священнодействием. Для начала он перефотографировал шифровку и черновик Урбанского и, пока стеклянные пластинки сохли после закрепителя, предусмотрительно сжег все оригиналы.

Теперь вступал в действие фотоаппарат, оснащенный особым, уменьшающим объективом, так что шифровка оказалась запечатленной на пленке размером с небольшую почтовую марку. На этом ответственном этапе изготовления миниатюрных позитивов Редль то и дело контролировал себя при помощи простенького микроскопа, тубус которого сиял латунью. Дальнейшие манипуляции привели к тому, что изображения на пленках были еще раз уменьшены, и теперь донесение не превышало площади торца обыкновенной спички, куда и было искусно приклеено...

Иосиф Сладек вернулся домой рано утром, чтобы привести в порядок мундир хозяина, приехавшего накануне из Вены, и накормить его завтраком. Когда он входил в парадный подъезд, ведущий в квартиры старших офицеров корпуса, привратник отдал ему пачку конвертов местной городской почты.

Редль сразу увидел под конвертами краешек открытки и нетерпеливо отбросил в сторону счета от портного, каретника, оружейника. Он быстро пробежал глазами текст сообщения и скомандовал:

— Поди закажи по телеграфу в Карлсбаде мой обычный номер в гранд-отеле «Пупп». Я выеду туда на автомобиле завтра

утром. Предупреди шофера, чтобы он запасся шинами и газолином.

10. Роминтен, ноябрь 1912 года

Неподалеку от того места, на границе между Российской и Германской империями, где ее пересекает железнодорожная магистраль Берлин — Петербург, в Восточной Пруссии находилось одно из любимых имений Вильгельма Гогенцоллерна. От пограничной станции Эйдкунен, лежащей против российского Вержболова, прямо на юг отходила железнодорожная ветка особого назначения и через несколько десятков километров оканчивалась на станции Роминтен. Здесь, среди лесных пущ и прозрачных озер, на небольшой возвышенности подле деревушки красовался замок его величества — двухэтажный деревянный дворец под высокой крышей, нависавшей над террасами. Прямо напротив главного располагался второй деревянный дом, только чуть поменьше и более простой конструкции. Оба корпуса на уровне второго этажа соединялись крытой галереей. Большую часть обоих зданий занимали покои императорской семьи. В меньшем доме на первом этаже были комнаты для немногочисленной свиты и для гостей, приглашаемых императором на охоту.

Обильные снегопады необычно рано в тот год засыпали станцию, деревушку и замок сугробами снега, замели дороги, преобразив ландшафт в подобие рождественской открытки.

Здешние леса и до метели являли собой образец порядка — ни сучка, ни сухого дерева, ни прогнившего пня по всей округе. А после снегопада здесь все вообще казалось взору геометрически правильным. Поблизости от просек, на особых полянках, где стрельбе не могут помешать ни кустарник, ни чаща, возвышались кормушки с навесами из камышовых снопиков. У кормушек толпились олени, буйволы, вепри, прилетали подкрепиться фазаны, оставляя следы рядом с пунктиром заячьих лап.

Когда кайзер приезжал в Роминтен, он ежедневно изволил охотиться, иногда в обществе друзей, иногда в сопровождении одного лишь егеря.

Великий император германцев не любил бродить с ружьем по лесу. Причиной было и его обостренное понимание собственного величия, и то, что он от рождения страдал сухорукостью: посему даже мундштучные поводья приходилось изготавливать для него особой конструкции. Левую руку во время аудиенций он закладывал за спину отнюдь не ради картинности — она была намного короче правой. Еще в детстве геройским усилием воли и стараниями врачей Вилли заставил ее двигаться, и теперь она все-таки служила ему, хотя и в ограниченных пределах. Во всяком случае, на нее можно было класть цевье ружья.

Вильгельм стрелял зверей, стоя в полной безопасности на вышке. Прямо на него егеря гнали от кормушек смиренных,

точно домашний скот, животных, а его величество выбирал в оптический прицел самые крупные экземпляры, дабы всадить пулю. Из оленей он особенно ценил таких самцов, у коих лбы были украшены ветвистыми рогами.

Позади кайзера, облаченного в охотничий мундир цвета буйволовой кожи и шляпу с пером, на вышке стояла свита в точно такой же форме.

Вильгельм II вообще славился среди прочих монархов Европы как особенный любитель мундиров. Он выпрашивал у своих кузенов-государей позволения носить наиболее живописные полковые мундиры и однажды сумел-таки убедить своего «брата Ники», сиречь Николая Романова, что по традиции незапамятных времен имеет право носить и адмиральские и фельдмаршальские доспехи русской армии. Нашивал он и форму Выборгского пехотного полка, шефом коего состоял тоже по традиции, и лейб-гвардии Преображенского полка.

Естественно, что для охоты у Вильгельма был придуман особый мундир.

После императорской охоты егеря собирали добычу, а хозяин вместе с гостями становился перед горой поверженных животных, чтобы сфотографироваться.

Гости увозили из Роминтена оленьи и кабаньи окорока, шкуры вепря и лося, а главное — воспоминание о щедрости и доброте его величества: ведь вырастить одного крупного зверя обходилось императорской казне недешево — в несколько тысяч марок.

Гордый обладатель уникальной фотографии с изображением Вильгельма II и себя самого подле груды дичи стоимостью в несколько десятков тысяч золотых марок становился еще более преданным слугой Гогенцоллернов. Кайзер же после стрелковой утехи укреплял на стене гостиной в замке несколько художественно оформленных оленьих и козьих голов.

Как всегда, уезжая из Берлина, Вильгельм взял с собой в Роминтен императрицу и принцессу Цецилию. Единственная дочь монарха, существо капризное и некрасивое, пользовалась тем не менее симпатиями со стороны придворных, поскольку была вздорна отнюдь не в самой крайней степени.

С приездом Гогенцоллерны удалились для краткого отдыха в свои покои, а остальных слуги разместили согласно чинам. Убранство всех помещений, как сразу заметил Вальтер Николаи, прибывший сюда впервые, было очень простым, даже скромным, однако все блистало стерильной чистотой. Майор собрался было выйти на прогулку, но его предупредили, что скоро последует обед в высочайшем присутствии, на который он должен прибыть в парадном мундире.

До Роминтена, как, впрочем, и до всей Германии, еще не докатились новейшие идеи о необходимости самоограничения в питании, которыми уже увлекалась Европа и Америка. На им-

ператорский стол подавался обед по крайней мере из шести блюд, преимущественно дичь...

Когда за окнами рано, по-зимнему стало смеркаться, а в теплых и уютных покоях резиденции зажглось электричество, гостей звуками гонга пригласили к столу. По правую руку от императрицы посадили генерала Мольтке-младшего, как особу, наивысшую после императора по званию. Принц Генрих, двоюродный брат императора, уселся рядом с Вилли; возле принца заняли свои кресла оба графа Эйленбурги, своей схожестью как бы демонстрируя устойчивость голубой крови в соседних ветвях семейства.

Вальтера Николаи, хотя и всего-навсего майора, император пригласил к столу, учитывая ключевое значение его поста и особую к нему свою любовь.

Во время обеда компания завела традиционный и пустой светский разговор. Николаи начал было недоумевать, зачем его пригласили в столь высокое собрание мужей империи. Он удивлялся также тому, насколько поведение государя в Роминтене отличалось от того сурового и властного повелевания людьми, к которому он привык во время ежедневных докладов и других официальных встреч с Вильгельмом. Император вел себя не как помазанник божий и властелин могущественного государства, предназначением коего было управление всем миром, но в некоторые моменты просто как ферт из гвардейского полка. Казалось, всю чопорность он оставил в Берлине и Потсдаме. Словно почтенный отец бюргерского семейства, он громко хохотал, отпускал шуточки, от которых краснела принцесса Цецилия и в улыбках распускались губы царедворцев, накладывал себе на тарелку то огромные порции жаркого из оленины, то котлету из вепря с маринованными грушами, то почти половину фазана...

После обеда дамы удалились, а мужчины перешли в соседнюю залу. В такой же непринужденной манере все расселись подле небольшого столика; лакеи внесли кофе, пиво, сигары, маленькие рюмочки ликера и коньяка.

По заведенному в этом охотничьем замке обычаю принялись рассказывать анекдоты и смешные истории. Его величество и здесь хохотали громче и больше всех.

— О, мне передали из Петербурга прелестный анекдот, как царь Петр договаривался с чертом перед Полтавским сражением... — начал в свой черед министр двора. При слове «Петербург» император словно подавился костью. Он перестал смеяться, черты его лица, украшенного стрелками высоко задранных усов, сразу посуровели.

— Граф, вы возвращаете меня от небесного блаженства беседы с друзьями к земным заботам и печалям. Не говорите мне про Россию и русских. Я не могу до сих пор забыть позора, который пережил во время свидания с Ники в Балтийском порту...

Гости вслед за императором поперхнулись смехом и с выражением наивысшей серьезности уставились на Вильгельма.

— Да, вам, господа, я могу доверить эту историю, которую мы должны смыть русской кровью. Как вы знаете, я являюсь шефом Выборгского полка русской армии. По этой причине во время нашего свидания с Ники мой русский полк прибыл на смотр. Я осматривал его весьма основательно, и вы, граф, — Вильгельм скосил глаз на Мольтке, — были особенно довольны этим осмотром, поскольку мне удалось тогда получить в подарок прекрасный образец походной кухни...

— Которая теперь кормит всю германскую армию, — рискнул вставить комплимент в речь государя граф Мольтке.

— Так вот, когда я подошел к горнисту, чтобы скомандовать отбой смотру, то обратил внимание на какие-то серебряные украшения на древке полкового штандарта. Я спросил этого солдата про украшения — меня интересовало, за что Выборгский полк получил свои побрякушки, — и этот бестактный русский хам, вы представляете, господа, при всей свите, при всех русских офицерах рявкнул во весь голос: «За взятие Берлина в году одна тыща семьсот шестидесятом, ваше величество!..» Воистину славянство — это только навоз для германской культуры! — сделал свой традиционный вывод Вильгельм и неторопливо перешел к делам, ради которых он и удалился в деревенскую глушь. Следовало незамедлительно обсудить чрезвычайно актуальный вопрос — как лучше обеспечить операции доблестной германской армии в грядущей войне против бриттов, славян и галлов. Для подготовки осталось максимум два года. Главная задача — развернуть политическую аранжировку столкновения, вывести из игры других потенциальных союзников триединого «Сердечного согласия»...

— На основании ваших донесений, господа, — Вильгельм посмотрел на Филиппа Эйленбурга, затем на Николаи, — я сделал вывод, что наш главный противник Англия так же серьезно, как и мы, готовится к европейской схватке. Наша военно-морская программа, против коей не осмелились голосовать даже господа социалисты в рейхстаге, близится к зениту, сухопутные армии начинают разворачиваться согласно плану Шлиффена.

По высокому мнению государя, необходимость спешить с войной вытекала также из того, что непомерно росли претензии германского рабочего сословия. Оно уже не держалось в тех рамках, которые необходимы для всего отечества, а выступало, подстрекаемое социалистами, с забастовками и демонстрациями. Пока смутьяны окончательно не организовались, армия должна задушить их движение в зародыше, воспользовавшись той великой победой, которая будет завоевана за три — максимум четыре — недели в результате разгрома Франции. Россия после падения ее союзника на континенте вынуждена будет капитулировать, поскольку двуглавый орел останется один на один с Срединными державами.

Император немного помолчал, как бы окидывая горделивым

взором грядущую победу, а затем вернулся к теме, особенно его волновавшей.

— Вы только подумайте, господа! Министр внутренних дел донес мне, что в марте нынешнего года в Рурской области бастовало в общей сложности 250 тысяч горняков! Это никуда не годится! И это в то время, когда здоровые силы германской нации обращаются ко мне с проникновенными словами... — Вильгельм чуть помедлил, пока подвернувшийся, словно по сигналу, адъютант не достал из-за обшлага мундира и не подал императору небольшую записку, заранее приготовленную для чтения. — Послушайте прекрасные слова истинных патриотов Германии: «Мы не можем переносить больше положения, при котором весь мир становится владением англичан, французов, русских и японцев. Мы не можем также верить, что только мы одни должны довольствоваться той скромной долей, которую судьба уделила нам сорок лет назад. Времена изменились, и мы не остались теми же. Только приобретением собственных колоний мы можем обеспечить себя в будущем...» Какие пророческие строки, господа! Германский народ — я имею в виду его самых горячих патриотов, а не презренных социалистических агитаторов, — готов в сражениях завоевать и удержать мировые позиции...

— Ваше величество! — восторженно вмешался в разговор граф Мольтке. — Германская армия сознает, что наши политические задачи невыполнимы без удара меча. Мы готовы нанести этот удар!

— Благодарю вас, граф! Я знаю, что армия полна решимости разбить всех наших врагов и установить новую границу России по меридиану Нарва — Азовское море. Я поддерживаю ваши планы. Однако я хотел бы сегодня обсудить два совершенно секретных политических мероприятия, которые могут ускорить достижение нами великой цели.

Как выяснилось вскорости, для достижения великой цели его величество предлагал активизировать в борьбе против России берлинские финансовые круги, весьма озлобленные тем, что их французские конкуренты изрядно наживаются на операциях с русскими займами. Вполне понятно, что германское государство не могло позволить своим подданным в столь широких пределах, как Франция, осуществлять финансовые сделки с вражеской державой. Следовало поэтому использовать возможности в России — родственные и деловые, — чтобы подрывать экономический порядок, дезорганизовать финансовую и промышленную деятельность. Особенно это важно в начале военных действий, когда толпы людей двинутся на мобилизационные пункты, а в стране возникнет неразбериха и паника.

— Второе. Это особенно касается тебя, Генрих, — обратился император к принцу Прусскому, — поскольку ты являешься Великим мастером германских масонских лож...

Тут все присутствующие обратились в слух: о сугубо конфиденциальной и сверхсекретной теме, как масонство, говорить

во всеуслышание не полагалось. Правда, в интимном кружке императора можно было высказываться совершенно откровенно, но даже и здесь, в святая святых германской политики, слова «масонство», «масоны» употреблялись чрезвычайно редко и то применительно к французской ветви. К той самой ветви масонства, которая пыталась, хотя и безуспешно, захватить главенство над своими германскими собратьями.

— Я полагаю, — властно обратился Вильгельм к своему брату, — что ты должен направить деятельность своих масонов таким образом, дабы они принесли пользу германской идее, подрывая изнутри славянские и галльские государства. Прежде всего Россию!

Эффект новой идеи кайзера был велик. Мольтке и Николаи дружно оценили ее восхищенным цоканьем, министр двора закивал головой и в восторге повторял, придыхая: «Колоссаль, колоссаль!», принц Генрих вскочил и бросился к гениальному брату, дабы обнять его величество.

Тем временем Филипп Эйленбург, как бы развивая идею императора, негромко дополнил:

— Особенно российских масонов следует подстрекать к проникновению во все поры государства. Затем, когда нужные связи будут ими установлены, вы, господин майор, — он обернулся к Николаи, — должны использовать их не только в целях агентурной разведки, но и для оказания влияния на все государственные процессы в Российской империи — к пользе империи Германской.

Вильгельм, который не скрывал восторга по поводу нового плана, стал усиленно развивать его принцу Генриху. Он поручил ему, спустя несколько дней, которые потребуются кайзеру и его гостям, чтобы немного отдохнуть на лоне природы и вернуться в Берлин, принять здесь же, в Роминтене, проезжего русского масона Кедрина и попытаться его очаровать. Надлежало довести до сведения русских масонов мысль о том, что в Европе есть только одна сила, способная понять и оценить масонство, а заодно и финансировать оное, — это кайзер Германской империи.

— Приручите русских масонов, и мы без труда взорвем эту империю изнутри, — закончил Вильгельм свое поручение принцу Генриху.

— Намекните также, — раздался скрипучий голос личного советника государя, — что в случае европейской войны русские масоны смогут прийти к власти. Германский император гарантирует им долгое и успешное правление.

При этих словах его величество благосклонно кивнул.

— Если Кедрин пойдет на сотрудничество легко, — продолжал Филипп Эйленбург, — то поставьте ему в качестве первой, хотя и трудной задачи, от которой, заметьте, будет зависеть благорасположение германских масонов к их российским собратьям, прояснение путей, по которым в петербургский Генеральный штаб просачиваются, скажем, секреты Австро-Венгрии. Таким пробным заданием мы привяжем Кедрина и русофобов,

стоящих за ним, к германским интересам, а заодно получим новый рычаг воздействия на Вену...

От того, что глобальные планы так легко развертывались в этот чудесный вечер, что ближайшие и любимейшие сотрудники столь быстро оценили идеи императора, Вильгельм Гогенцоллерн снова пришел в хорошее настроение. С бокалом в левой руке он присел на ручку кресла, в котором покоился многомудрый Эйленбург, и обнял личного друга правой рукой.

Гости поняли, что его величество намеревается высказать еще одну гениальную мысль. И, как всегда, не ошиблись.

— Когда вы вдохнете новую жизнь в масонские ложи России, когда оторвете российское масонство от французской ветви этой тайной организации, тогда-то и дайте задание раздуть фигуру этого сумасшедшего попа — Распутина, дабы внести беспокойство и сомнения в общественную жизнь Петербурга!

— Колоссаль! Колоссаль! — запридыхал министр двора, а принц Генрих опять кинулся обнимать его величество.

— Неважно, если при этом немного поблекнет доброе имя моей сестрицы Аликс, — благодушно разрешил Вильгельм. Несмотря на показную дружбу и семейственность, которую германский родственник всячески демонстрировал в своих письмах к кузенам Романовым, любезный братец Вилли уже давно дал установку прусским офицерам-разведчикам компрометировать Александру Федоровну, российскую царицу гессенского происхождения. Вильгельм тщательно собирал через свою агентуру сплетни, имевшие хождение в Петербурге, и бывал как-то особенно счастлив, если Эйленбург приносил ему очередные пикантные новости об отношениях царицы со своими фаворитами. В кружке императора давно уже говорили о вздорности и истеричности русской царицы, о предметах ее совместного с Николаем мистического обожания — проходимцах и авантюристах наподобие чародея француза Филиппа, о попах Иоанне Кронштадтском, Серафиме Саровском, Дмитрии Козельском и, наконец, о «советнике» и «друге» семьи Романовых, «божьем человеке», «старце» Распутине.

Высказав неожиданно столь плодотворную идею, Вильгельм тут же, должно быть, спохватился: не слишком ли много свидетелей его некорпоративной выходки в отношении других, хотя и русских, монархов? Насколько понял Николаи из последующей реплики государя, его величество хитро решил перевести разговор на иную тему, которая способна прочнее осесть в мозгу его соратников, несколько приглушив впечатление об императорской бестактности.

— Не забывать! Наша самая спешная задача — поймать предателей в Австро-Венгрии! — похлопал он по генерал-адъютантскому погону своего руководителя секретной службы. Затем поднял рюмку коньяка и провозгласил традиционный тост: — За грядущую победу Германии, хох! Боже, покарай Англию!

Гости дружно вскочили и осушили свои бокалы. Изволив выпить до дна, кайзер ласково улыбнулся приближенным и со-

благоволил проститься: часы показывали ровно десять. Всегда в одно и то же время Вильгельм Гогенцоллерн начинал готовиться ко сну.

Майор Николаи, как младший в чине, покинул залу последним, дабы не спрашивать ни у кого разрешения. Полный душевного восторга перед мудростью императора и его советников, он вернулся в свою чистенькую спальню, аккуратно развесил мундир в шкафу, вынул из портфеля красиво переплетенный в сафьян дневник. Собственным шифром записал он на глянцевитые страницы все впечатления дня и поручения кайзера. Затем он вызвал звоночком слугу с кувшином воды и с удовольствием умылся над мраморным умывальником.

Ровно в одиннадцать майор принял на кровати благородную позу, приличествующую гостю императора, укрылся роскошной периной из гагачьего пуха и вскорости захрапел. Возбуждение, в которое он пришел незаметно для себя от вечера в Роминтене, не спадало с него даже во сне. Всю ночь перед ним вставала грозная фигура кайзера, который приказывал: «Поймать предателя! Поймать предателя!»

Изредка сквозь мрак и туман из-за спины Вильгельма показывалась страшная — бородатая и черная — физиономия Распутина, фотографию которого ему однажды доставили из Петербурга, подмигивала ему и, щеря зубы, орала те же слова по-русски: «Поймать предателя!»

11. Карлсбад, октябрь 1912 года

Самый знаменитый международный курорт Карлсбад * осенью расцветает багряными красками листвы, сияет лазурью неба над Рудными горами, шумит нарядной толпой, составленной из больных и здоровых подданных почти всех европейских стран. Англичане и голландцы, немцы и русские, испанцы и датчане — толстые, тонкие, желудочники, печеночники, хронические больные и не больные вовсе — все сталкиваются в своеобразном хороводе у источников, прогуливаются по набережной, уходят парочками в рощи, поднимаются на гору и возвращаются к водам речушки Тепль, где играет форель.

Разноязычный густой рой, скапливающийся у курзалов и колоннад над источниками, возле бесчисленных табльдотов, в кургаузе и цветниках, ежедневные поезда, выбрасывающие из своих чрев толпы джентльменов, герров, мосье, сеньоров с их спутницами — законными или временными, — все это доставляло местному полицмейстеру и его немногочисленному штату столько хлопот в разгар курортного сезона, что лучше места, чем Карлсбад, для встречи с руководителем своей группы Филимоном Стечишиным полковник и не знал.

Уже несколько раз он назначал свидания со своим резиден-

* Так по-немецки назывались до 1918 года Карловы Вары.

том в этом городке, а затем, пользуясь положением руководителя австрийской разведки в Чехии, проверял по специальной регистрационной картотеке Эвиденцбюро донесения полицмейстера Карлсбада за соответствующие даты, но ничего подозрительного не замечал. Местные полицейские власти, работавшие в контакте с австрийской контрразведкой, весьма почитали полковника, помня о его прошлой деятельности на посту шефа и основателя контрразведывательной службы в Вене, оказывали ему всяческое содействие. Его имя заведомо не вносили в списки гостей курорта, которые каждый может видеть в городском архиве, и, естественно, он был избавлен здесь от какой-либо слежки.

Около полудня «мерседес» полковника, преодолев за четыре часа расстояние в 120 километров от Праги, въехал в долину прославленного курорта. Горы громоздились над замкообразными пансионами и гостиницами. Редль неизменно предпочитал гранд-отель «Пупп», где заказывал два не очень дорогих номера с общей ванной — соседнюю комнату в условленное время занимал нужный человек.

«Мерседес» подкатил к главному подъезду гостиницы. Полковник по красному ковру взошел своей характерной походкой заносчивого офицера в высокой просторный зал. Он был в штатском платье, но портье его сразу же узнал и с поклоном поднес из-за стойки ключи от номеров. Шофер внес в холл пару чемоданов Редля и передал их груму. Сопровождаемый грумом, полковник поднялся на свой этаж, так же гордо выпятив вперед челюсть, вошел в свои апартаменты и небрежно протянул серебряную монету юноше, не ожидавшему столь щедрых чаевых. Сладко улыбаясь и непрерывно кланяясь, грум покинул номер, предварительно пожелав постояльцу хорошего отдыха.

Полковник распаковал чемоданы, достал рубашки, несессер и аккуратно развесил в шкафу свои костюмы. Неторопливо он осмотрел все уголки комнаты, профессионально заглянув даже за две картины, украшавшие стены. В окнах теснились черепичные крыши пансионатов и гостиниц с закопченными каминными трубами, просматривалась набережная вдоль живописно извивающейся речушки; разряженные толпы дам и господ фланировали двумя потоками навстречу друг другу. «Неплохой наблюдательный пункт для филеров, — подумал он, — внизу прогуливается весь Карлсбад, и можно сразу же выйти на нужную персону. Видимо, у местного полицмейстера где-нибудь поблизости имеется окошко, а за ним — телескоп на треноге...»

Закончив осмотр, Редль через ванную комнату прошел в соседний номер. Гость должен был скоро прибыть. Полковник отпер дверь в коридор выданным ему ключом, вывел карандашом малозаметный значок на плинтусе и в отличном настроении отправился на прогулку.

Он очень любил устраивать свои конспиративные встречи с высокопоставленной агентурой именно в Карлсбаде. Его тщеславию льстило, что среди князей, графов и баронов, фабрикантов

и промышленников, крупнейших купцов Европы и их жен, содержанок и челяди он выступает не только как равный и могущественный, но как повелитель, облеченный тайной властью, которой его снабдила принадлежность к клану королевского и императорского Генерального штаба Австро-Венгрии и служба во всесильной российской разведке. Полковник ни на минуту не сомневался, что превосходит их всех своей работоспособностью, ловкостью и умом — он, сын простого аудитора лембергского гарнизонного суда...

Тайным желанием Редля, ради исполнения которого он был готов работать днем и ночью, было получение дворянства, неважно из чьих рук — Франца-Иосифа или Николая II. Он одинаково легко служил и Габсбургам и Романовым, пользуясь любым случаем для обогащения, для повышения собственного статута.

Редль свысока относился к двум другим офицерам австро-венгерского Генштаба — полковнику Гавличеку и капитану X., которые, как он знал, входили в эту же агентурную группу, как и он, снабжали Генеральный штаб российской императорской армии ценнейшей информацией. Те двое, как и Стечишин, были идеалистами, они служили не за империалы с портретом Николая II, а ради освобождения славянских братьев от ига неметчины. Те двое, как и Стечишин, свято верили, что только с помощью русских, украинских, сербских, болгарских и черногорских братьев славяне, составлявшие свыше 20 миллионов человек из 45 миллионов населения Австро-Венгрии, смогут обрести подлинную родину...

Здесь, в Карлсбаде, среди аристократии родовой и денежной, Редль чувствовал себя лучше всего. Несомненно, что при любом исходе надвигающейся войны он будет на коне. Грядущие сражения принесут ему генеральскую звезду независимо от того, удастся ли Чехии получить самостоятельность и стать членом славянской государственной федерации, или она останется в составе империи Габсбургов. Прогуливаясь по набережной, ступая под сень колоннад или любуясь дорогими безделушками в витринах карлсбадских магазинчиков, раскланиваясь со знакомыми и незнакомыми, знатными и богатыми — он отдыхал душой и грезил наяву блестящим будущим.

С тяжелым вздохом оторвался Редль от своих грез — приближалась обусловленная встреча с резидентом. Эти встречи Стечишин устраивал один-два раза в год, дабы не подвергать организацию опасности провала. Еще два-три раза в год с членами группы встречался его связной — очаровательная светская женщина Млада Яроушек. Млада, вдова лесопромышленника, проводила время то в Вене, то в Брюнне, где у нее был лесоторговый склад, то в Праге, а то на водах Карлсбада или Мариенбада. Иногда осенью она уезжала в Италию или во Францию, а весной — в Испанию или Швейцарию. Венское общество, звездой которого она была много лет, не подозревало, что ее частые путешествия служат не только тому, чтобы развеивать

сплин красавицы вдовы, а вызваны главным образом потребностями целой разведывательной организации.

Полковник поднялся в свой номер, переоделся к обеду в элегантный смокинг. Прежде чем выйти в коридор, он запер входную дверь и снова заглянул в ванную: причесал свою светло-рыжую шевелюру, протер лицо лосьоном, попрыскал на волосы духами и наконец бросил взгляд на плинтус. Возле его значка появился маленький кружочек, перечеркнутый наискось.

Редль подошел к двери, негромко постучал. Дверь тут же распахнулась, словно за ней уже стоял человек, и на пороге показался седовласый, полнеющий Филимон.

— Добрый день! — произнес по-чешски Альфред и с радостной улыбкой двинулся к Стечишину.

— Здравствуйте, здравствуйте, друг мой! — приветствовал его резидент. — Я услышал, как кто-то вошел в ванную, и решил подсмотреть в щелочку, вы ли это... До назначенного момента еще... — он вынул большие серебряные часы из жилетного кармана, — час и три четверти.

— Да, я собрался идти обедать, — показал на смокинг Редль. — А может, отобедаем вместе? Здесь меня опекает сам полицмейстер!

— Что вы! Наша трапеза может закончиться в тюрьме — ведь я на нелегальном положении, — ответил Стечишин и укоризненно покачал головой. — Не ожидал от вас такого легкомыслия. Давайте-ка обедать порознь, а потом займемся делами — можно у меня в номере...

— Я уже осмотрел свою комнату и не обнаружил ничего подозрительного. Учитывая, что меня здесь знают как разведчика, полиция не осмелится подсунуть мне фонограф или стенографистку.

— Хорошо, полковник! После обеда я зайду к вам, — сказал Стечишин...

Белоснежная зала ресторана была заполнена менее чем наполовину. Метрдотель проводил Редля к столику в укромном уголке. Ряд стройных металлических колонн поддерживал хоры и полукружьем подходил к эстраде, в глубине которой блестели серебром органные трубы. Оттуда оркестр венгерских цыган пронизывал залу жгучими мелодиями и взглядами.

Подкручивая ус, он дождался карты блюд, выбрал самый простой обед, спросил вина «Совиньон». Проворный официант принес бутылку и вручил ее метрдотелю. Почтенный метр ловким движением вынул пробку, отлил немножко себе в бокал и пригубил. Кивком головы он одобрил вино, и только тогда официант понес его гостю.

Редль задумчиво потягивал прозрачное золотистое вино и размышлял. Какая все-таки сила заставляет пожилого уже Стечишина выполнять столь сложные функции резидента? Тем более после недавнего провала его ближайшего помощника Владимира Вержбицкого — главного надзирателя пограничной стражи. Суд над ним только недавно закончился — вся полиция и жан-

дармерия рыскали теперь в поисках Филимона. Полковник знал, что Стечишин, родившийся в Галиции и достигший весьма высокого положения в австрийском почтовом ведомстве, уже давно посвятил себя всецело идее освобождения западных славян от немецкого господства и соединения их под покровительством России в мощное и самостоятельное государство. Сам Редль был не чужд подобным идеям, но его тягой к русской разведке двигало несколько иное чувство. Полковник ценил комфорт, любил риск и азарт, ненавидел надутых, чопорных немчиков в генеральских мундирах, хотя всячески подражал им своей выправкой и манерами. Он был счастлив досаждать им и с удовольствием указывал русской разведке самые уязвимые места австро-венгерских формирований, крепостей и планов. В его положении добывать различные документы — приказы, чертежи укреплений и военной техники, распоряжения императора и эрцгерцога — было довольно легко. Помогало и то, что в свое время блестящая характеристика работы полковника в Эвиденцбюро была доложена самому императору Францу-Иосифу. После этого Редля стали регулярно приглашать в Шенбрунн на утренние доклады его величеству. Правда, доклады эти начинались у «первого чиновника своего государства», как любил себя называть восьмидесятилетний император, в 4 часа утра, что было довольно тяжело после бурно проведенной ночи в ресторане или оперетте, но зато авторитет Редля неизмеримо вырастал. Он уже давно слыл верной опорой трона и крупнейшим специалистом в области негласной разведки. Именно эти два качества и привели к тому, что Редля назначили начальником Генштаба 8-го корпуса. Генерал фон Гислинген, командир корпуса, был чрезвычайно рад получить этакого замечательного офицера под свое командование, тем более что в Праге становилось все более неспокойно, а Редль с его опытом организации Эвиденцбюро мог бы сослужить полезную службу для разоблачения планов чешских сепаратистов...

Он отказался, к полному огорчению официанта, от десерта, но тут же вызвал его бурный восторг, когда заказал в номер фрукты, кофе, коньяк, сигары. Расплатившись крупной купюрой, он не потребовал сдачи, словно был сказочно богат.

«Наверное, это русский боярин», — подумал про себя официант и с воодушевлением помчался исполнять заказ щедрого постояльца.

12. Карлсбад, октябрь 1912 года

Слегка отяжелев после обеда, Редль снова поднялся в номер. Несмотря на теплый вечер, он закрыл окно и задернул его тяжелой портьерой. Официант негромко постучал, вкатил тележку с десертом и предложил накрыть стол.

— Оставьте все как есть... — бросил ему полковник, и вышколенный слуга немедленно исчез. Редль неторопливо запер

за ним дверь и зажег свет в ванной, не входя в нее. Спустя несколько минут Стечишин без стука вошел в его номер.

— Все в порядке? Наблюдения не обнаружили? — спросил Редль.

— Нет, слежки за мной не было. Меня здесь давно знают как преуспевающего коммерсанта из Берлина, который регулярно лечит на водах свою печень, — улыбнулся Стечишин. — А печень-то как раз в порядке... Просто вода для печеночников — не такая противная...

Он был в отличном настроении, глаза лучились, на щеках играл здоровый румянец, густая, несмотря на преклонный возраст, шевелюра серебристого тона оттеняла загорелое лицо. Чтобы еще больше походить на немца, он подстриг свои усы а-ля кайзер и впрямь стал смахивать на Вильгельма.

— Как ваши успехи, Альфред? — поинтересовался он, глубже располагаясь в кресле.

Полковник зажег спиртовку под серебряным кофейником, наполнил малюсенькие рюмки напитками, подал гостю, уселся в соседнее кресло и лишь тогда заговорил:

— Я был третьего дня в Вене, у Урбанского. Судя по его реакции, коллеги в Генеральном штабе строят только догадки, для чего в Черногории мобилизованы две бригады и вся артиллерия. Шеф Эвиденцбюро ничего толком не знает, а следовательно, и не может информировать Конрада фон Гетцендорфа. Мои венские друзья из министерства иностранных дел, с которыми я встречался вечером того же дня, убеждены, что войны против Австро-Венгрии пока не будет, а активность славянских дипломатов на Балканах направлена на создание только будущего союза, вероятно, против нашей монархии...

— Неужели они не способны предположить существование коалиции балканских народов против Турции? — изумился Стечишин. — Ведь это элементарно.

— Австро-Венгерский Генеральный штаб в полном неведении тех событий, о которых информировали наши сотрудники из Болгарии и Сербии, — подтвердил полковник. Он на минуту занялся сигарой, обрезая конец и раскуривая. Затем, после обстоятельного доклада, Редль вынул спичечную коробку и протянул резиденту. Стечишин, не раскрывая, переложил в свой жилетный карман и, довольный, похлопал себя ладошкой по круглому животу так, что в коробке задребезжали спички.

— Ваши успехи, Альфред! — Филимон поднял рюмку. — Вы один, наверное, добываете столько информации, сколько ее получает все австрийское Эвиденцбюро. Ваши успехи!

— Не очень-то вы жалуете Эвиденцбюро! — усмехнулся полковник. — Хотя я, как бывший его начальник, и несколько уязвлен вашим мнением, не могу не признать, что эффективность коллег без меня действительно стала невысока. Правда, я не советую вам быть особенно беспечным — контрразведывательное отделение в нем поставлено неплохо. Макс Ронге, начальник этого отделения, сам по себе неплохая ищейка, к тому

же он работает с немецкой педантичностью и тесно сотрудничает с майором Николаи из германской разведки. Я вам уже говорил и докладывал в Петербург, что эта милая парочка крепко обложила русского военного агента в Вене, полковника Занкевича. Не удивлюсь, если он скоро попадется. Как мне говорил в прошлый раз Урбанский, Занкевич весьма активен и ищет связей с офицерами. Посоветуйте ему хотя бы условным письмом быть поосторожнее...

— Я уже советовал, притом лично, — нахмурился Стечишин, — но после этого никак не мог оторваться от слежки... Его действительно окружили целым сонмом сыщиков. Куда бы он ни пошел, везде за ним следуют два-три филера, а в отдалении, как я заметил, их страхуют на автомобиле еще двое... Кстати, полковник, я рекомендовал бы и вам удвоить осторожность...

— Кто посмеет заподозрить меня, главного резидента Эвиденцбюро в Праге и во всей Чехии, бывшего шефа разведывательного отделения Генерального штаба, любимца императора и корпусного командира Гисля фон Гислингена? — иронически улыбаясь, выпалил единым духом Редль. — Для этого надо совсем сойти с ума! Ведь даже встречу с вами я могу представить как нелегальный контакт со своим собственным агентом, что, кстати, и делаю, резервируя сразу два номера. Не волнуйтесь, Филимон: чтобы поймать меня и доказать что-либо криминальное — этим немчикам и австриякам надо совершить земное чудо!

— Тьфу, тьфу, не сглазить! — суеверно постучал Стечишин по столику. — Не храбритесь, Альфред, не размагничивайтесь! Недолго и до греха! Немцы совсем не так слабы в контрразведке, как вы полагаете. Сейчас, перед большой европейской войной, которую готовят в Берлине, они решительно усилили свою деятельность. Известно, что в Петербурге у немцев и австрийцев есть агентура, которая может навести жандармов на наш с вами след. И тогда...

— Я ни в коем случае не предам своих товарищей! — заявил полковник. — Но, смею заметить, я практически исключаю возможность нашего провала, поскольку мы не связаны с полковником Занкевичем, а передаем сообщения курьерам из России только через проверенных связных...

— Вы правы, полковник! В цепи разведки самое слабое звено связь... — согласился Стечишин. — Можно собрать уникальные сведения, добыть чертежи и планы, но, если их вовремя не удастся передать в разведцентр, никто и гроша не даст за эту информацию... Пока у нас в этом отношении все было хорошо. Дай бы бог! Кстати, я хотел бы серьезно поговорить с вами, Альфред, еще об одном слабом звене. Я имею в виду ваше расточительство. Полковник Гавличек сообщил мне, что он слышал случайно разговор о вас в офицерских кругах. Господа кавалеристы из вашего корпуса явно завидуют вашему богатству. Они поражены: у вас автомобиль самой дорогой фирмы, вы без конца

путешествуете на нем по всей империи, сорите деньгами и даете такие чаевые, словно вы русский князь или купец.

— Это мое дело, — сверкнул глазами Редль. — Мне так нравится...

— Но вы подвергаете риску провала целую организацию! — спокойно, но выразительно сказал Стечишин. — Вы ставите под удар все наши широко разветвленные связи в политических, государственных и военных кругах! Ведь это будет грандиозный скандал, если «пан Градецкий», «доктор Блох» и другие депутаты и деятели славян в монархии будут скомпрометированы даже мимолетными связями с Генштабом России. Я категорически прошу вас умерить ваши безумные траты. Или хотя бы пустить слух, что вы получили крупное наследство от какого-нибудь родственника...

— Филимон, вы имеете дело с настоящим экспертом в тайной службе. Не забывайте, что именно я поставил в Австро-Венгрии все дело разведки и контрразведки. Даже немцы приезжали учиться у меня... Кстати, я еще до ваших упреков распустил слух, что получил большое наследство от тетушки. А вы: будь осторожен, будь осторожен! Я их презираю — этих разбойников-немцев! Они выгнали со службы моего отца, разорили брата, который осмелился открыть в Лемберге свое дело. Всю жизнь тупые немецкие болваны получали по службе отличия и чины впереди нас, чехов и поляков, а ведь мы служили в армии этой прогнившей монархии отнюдь не хуже, даже намного лучше германцев. Они ввели свой немецкий язык как обязательный в наших чешских полках и муштруют чехов с садизмом и жестокостью. А наследник Франц-Фердинанд! Ведь эта немецкая свинья в своем имении под Прагой просто истязает чешских работников! Ненавижу эту банду!

— Я говорю вам об осторожности, Альфред! — мягко прервал Стечишин излияния полковника, который вдруг обмяк и перестал выглядеть заносчивым и хамоватым офицером. — Вам надо отдохнуть. С такими нервами лучше нашим делом не заниматься...

— Может быть, вы правы, Филимон. Я просто очень устал и срываюсь незаметно для себя, — согласился полковник. Он помолчал, выпил коньяк, взял новую сигару, закашлялся дымом. — Расскажите лучше что-нибудь поприятнее, — попросил Редль, — ведь вы недавно были в Варшаве, я очень люблю этот дивный город. Как поживает полковник Батюшин и его команда на Саксонской площади? Я бывал у них, когда приезжал в Варшаву для розысков документов по делу Гекайло. Вы помните эту историю?

— Фамилию Гекайло я помню, но кто с ним был в компании? — нахмурил лоб Стечишин.

— Венцовский и Ахт, на которых я как австрийский контрразведчик вышел совершенно случайно, — смутился вдруг Редль.

— Припоминаю, припоминаю... — расправил морщины рези-

дент. — Вы вели тогда следствие по делу этого Гекайло, чтобы успешным разоблачением и поимкой шпиона прикрыть свою связь с русской разведкой... Но увлеклись... Я вам тогда передавал категорический приказ из Варшавы — добиться во что бы то ни стало оправдания Венцовского и Ахта. Сознайтесь, изрядно вам пришлось потрудиться, чтобы совсем не завалить дело и пустить все следствие по ложному пути...

— Так вот в Варшаве, — перевел разговор на другую, более приятную тему Редль, — я тогда познакомился с одной артисткой, Соней Войтек. Она еще поет в оперетте?

— Не хаживаю в варшавскую оперетту, друг мой, и не могу, следовательно, ответить на столь важный вопрос, — съязвил Филимон, а затем продолжал миролюбиво: — Впрочем, Батюшин мне что-то рассказывал, совершенно точно — он просил вам передать, что Соня то и дело спрашивает об одном светловолосом французе... Вы, кажется, ездили тогда с французским документиком?

— Именно так, Филимон, — порозовел Редль. — Она меня покорила сразу же, как вышла на сцену. Такой женщины нет в целом мире!

— Во всяком случае, в мире театральном, — хохотнул резидент. — Ну что же, через год я вас отпущу на отдых в Варшаву. Надо только заранее предупредить Батюшина. Он приготовит хорошенькую дезинформацию, а вы ее привезете в Вену и выдадите как полученную от совершенно достоверного источника, к которому вы якобы и ездили на оговоренную встречу. Договорились? Разумеется, если вашего покорного слугу не выследят...

— Не захватив вас, австрийцы, конечно, окружили филерами вашу жену. Или сразу арестовали?

— Держали несколько месяцев дома, для приманки, — медленно выговорил резидент. — Потом обобрали и отпустили. Я ее отправил с помощью друзей в Россию. Теперь она в Крыму, купила маленькое имение подле Алушты. Вряд ли мы свидимся, пока не кончится война...

— Какая война?

— Та, которая вспыхнет очень скоро во всей Европе. Война, в которой славянство столкнется снова с псами-рыцарями и выйдет обновленным из этого сражения. Она нас объединит навсегда, как объединила русских, поляков, Литву и остальных мирных хлебопашцев битва под Грюнвальдом. Вот тогда я уйду на покой, если переживу ее блеск и славу!

— Вы так уверены, что скоро будет война, Филимон? — удивился Редль. — По-моему, вся Европа сходит сейчас с ума от роскоши и жажды жизни, а вы о войне! В крайнем случае война будет только на Балканах, как обещали нам сербы. Они завоюют Турцию, оторвут изрядные куски территории, и на этом дело кончится. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что Австро-

Венгрия не в состоянии воевать с Россией, тем паче, если ее союзник — Германия — увязнет в укрепленных линиях Франции. Австрийский Генеральный штаб планирует только действия против Италии, а против России согласно документам он выставляет обычный заслон.

— Вы забываете, Альфред, что союзник Франца-Иосифа — Вильгельм — делает все, чтобы толкнуть Австро-Венгрию против России и славянства вообще. Корни соперничества Вильгельма и его величества Николая Второго скрыты гораздо глубже, чем в личных отношениях. Россия связана с Францией и Англией, которым алчная Германия мешает распространяться вширь, в том числе и в Россию. Вы помните, Вильгельм усиленно толкал Российскую империю на войну с Японией, чтобы отвлечь ее от Балкан? Так вот, покорить славянские народы долины Дуная — всегдашнее искушение германской политики. Балканы стали «пороховой бочкой Европы» отнюдь не усилиями турок — их владычество здесь умирает и вскоре совсем закатится. На смену туркам идут «псы-рыцари». Они пока действуют исподволь, захватывая позиции при болгарском дворе, покупая поштучно румынских правителей, проникая в Турцию, дабы укрепить ее гнет над славянами юга. Если тевтоны войдут в Париж, они будут вместе с французами распивать в бистро бургонское. Если же захватят долину Дуная, то славянская кровь потечет в нем вместо воды!

— На Дунае живут еще и австрийцы, — улыбнулся Редль.

— Австрийцы не немцы, — мгновенно оценил тонкий намек резидент. — Они гораздо естественнее и живее. Их империя разлагается сама по себе и готова даже уступить место более гибким формам существования Габсбургской монархии. У меня есть данные, что сам император Франц-Иосиф противится теперь крайнему онемечиванию всех частей государства. Но он не может противостоять влиянию наследного принца Франца-Фердинанда. Этот эрцгерцог действительно кровожадный тевтон во всех его проявлениях. Он швырнул бы свою Австро-Венгрию под ноги Вильгельму, если бы надеялся усидеть на троне, хотя и марионеткой...

Полковник внимательно слушал пылкую речь своего старшего товарища и задумчиво смотрел мимо него, куда-то вдаль. Словно наяву он видел те перипетии жестокой политической борьбы, которая вот-вот, по словам Стечишина, перерастет в военное противоборство великих европейских держав. Он видел перед собой веселую Вену, которая словно захлебывалась в угаре удовольствий, он видел Прагу и Будапешт, он видел поля и нивы, городки и замки, голубые реки и зеленые дубравы, празднично и буднично одетых людей, над которыми словно росла и набухала чернотой огромная туча, ползущая из Германии. Туча несла с собой предгрозовую духоту, она сверкала далекими еще зарницами и обволакивала весь горизонт, раскинувшийся перед его мысленным взором...

13. Петербург, ноябрь 1912 года

Пронзительный холодный ветер с Невы нес с собой потоки дождя, которые, казалось, пропитали все вокруг — и деревянные торцы мостовой, и одежду редких прохожих, и воздух, и стены домов.

Кедрин на извозчике ехал в беседное собрание ложи «Обновители». Масоны возродились в Петербурге недавно, после удушения сиятельным графом Витте рабочих и крестьянских бунтов, которые охватили всю матушку-Россию во времена революции 1905 года. Реакция и упадок сил, постигшие российскую интеллигенцию в столыпинские годы, коснулись и его, адвоката Кедрина, считавшего себя пламенным народным трибуном и общественным деятелем. Многие из его друзей-кадетов ударились в мистику и столоверчение, собираясь по ночам на предмет вызывания загробных духов для страшных и унылых бесед. Иные, так и не достигнув власти через эфемерную Государственную думу, запили самым пошлым образом и перестали даже мечтать о разумном, добром и вечном. Большевики, которых Кедрин люто ненавидел и боялся, поскольку они, по его мнению, были главной причиной смуты среди рабочего сословия, сидели по тюрьмам или мерзли по далеким сибирским ссылкам.

Кедрин в числе немногих сильных личностей обратился в масонство. Он решил, что только такое тайное общество, которое объединяло и важных сановников с их государственным опытом, и профессоров-теоретиков, и фабрикантов с их капиталами, и аристократов, вхожих во дворец и владеющих самыми сокровенными тайнами империи, — лишь оно имело шансы на успех в обновлении России.

Вступив в ложу, он понял, что не ошибся. Здесь не только собирались энергичные деловые люди, представлявшие, как казалось Кедрину, подлинную элиту дворянского, промышленно-купеческого и разночинного сословий. Российских масонов активно поддерживали организации братьев во Франции, Германии, Англии. Члены сравнительно небольшой петербургской ложи «Обновители» автоматически становились соучастниками огромного международного братства «вольных каменщиков», закладывавших фундамент всемирного господства капитала.

Кедрин брал в расчет и то обстоятельство, что приход к власти в России братьев-масонов мог принести и ему самому немалые материальные выгоды, видное положение, а может быть, и пост министра. А пока — до свершения этих радужных мечтаний — знакомство и общение в ложе с членами Государственного совета и банкирами приносило ему немалые выгоды в биржевой игре...

Извозчичья кобыла с насквозь мокрыми гривой и хвостом мерно хлюпала по лужам, злой ветер далеко забирался в рукава теплого парижского плаща, раскачивавшийся перед носом

седока армяк извозчика усиливал чувство уныния и неудовлетворенности.

Кедрин отгонял тоску, явных причин для коей вроде бы не было. В конце концов, он блестяще справился с поручением — поездкой по европейским ложам, куда его посылали «Обновители», дабы развить контакты с европейскими братьями. Кедрин в задании преуспел, завязав исключительные связи с франкмасонами Парижа и Берлина. Его даже избрали мастером французской ложи Великого Востока и обещали всяческую помощь. Что же касается Берлина, то русского адвоката-масона принимал сам брат германского императора Вильгельма, принц Генрих Прусский. Принимал, правда, не при дворе, как хотелось бы тщеславному адвокату, а в Роминтене, но зато оказал честь и доверие, сделав совершенно конфиденциальное предложение. Вот это предложение и заботило больше всего Кедрина, который не представлял, как оно может быть истолковано в петербургской ложе.

Теперь, трясясь на извозчике, он натуживал мысли для сообщения обо всем этом братьям, но проклятый дождь, унылая лошаденка и рваный армяк ее хозяина совершенно выбивали его из колеи.

Наконец въехали в ворота большого дома, подкатили под железный навес парадного подъезда небольшого флигелька во дворе, где тайно от непосвященных держали ложу. Кедрин сунул извозчику пятиалтынный. Мужик привычно заныл: «Барин, прибавить бы!» Седок так же привычно отбранился: «Пошел! Пошел!» За Кедриным захлопнулась дверь, и его приятно охватила теплота натопленного дома. По темной лестнице, почти на ощупь Кедрин поднялся на второй этаж, сбросил в прихожей свой плащ. Из знакомого шкафчика он извлек атрибуты масона — белый кожаный фартук, молоток, мастерок каменщика и циркуль, вынул из портфеля кожаные перчатки и муаровую перевязь с эмблемой, которая свидетельствовала о его высокой — третьей — степени масонства.

Кедрин трижды ударил молотком в дверь, брат-привратник молча отворил ее, и Кедрин вошел в темную храмину. Вся затянутая черной тканью, она была едва освещена свисавшим с потолка «лампадом треугольным», в котором три тонкие свечи давали «свет трисиянный». В одном углу храмины — черный стол и два черных стула. На столе — берцовые человеческие кости и желтый череп с блестевшими, точно нарочно начищенными, белыми зубами. Из глазниц черепа выбивалось синеватое пламя. Тут же раскрытая библия и песочные часы. На профанов, ищущих посвящения, все это действовало волнительно, особливо человеческий скелет в противоположном углу с надписью над ним: «Ты сам таков будешь».

В двух других углах возвышались на подставках по гробу. В одном из них — искусно подделанный мертвец с признаками тления, другой гроб зиял пустотой.

Кедрин равнодушно сделал полагающиеся знаки, с трудом

нашел в темной ткани следующую дверь и снова трижды постучал молотком. Пока он ждал привычного ритуального вопроса, лениво подумалось ему о том, что вот ведь вся эта необычная символика, которой верны масоны еще с XVIII века и которая безошибочно действует на дураков, наверное, и оттолкнула от масонства такого необычайно умного и холодного политика, как Павел Николаевич Милюков. Когда госпожа Соколовская по поручению ложи пустилась вербовать его в братство «вольных каменщиков», Милюков небрежно ответил ей: «Пожалуйста, без мистики, господа!..»

За дверью заунывный голос вопросил: «Для чего вы пришли сюда? Чего хотите вы от нас?» Кедрин так же заунывно произнес: «Премудрости, добродетели, просвещения». За дверью трижды стукнул молоток, створки отворились, и Кедрин вошел в просторный зал. Он был декорирован согласно заповедям иоаннического масонства, и стены его, затянутые голубыми тканями, украшенные золотыми символическими изображениями, ласкали взор. Золотые шнуры, держащие ткань, были связаны большим узлом как раз посреди стены, обращенной к востоку. Тут же, на востоке, на возвышении о трех ступенях располагался престол, масонский жертвенник, а за ним кресло управляющего ложею. На престоле выделялось лазоревое шелковое покрывало с густой золотою бахромою. Балдахин, осеняющий престол и кресло Великого мастера, также голубого шелка, был испещрен золотыми звездами, среди коих в сиянии ярких золотых лучей сверкал треугольник. Внутри оного золотом же было вышито имя Великого Зодчего Вселенной. На престоле — раскрытая библия у первой главы от Иоанна. Обнаженный меч, золотой циркуль и наугольник резко выделялись на потемнелых листах книги. Меч положен слева первым — он словно не допускал страницам перевернуться, закрыться.

На деревянных стульях и креслах, крашенных белым лаком и обитых лазоревым бархатом для мастеров и белым атласом для прочей братии, расположились уже человек двадцать пять масонов.

За треугольной формы голубыми столами должностных лиц ложи вольно расселись сюрвельаны, или надзиратели 1-й и 2-й степени, секретарь — хранитель печати, вития, или ритор, обрядоначальник, приуготовитель, вводитель, или брат ужаса, казнохранитель и милостынесобиратель, помощники его — диаконы... В миру это были известные Кедрину старый фат князь Бебутов, Пьер Жильяр, воспитатель наследника цесаревича Алексея Николаевича, адвокат Маргулиес, граф Виельгорский...

Кедрин отметил про себя, что сегодня пришли даже братья, которые редко меняли мирские развлечения на духовное общение в собраниях ложи. Когда же его взгляд остановился на австрийском подданном, банкире Альтшиллере, блюстителе символов, оба незаметно улыбнулись друг другу.

У Кедрина и раньше были кое-какие дела с этим близким другом военного министра Сухомлинова. Еще когда Альтшиллер

приехал в Киев из Австро-Венгрии в конце 80-х годов и занялся там мелкими подрядами и комиссионерством, он не раз обращался за помощью к адвокату Кедрину. Нажив большое состояние, банкир повел широкий образ жизни и втерся в киевское высшее общество. Хорошей репутацией он, однако, не пользовался. Частые отлучки в Вену и Берлин, близость с австро-венгерским консулом, наконец, орден Франца-Иосифа, полученный Альтшиллером неизвестно за какие заслуги, дали контрразведке основания взять его под наблюдение как шпиона. Разоблачению его как такового мешала, однако, его дружба с начальником Киевского военного округа генералом Сухомлиновым. Сухомлинову не раз почтительнейше доносили, что его австро-венгерский друг подозревается в шпионаже, однако немного отяжелевший, но еще бодрый и представительный генерал остался глух ко всем этим предупреждениям.

В присутствии Альтшиллера он просил не стесняться в служебных разговорах своих штабных офицеров, ему был открыт полный доступ в кабинет Сухомлинова — и в Киеве и в Петербурге. Он даже мог рыться в бумагах генерала, когда оставался один в домашнем кабинете начальника военного округа.

Когда Сухомлинова назначили военным министром, Альтшиллер последовал за ним в Петербург и открыл в столице контору «Южно-русского машиностроительного завода». Кто-кто, а Кедрин знал лучше других, что контора была фиктивной, поскольку денежных операций в ней не производилось, кассовые книги не велись, посетителей, жаждавших купить продукцию завода или продать сырье, не бывало. Зато контору навещали какие-то сомнительные личности, имелась в ней почтовая бумага высокого качества с австрийским государственным гербом, а в кабинете Альтшиллера на письменном столе был водружен портрет военного министра Сухомлинова с дружественной надписью...

И вот теперь Кедрин имел прямое поручение от весьма высокопоставленных людей в Берлине к своему старому знакомцу и сотоварищу по игре на бирже, брату-официалу Альтшиллеру.

Великий мастер, одетый в голубой фрак и голубую шляпу с золотым солнцем и белым пером, поднял молоток и трижды стукнул им о престол.

— Брат первый надзиратель, который час?

Сюрвельян первый ему ответствовал непременным ответом всех масонских лож, во сколько бы собрание ни началось: «Самый полдень!»

Затем братья в тишине творили моление. По прошествии условленного времени бессловесную молитву сменила песня на мотив «Коль славен»:

Отец любви, миров Строитель,
Услышь смиренный глас рабов,
Будь наш наставник, оживитель,
Будь нам помощник и покров!
Пронзи нас истиной святою,
Да дышим и живем с Тобою!

Нестройный хор голосов так же внезапно замолк, как и возник, и Великий мастер приступил к делу.

— Милостивые государи и любезные братья! — слащаво произнес он. — Бог, смерть, любовь, братство и истина!

— Воистину братство и истина! — ответствовал хор.

— Любезные братья! — продолжил Великий мастер. — Сегодня у нас полдень редкой радости и приближения к свету истины. Наш милый брат, — при этих словах Кедрин привстал и сделал малый особый знак, — совершил по благословению ложи славную работу в главные столицы «вольных каменщиков» — Париж и Берлин. Его долгий труд на ниве истины был увенчан в Париже высокой, третьей степенью мастера.

— Слава мастеру! — нестройно возгласили ученики, подмастерья и франкмасоны других градусов и застучали молотками.

Когда шум утих, Великий мастер продолжал:

— Мы нижайше просим почтенного мастера сделать нам сегодня обозрение работы братьев наших в латинских и германских странах, донести до нас их рвение в постижении света и доблесть в движении к цели. Любезный брат, взываю ввести нас в истину!

И председатель бухнул своим молотком о жертвенник.

14. Петербург, ноябрь 1912 года

Специальный поезд тащился мимо унылого осеннего леса, мимо болот и заколоченных на зиму дач в Царское Село. Безвольный и мнительный «самодержец Всея Руси» Николай Александрович перенес сюда — после трагических событий января 1905 года — свою резиденцию из Зимнего дворца в желании отдалить себя от возмущенных рабочих масс Петербурга, укрыться за штыками солдат, нагайками казаков и пулеметами жандармерии. Семь лет курсируют такие поезда от бывшего Царскосельского, а ныне вокзала Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, доставляя в Царское Село военные, чиновные звезды Санкт-Петербурга. Французская и немецкая речь звучит в богато отделанных купе, мощные кондукторы из унтер-офицеров Собственного Его Величества Железнодорожного полка исправно несут службу. Они не только радостно «едят глазами начальство», но и держат в образцовом порядке медяшку, инвентарь и мягкую рухлядь.

Проседь бобровых воротников на шинелях тончайшего сукна, золото эполет, звяканье парадных — с гладкими колесиками — шпор на лакированных башмаках, аромат французских духов «Русская кожа» и напомаженных усов, бакенбард, бород, оловянные от сознания собственной важности и предстоящего представления государю глаза — все это со скоростью тридцати верст в час двигалось по самому «бархатному» в мире рельсовому пути.

В одном из отделений хвостового вагона, в котором пассажи-

ров было несколько меньше по причине тряски и качки, вели неторопливую беседу генерал Монкевиц и полковник Соколов. Монкевиц был приглашен на совещание у государя, имевшее быть после церемонии, а Соколов направлялся в Царское Село для представления императору на Большом приеме по случаю присвоения очередного звания. Перед отъездом он долго думал, не надеть ли мундир родного гусарского Литовского полка, из которого он вышел в академию и в котором регулярно проходил месячный ценз командования строевой частью. Он знал, что государь не любил в отличие от своего кузена Вильгельма Гогенцоллерна, генштабистов и вместе со всеми солдафонами своей армии иронически называл их «моментами». Посему генштабисты предпочитали представляться царю в форме своих прежних полков. Однако Соколову было чуждо выслуживание и прислуживание. Именно поэтому он вопреки совету Монкевица предпочел мундир Генерального штаба.

Монкевиц, весьма тонкий и светский человек, был очаровательно любезен со своим спутником, демонстрируя подчиненному незаурядное понимание европейской политики. Балканская война была у всех на устах, и Монкевиц не мог не коснуться ее тайных пружин. Он тем более любил поговорить о большой европейской политике, поскольку состоял в приятельских отношениях с министром иностранных дел Сазоновым.

— Дорогой Алексей Алексеевич, — сладко говорил генерал, аристократически растягивая слова и чуть грассируя. — Многие из тех иностранцев, с кем приходится вам агентурно работать, полагают, что эта война — только русская инсценировка, только естественная тяга России к Дарданеллам. Господа из венского Генерального штаба, во всяком случае, именно так пропагандируют европейское мнение против России. На самом же деле это солидарный акт всех держав «Сердечного согласия». Не говоря о Франции, которая финансирует эту войну и жаждет оттянуть австро-германский кулак от своих границ в подбрюшье России, Англия еще год назад принялась возбуждать греков, дабы они присоединились к славянско-православной коалиции против турок. Ну а греков подстрекать на Турцию — это то же, что прогуливать гончую подле волка...

Монкевиц хохотнул собственной остроте, и его необычайно раскосые глаза сверкнули самодовольством. Совершенно феноменальное косоглазие начальника секретной агентуры Генштаба служило темой неисчерпаемых шуток молодых офицеров, но самому обладателю не доставляло забот, поскольку весьма способствовало загадочности его взгляда и полной невозможности проникнуть в его мысли при любом разговоре с начальством, подчиненными или агентурой.

— Политический смысл войны, с точки зрения интересов Антанты, — продолжал Монкевиц, — в том, чтобы отрезать Турцию от центральных держав коалицией дружественных нам народов. Но беда в том, что болгарский царь Фердинанд — союзник Вильгельма, не прочь короноваться византийским им-

ператором, а значит, принесет в новый, сильный Царьград немецкие порядки. На румын, хранящих нейтралитет, вообще глупо надеяться — правители Румынии, принадлежащие к захудалому германскому дому Гогенцоллерн — Зигмаринген, всегда торговали оптом и в розницу своим народом, для них принципы и честь такие же растяжимые понятия, как кошель на ярмарке... Однако вернемся к болгарам. Наши умники-славянофилы бурно радуются сейчас: «Ура! Ура! Братья болгары после разгрома турок во Фракии двигаются на Адрианополь и Константинополь». А ведь радоваться рано. Плоды-то горькие для Сергея Дмитриевича Сазонова. Вместо слабых турок получить на проливах верного союзника германского императора — Фердинанда! Каково? Стоило ли помогать, хотя и негласно?..

Соколов в задумчивости крутил гусарский ус. Ему, провинциалу, ориентирующемуся в полной мере только в зигзагах австро-венгерской политики, размышления вслух Монкевица были интересны. Однако он не разделял в них проскальзывавшего недоброжелательства к позиции собственного отечества, хотя и скрытого. Как истинный патриот, Соколов придерживался взгляда, внушенного ему еще отцом, полковым врачом Тамбовского пехотного полка: «Если видишь ошибку в большом деле — приложи силы, чтобы ее исправить, но не посмеивайся, стоя в стороне».

По долгу службы в разведке он соприкасался с идеями социал-демократов вообще и русских (особенно русских эмигрантов в Австро-Венгрии) в частности. Эти идеи о крайней гнилости самодержавия, его никчемности и вредности для нынешней России и ее народов нет-нет да и вспоминались ему, когда он видел какие-либо безобразия в империи или слышал о них. Но теперь в рассуждениях Монкевица он уловил не горечь от того, что благие порывы и надежды русской дипломатии были извращены и преданы ее союзниками, нагло обмануты Германией и Австрией, а некое злорадство постороннего человека, как будто и не Монкевиц руководил всей агентурной разведкой Генерального штаба и, следовательно, имел причастность, хотя и косвенную, к проведению большой политики среди малых Балканских государств...

Как истый разведчик и тонкий психолог, Монкевиц почувствовал, что в душе Соколова зародилось какое-то противостояние его позициям, и он перевел разговор в сферу придворных интриг и сплетен, на которые был большой охотник и мастер. Заодно он решил проинструктировать Соколова перед приемом у царя, чтобы киевский провинциал не сделал бестактности или неловкости при дворе.

— Милый полковник, церемониймейстер поставит нас в разных концах шеренги. Если его величеству будет угодно оставить на доклад и вас после представления ему, а об этом шла вчера речь у Жилинского *, то не забудьте отдать свою визит-

---

* Начальник российского Генштаба в описываемые времена.

ную карточку генералу Спиридовичу, начальнику охраны его величества.

— Меня однажды представили господину генералу в Киеве,— припомнил Соколов.

— Вам теперь предстоит чаще общаться с ним, — отметил генерал и добавил уважительно: — Это весьма любознательный человек во всем, что касается новых революционных теорий, особенно террористических. Он время от времени запрашивает наши делопроизводства о различных «новинках» в Европе, а заодно проверяет через нашу секретную агентуру, как работают за границей господа из политического сыска. Правда, наши офицеры брезгают якшаться с сыщиками охранного отделения и не соглашаются даже писать на них доносы. Но вам совершенно не возбраняется вступать с ними в контакт.

При этих словах генерала Соколов брезгливо поморщился, давая понять, что он не собирается нарушить хорошие традиции армии, однако тут же счел нужным загладить неловкость и спросил:

— И кого же он считает самыми опасными для самодержавия и империи?

— Безусловно, большевиков! Если в ваше поле зрения попадет кто-либо из них, неважно — в России или эмиграции, вы можете доставить генералу Спиридовичу величайшее удовольствие, если копию сообщения отправите ему. Уверяю вас, не прогадаете...

И снова Соколова внутренне передернуло от того, что умный, заслуженный генерал предлагал ему ради карьеры опуститься до уровня заурядного шпиона охранки, к которой он испытывал отвращение, зная, какие авантюристы и обманщики — типа Манасевича-Мануйлова — с ней сотрудничают.

Немногим спустя после упоминания Монкевицем о большевиках Соколов вспомнил друга своего детства Мишу Сенина. Тот еще в Петербургском технологическом институте, куда он поступил сразу же после окончания гимназии, штудировал в тайном кружке труды немецкого экономиста Маркса и был от них в крайнем и постоянном восторге. Теперь, спустя двадцать лет, друзья детства изредка встречались, иногда откровенничали, и в одну из таких минут Алексей узнал, что, став зрелым человеком, Сенин с марксистами не порвал, а, наоборот, сделался одним из известных социал-демократических партийных деятелей, хотя и работал инженером на текстильной фабрике Морозова. Он совмещал службу в фабричной конторе с бурной и полной борьбы жизнью большевистского агитатора. Помнится, старый приятель несколько раз пытался просветить и самого Соколова, раскрывая смысл событий с точки зрения законов классовой борьбы, открытой его кумиром Марксом, Алексей многое не понимал в рассуждениях, однако он ощутил железную логику большевиков, их четкий и стройный анализ положения страны и самых угнетенных слоев ее населения. В то же время Соколов свято верил в догмы о защите веры, царя и отечества,

усвоенные им в кадетском корпусе и укрепившиеся за годы службы под знаменами. Он твердо соблюдал присягу, отграничивая симпатию к рассуждениям Михаила железным частоколом уставов и военных инструкций.

Он еще не осознал до конца, что идеи социал-демократов боролись в нем с народническими устремлениями, столь сильными в среде российской интеллигенции. Однако ясная логика мышления, привитая в стенах скромного коричневого домика академии на Английской набережной, настойчиво заставляла его вновь и вновь вспоминать выводы Михаила, особенно в трудные моменты принятия оперативных решений.

15. Петербург, ноябрь 1912 года

Аудитория была мала — намного меньше той, к которой привык Кедрин, выступая модным адвокатом в суде. Она была в десятки раз меньше собрания первой Государственной думы, где он не единожды блистал депутатским красноречием. Здесь было скромнее и — это он совершенно реально ощущал — гораздо весомее. Каждое деловое слово, произнесенное в масонской ложе, принималось к исполнению не только влиятельными людьми Петербурга, собранными здесь, но через них проникало в правления банков и железных дорог, просачивалось многозначительными слухами в салоны аристократии, оборачивалось циркулярами высшему чиновничеству. Все сказанное здесь Великим мастером и мастерами, предложенное подмастерьями и утвержденное высшими степенями масонов, выходило в мир через тьму храмины отнюдь не мистикой, а строжайшим законом, неукоснительным для исполнения всеми членами братства. Вместе с посвящением в масоны любой брат давал страшную клятву кровью на евангелии о молчаливом послушании и соблюдении полной и абсолютной тайны.

— Достопочтенные каменщики и кровельщики, — волнуясь, начал Кедрин, — вы возложили на меня почетный и усладительный для души контакт с нашими братьями в Европе. Имею честь почтительнейше предподнести вам плоды бесед моих с великими зодчими Франции и Германии. О том, какая сила собралась в нашем ордене, многажды говорили мне в Париже и Берлине, — излагал сладким голосом Кедрин. — Хотя английские братья и сокрушенно вздыхают по поводу того, что король Георг Пятый не пожелал до сих пор стать масоном, они утешают себя тем, что вспоминают о покойном Эдуарде Седьмом, бывшем яром каменщике и состоявшем в должности Великого мастера английских и шотландских лож в продолжение 26 лет. Они возгордились и тем, что брат английского короля принц Артур Коннаутский достиг высших степеней масонства. Коронованными братьями являются также принц Генрих Нидерландский, король норвежский, король датский, король греческий, король вюртембергский и некоторые другие носители монархиче-

ской идеи. Своим участием в ложах «вольных каменщиков» они предохраняют свои троны от антимонархических действий влиятельнейших братьев, которые горды тем, что заседают рядом с владетельными особами. Но прежде чем осмелюсь вынести собственные суждения о состоянии нашего братства за рубежами Российской империи и его готовности помочь российским каменщикам заложить фундамент просвещенного и добродетельного государства, в коем масонство будет не только движущей, но и правительствующей силой, побуждаюсь сообщить о тех искусах, которые претерпел согласно обычаям и конституциям масонства.

Кедрину надо было сделать разгон в своей речи перед тем, как излагать самое наиважнейшее, к чему он пришел в результате своей поездки, и он решил повитийствовать о том, каким проверкам подвергался он в сообществах франкмасонов Европы, дабы в нем признали своего и по духу, и по обрядам члены влиятельных тайных обществ Франции и Германии.

— Милостивые братья, — продолжал он. — Для распознания в постороннем человеке члена вольнокаменщического ордена и определения его масонской степени в Европе употребляют три способа: знак — для зрения, слово — для слуха, прикосновение — для осязания. Ибо всякий член ордена имеет право входа во все ложи мира. Поэтому, прибыв в Париж или Берлин, я требовал для себя опознавательной ложи, дабы иметь возможность встретиться с великими мастерами и общаться с ними. В мой искус после проверки знания всех знаков, слов и прикосновений пройденных мною степеней входил и такой: предо мной расстилали множество масонских ковров с символическими изображениями, из них лишь часть была настоящей, или, как мы выражаемся, «справедливыми и законными», а остальные — фальшивыми. Благодаря школе нашего любезного брата обрядоначальника, — князь Бебутов сделал благодарственный знак, — я отобрал все ковры, относящиеся к моей степени, и вышел победителем из этого испытания. Я произвел семь знаков — земли, воды, удивления и ужаса, огня, восторга, солнца и Андреевского креста. Я сделал четыре прикосновения, произнес священное слово «некаман», означающее призыв к отмщению врагам, сказал четыре проходных слова. В ответ председатели главных лож Парижа и Берлина сказали: «Братья, мы должны себя поздравить, что узнали одного из наших собратьев». Предо мною, как признанным братом, отомкнулись двери лож, посторонние вчера люди открывали свои сердца и даже финансовые счета опознанному брату, оказывая мне помощь нравственную или материальную, смотря по тому, в чем я нуждался...

Ехидный коллега Кедрина — Маргулиес — иронически хмыкнул при сообщении о том, что братья Франции и Германии открыли Кедрину, помимо сердец, еще и счета, но промолчал.

— Милостивые государи! — несколько успокаивая свое волнение привычным адвокатским словечком, продолжал Кедрин. —

Некоторые хулители высказывают убеждение, что братство «вольных каменщиков» представляет собою великую сплоченную организацию, которою двигает единый Всемирный Великий Мастер. К нашему сожалению, бесчисленные факты многих лет доказывают, что это утверждение не соответствует истине. Единство и трогательное сплочение масонства существовали только в самые ранние годы его расцвета. Теперь же всемирного масонства нет, оно раскололось на три вполне определенные и разграниченные ветви, которые хотя и поддерживают перед внешним миром своих братьев из соседних ветвей, но в достижении главной цели — управлять политикой всех стран — еще не преуспели. Пока «вольные каменщики» смогли анонимно проникнуть к кормилам власти только отдельных государств. В монархических империях братья до известных пределов поощряют революционный элемент, стараясь приготовить из него в будущем послушное себе правительство.

Посмотрите на все перевороты последнего времени — все они обязаны «Великому Востоку» — самой значительной ложе Франции. Мы видим один и тот же план, один и тот же прием. Масонство открывает свои карты, когда все подготовительные работы его закончены, и сразу бьет наверняка, а правительства всегда бывают застигнуты врасплох.

Тут Кедрин взглянул на Альтшиллера, и тот ему ободряюще кивнул.

— Сейчас у нас, слава богу, 1912 год, — продолжал мастер. — К нашему времени сколько уже примеров тому, как братья повсюду в мире добиваются великой цели во славу Великого Зодчего Вселенной. И все это несмотря на гнусные поиски антимасонского общества, вопреки полицейским чинам, мерзкому аббату Турмантену, который стал во Франции самым изощренным гонителем «вольных каменщиков». Но сила масонства такова, что этому сумасшедшему аббату не верят власти предержащие. Турмантен, к примеру, несколько раз публиковал статьи, в которых документально доказывал, что среди младотурок дирижерские пульты забрали в свои руки масоны. И что же? Аббату не верил никто. Но султан был свергнут, младотурки приняли правление и тем предотвратили еще худший исход — тогда бы в Турции разразилась беспощадная к имущим революция.

Кедрин совсем уже оправился от волнения, он вытащил из кармана сложенный журнал, адвокатским жестом поднял его над головой и продолжал:

— Проклятый аббат в этом гнусном листке «Ля франк-масонньери демаске» осмелился 25 декабря 1907 года пророчествовать: «Дела в Португалии идут скверно. (Кедрин читал свой прямой перевод с французского на русский. Он учитывал, что в ложе собирались и не слишком грамотные фабриканты.) Братство жаждет перемен. При приеме в ложе «Космос» Великого мастера Магальхеса Лима выставлен был лозунг: «Низвержение монархии, необходимость республиканского строя и

установление республики...» И дальше, господа: «Если бы король Португалии захотел внять... в особенности уроки истории, он немедленно запретил бы в своем королевстве масонство и тайные общества. Под этим условием он еще мог бы выпутаться из беды; но надо опасаться, что в более или менее короткий срок дон Карлос, свергнутый, изгнанный или убитый, явится новым доказательством могущества масонов».

— Могущество масонов не нуждается в доказательствах, — спокойно заметил князь Бебутов.

— Милостивые государи, — воодушевился еще больше оратор. — Эту ужасную, предательскую статью гнусный аббат дважды подчеркнул красным и синим карандашами и отправил португальскому посланнику. Но есть провидение Великого Зодчего Вселенной — посланник не дал себе, вероятно, труда ее прочесть или не придал ей значения. Через два месяца король был убит, а в настоящее время вся предсказанная Турмантеном программа блистательно доведена до конца.

Вырождающиеся монархи и их маразматики царедворцы, — князь Бебутов при этих словах недовольно насупился, и Кедрин решил смягчить остроту речи, — заметьте, что самые достойнейшие из родовитых дворян лишены подобающих мест у государственного руля, так вот, маразматики царедворцы вместе со своей короной и головой теряют иногда и нашу собственность. Вспомним французскую революцию или дни Парижской коммуны. Что было бы, если чернь смогла бы дольше удержать власть? Какой пример остальным представителям низших сословий?..

Господа и сотоварищи, — перешел к главной части своего доклада Кедрин. — Грядут страшные времена — плебс разных стран, называющий себя пролетариатом, успешно соединяется в союзы и партии, угрожающие самому существованию нашего установленного порядка, нашей собственности и даже нашей жизни. Более того, вожди социал-демократов создали известное вам и отнюдь не тайное общество, называемое Интернационал. Этот Интернационал мнит себя всемирным правительством рабочих и других неимущих, он покушается на власть и установление так называемой социальной справедливости во всей Европе. Даже матушка-Россия не избегла его нитей, которые связывают наших социал-демократов с германскими, шведскими, австрийскими и другими смутьянами. Слава богу, социалисты в России расколоты, а часть из них, особенно социалисты-революционеры и меньшевики, стоит на весьма близких к нам платформах и симпатизирует нашим братьям...

Кедрин имел в виду эсеров и некоторых меньшевиков. Говоря это, он увидел, что угадал самое больное место в душах братьев-масонов, и уже не сомневался, что поручение принца Генриха Прусского он выполнит «на ять».

— Особенно опасна для почтенных людей часть социал-демократов, называемая большевиками. Это самая воинственная группа из всех революционеров, и под воздействием своего ли-

дера — Ульянова — она не остановится на полпути, делая революцию, а доведет ее до конца, лишив общество его самой деятельной основы — банкиров, фабрикантов, купцов, — продолжал Кедрин под одобрительное постукивание молотков официалов. — В Европе еще плохо и мало знают эту часть российских социал-демократов, недооценивают ее связи со всеми левыми группировками европейских социалистов. Между тем большевики, многие из которых, в том числе и Ульянов, находятся сейчас в эмиграции в Австрии, Швейцарии и Франции, принесли с собой в Европу заряд самой разрушительной энергии. Они опасны не только для самодержавия, но и для всех власть имущих в европейских державах. Их призывы могут поколебать положение тех признанных старых вождей социализма в Европе, которые согласились на постепенное развитие общества, на уважение к собственности и на мирную эволюцию, необходимую для достижения идеала между правителями и подданными.

При этих словах в зале стало необычно тихо.

— Господа, — уверенно продолжал Кедрин, — германские братья масоны, среди коих насчитывается и несколько социалистов, лишь формально действующих в своей партии, но на деле блюдущих интересы нашего братства, равно как и наши французские коллеги, познали значение ордена на земном шаре, а также и трудности единения. Рознь отдельных ветвей масонства заключается главным образом в различно трактуемых вопросах о боге и о степени вмешательства в политику своих правительств. Но пора, — тут голос Кедрина поднялся до пафоса, — оставить все наши разногласия по вопросам формы и существа обрядов и вступить в политическое единство. Так называемый пролетариат соединяется. Мы, власть имущие, должны также соединить свои ряды против покусителей на нашу собственность и положение. Мы должны соединить усилия независимо от партий, к которым принадлежим, независимо от государств, в которых держим наше имущество и на языках которых мы говорим. В полной тайне и вооружась именем бога, не жалея средств и сил, мы должны свергать монархии, ибо они сильнее всех возбуждают народные революции, мы должны ставить наших собратьев на власть и правление в наших общих интересах, а там, где народные революции все же возгораются, всемерно препятствовать тому, чтобы плоды их ускользали из наших рук.

Кедрин отпил воды, оглядел внимавших ему братьев и чутьем опытного адвоката понял, что он может высказать безболезненно мысль, которую в иных условиях сочли бы предельно дерзкой и крамольной, но теперь сделают хоругвью и лозунгом борьбы.

— Наши братья масоны в Берлине просили передать членам ордена в Петербурге, что спасти Россию от революции может лишь свержение самодержавия и взятие власти членами масонского братства. Трон Николая Романова способно поколебать в

современных условиях только поражение в грядущей европейской войне. Великий мастер германских лож его высочество принц Генрих дал мне всяческие гарантии в том, что если в Европе вспыхнет война и Россия потерпит в ней поражение, то рухнет только русский императорский трон. Гогенцоллерны и распорядители германских финансов и промышленности, интересы коих выражает масонство в Берлине, гарантируют нам сохранение порядка, необходимого для имущих классов населения.

Жестко и цинично Кедрин снова повторил главные тезисы своего доклада, по-видимому, сильно взволновавшего членов ордена:

— Итак, господа, я резюмирую важнейшие стороны своих переговоров в Европе с братьями нашего ордена: во-первых, дабы успешно противостоять соединенному нынешнему пролетариату в его стремлении к революции и лишении нас всех прав и имущества, наиболее зрелые общественные силы в лице европейского масонства должны сугубо объединиться. Тайно и успешно проникая в ряды революционеров и разлагая их изнутри, только масоны способны свести все революционные страсти к словесному кипению и разногласиям, которые подточат здания социалистических партий.

Во-вторых, наиболее опасной язвой остается Россия, где после революции 1905 года в любой момент может вспыхнуть новый социалистический мятеж, который, как пожар, пожрет нашу жизнь, имущество и права. Слабое самодержавие, разложившийся двор Николая Кровавого не в силах предотвратить катастрофу. В то же время элита российского класса хозяев — кадеты, октябристы и другие, примыкающие к ним, недостаточно сильны, чтобы свалить придворную камарилью и поставить страну на путь парламентарной монархии или республики. Значит, мы должны приветствовать европейскую войну, которая свалит династию Романовых и приведет нас к власти — во имя истины и Великого Зодчего Вселенной! — закончил Кедрин обыденной масонской формулой свою речь и трижды стукнул молотком о треугольный стол.

Внимательно оглядывая братьев, Кедрин только теперь заметил, что высказанная им комиссия в пользу германских масонов была принята отнюдь не единодушно. Некоторая часть братьев растерянно молчала, двое-трое из них глядели на ритора явно осуждающе. Однако подавляющее большинство, в том числе Великий мастер и почти все официалы, выслушали речь с величайшим вниманием и явным одобрением. Кедрин быстро прикинул про себя, что братья, отрицательно воспринявшие его постулаты, видно, относились к симпатизерам английских интересов в России, и мысль об единении с Германской империей должна была бросить в дрожь тех, кто представлял свои интересы только вкупе с империей Британской... Зато глаза Альтшиллера и других господ, всегда открыто проявлявших германо-

фильские чувства, прямо-таки лучились. Именно Альтшиллер первым поднял одобрительный стук своим молотком.

Командор ордена, видя несомненное одобрение речи Кедрина, взял на себя публичное выражение признательности ему.

— Любезный брат наш, державший речь свою, воистине воплотил в ней восьмой отдел устава «вольных каменщиков»! Это правило о должности братской гласит: «В бесчисленной толпе существ, населяющих сию вселенную, ты признал каменщиков братьями своими, не забывай никогда, что всякий каменщик, какого бы исповедания христианского, какой бы страны или состояния ни был, простирая тебе десницу свою, имеет права свои в твоей помощи и дружбе». Брат Генрих, Великий мастер германского капитула, призвал нас на помощь, и помощь нам самим в деяниях наших. Да поставим, братья, в цель истины нашей замещение царства Романовых владычеством бога и справедливости, яко каждый себе благостояние добудет.

И вновь застучали молотки, принимая речь командора и благословляя братьев всех степеней к неукоснительному исполнению столь важных и многообещающих ее положений.

16. Царское Село, ноябрь 1912 года

...Специальный поезд замедлил свой бег, показалась платформа Царского павильона в Царском Селе. Пассажиры стали застегивать шинели и надевать портупеи. Когда вагоны остановились, негустая толпа господ офицеров и чиновников вышла на площадь и расселась в специально присланные из дворца коляски и кареты. Монкевиц и Соколов держались вместе.

Экипажи тронулись и последовали в сторону Большого дворца, любимого местопребывания Екатерины II. Неподалеку от этого великолепного ансамбля, построенного Растрелли, в парке за маленькими искусственными озерами, полускрытая летом деревьями, а осенью и зимой окруженная черными голыми стволами, возвышается постройка несколько более скромная — Александровский дворец. Именно сюда заперлась от революции чета Романовых. Император и императрица размещались в одном из дворцовых флигелей внизу, а их дети — четыре великие княжны и цесаревич Алексей — на втором этаже над ними.

В средней части дворцового корпуса блистали парадные залы. Флигель, симметричный царскому, был отведен для квартирования некоторых придворных чинов.

Экипажи миновали Большой дворец и, спустившись с возвышенности, проследовали через стройную колоннаду к парадному подъезду Александровского дворца. Гардеробная и передние залы, уже заполненные царедворцами, с прибытием новых гостей переполнились до краев. Несколько минут спустя они выплеснули всю эту массу, позвякивающую орденами и сверкающую золотом шитья на парадных мундирах, в большую Александровскую залу

Сергей Александрович Танеев, сын статс-секретаря и брат печально знаменитой фрейлины царицы Анны Вырубовой, церемониймейстер высочайшего двора, уже руководил расстановкой по чинам приглашенных на Большой прием гостей. Полковник Соколов оказался где-то в самом конце блестящей шеренги усов, бакенбард и холеных бород генералов и действительных статских советников. Монкевиц был поставлен где-то в середине ее.

Устраивание шеренги закончилось вовремя, Танеев бесшумно скользнул по паркету к дверям, ведущим во внутренние покои дворца, и тут грянул хор трубачей. Массивные, украшенные золотой резьбой двустворчатые двери распахнулись. С небольшой свитой в зал вошел невысокого роста курносый полковник в красном чекмене гвардейских казаков — Николай II, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский и прочая, и прочая, и прочая...

С обычным для него безразличным ко всему видом, теребя в руке белую лайковую перчатку, Николай Александрович начал обход парадного строя.

Для представления этому полковнику по случаю получения новых чинов, должностей и орденов здесь были собраны столпы режима. Теперь все они вытянулись в струнку перед обожаемым монархом, пожирали его глазами и старались запомнить каждое слово, каждое движение, чтобы потом в кругу родных, знакомых и сослуживцев со вкусом рассказывать в деталях и лицах о выходе государя.

Предмет их верноподданной страсти медленно продвигался вдоль шеренги, сопровождаемый свитой. В бледном и испитом лице венценосца, обрамленном аккуратно подстриженной рыжей бородкой, не было ничего замечательного или выразительного, кроме глаз, которые он унаследовал от своей матери — датской принцессы Дагмары, получившей при крещении в православие имя Марии Федоровны. Выразительный взгляд императора был чуть ли не главным орудием его обаяния, направленным на тех, кто истерично хотел ему подчиняться и служить. Но в чертах лица и манере вести разговор наблюдательный и объективный человек мог заметить некоторую сухость и даже жесткость его истинного отношения к людям.

Кроме выразительных глаз, Николай Романов унаследовал от матери и некоторые черты ее душевного склада — наклонность к хитрости и обману при помощи внешней любезности и приветливости, коварство и притаившуюся в душевных глубинах холодную жестокость, полное равнодушие к чужому страданию...

Полковник гвардейских казаков медленно шел вдоль строя. В его поступи и поведении не было ничего торжественного или высокого. Даже свита, как нарочно, была составлена из людей мелкорослых, среди которых одиноко возвышалась долговязая

фигура любимого дяди царя, великого князя Николая Николаевича.

Соколов даже несколько обрадовался, увидев великого князя, ибо именно он в качестве Генерального инспектора кавалерии и Высочайшего покровителя общества любителей конного спорта вручал ему «Гран-при» за победу на конкур-иппике полгода назад. В нервозной и новой для себя обстановке дворцового приема Соколов вспомнил армейское прозвище Николая Николаевича — Лукавый. Великий князь, командуя войсками, бывал настолько грубым и неудержимым матерщинником, что кавалерийские офицеры, подчиненные ему, как Генеральному инспектору, именно этим синонимом упоминали его в разговорах, имея в виду привычные слова весьма распространенной молитвы — «избави нас от лукавого...».

Поверх голов царской свиты далеко выделялось неестественным румянцем лицо Лукавого. Очевидно, он уже с утра успел приложиться к стакану с шампанским. Среди выдающихся алкоголиков своего времени дядя царя занимал достойное место. Командир лейб-гвардии гусарского полка, где проходил свой кавалерийский стаж Николай Александрович, будучи наследником русского престола, охотник по влечению, ерник и неисправимый пьяница, Николай Николаевич в молодости проявлял не меньше постоянства в своей привязанности к одной царскосельской купчихе. Он даже просил у своего царствовавшего брата, Александра III, позволения повенчаться с ней. В ответ царь, имевший, как и все Романовы, наклонность острить, сказал: «Со многими дворами я в родстве, но с Гостиным еще не был и не буду!»

У купчихи действительно был мучной лабаз в Царскосельском гостином дворе. Лихого гусара отказ государя не очень огорчил, и он продолжал прежнюю жизнь, деля ее между своей купчихой, вином и полком. Лишь много лет спустя он женился на одной из двух великих княжон-черногорок, обретавшихся из-за бедности их отца, государя Черногории, при петербургском дворе, — Анастасии Николаевне, отличавшейся неуемной страстью к деньгам и крайней истеричностью. Теперь, накануне большой европейской войны, великий князь командовал всей русской кавалерией, а некоторые горячие головы при дворе называли его шепотом даже кандидатом в главнокомандующие.

...Царь и свита постепенно приближались. Соколов вдруг с удивлением обнаружил, что он совершенно не испытывает священного трепета, который полагалось бы иметь в душе, когда находишься столь близко к особе государя. Как ни странно, но царь, за которого по уставу следовало бы Соколову при первой возможности умирать, казался совершенно чужим и далеким человеком.

Полковник гвардейских казаков медленно шел вдоль строя, теребил перчатку и иногда щурился, словно бы от боли. Соко-

лову пришли на память сразу же разговоры, ходившие в киевской среде о том, что в бытность государя наследником произошел опасный для здоровья Николая Александровича инцидент, когда он совершал познавательное путешествие вокруг света. Главным распорядителем тогда Александр III назначил старого и полуслепого князя Барятинского, отличавшегося крайней ограниченностью даже в невзыскательном гатчинском окружении царя. Путешественники следовали на броненосце «Память Азова», пересекали моря и океаны, а иногда по суше на слонах, верблюдах и другим экзотическим транспортом въезжали в глубь чужих государств. Под руководством такого наставника перед равнодушным взором наследника и великих княжичей, сопровождавших его, сменялись красоты невиданной природы, ярких городов и стран, островов и ландшафтов. Для Николая Романова путешествие проходило как бы во сне, за исключением того, что это было не столько сонное, сколько пьяное царство. Вино лилось рекой, под его влиянием путешественники совершали бестактности, от которых и трезвый не застрахован в незнакомой среде.

В Империи восходящего солнца высокородные гости вследствие своего самодовольного невежества с самого начала раздражали японскую толпу посещением храмов, где шумели и громко переговаривались в присутствии изображений Будды и других местных богов. За фанатиком, взявшим на себя миссию отомстить за истуканов, дело не стало. Николай едва не погиб от основательного удара, который нанес самурайским мечом по его легкомысленной голове японец полицейский Ва-цу. Второй удар отразил товарищ по путешествию, греческий королевич Георгий. Ва-цу успели схватить, и вся компания поспешила на «Память Азова» — залечивать первую рану, нанесенную России Японией. Об этом много писали в те дни газеты, а еще больше говорили во всех слоях общества.

Рана оказалась серьезнее, чем думали в первый момент. Хотя, по-видимому, сотрясения мозга и не последовало, в черепной кости, поврежденной ударом, как считали лейб-медики, могло начаться разрастание костного вещества. Процесс, видимо, не остановился, и много лет спустя Николай стал испытывать в левой половине головы давление, которое вполне могло отражаться на функциях мозга. Этот болевой эффект продолжался годами и повлек за собой, вероятно, вполне определенные изменения интеллекта самодержца. Природная ограниченность и упрямство еще усугубились этим травматическим нарушением...

Царь приближался. В своих коротких беседах, следовавших за рукопожатием с очередным приглашенным, Николай Александрович больше всего интересовался теми, кто долго прослужил в строю. Своими вопросами он подчеркивал исключительное благоволение к строевой службе, обходя молчанием штабистов. Дошла очередь и до соседа Соколова, стоящего справа, — седого пехотного полковника.

— Ваше императорское величество, — рапортовал осипшим от

команд голосом бравый служака, — командир Тамбовского полка 31-й пехотной дивизии, полковник Грушко представляется по случаю пожалования ордена Анны первой степени.

Царь подает полковнику руку, глядя куда-то мимо него, молча треплет аксельбант. Все в свите и шеренге замирают, ожидая мудрого монаршьего слова. После паузы, длящейся нестерпимо долго, Николай наконец находит что спросить:

— Ну как, вы довольны расквартированием полка?

Пораженный таким интересом к его полку, командир мнется и так же, как и его величество, не находится сразу что сказать. А царь и не ждал ответа, он просто демонстрировал единственную сильную сторону Романовых — отличную память, особенно когда это касается расквартирования войск.

— Я знаю, — продолжал самодержец, — ваша 31-я дивизия стоит в Харькове, а в Чугуеве, где расквартирован ваш полк, находятся летние лагеря не только вашей дивизии, но и трех малороссийских корпусов. А в вашем полку два батальона размещены по квартирам, а два стоят в новых казармах...

Полковник в верноподданническом восторге сияет, он готов прослезиться, а царь еще милостивее бросает ему, как и всем остальным строевым генералам и полковникам, с которыми он точно так же побеседовал до этого:

— Ну что ж, передайте от меня полку спасибо за верную службу.

Холеное, но бесцветное лицо Николая II поворачивается к следующему. Ледяные, слегка навыкате серо-голубые глаза безразлично скользят по лицу офицера:

— Ваше императорское величество, Генерального штаба полковник Соколов. Представляюсь по случаю присвоения очередного звания, — отчеканил по-уставному Соколов и щелкнул каблуками.

— Палковник, почему вы не в гусарской форме? Она вам гораздо больше идет! — брезгливо вымолвил император, вяло пожав руку Соколову и растягивая капризно слова с буквой «а».

Николай Николаевич сделал два шага к царю и своим зычным голосом ввязался в разговор:

— Я вижу, вы его узнали, ваше величество! Это тот самый знаменитый митавский гусар, который на весеннем конкур-иппике обобрал всю гвардию! — При этих словах великий князь лихо подкрутил ус, как будто сказал что-то исключительно приятное своему племяннику.

— Узнал, узнал... — отмахнулся от него Николай, — хотя он теперь в мундире, который не идет настоящему офицеру! — сделал царь вторую неловкость, даже не заметив первую, и это тоже не укладывалось в сознании Соколова.

— Где же вы начинали свою службу? — На царском лице проявилось какое-то подобие интереса.

— В Белоцерковском гусарском полку, ваше величество, — снова четко ответил Соколов.

— А-а, так это не в бытность ли командиром Вольдемара

фон Роопа, который недавно получил мой лейб-гвардии конно-гренадерский полк? — протянул Николай, снова демонстрируя отличную память.

Не дослушав ответ, как будто он и не спрашивал, государь, теребя свою перчатку, подошел к следующему в шеренге.

Танеев, не отстававший в свите от государя ни на вершок, вдруг приблизился к Соколову и негромко проговорил:

— Его величество ждет вас после приема во втором кабинете для доклада по вашему делопроизводству!

17. Петербург, ноябрь 1912 года

После выступления брата ритора и резюме Великого мастера по обычаю начались масонские беседы, прерываемые стуком молотка. Но Кедрин уже не слушал, что говорят братья-официалы, какие банальности изрекают мастера и сюрвельаны. Он сделал знак Альтшиллеру, прося его чуть задержаться в зале по окончании ложи, и погрузился в размышления о второй части своей задачи на этот важный для него день, который решал не только многое в его жизни, но, как искренне думал Кедрин, был историческим для народов и их судеб, связанных с судьбой его — мессии всея Руси.

Кедрин считал, что возведение его, бывшего депутата I Государственной думы, адвоката и владельца многочисленных акций, в высокое звание мастера влиятельнейших французских лож, а также весьма интимный и доброжелательный прием братом германского императора, доверившего особой важности миссию в Петербурге, делало его незаменимым звеном в сношениях мирового ордена с его российскими ложами. Он рассчитывал взять в свои руки все иностранные дела ложи «Обновители» и претендовать на этом основании в будущем правительстве по крайней мере на пост руководителя дипломатического департамента.

Теперь же в лице Альтшиллера ему предстояло привести в действие ту силу, которая, как ему казалось, может оказать влияние на ход дальнейшей истории Европы. Кедрин решил ни много ни мало как спровоцировать всеобщую европейскую драку, столкнуть между собой прежде всего двух таких друзей и родственников, как Николай Романов и Вильгельм Гогенцоллерн.

Идея большого европейского кризиса родилась в мозгу адвоката в результате бесед с европейскими коллегами. Если французские братья всячески намекали на желательность развала в результате войны Германской империи и ее сателлита Австро-Венгрии, рассчитывали на помощь английских союзников, то в Берлине, как он понял, также готовились к жестокой европейской войне, лицемерно ругали французских братьев-«каменщиков» за отсутствие единства и претензии на мировое руководство.

Будучи весьма мелким политиком, органически чуждым таким понятиям, как патриотизм или благородство, адвокат и крупный

акционер Кедрин не мог видеть, что два лагеря империалистов и без вмешательства масонов идут к столкновению в глобальном масштабе. Прелюдом к нему стала схватка на Балканах пангерманизма и панславизма, вылившаяся в аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, отраженная в двух Балканских войнах и дипломатической борьбе за их результаты, во всеобщую европейскую гонку вооружений и бешеное строительство флота Германией. Все эти отдельные признаки и явления были лишь объективными и разнообразными формами закономерного развития империализма, который готовился к кровавому утверждению своей последней стадии — монополистического капитала.

Кедрину, как и всем его братьям по наживе, как и всему классу буржуа, нужна была война для утверждения своей власти, для подавления революции.

В своих намерениях петербургский адвокат решил опереться на Альтшиллера, поелику он хорошо знал, что за спиной торговца маячит не только простодушный и не в меру влюбленный в свою молодую и очаровательную жену военный министр Сухомлинов, но и располагающие огромным влиянием видные члены «германской партии» при императорском дворе. Это были директор Международного коммерческого банка камергер Вышнеградский, петроградский первой гильдии купец, банкир и владелец контрольного пакета акций того же банка Манус, председатель правления крупнейшего частного банка России — Петербургского учетного и ссудного — Яков Утин, он же председатель синдиката всех частных банков.

Кедрин знал также, что через Дмитрия Рубинштейна, директора Русско-Французского банка, крупного дельца, весьма чисто юридически обделывавшего свои делишки, поскольку он был среди всех банкиров Петербурга «белой вороной» — кандидатом правоведения, — эта прогерманская клика российского финансового капитала имела связь с семейством баронов Ротшильдов, владевших в странах Антанты французскими, бельгийскими и другими банками. Адвокат Кедрин хорошо представлял себе все значение финансовых тузов в современной ему политической истории Европы...

Кедрин обдумывал свои тезисы под разговор братьев и почти пропустил последние слова заключительной молитвы префекта ложи, которые были всегда одни и те же: «Всемогущий господи, к коему наш дух на крыльях веры воспаряет, даруй нам по милосердию твоему крепость исполнить наше намерение. Просвети ум наш и исполни сердца наши теплотою! Да оживляет и наш союз навсегда нерушимо связь любви, завещанная тобою! Аминь!»

Машинально подтянул Кедрин хору братьев гармонии, завершивших ложу все тем же пением на мотив «Коль славен»:

Да мы, имея душу здраву,
Все здесь творим Тебе во славу.
Как знаки зрим твоей любови
В телесной пище в сих местах,
Так нам, смиренным, уготови
Нетленну пищу в небесах!

Великий мастер спросил снова у сюрвельяна, который час, и получил традиционный ответ: «Самая полночь». Кедрин при этом ритуале на минуту отвлекся от своих мыслей, вспомнив разъяснения одного из масонских риторов значение слов «полдень» и «полночь».

— Когда бы ни происходили масонские работы, — говорил ритор, — всегда полдень, ибо свет истины освещает стезю, ведущую в храм премудрости, но «коль скоро престает каменщик работать для вечности, погружается он в тьму пороков, страстей, ложа закрывается, наступает мрак полночи».

В зале, где задумчиво сидел Кедрин, уже погасли свечи, отдав в спертый воздух запахи стеарина и горелого фитиля, зажглось электричество. Оно сразу убило атмосферу сказочной таинственности и роскоши, обнажило фальшь пышных декораций и старческие прожилки, дряблость щек и мешки под глазами масонов, только что видевших себя властелинами миров и душ. Кедрин тяжко вздохнул и поднялся со своего лазоревого стула, закрывая символический циркуль и складывая другие масонские атрибуты. К нему мелкой походочкой засеменил Альтшиллер. Братья умиленно облобызались. Вместе с чмоканьем поцелуя звякнули массивные масонские цепи, воздетые на выи. Альтшиллер нежно взял Кедрина под ручку и повлек к выходу через коридор, минуя черную храмину.

У подъезда Альтшиллера ждал собственный выезд. В лакированной карете, обитой кремовым шелком, за хрустальными стеклами дверец, непрекращающийся петроградский дождь воспринимался не столь противно, как в извозчичьей пролетке. Откормленные лошади банкира быстро домчали до модного ресторана «Медведь» на Большой Конюшенной, где Альтшиллер постоянно держал кабинет для деловых разговоров и интимных встреч с нужными людьми.

Банкир и адвокат прошли через общую залу, где веселье в этот ночной час было в самом разгаре и даже бравурные звуки шансонетов тонули в возбужденном гомоне толпы, и попали в крошечный павильон, украшенный позолоченным резным деревом. Стол был накрыт на два прибора.

Альтшиллер усадил Кедрина на малиновый диванчик, где он всегда размещал почетных гостей, лакей бесшумно пододвинул хозяину кресло с подлокотниками, и господа расположились к беседе.

Альтшиллеру очень хотелось знать, какие политические и коммерческие вести привез из Германии Кедрин, кем он был там принят, но, авантюрист и спекулянт по натуре, он все-таки пытался строить из себя благовоспитанного человека. Делового разговора он поэтому не начинал до тех пор, пока к этому не подаст знака сам гость. Поговорили о том о сем, посплетничали о знакомых.

Бесшумные официанты с точностью хорошо налаженного механизма вносили и ставили на стол перемены кушаний, меняли бокалы и марки вин. Казалось, они были совершенно безразлич-

ны к беседе гостей, но по тому, как рдели в напряжении их уши, Кедрин видел, что ни одно слово не падает мимо. Желая как следует вознаградить себя за вынужденный трехмесячный пост у скупых французов и немцев, Кедрин уплетал яства одно за другим, плотоядно запивал их красным и белым вином, слушал разглагольствования Альтшиллера и делал вид, что не понимает его нетерпения. Повара в «Медведе» были действительно на славу! Из-под серебряных крышек сотейников и сковород источались ароматы, способные разжечь аппетит, казалось, даже у скелета в масонской храмине, и Кедрин пробовал то фазана, выдержанного в мадере и запеченного в специальном шелковом мешочке, то стерлядь, поданную в майонезе из перепелиных яиц, то жаренное на палисандровых угольях седло молодого бычка, кормленного чистым клевером.

Наконец принесли сигары, кофе и ликеры. Альтшиллер тщательно запер на задвижку дверь, уселся поглубже в свое кресло и, затянувшись, промолвил:

— Любезный Евгений Иванович! Не томите больше, расскажите, что передают мне из Берлина, довольны ли там нашей деятельностью?

Кедрин понял, что дальше оттягивать важный разговор нет причин, и приступил к делу.

— В числе высоких лиц, с кем мне довелось беседовать в Берлине и Роминтене, — начал он в уважительном тоне, — был достопочтенный майор Николаи. Он просил передать вам вот это!

Кедрин вынул толстый конверт, запечатанный сургучом, протянул Альтшиллеру. Банкир демонстративно небрежно отложил пакет в сторону и снова изобразил на своем лице полнейшее внимание к словам гостя. Кедрин продолжал:

— Во время приема у принца Генриха Прусского присутствовал также и господин майор. Его высочество сделал мне стратегический обзор европейского положения. Знайте же, что страны Антанты, в том числе и Россия, готовятся низвергнуть Срединные империи, поколебать европейское равновесие в свою пользу. Его величество Вильгельм весьма подробно осведомлен также и о внутреннем состоянии нашего государства. Он проявил, как мне передал принц, большое беспокойство в связи с тем, что его брат Николай не в силах справиться с социал-демократическими агитаторами, вследствие чего марксистская зараза может погубить также и его империю. Тем более что германские рабочие все более и более склоняются влево под влиянием таких красных, как Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Единственным исходом из столь опасного положения, а также средством привести к изменениям в России без революции может быть только большая война, которая поколеблет гнилой трон Романовых. Только большая война! — еще раз повторил Кедрин.

— Не слишком ли абсолютизируете, мой друг, роль Романовых в России наших дней? — поддел Кедрина австрийский подданный Альтшиллер.

— Какие они Романовы! — взорвался сухой и желчный Кед-

рин. — Если позволите, мой друг, я расскажу вам, как иностранцу, незнакомому хорошо с русской историей, некоторые эпизоды из пикантного родословного древа этой семейки.

Масон пригубил рюмку с ликером и начал рассказ *.

Судьба была сурова к русскому народу; она длила жизнь его династии искусственно, приливая постоянно к ней живую постороннюю кровь. Больше того, теперь Россия не имеет даже и сомнительного удовольствия видеть во главе правления людей, в жилах которых течет хотя бы капля русской крови. Действительно, только в лице Петра Великого — преобразователя своего — Россия имела потомка рода, избранного на царство. Но далее, как известно, Екатерина Скавронская была горничной пастора Глюка, после которого перешла на то же амплуа к Меньшикову. У последнего ее и увидел Петр и велел ей вечером «посветить ему в спальне».

В следующие годы связь продолжалась, пока наконец Екатерина не была перевезена в Москву, где у нее родилась дочь Елизавета. Сохранились письма, из которых видно, что Петр ждал этого ребенка и считал его своим. Незаконной дочери Петра, Елизавете, было три года, когда родители ее повенчались. И вот, совершенно неожиданно, в момент свадьбы, появляется возле венчающихся рядом с трехлетней Елизаветой, еще девочка: девяти лет, типичная чухонка, тоже дочь Екатерины, но от совершенно неизвестного лица. К девочке этой Петр был более чем равнодушен. Когда старшая, Анка, как ее называли в народе, подросла, ее выдали, с небольшим приданым, за незаметного голштинского герцога, что еще более подчеркивает равнодушие Петра. Впоследствии, при вступлении на престол Елизаветы, она не была признана народом, считавшим ее незаконной дочерью. Бунт подавили, многим порезали языки, многих сослали, и Елизавета дожила свой век на престоле без потрясений. Но когда после нее появился Петр III, сын голштинского герцога от брака с неизвестной чухонской девицей и женатый на немке, то только грубая сила могла заставить признать в нем Романова. Это одно. Второе — несомненное происхождение Павла I от Екатерины Второй и Салтыкова, когда романовская кровь тоже только чудом могла попасть в жилы будущего неуравновешенного царя.

— Таким образом, — подытожил Кедрин, — в жилах Николая Александровича Романова, как и его ближайшей родни, нет ни капли романовской и очень мало русской крови, если отрицать отцовство Салтыкова для Павла I.

— В этом нет ничего странного, — не удивился Альтшиллер, — В Европе тоже нет ни одной чистой династии.

— Наши союзники-монархисты и некоторые братья-масоны, коих мы только что покинули, как бы ни тщились рисовать образ Романовых самыми мягкими штрихами, не смогут отвратить

---

* Кедрин излагает далее некоторые из тезисов, которые партия кадетов обращала против Романовых.

нас от борьбы за то, чтобы Николай Александрович стал последним российским самодержцем! — уверенно заявил Кедрин. — Сейчас нельзя утверждать, будет ли царствовать его наследник Алексей, но если и будет, то в обстановке, навсегда очищенной нами от малейшего запаха абсолютизма... Чем ярче будет разгораться над бедной родиной, несущей в себе столько здоровых сил, заря политической и социальной свободы, тем мрачнее будет сгущаться туман над именами ее царей, в том числе и Кровавым Николаем, пока не скроет их навсегда в недрах истории бесстрастной и немилосердной...

— Браво, браво! — зааплодировал Альтшиллер кончиками пальцев, когда адвокатское красноречие Кедрина иссякло. — Право же, любезнейший брат, вы хоть сейчас готовы свергнуть Романовых, не дожидаясь трехсотлетия их дома! А что же надо сделать для этого практически, не вызвав при этом народной революции, типа той, что разверзлась перед всеми нами в 1905 году?

— Надо вступить в войну и в ходе ее передать власть от царя к избранникам имущих классов, кои доведут ее до необходимого конца, — сказал Кедрин твердо и спокойно.

В глазах Альтшиллера погасли иронические искорки, которые горели все время, пока Кедрин произносил свою филиппику против Романовых. Он также стал серьезен и задумчив.

— Для этого следует довести Россию в войне на грань поражения, дабы Государственная дума, из которой по случаю войны будут изгнаны большевики, представляющие опасно грамотных рабочих, могла убрать всех этих великих князей и порожденных ими безмозглых бюрократов. — Кедрин опять сменил твердый тон на вкрадчивый: — И тут вам, дорогой брат, Александр Оскарович, следует сделать свою работу. Вы должны, во-первых, воздействовать на военного министра в пользу более энергичного демонтажа вооружения в крепостях Модлина — Демблина — Плоцка, а также Варшавы. Памятуйте, что эти крепости весьма высоко оценил еще Наполеон. Также надлежит всячески саботировать развернутое в тылу русских армий строительство новой оборонительной линии.

Кедрин, не стесняясь, излагал мысли, почерпнутые им на аудиенции у Генриха Прусского, но теперь выдаваемые за свои. Господина камергера Вышнеградского, председателя правления Петербургского международного банка и владельца тульских меднопрокатных и патронных заводов, можно было бы призвать сократить кредиты, а еще лучше — насовсем остановить производство в Туле. Так появится удобный повод обвинить царскую бюрократию в нераспорядительности и поставить своих людей к снабжению армии. Господин Вышнеградский весьма симпатизирует кайзеру и легко пойдет на временные неудобства, тем более что германская промышленность, как гарантировали в Берлине, компенсирует эти неудобства — своими весьма выгодными заказами! — не только господину камергеру, но и всем, кто захочет помочь святому делу...

— Самое главное я оставил на десерт, — пошутил Кедрин, вспомнив гастрономические радости, которые он только что испытывал. — В Берлине ожидают, что вы, я и все наши сторонники сможем нейтрализовать тех лиц, которые доставляют наибольшие заботы его величеству кайзеру Вильгельму и нашему общему другу — господину майору Вальтеру Николаи. Кажется, господин майор располагает сведениями о том, что на Дворцовой площади в Петербурге имеются весьма важные военные документы, полученные негласным путем из Германии и Австро-Венгрии. Здесь, рядом с нами, — неопределенно махнул Кедрин рукой в ту сторону, где, по его мнению, располагалась арка Генерального штаба, — скопилось больше германских и австрийских тайн, чем их осталось в Берлине и Вене.

— Какой кошмар! Я всегда думал наоборот! — всплеснул руками Альтшиллер.

— Меня просили передать вам в качестве самого главного пожелания лично их величества кайзера и императора Франца-Иосифа, что надо найти предателей в германском стане. Сейчас, когда подготовка к европейской схватке вступила в решающий период, один нераскрытый шпион в германских и австрийских штабах может стоить нашему делу больше, чем два корпуса, — повторил Кедрин слова майора Вальтера Николаи. — В Берлине считают, что ваша близость с Сухомлиновым должна дать возможность нащупать в Берлине и Вене предателя или, не дай бог, предателей, что служат русской разведке.

Альтшиллер даже не пытался отвертеться от нового, весьма трудного задания. Он молча слушал разглагольствования Кедрина, с удивлением увидев в нем вдруг неизвестного доселе коллегу по службе в германской разведке. Получив неделю назад сообщение из Берлина о состоявшейся вербовке и указание о том, что получит новые инструкции от самого Кедрина во время личной встречи, он с нетерпением ждал заседания масонской ложи, дабы, не вызывая подозрений, сговориться с Кедриным о свидании. Теперь же он размышлял о том, как просто и ловко нашел единомышленника, пользующегося столь большим весом в масонских и кадетских делах. Поистине пути господни неисповедимы! Вот и пришло время наметить, как самым безболезненным образом выполнить сложное поручение хозяев. Русские секреты, при всем простодушии и склонности к рутине офицеров императорского Генерального штаба, так просто не валяются даже на столе его высокопоставленного друга и покровителя генерала Сухомлинова...

Встреча двух шпионов заканчивалась. Кофе был допит, сигаты докурены, инструкции переданы.

Учтиво приподняв на прощанье шляпы, банкир и адвокат расстались у зеркальных дверей. Альтшиллер поспешил к карете, а Кедрин вернулся в теплый вестибюль дожидаться извозчика, за которым побежал на перекресток мальчик.

Кедрин был доволен собой и прожитым днем. Он считал, что положил весомый камень в фундамент своего грядущего вели-

чия. Он не мучился угрызениями совести, что предавал тех самых выборщиков от городского мещанства и купечества, которые послали его в российский парламент — Государственную думу. Не беспокоило его и то обстоятельство, что своей подлой шпионской деятельностью он провоцировал войну. Жажда власти и обогащения толкала его на все новые и новые подлости и предательства. Ради денег и власти он был готов продать любому императору или королю, любому правительству или любому монарху не только каких-то безвестных ему мужиков, но даже собственных братьев — масонов, своих компаньонов по аферам, по бирже — словом, всех и вся, включая ближнюю и дальнюю родню. Ибо Кедрин был воплощением торгашества всех времен — эгоистичный, холодный и расчетливый, видящий свое отечество там, где больше прибыли, где есть возможность заработать — хотя бы на предательстве.

18. Царское Село, ноябрь 1912 года

Большой прием государя закончился, царь и его свита удалились. Гости группами потянулись в гардеробную. Скользя по паркету, Монкевиц подошел к Соколову, озиравшемуся на месте и несколько подавленному сделанным церемониймейстером указанием.

— Каково, друг мой? — обратился Николай Августович к подчиненному. — Не правда ли, его величество был великолепен?! А как хорошо он знает армию и ее расквартирование!

— Точно так, господин генерал! Но зачем понадобился государю я?

— Причина ясная, — закосил в стороны глазами Монкевиц. — Его величество весьма озабочен возмутительным поведением Австро-Венгрии, которая в ответ на выход сербских войск к Адриатическому морю в Северной Албании начала мобилизацию. В Берлине, как доносит наш военный агент, непрерывно идут совещания австро-венгерских и германских государственных людей. Пахнет европейской войной, а Россия к ней не готова. Попугать Турцию или Австрию еще можем, а серьезно воевать — проскачка выйдет!

— Тогда все ясно. Его величество, видимо, хочет, чтобы я доложил обстановку по моему делопроизводству...

— Надеюсь, вы готовы? — спросил Монкевиц и снова стрельнул глазами в разные стороны.

— Непременно, ваше превосходительство!

Появился скороход, мало похожий на живого человека. Круглая шляпа с черными, белыми и желтыми страусовыми перьями, черный, расшитый золотыми лентами кафтан, белые панталоны в обтяжку до коленей, чулки и черные башмаки с бантами делали его нереальным, какой-то иллюстрацией к сказкам Андерсена. Он повел Монкевица и Соколова длинными коридорами Александровского дворца во внутренние покои, туда, где должен был

продолжаться прием, однако теперь уже малый. На такую аудиенцию, которая превращалась в рабочий доклад государю или совещание, приглашались военные и чиновники значительно меньшим числом. Царь проводил этот прием, как правило, в библиотеке, превращенной во «второй кабинет его величества». Здесь стоял, помимо круглого стола, заваленного книгами, огромный бильярд, на котором Николай Александрович продолжал иногда свою партию, безучастно внимая докладам министров.

Всезнающий Монкевиц предупредил по дороге Соколова о том, что кабинет этот сообщается через антресоли с будуаром Александры Федоровны, и императрица, оставаясь никем не видимая, слушает на них особенно интересные сообщения царю. Николай Августович намекнул своему подчиненному, что если он хочет понравиться царице, то должен живописать свой доклад яркими красками и насытить его забавными деталями.

И снова Соколова покоробило неприязненное чувство к Монкевицу, он вспомнил почему-то сразу разговоры о ярых германофильских симпатиях Александры Федоровны, которую вельможи, отставленные от двора по настоянию царицы, презрительно называли «Гессенской мухой». Для себя Алексей Алексеевич решил держаться в строжайших рамках субординации и не проговариваться ни словом об источниках — агентах, которых ненужной откровенностью можно поставить под смертельный удар.

Когда Монкевиц и Соколов, предводительствуемые скороходом, добрались до приемной, здесь уже толпились парадные мундиры. Сразу было трудно понять, то ли они все ждут момента приема государем, то ли уже побывали на аудиенции и теперь просто договаривают светские разговоры с приятелями. Вскоре через приемную проследовали в императорскую библиотеку — кабинет председатель совета министров граф Владимир Николаевич Коковцев, министр иностранных дел Сазонов, министр путей сообщения Рухлов, военный министр Сухомлинов и начальник Генерального штаба Жилинский.

Двое последних ответили полупоклонами на приветствие Монкевица и Соколова, коих были начальниками. Импозантный, но уже стареющий бонвиван, Сухомлинов даже милостиво улыбнулся Соколову, которого знал по службе под своим началом еще в Киевском военном округе как работящего и дельного офицера.

Генерал-адъютанта Сухомлинова сопровождал до приемной немецкий адмирал фон Гинце, состоящий «лично при особе государя» в ранге военно-морского атташе. Гинце, как видно, очень хотелось вместе с министром проскочить в кабинет к государю, но дежурный офицер произвел неуловимый жест перед адмиралом, и тот сделал вид, будто не собирался вовсе пересекать порог царского кабинета, а только провожал своего приятеля Сухомлинова, развлекая его разговором.

Соколов подивился беспардонности этого матерого разведчика, о недавнем пассаже которого в яхт-клубе злословил весь Петербург. Яхт-клуб, как во всякой европейской столице, издавна слу-

жил в Питере прибежищем дипломатов, где они к тому же могли встречаться с чиновной и военной элитой — членами этого в высшей степени респектабельного заведения. Правда, великолепные обеды подавались крупным сановникам Российской империи, собиравшимся в яхт-клубе позлословить и обсудить самые горячие новости, в иной, более поздний час, нежели дипломатам.

Однажды хитроумный фон Гинце, явно в расчете на то, что после парадного обеда из двенадцати блюд, обильно политых вином, господа министры и члены Государственного совета будут менее воздержаны на язык, задержался в столовой зале после дипломатической трапезы и спрятался за каминный экран. Расторопный официант, получавший вдобавок к своему жалованью вознаграждение в корпусе жандармов, приметил хитрость германца. Когда обед был в полном разгаре и гости стали высказываться на щекотливые, а то и запретные тему, официант Петрушка, якобы по неловкости, уронил резной японский экран. Глазам изумленного общества предстал военно-морской атташе дружественной державы, скорчившийся в неудобной позе подле холодного камина. Господа министры были весьма шокированы, однако прожженный шпион, дослужившийся подобными трюками до адмиральского звания, ничуть не смутился. Он сделал вид, что принимает какие-то пилюли, поскольку-де ему после обеда стало нехорошо, затем выпрямился, раскланялся со знакомыми и был таков. Инцидент наделал много шуму в военной среде, молодые морские офицеры даже хотели вызвать шпиона на дуэль, но дело прослышала императрица, вызвала буянов на аудиенцию и умолила их не давать выхода чувствам...

Теперь фон Гинце как ни в чем не бывало отирался в толпе приглашенных на малый прием. Кто находился в других группках сановников, ожидавших вызова в царский кабинет, Соколов не знал, да и особенного интереса не проявлял.

Подле двустворчатой двери, ведшей в царский кабинет, стоял большой письменный стол. Место за ним занимал маленького роста дежурный офицер, командир лейб-гвардии гусарского полка, несшего в ноябре дворцовую службу, сорокапятилетний Свиты генерал-майор Владимир Николаевич Воейков. Монкевиц, перехватив его взгляд, подобострастно раскланялся и потом объяснил Соколову причину своей особенной любезности тем, что вскорости, то есть уже к рождеству, Воейков должен был принять пост дворцового коменданта.

В приемную заглянул неожиданно приятель Соколова, командир конных гренадеров Рооп, про которого вспоминал недавно царь. Будучи уже давно в Петербурге и хорошо зная все хитросплетения придворной военной жизни, он специально решил встретиться с Соколовым накануне столь значительного момента его жизни, как представление императору. Однако генерал был занят по службе и не смог повидать приятеля до Большого приема.

Владимир Рооп и Алексей Соколов отошли в укромный уголок приемной, пока не настанет черед вызова к государю Монкевица и новоиспеченного полковника.

Рооп уже однажды сыграл важную роль в жизни Соколова. Когда-то, закончив, как и Соколов, Академию Генерального штаба, он служил в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа, откуда был назначен военным агентом в Вену. Веселый и беззаботный гвардейский офицер, за которым ходила слава необычайного покорителя женских сердец, Рооп совершенно не производил впечатления того основательного и дотошного штабного работника, предусмотрительного в мелочах и с широким складом мышления, каким был на самом деле. В бытность свою в Вене он, казалось, посвящал все свое время амурным похождениям и нисколько не интересовал по этой причине австрийскую контрразведку. Однако легкомысленный гусар, выпивавший на пари полдюжины шампанского, не пьянея, и служивший притчей во языцех во всех салонах Вены, Будапешта, Праги, был талантливым разведчиком. Он установил самые тесные дружеские отношения со многими офицерами императорского и королевского Генерального штаба в Вене, а знаменитый майор Редль, признанный создатель контрразведывательной службы австрийской императорской армии, конфиденциально состоял в числе его лучших друзей.

Когда Роопу пришла очередь получать полк, он был отозван из Вены в Киевский военный округ и стал командовать белоцерковскими гусарами. Соколову, занимавшемуся изучением австро-венгерской армии в штабе округа, он и передал все свои негласные знакомства в Австро-Венгрии, которые Алексей с его легкой руки продолжал успешно развивать.

Теперь Роопа очень интересовало, как идут дела у его главного венского знакомого, Филимона Стечишина, и он постарался тактично навести разговор на эту тему.

— Филимон работает великолепно, — уловив, куда тот клонит разговор, сообщил другу Соколов. — Теперь у него под началом целая организация чехов, достигших в австрийской армии высоких чинов, но оставшихся в глубине души славянами и борцами за независимость Чехии. Один из этих офицеров — теперь крупный чин в генштабе, а другой твой знакомый, Альфред, получил повышение, стал вторым человеком в Праге — начальником штаба восьмого корпуса.

— Поздравляю тебя, Алексей, ты прекрасно развернул работу в Австрии, — вполголоса одобрил Рооп. — А если у тебя есть еще несколько таких друзей в Дунайской монархии, как Редль, то тогда можно считать, что ты знаешь об австрийской армии почти все.

— Даже если б я знал о ней все, ты всегда будешь знать чуточку больше, — улыбнулся своему другу и коллеге Соколов.

— Не советую тебе только раскрывать здесь источники своей информации, — так же вполголоса промолвил Рооп. — Ты знаешь, наверное, что у нас при дворе очень сильна германская

партия, которая делает ставку на симпатии царицы. Да и наша с тобой старая пассия, Екатерина Викторовна, супруга военного министра, тоже проявляет слишком большую активность в пользу разных там немчиков.

Рооп, прапрадед которого приехал в Россию во времена Петра Великого из Дании, терпеть не мог немцев и особенно не жаловал молодую жену своего бывшего командира Сухомлинова.

— А как она здесь прижилась? — поинтересовался Соколов петербургской судьбой красавицы, вызывавшей восторг всех офицеров Киевского округа, когда она появлялась на балах в офицерском собрании.

— Ты знаешь, свет капризен. И хотя Екатерина Викторовна — супруга генерал-адъютанта, светского гвардейца и военного министра, любимца императора, ее не признают в петербургских салонах из-за того, что она родилась в простой малороссийской семье. Впрочем, зачем я тебе говорю все эти азбучные истины, ведь вы, киевляне, лучше нас, петербуржцев, знаете подноготную этой красавицы. Могу тебе только по секрету сообщить, что, когда Владимир Александрович представил ее государю, красота Сухомлиновой и ее молодость произвели у него такой фурор, что, как говорят злые языки, царь несколько оживился и даже обратил на эту красоту внимание своей супруги. Ну а ты хорошо знаешь, что значит, когда одной женщине, да еще считающей себя красивой, говорят о красоте другой. Вот царица и возненавидела Екатерину Викторовну.

Насмешливый блеск в глазах Роопа погас так же внезапно, как и появился. Он с нескрываемым осуждением довольно громко произнес:

— А вообще, нашему военному министру следовало бы больше думать об укреплении российской армии, а не о светских развлечениях своей молодой жены. Слишком часто ездит он с ней в отпуск в Париж и в Ниццу, забывая, что русскую армию следует готовить к войне, дабы не повторилась Цусима...

Из ближайшей к ним группе ожидающих кто-то обернулся, услышав среди общего негромкого говора какой-то диссонанс. Рооп задумчиво умолк, и Алексей не решился вновь беспокоить его расспросами о петербургской жизни. Он только отметил про себя, что не у него одного вызывают сомнения деловые качества военного министра России.

Приглашенных в передней все убывало. Рооп тоже собирался уходить. Перед прощаньем он позвал друга на вечеринку лейб-гусар в офицерское собрание полка, с командирами которого успел особенно подружиться за годы службы в конногвардейской дивизии, куда входили и лейб-гусары и конногренадеры, Алексей обещал с удовольствием, ежели, разумеется, не задержится нынче вечером здесь, во дворце. Он много слышал о праздниках гвардейцев и был не прочь увидеть воочию их широту и разгул.

Наконец, когда никого из приглашенных, кроме Сухомлинова, Монкевица и Соколова, в приемной не осталось, к этой малень-

кой группе неслышной семенящей походкой истинного царедворца приблизился Воейков и пригласил господ к царю.

19. Царское Село, ноябрь 1912 года

Царский кабинет-бильярдная был несколько темноват. Соколов сначала не разглядел невзрачного полковника, стоявшего подле высокой изразцовой печи, на выступе которой почти вровень с головой царя покоился беломраморный бюст кого-то из его царственных предков.

— Садитесь, господа, — безразличным тоном произнес самодержец и принялся ходить вдоль большого зеленого поля бильярда, на который бросала яркий свет электрическая лампа. Другая лампа светила в круглом шелковом абажуре, низко висящем над круглым библиотечным столом с семью деревянными креслами вокруг него. Среднее из кресел, с более высокой спинкой, занимал, вероятно, сам царь. Справа располагались Сухомлинов и Жилинский, а слева, как бы составляя фракцию гражданских министров, — Коковцев, Сазонов и Рухлов. По виду министров было ясно, что они только что закончили обсуждение какого-то нудного вопроса и теперь готовы перейти к следующему пункту программы.

Невысокие антресоли оставляли мало места под тяжелым потолком мореного дуба. Повсюду на стенах в золоченых тяжелых рамах висели безвкусные картины, перемежавшиеся с семейными царскими фотографиями в золотых тонких рамочках.

Подыскивая слова, точно гимназист, не выучивший урок, Николай Александрович предложил Сухомлинову объяснить присутствующим причину, по которой их всех здесь собрали.

— Господа, мы на пороге... э... кризиса, который... должен сказать... способен вызвать... потрясение основ... Мы должны... в ближайшие дни... а может быть, и часы... точно решить насчет военных приготовлений и... самой мобилизации. Владимир Александрович сейчас все расскажет... — Царю было, видимо, трудно говорить, и он теребил золотой аксельбант на своем красном чекмене. Закончив фразу, он бросил взгляд на антресоли, и Соколов вспомнил, что ему говорил Монкевиц о возможном присутствии государыни на этом совершенно секретном совещании.

Царь обошел бильярдный стол и сел в свое кресло. Он нажал незаметную кнопку звонка под столом. В кабинет скользнул Воейков.

— Карту Балкан, — коротко бросил царь, и через несколько секунд огромная, многометровая карта Балканского полуострова появилась на стене бильярдной. Карта была обработана цветными карандашами, и на ней четко выделялись не только текущие позиции союзников и турок за последнюю неделю, их предыдущие линии и стрелы наступлений, фланговых обходов, но и дислокация войск Киевского и Одесского округов русской армии, расположения дивизий румынской и австро-венгерской армий. Соколов заметил на карте множество неточностей и решил, когда

настанет его момент докладывать, обратить на них внимание самодержавного главнокомандующего.

— Прошу вас, Владимир Александрович, — предоставил слово Николай своему военному министру.

— Ваше величество, — начал Сухомлинов свой доклад, — лично для меня в течение многих лет, а точнее — с 1903 года, совершенно определенно выяснилась вероятность столкновения с Габсбургской монархией. Еще явственнее такая необходимость встала во время аннексии ею Боснии и Герцеговины в 1909 году. Тогда же я убедился, что в случае этого столкновения Германия станет на сторону Габсбургов. Таким образом, ясно обрисовалась цель поддержания нашей боевой готовности.

Генерал-адъютант продолжал размеренным голосом изрекать истины, которые, вероятно, он не только выучил заранее наизусть, но и многократно отрепетировал для того, чтобы произвести впечатление на царя. Из доклада следовало, что масштаб для оборудования вооруженных сил России должен был отвечать не только боевой готовности одной лишь австро-венгерской армии, но и соединенных с нею сил германских армий и флота. Вместе с тем, учитывая союзнические обязательства, которые взяла на себя Франция согласно военной конвенции, российская императорская армия должна быть, по крайней мере, так же сильна, как армия германская. По разработанному проекту приложения к мобилизационному плану «О силах и вероятных планах наших западных противников», проекту, который на днях будет представлен на высочайшее утверждение, предусматриваются два случая.

Случай первый — главные силы Германии будут против Франции, а все силы Австро-Венгрии, кроме сил, выделяемых на Южный фронт, — против России.

Случай второй — главные силы Германии с силами Австро-Венгрии — против России.

В случае первом против России действуют 12—13 корпусов австрийских и 3—6 корпусов германских, против Сербии 3—4 корпуса австрийских.

Во втором случае против России действуют 12—13 корпусов австрийских и 18 корпусов германских.

Сухомлинов продолжал размеренно излагать диспозицию, не поднимая глаз от заранее заготовленной записки, а Николай все так же безучастно глядел пустыми глазами куда-то мимо карты.

— Мы считаем все же, — докладывал военный министр, — что в случае войны Германия направит свой главный удар против Франции, оставив против нас не более трети своих сил — около 300 батальонов. При этом Румыния со своей сотней батальонов выступит на стороне Срединных империй. Итого общая численность австро-германо-румынских войск составит в начале военных действий около 1000—1100 батальонов против наших 1500. Мы предполагаем также, что Италия останется нейтральной или будет связана союзом с Болгарией, а 15-й и 16-й австрий-

ские корпуса, специально подготовленные для войны с Сербией, останутся против наших славянских братьев.

Монотонность генеральского доклада начала действовать усыпляюще на Николая. Он стал позевывать, вежливо прикрывая рот перчаткой. Сухомлинов, ничего не замечая, продолжал:

— Выгоды нашего превосходства в силах значительно ослабляются сроками нашей более длительной мобилизации и сосредоточением к границе значительных войсковых масс. Такое сосредоточение происходит согласно нашей диспозиции на 23-й день, в то время как австрийцы заканчивают свое на 14-й день. Германцы могут осуществить сосредоточение уже на 10-й день.

Царь наконец решился прервать своего военного министра, который, очевидно, изрядно надоел ему изложением основ диспозиции, известных всякому младшему офицеру в Генеральном штабе. Подняв на Сухомлинова пустые глаза, Николай капризно выговорил:

— Владимир Александрович! Я призвал вас всех сюда вовсе не для повторения мобилизационного плана, а для решения вопроса о частичной мобилизации... — При этих словах Сазонов, Коковцев и Рухлов удивленно переглянулись, как будто впервые услышали повестку столь важного совещания. Царь продолжал: — Теперь, когда на Балканах разгорается война, нам необходимо значительно усилить состав войсковых частей, стоящих близ границы. Ведь вы сами вчера, на совещании с командующими войсками Киевского и Варшавского военных округов, предлагали произвести мобилизацию Киевского и подготовить частичную мобилизацию Одесского округов?! Я особенно подчеркиваю, что вопрос идет только о нашем фронте против Австрии, и не имею решительно в виду предпринимать чего-либо против Германии. Наши отношения с ней не оставляют желать ничего лучшего, и я имею основание полагаться на поддержку моего брата императора Вильгельма... Обьясните же не диспозицию вообще, а надобность в мобилизации господам министрам.

— Ваше величество, — поднялся со своего кресла Сухомлинов, — я не имею прибавить ничего к столь ясно выраженным вами мыслям. Тем более все телеграммы о мобилизации уже заготовлены и будут отправлены сегодня же, как только закончится наше совещание.

— Военный министр предполагал распорядиться еще вчера, — сказал Николай, обращаясь к графу Коковцеву, — но я предложил ему обождать еще один день, так как я предпочитаю переговорить с теми министрами, которых полезно предупредить заранее, прежде чем будет отдано распоряжение.

С величайшим изумлением три министра переглядывались друг с другом. Иногда они бросали выразительные взгляды на Сухомлинова, который уселся на свое место как ни в чем не бывало. Видимо, только присутствие государя сдерживало бурное проявление ими чувства ярости в адрес того, кто подготовил за их спиной и согласовал с царем решение такого вопроса, который прямо влиял на судьбы европейской войны или мира.

— Начинайте хотя бы вы, Владимир Николаевич! — обратился царь к Коковцеву.

Тот возбужденно вскочил, но сразу же овладел собой.

— Государь, я прошу заранее извинения, что не смогу, вероятно, найти достаточно сдержанности, чтобы спокойно изложить все то, что так неожиданно встало передо мной. Очевидно, государь, ваши советники — военный министр и два командующих округами — не поняли, в какую беду ввергают они вас и Россию, высказываясь за мобилизацию двух военных округов. Они, очевидно, не разъяснили вам, ваше величество, что толкают страну прямо на войну с Германией и Австрией, не понимая того, что при нынешнем состоянии наших вооруженных сил, которые хорошо известны всем нам, — министр-председатель обвел рукой гражданских министров, — только тот, кто не дает себе отчета в роковых последствиях, может с легким сердцем допускать возможность войны, даже не применив всех мер, способных предотвратить катастрофу...

— Я так же, как и вы, Владимир Николаевич, — перебил Коковцева Николай II, — не допускаю и мысли о войне сейчас. Мы к ней не готовы, и вы очень правильно называете легкомыслием самую мысль о войне. Но речь у нас идет не о войне, а о простой предосторожности для пополнения рядов нашей слабой армии. О том, чтобы приблизить несколько к границе войсковые части, слишком оттянутые назад.

— Государь, но как бы ни смотрели мы сами на проектированные меры, — снова возбужденно вымолвил Коковцев, — мобилизация остается мобилизацией, о ней станет сразу же известно нашим противникам. Они ответят на нее тоже мобилизацией, а может быть, даже и войною, к которой Германия давно готовится и ждет повода начать.

— Вы преувеличиваете, Владимир Николаевич, — снова прервал графа Николай, — я и не думаю мобилизовывать наши части против Германии, с которой мы поддерживаем самые добрососедские отношения. Немцы не вызывают у нас никакой тревоги. Между тем Австрия настроена определенно враждебно и предприняла целый ряд мер против нас, вплоть до явного усиления укреплений Кракова, о чем доносят наши разведчики... — Николай кивнул в сторону Монкевица и Соколова, с чувством плохо скрытого удивления наблюдавших столь эксцентрический способ Сухомлинова и государя решать принципиальные вопросы большой политики.

— Ваше величество, но позвольте высказать основополагающую мысль о том, что невозможно относиться раздельно к Австрии и Германии, — дрожащим от обиды голосом продолжал Коковцев, — поелику обе связаны союзным договором, вылившимся в полное подчинение Австрии Германии. Эти страны полностью солидарны между собой как в общем плане, так и в самых мелких условиях его осуществления. Мобилизуя части нашей армии, мы берем тяжелую ответственность не только перед своей страной, но и перед союзною с нами Францией... Ведь, по наше-

му военному соглашению с Францией, мы не имеем права даже предпринять что-либо, не войдя в предварительное сношение с нашим союзником. Господин Сухомлинов и господа командующие войсками не поняли этого элементарного положения. Действуя подобным образом, они просто разрушают военную конвенцию с нашим союзником, давая Франции право отказаться от исполнения ею обязательств перед нами, коль скоро мы решаемся на такой роковой шаг, не только не условившись с союзником, но даже не предупредив его.

Николай выслушивал взволнованную речь своего министра-председателя молча, ни один мускул не дрогнул на его лице. Сухомлинов выглядел так, словно все сказанное не имело к его личности ни малейшего отношения. Начальник Генерального штаба слушал всю историю с видом полнейшего изумления, и было видно, что его, как и гражданских министров, также обошли в этом вопросе.

Между тем, несколько отдышавшись от клокотавшего в его груди возмущения, Коковцев продолжал:

— Господин военный министр не имел даже права обсуждать такой государственный шаг, как мобилизация, без сношения с министром иностранных дел и со мною, как главою кабинета его величества. Зная личное благородство и честность генерал-адъютантов Иванова и Скалона, которые вчера принимали участие в выработке пагубного решения, я глубоко сожалею, что они не слышат моих разъяснений, ибо уверен, что они разделили бы мои взгляды, как заранее знаю, что их разделяют присутствующие министры.

— А что вы предлагаете для выхода из положения, Владимир Николаевич? — проявил вдруг интерес к предмету обсуждения Николай.

Коковцев размышлял с минуту, а затем его глаза загорелись новой идеей.

— Взамен такой роковой меры, как мобилизация, ваше величество, сделать то, что вполне лежит в вашей власти. Можно воспользоваться той статьею устава о воинской повинности, которая дает право вашему величеству простым указом Сенату задержать на шесть месяцев весь последний срок службы по всей России и этим путем увеличить сразу на четверть состав нашей армии. В практическом отношении от этого получилось бы, что без всякой мобилизации оканчивающие свою службу с 1 января 1913 года нижние чины срока 1909 года оставались бы в рядах до 1 июля 1913 года, а новобранцы, поступившие в части с ноября по январь, поступили бы в строй в феврале, то есть за пять месяцев до отпуска старослужащих. Таким образом, к весне, к самой опасной поре в смысле развязывания противником войны, во всех полках под знаменами были бы пять сроков службы, но никто не имел бы права упрекнуть нас в разжигании войны.

Ваше величество! Не допустите роковой ошибки, последствия которой неисчислимы, потому что мы не готовы к войне, и на-

ши противники об этом прекрасно знают. Не будем играть им в руку, закрывая глаза на суровую действительность! — Коковцев сел в изнеможении и утирая со лба пот.

Николай, казалось, не слышал этого горячего обращения.

— А как определит боеготовность австро-венгерской армии начальник делопроизводства? — вполголоса обратился Николай к Соколову.

Волновавшийся до той поры, как когда-то на экзаменах в академию, Соколов, узнав предмет царского интереса, сразу успокоился и уверенно начал:

— Ваше императорское величество! Позвольте доложить, что австро-венгерская армия как по величине, так и по обученности являет собой весьма серьезного противника. Ее офицерский корпус по специальной военной подготовке вряд ли уступает российскому, хотя острота германо-славянской проблемы, когда большинство населения империи состоит из славян, а большинство офицеров в армии — немцы, значительно ослабляет боеспособность частей. Во главе армии стоит популярный в среде офицерства начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф. Его авторитет признает даже германское офицерство, которое считает его выдающимся военачальником. У фон Гетцендорфа мы нащупали чрезвычайно важное для нас слабое место — со времен командования им дивизией в Тироле Конрад считает себя особым знатоком горной войны, и большее значение он придает итальянскому театру войны по сравнению с галицийским...

Царь вежливо демонстрировал свое внимание полковнику, и Соколову ничего не оставалось, как продолжать экспромтом свой доклад:

— По документальным данным, главным направлением, где уже сейчас, в мирное время, сосредоточиваются австрийские армии, является Восточная Галиция. Главная масса австрийских полков располагается вдоль линии железной дороги Краков — Львов, обращаясь фронтом на север, к стороне Варшавского военного округа.

Дабы доклад сделался нагляднее, Соколов обогнул бильярд, остановился у карты и продолжал, водя подвернувшейся указкой по просторам огромного полотнища.

— Как мы полагаем, такой район сосредоточения австрийских армий выбран под давлением германского Генерального штаба, опасающегося за Восточную Пруссию и желающего всеми силами предохранить ее от развертывания русских армий. В силу подобной концентрации австро-венгерских войск можно сделать вывод, что главное направление, которое избрали германцы для начала войны, — на Францию. Германская армия мнит французов своим главным и опаснейшим противником, против коего направляет полуторамиллионную армию, могущую сформироваться уже на десятый день мобилизации. Доктрина германского Большого Генерального штаба, как нам известно, рассчитывает на быстрый разгром Франции и обращение затем всеми силами

против России. При этом учитывается относительная длительность нашей мобилизации.

— Э... интересно, полковник, — промямлил царь, теребя аксельбант, — расскажите-ка нам теперь о недостатках австрийской армии... поподробнее...

Служба в штабе Киевского военного округа на австро-венгерском направлении много дала Соколову. Он не только изучал вероятного противника, стоявшего против России на юго-западной границе, по ориентировкам Главного штаба и донесениям военных атташе, но и сам обзавелся важными агентами в Вене, Праге и Будапеште, регулярно встречался с ними то в Италии под видом изучения памятников старины, то в Карлсбаде под видом лечения на водах, то в Швейцарии, выдавая себя за туриста.

Теперь же, приняв австро-венгерское делопроизводство Генерального штаба, он через посредство штаба Киевского военного округа, российских официальных военных и негласных агентов досконально знал армию Австро-Венгрии, ее сильные и слабые стороны, численный состав и вооружение, дислокацию и основные планы, в том числе мобилизационный и расположения соединений в предвоенный период.

— Армия Австро-Венгерской империи, хотя и сильный противник, но не является передовой по сравнению с нашей армией ни в отношении организации и обученности, ни по своей технике, — начал Соколов. — Она состоит из трех главных частей: общей армии для обеих основных половин государства — содержится на общий бюджет монархии, — австрийского ландвера с его ландштурмом и венгерского ландвера, называемого гонвед, в состав коего входит также ландштурм. Эти особые формирования для Австрии и Венгрии содержатся на средства каждой из половин государства. По обученности ландвер слабее общей армии, а ландштурм — даже слабее ландвера. Служба во всех трех частях армии установлена в 12 лет: два года под знаменами (для кавалерии и артиллерии — 3 года), 8 и соответственно 7 лет в резерве общей армии и 2 года в резерве обоих ландверов. При общем населении империи в 45 миллионов человек мы исчисляем ежегодный призыв в полмиллиона человек. Численность армии согласно полученному нами тексту закона нынешнего года должна быть в военное время четыре с половиной миллиона человек. К числу крупных недостатков австро-венгерской армии относится слабое оснащение воздушными силами по сравнению с другими европейскими армиями и нашей армией. Дирижабли и аэропланы появились у австрийцев только в 1909 году.

Артиллерия Австро-Венгрии находится теперь в переходном периоде, главный недостаток — бронзовые орудия сохраняются повсеместно. Артиллерия, кроме того, малочисленна, особенно тяжелая.

Затем Соколов перешел к главному, принципиальному недостатку австро-венгерской армии, проистекавшему из так называемой «лоскутности» всей монархии, объединившей под короной Габсбургов земли многих балканских народов.

— Армия нашего вероятного противника на юго-западе — единственная в своем роде по национальному составу. Еще Наполеон утверждал, что это является слабой стороной воинских формирований. Так, процентный состав армии Австро-Венгрии по национальностям следующий: немцев, то есть австрийцев, — 29 процентов, или меньше одной трети, славян — 47 процентов, или почти половина, мадьяр — 18 процентов, румын — 5 процентов и итальянцев — один процент. Сильнейшими частями являются мадьярские. Корпус офицеров, несмотря на многонациональный состав, хорошо обучен и превосходит в этом даже своих союзников — прусское офицерство. Командный язык всей армии — немецкий, но обучение ведется в национальных полках на родном языке...

— Спасибо, полковник! — прервал доклад Соколова Николай и обратился к министру иностранных дел Сазонову.

— Сергей Дмитриевич, а каково ваше мнение по вопросу о мобилизации?

Сазонов проворно поднялся со своего места.

— Полагаю, ваше величество, что граф Коковцев прав вполне. Я сам был просто уничтожен здесь, когда узнал о готовящейся катастрофе. Удивительно, как Владимир Александрович (он посмотрел в сторону Сухомлинова) не учел, что мы и прав-то не имеем на такую меру без соглашения с нашими союзниками, даже если бы мы и были готовы к войне, а не только теперь, когда мы к ней совершенно не готовы...

Затем царь предоставил слово Рухлову. Министр путей сообщения горячо поддержал министра-председателя, но с одной оговоркой.

— Я не разделяю вообще мрачного взгляда на состояние нашей обороны, — заявил Рухлов, — ибо никогда и ни одна страна не бывает полностью готова к войне. Но браться за мобилизацию сейчас весьма опасно как с точки зрения провоцирования Австрии и Германии, так и с точки зрения перевозки больших масс новобранцев. Гораздо спокойнее оставить под знаменами на полгода старослужащих и приготовиться таким образом к неожиданностям.

Николай поблагодарил кивком головы министра, а затем обратился к Сухомлинову с просьбой высказать его мнение. Присутствующие затаили дыхание, ожидая, как сможет военный министр совместить свою точку зрения с противоположными ей у других министров. Но он и не думал совмещать, а просто переменил ее.

— Я тоже согласен с мнением председателя совета и прошу разрешения послать телеграммы генералам Иванову и Скалону, что мобилизации проводить не следует, — сказал Сухомлинов.

На антресолях прозвучал легчайший, почти неслышный вздох облегчения, словно это было дуновение ветерка. Все невольно подняли глаза туда, где тень сгущалась под темным потолком, но ни одного движения не донеслось более оттуда.

Царь, не вставая, ответил военному министру: «Конечно!», а

затем поднялся, показывая, что совещание заканчивается. Все встали. Подавая руку сначала Коковцеву, Николай ласково сказал ему:

— Вы можете быть совсем довольны таким решением, а я им больше вашего.

После этого он оборотился к Сухомлинову:

— И вы должны быть очень благодарны Владимиру Николаевичу, так как спокойно можете ехать за границу.

Когда вышли в приемную, где уже никого из мимолетных посетителей не было, министры, не смущаясь присутствием офицеров, проявили свою озадаченность последними словами императора. Коковцев тут же спросил Сухомлинова, о каком его отъезде упомянул государь.

Снова общее удивление вспыхнуло, как и в начале совещания. Как будто не замечая ничего, Сухомлинов самым естественным и спокойным тоном ответствовал: «Моя жена за границей, и я хочу поехать на несколько дней навестить ее».

— Владимир Александрович! Каким же образом вы, предполагая мобилизацию, — с нажимом начал Коковцев, — могли решиться на отъезд, да еще и за границу?!

— Что за беда, — без тени смущения ответил военный министр, — мобилизацию ведь я буду проводить не своими руками, а пока все распоряжения приводятся в исполнение, я всегда успел бы вернуться в Петербург. Я и не предполагал отсутствовать более двух-трех недель, — успокаивал он расстроенных его легкомыслием государственных деятелей.

Сазонов не смог сдержать своего возмущения. Не стесняясь присутствием офицеров — подчиненных Сухомлинова, он обратился к нему с резкими словами:

— Неужели вы не понимаете, куда вы чуть не завели Россию?! Вам совсем не стыдно играть судьбою государя и своей родины! Неужели ваша совесть не подсказывает вам, что, не решись государь позвать нас сегодня и не дай он нам возможность поправить то, что вы чуть не наделали, ваше легкомыслие было бы уже непоправимо?! А вы тем временем даже собирались уезжать за границу!

Сухомлинов оглядел своего нового оппонента ясными детскими глазами и пролепетал:

— А кто же, как не я, предложил его величеству собрать вас сегодня на совещание после Большого приема? Если бы я не нашел это нужным, мобилизация была бы уже начата, и в этом не было бы никакой беды; все равно войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше. Государь и я верим в нашу славную армию. Неготовность ее к войне — заблуждение разных штатских людей, а мы знаем, что из войны выйдет только одно хорошее для нас...

К спорящим подошел Воейков и, перебив Сухомлинова, пригласил министров отобедать во дворце. Из вежливости он обратился с тем же к Монкевицу с его спутником, но оба пережили такие неприятные минуты, что дружно отказались.

— Тогда, если хотите, господа, — предложил Воейков, — в вашем распоряжении у подъезда ландо, которое доставит вас в Петербург...

Воейков небрежно протянул Монкевицу и Соколову твердую ладонь рубаки-кавалериста и повернулся на каблуках к своему столу.

Тот же самый скороход повел гостей в гардеробную по коридорам, где несли службу лейб-гусары.

...Тяжелые серые тучи дышали холодом, грозили вот-вот пролиться дождем. Соколов, проводив Монкевица до ландо, попрощался с генералом и решил немного пройтись пешком, дабы привести в порядок мысли, широко разбежавшиеся после совещания у царя. Он двинулся в сторону казарм конногренадеров, где у Роопа была служебная квартира.

20. Царское Село, ноябрь 1912 года

Вечер еще только начинался, когда Соколов и Рооп вошли под своды громадного и неуютного Белого зала офицерского собрания лейб-гусарского его величества полка. Электричество светило вполсилы в огромных золоченых люстрах, вокруг круглых закусочных столов, уставленных снедью и водками различных настоев и цветов, почти все места были свободны. Только несколько офицеров-гусар неторопливо начинали свой ужин, который должен был перейти вскорости в полковой праздник.

Громоздкое, витиеватой архитектуры здание офицерского собрания было построено совсем недавно по личному распоряжению государя. Николай II, будучи наследником престола, командовал эскадроном в этом гусарском полку и особенно любил бывать здесь теперь не только в дни полкового праздника, но и в будни. Именно по этой причине великий князь Николай Николаевич, бывший командиром полка во время службы в нем племянника, а теперь высочайшим шефом лейб-гусар, никогда не занимал в собрании председательского места, ожидая в любую минуту появления государя.

Старого гвардейца Роопа и его друга, про которого уже были наслышаны в кавалерийских кругах из-за его блестящей победы в весеннем конкур-иппике, горячо приветствовали старшие офицеры полка, вышедшие специально для этого из бильярдной. Старик артельщик, хорошо знакомый с привычками гусар, появился как из-под земли с золотым подносом, уставленным серебряными чарочками. Первую, как всегда, выпили за здоровье государя, повернувшись лицом к его портрету, писанному в форме лейб-гусар. Закусили грибками отменного засола, и Рооп представил своего друга, благоразумно не уточняя род работы Соколова в Генштабе.

Родовитые дворяне, составлявшие цвет офицерства полков конной гвардии, воспитанные в традициях рыцарского благородства и стерильных понятий о чести офицера, могли бы и не по-

нять деликатного характера нынешней профессии Соколова и осудили бы его, несмотря на то, что сами с издевкой и презрением отзывались о немцах и австрияках.

Зала быстро наполнялась офицерами. Большинство из них были, как и Соколов, в парадной форме, поскольку как раз в этом месяце на долю полка выпало нести дворцовую службу. В люстрах дали полный свет, гусары стали занимать места за длинным столом, с шумом и весельем переговариваясь и приветствуя сослуживцев. Стол офицерской артели лейб-гусар производил на гостя, видевшего его в первый раз, незабываемое впечатление. Он был уставлен от края и до края шеренгой серебряных кубков, ваз, блюд, кувшинов и других уникальных произведений ювелиров, завоеванных офицерами в виде призов на скачках, в стрелковых состязаниях или дарственных полку состоятельными его запасниками. Здесь существовал обычай: новоиспеченному гвардейскому офицеру вносить стоимость своего прибора из серебра, который заказывался с выгравированным его именем ювелирной фирме Фаберже. Свыше трехсот таких именных приборов лежали у белоснежных фарфоровых тарелок с шифром полка. Серебро и фарфор блестели в ярком свете электричества так, что глаза ломило. Командир полка Воейков появился после всех из боковой двери, окинул быстрым взглядом собравшихся в зале и с большим достоинством занял место во главе стола, по правую руку от председательского кресла, украшенного царским вензелем.

В зал вошел хор трубачей под командой капельмейстера, одетого в отличие от гусар в мундир чиновника военного ведомства и не считавшегося никем в гвардии собратом-офицером. По знаку дирижера хор грянул увертюру «Славься, славься!» из оперы Глинки «Жизнь за царя», и гусары встали в едином порыве. Снова, но уже все вместе, провозгласили здравицу императору, и зазвенели шпорами и орденами, поворачиваясь к портрету самодержца. Как почетных гостей и представителей родственных по оружию полков Роопа и Соколова посадили поблизости от командира, в отдалении от полковой молодежи, где веселье было более искренним и непосредственным.

Второй тост подняли также по традиции за наследника цесаревича.

Осушив свою чарку, Рооп наклонился к своему другу и проговорил ему прямо в ухо, чтобы было слышно даже через нестройное, но громкое «ура!»:

— Если бы болезнь наследника уменьшалась в обратной пропорции к выпитому здесь за его здоровье, то гемофилия Алексея испарилась бы в один миг!

Многоголосый шум неожиданно прервал резкий аккорд трубачей. В зал входил государь. Завсегдатай офицерского собрания лейб-гусар, Николай Александрович, разумеется, не мог не прийти сюда в день полкового праздника. Его сопровождал великий князь Николай Николаевич. Лукавый был, как и царь, в парадной форме лейб-гусар и уже несколько навеселе.

Артельщики быстро поменяли маленькие водочные стопки на более емкую посудину для шампанского, внесли в серебряных жбанах со льдом бутылки этого любимого царем и гусарами напитка. Не обмолвясь ни с кем ни словом, царь встал у председательского места и молча поднял стакан с шипучим вином. Он осушил его одним духом и так же молча сел на свое место. Лукавый последовал его примеру, только свою склянку с шампанским опрокинул еще быстрее, чем царь.

Веселье в высочайшем присутствии поначалу перестало клеиться. Хор трубачей уже не мог развлечь господ офицеров, и Воейков скомандовал призвать песенников. Праздник продолжался по традиционному ритуалу.

Стройным шагом в зал вошли песенники. То были и рядовые гусары, и усачи унтер-офицеры, и два-три новобранца, отличившихся в казарме своими ладными голосами так, что их сразу же допустили перед светлые очи батюшки-царя и господ офицеров. Грянула полковая песня.

Соколов с интересом оглядывал собравшихся за столом, надеясь найти знакомые лица. Он представлял себе, что служба в лейб-гвардии гусарском полку, стоявшем в самой императорской резиденции — Царском Селе, требовала от офицеров не столько обширных знаний кавалерийской тактики и стратегии, организаторских и командирских талантов, сколько большого состояния. Про офицеров первых гвардейских полков вся остальная армия хорошо знала, что своего жалованья они никогда не видят — оно все идет в полковую офицерскую артель, на букеты императрице и великим княжнам по случаю их именин, на подарки пасхальные и рождественские государю, на пособия старослужащим или вышедшим в отставку унтер-офицерам, на постройку церкви, на жетоны уходящим из полка офицерам и многое-многое другое. Служба в гвардии не давала офицеру ничего, кроме славы, знакомства с сильными мира сего и возможности обделывать в полковых собраниях миллионные дела с бывшими сослуживцами, составляющими высший класс общества, сливки торговли и промышленности. Знакомый со многими лейб-гусарами по совместным кавалерийским маневрам или учебе в академии, Соколов почти не увидел за столом знакомых лиц. Многие из его коллег покинули полк, не выдержав разорительной службы, а иные, наоборот, сделали на своих гвардейских знакомствах капитал и ушли в отставку, дабы приумножать его без помех от строевых забот и ответственности.

Полковая песня закончилась, стали петь эскадронные. Песенники, пропустив по стопочке поднесенной офицерами водки, затянули песню первого эскадрона «Ты слышишь, товарищ, тревогу трубят!».

Под шум начинавших веселеть голосов старый петербуржец и гвардеец Рооп просвещал своего друга-провинциала по части историй, которыми славились лейб-гусары. Для начала он обратил внимание Соколова на Лукавого, место которого за столом было самым почетным после председательского — слева от царя. Дол-

говязый и худой старик, чей взбалмошный характер и пристрастие к алкоголю были ярко выражены в глазах и на лице, пропускал чарку за чаркой, оставаясь, как это и подобает гусару, на одном — довольно осмысленном еще — уровне опьянения.

Полушепотом, дабы не обидеть хозяев, с гусарским темпераментом обсуждавших свои дела, Рооп поведал Соколову:

— Разве теперь гусары пьют?! Это только невинные забавы по сравнению с тем, что было, когда Лукавый командовал полком! Представь, Алеша, когда я служил в Царском Селе еще до академии, то был свидетелем такого случая...

Рооп поудобнее откинулся на массивном стуле и вновь приблизил свое лицо к Соколову. Говорил он полушепотом, иногда растягивал рот в любезной улыбке, когда ловил взгляд кого-либо из собутыльников, поднимавших в этот момент стопку в его честь.

Пьянство лейб-гусар всегда носило в гвардейском корпусе легендарный характер. Однажды весной, после больших майских маневров, Роопа пригласили на эскадронный праздник в полковое собрание. Тогда этого пышного дворца еще не было, а был старинный особняк. Пили три дня и три ночи подряд и допились до галлюцинаций. Роопа разморило много раньше, чем молодцов-гусар, артельщики отнесли его куда-то в бельэтаж, и он забылся в кошмарном сне. Пробудился он среди ночи от волчьего воя. Не сообразил сначала, думал, что в лес попал. Потом выглянул в окно. Оказалось, что Лукавый и его бравые офицеры пришли в такое состояние, что им стало казаться уже, что не люди они, а волки. Сбросив свои мундиры и оставшись в чем мама родила, они скакали по улице, к счастью, в это время пустынной, а затем присели, словно собаки, оперпшись на руки, словно передние лапы, подняли к луне свои пьяные головы и завыли по-волчьи. Буфетчик, наверное, уже знал, что в таких случаях следует делать. Он вынес на крыльцо большую серебряную лохань, налил ее то ли водкой, то ли шампанским, и вся стая устремилась на четвереньках к тазу. Здесь компания принялась языками лакать вино, визжа и кусаясь...

Соколов засмеялся и с сомнением покачал головой.

— Ну вот, не веришь, — с обидой протянул Рооп, — а все Царское Село знает про такие попойки лейб-гусар.

Еще больше снизив голос, он прошептал, кивнув в сторону Лукавого:

— А то, что великого князя много раз снимали сильно запьяневшим и в голом виде с крыши его собственного дома, это ты тоже не знаешь?!

— Про это я слыхал, — согласился Соколов, — у нас в Киеве рассказывали про его визит во Францию, когда он, изрядно набравшись на приеме в его честь, отправился обозревать Париж с Эйфелевой башни. Говорили, что он до ужаса напугал хозяев, когда вскарабкался на флагшток, укрепленный на самой макушке башни, и исполнил на нем первый куплет гимна «Боже, царя храни!»...

Снова грянул хор трубачей, соревнуясь с песенниками. Государь по-прежнему молча, ни на кого не глядя, но вместе со всеми тянул шампанское. Великий князь что-то доказывал о кавалерийских кунштюках своему визави Воейкову, застолье явно оживилось.

Невозмутимый, словно в начале вечера, Рооп продолжал излагать подоплеку многих петербургских событий, связанных с собранием лейб-гусар.

— Ты видишь, Алеша, как упорно молчит его величество? Знай же, если ты сейчас сможешь его разговорить и понравиться ему, то завтра же станешь свитским генералом и получишь хорошую должность... Вот возьми нашего с тобой общего знакомца еще по Киеву — генерала Жилинского. Старая лиса так вертела хвостом перед государем, что сейчас и попала в случай. Уволили Федю Палицына от должности начальника Генерального штаба и сделали Жилинского вместо него. Так же и Сухомлинов. Удивляюсь, почему его сегодня здесь не видно, знает ведь, что полковой праздник у лейб-гусар, мог бы и прийти, тем более что любит щеголять в гусарской форме. Наверное, его Екатерина Викторовна опять закапризничала... И чего только не пропустишь, лишь бы угодить молодой жене, — съязвил Рооп в адрес военного министра, которого явно недолюбливал.

Шум в зале еще больше усилился, и Соколов с изумлением увидел, как песенники подняли на руки сразу трех офицеров и те один за другим принялись осушать наверху свои бокалы шампанского и говорить друг другу речи. Слов, правда, было не разобрать из-за общего разговора на громких тонах, возбужденных алкоголем, но зрелище было впечатляющим. Наконец офицеры довольно прославили друг друга и свои эскадроны, прозвучала команда «на ноги!», и песенникам поднесли их очередную чарку. Кое-кто из господ офицеров стал перемещаться от стола в бильярдную, не смея до отхода из залы командира полка или особого разрешения царя покинуть офицерское собрание.

21. Царское Село, ноябрь 1912 года

Веселье продолжалось. На гостей, в числе которых были Соколов и Рооп, никто уже не обращал внимания. Они могли наговориться у стола всласть, наблюдая в то же время, как медленно розовеет лицо государя, молча тянущего свое шампанское.

— Как твои успехи против австрийцев? — поинтересовался Рооп снова, как давеча в приемной у Воейкова. — Есть ли контакт с моими бывшими венскими друзьями? Погоди, погоди, не отвечай... Хочу сначала дать тебе пару советов по поводу ведения твоих дел в Генштабе. Знай, Алеша, что здесь, в Петербурге, полно немецких благожелателей. Пуще глаза берегись, чтобы тебя не затащили в салон графини Кляйнмихель. У старухи собираются по пятницам государственные лица и дипломаты. Слово, сказанное там, с первой же почтой становится известно им-

ператору Вильгельму. В равной степени берегись, — генерал свиты его величества понизил голос до самого неслышного шепота, хотя в зале стоял такой гул, что через него еле пробивался голос песенников, — берегись ссылаться на своих агентов в докладах военному министру. Шифруй их как можешь, но упаси бог, если их настоящие имена пронюхает пройдоха Альтшиллер или кто-нибудь другой, близкий к супруге министра...

— Не тот ли это мелкий лавочник, который втерся к Сухомлинову в доверие, когда наш генерал служил в Киеве? — поинтересовался Соколов.

— Именно тот! Только теперь он уже пишет на своих визитных карточках, что он банкир и фабрикант, а сам лезет к любому офицеру, у которого есть за душой хоть какой-нибудь секрет.

— А куда смотрят жандармы?!

— Они смотрят в руку господина министра, а иногда — в ридикюль его красавицы жены! — мрачно пошутил Рооп.

— Мне не грозит вращение в столь высоких сферах, — скромно отговорился Алексей, однако снова, как и в начале дня, сделал для себя кое-какие выводы из доброжелательного сообщения друга.

— Ты учти, учти, — глухим шепотом продолжал тот предостерегать Соколова от подводных петербургских камней, — наша государыня регулярно переписывается со своей родней в Гессене, а родня-то и доносит германскому Генеральному штабу через императора Вильгельма все, что есть ценного со стратегической точки зрения в эпистолярных произведениях царицы. Не удивляйся, но в перехваченных германских или австрийских документах ты наверняка уже встречал упоминания о высокой особе, только не знал, что к чему. Так вот, я тебе раскрою глаза кое на что. В придворных кругах приняты клички, почти как в охранке... Ее называют «мама», а батюшку-царя — «папа». Это все к тому, чтобы ты лучше ориентировался в том, что следует, а чего не следует говорить «папе», даже если он специально спрашивает об этом, — уточнил Рооп. Он был уже немного пьян, поэтому с совершенной легкостью изрекал такие вещи, которые можно было услышать лишь от очень осведомленных людей из царского окружения. — ...Есть еще и «гневная» — так в царском семействе называют вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Она терпеть не может «Гессенскую муху», то бишь царицу, и всячески старается ей насолить. Тут не только патология отношений между свекровью и снохой, но и чисто политические причины...

Соколов сделал весьма заинтересованное выражение лица, и Рооп с удовольствием поведал интимную историю российского самодержца, который в последние годы своего царствования жил в атмосфере родственных склок и семейных неурядиц. От этих домашних скандалов Николай все чаще и чаще отключался в офицерском собрании лейб-гусар или других царскосельских гвар-

дейских полков при помощи зеленого змия и бесшабашного разгула.

— Николай Александрович, — время от времени предусмотрительно оглядываясь вокруг, шептал Рооп, — женился позднее принятого для престолонаследников возраста. Ему было двадцать шесть лет, когда в исключительных обстоятельствах, чуть ли не на другой день после похорон отца, пришлось ему вести под венец невесту, принцессу гессен-дармштадтскую Алису, внучку английской королевы Виктории. Принцесса, как ты помнишь, была уже известна при русском дворе. Ее отец, великий герцог, к тому времени имел в Петербурге зятя в лице великого князя Сергея, женатого на старшей сестре Алисы. Естественно, Алиса частенько гостила у сестрицы, а старый герцог таил надежду, что она может претендовать на руку Николая, который тогда не был наследником, поскольку был еще жив старший сын Александра III — Георгий. Хотя Алиса тогда была очень красива и могла бы составить пару Николаю, его мать Мария Федоровна, как настоящая датская хозяйка дома, имела всегда перевес в семейных делах и расстроила сватовство. Алиса не понравилась ей, как мне передавали надежные люди, своей холодностью и замкнутостью. К тому же Николай тогда был крайне увлечен одной балериной, которую затем, вскоре после женитьбы, «передал» своему дяде — великому князю Сергею Михайловичу...

— Постой, постой, — перебил друга Соколов. — Ты имеешь в виду Матильду Кшесинскую? Но ведь мне говорили, что она обольстительница другого великого князя — Андрея Владимировича.

— Тебе правильно говорили, — отозвался Рооп. — Проворная Матильда уже занята третьим венценосным воздыхателем подряд, и все из семьи Романовых... Но вернемся к истории Алисы. Она не солоно хлебавши вынуждена была после неудачного сватовства вернуться в свой Дармштадт, туда, где владетельный дом ее родителей не пользовался хорошей славой. Известно, например, что все дети герцога, ставшего тестем нашего императора, отличались от остальной немецкой родни странным нравом.

Рооп и Соколов вновь осушили бокалы, которые тотчас наполнил артельщик, и, когда бородатый унтер отошел на приличное расстояние, генерал продолжал:

— Нет сомненья, что молчаливая Алиса затаила в своем сердце обиду на ныне вдовствующую императрицу. Представляешь, с каким торжеством она приняла новое сватовство Николая, незадолго до смерти Александра III. Правда, сватовство носило уже характер такого предложения, когда Алису брали за неимением лучших невест. Но она и не раздумывала — согласие дала сразу. Еще бы, терять было нечего — безвестность и нищета захудалого провинциального германского двора или миллионы и блеск русской императрицы...

— Да, да, я даже помню строки манифеста о женитьбе государя, — оживился Соколов. Он с детства обладал уникальной памятью, и теперь ему не стоило никакого труда процитиро-

вать: — «Посреди скорбного испытания, которое нам послано по неисповедимым судьбам всевышнего, веруем со всем народом нашим, что душа возлюбленного родителя нашего в сердцах небесных благословила избранную по сердцу Его и нашему разделять с нами верующего и любящею душою непрестанные заботы о благе и преуспеянии нашего отечества». Аминь! — добавил от себя Соколов и уточнил: — 21 октября 1894 года.

— Браво, полковник! У тебя опасная память! — удивился генерал. — Что же касательно манифеста, то он был, видит бог, не совсем грамотным и весьма казенным. А Алиса, войдя в дом Романовых, начала с того, что весьма непочтительно стала обращаться с вдовствующей императрицей. Превратившись в Александру Федоровну после крещения в православие, Алиса принялась бороться за влияние на ца я с его матерь — Марией Федоровной... Конечно, Мария Федоровна ей спуску не дает, а вместе с ней и все ее придворные...

Соколов слушал своего старого друга с величайшим изу лением. Он помнил его дисциплинированным, исполнительным офицером, верным слугой царю-батюшке и опорой трона в бытность его командиром гусарского полка в Белой Церкви, блестящим штабным офицером Киевского военного округа, военным агентом в Вене, весьма корректно исполнявшим свои обязанности и вступавшим в деловые контакты даже с заграничными филерами охранного отделения, если это требовалось обстановкой или доставляло какую-либо оригинальную информацию. А здесь, в присутствии царя, под неистово звучавшие здравицы в честь императора и его родни, под верноподданнический рев пьяных голосов, старавшихся перекричать друг друга в провозглашении славы царю, генерал гвардии изрекал мысли, каких нельзя было прочитать в самом крамольном листке. Видимо, в душе друга, уже много лет наблюдавшего изнутри весь этот прогнивший придворный мир, так горько накипело, видимо, он нагляделся таких возмутительных бесчестий и недомыслия, мрачной глупости и политического мотовства, что не мог уже более сдерживаться и под видом введения Алексея в курс петербургской жизни решил излить всю накипевшую горечь.

Сам Соколов пока не мог еще с той же степенью критичности относиться к столь высоким сферам. Несмотря на определенные сдвиги в сознании, происшедшие у него под влиянием видимых ему неурядиц и главным образом в результате бесед с большевиком-инженером, Алексей все еще оставался простодушным слугой царствующего дома, на верность коему приносил присягу. Он пока не сомневался в божественном происхождении самодержавия, был готов отдать жизнь за государя императора, и все подобные беседе с Роопом разговоры вызывали у него двойственное чувство — с одной стороны, горькое понима.ние растленности и порочности придворной верхушки, а с другой — щемящее желание защитить честь батюшки-царя и достоинство матушки-царицы. Ему хотелось и прервать излияния Роопа, и слушать его дольше и дольше, испытывая при этом почти физическую тоску.

К счастью для него, Роопа отвлекли на минуту соседи по столу, а когда он вновь повернулся к Соколову, старший артельщик вызвал всеобщий восторг и внимание тем, что принес большой жбан для варения гусарской жженки.

С весельем и прибаутками наполняли гусары сосуд коньяком, шампанским, специями, разжигали спиртовку. Погасло электричество. Лишь несколько свечей на весь зал и синий пламень жженки освещали смуглые усатые лица гусар, отблеск огня играл в глазах бородатых песенников и трубачей. Офицеры хором запели песню Дениса Давыдова, поэта и гусара, прославленного партизана Отечественной войны:

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные?
Председатели бесед,
Собутыльники седые!..

Там, где пелось о Жомини, гусары, сидевшие вкруг Роопа и Соколова, известных здесь тем, что оба кончали Академию Генерального штаба, кою основал генерал Жомини, захохотали, полезли чокаться с гостями и специально для них повторили хором последний куплет гусарского гимна.

Жженка удалась, огромный жбан опустел в несколько минут. Царь продолжал сидеть за столом. Великий князь о чем-то заспорил теперь с государем, но предмет их спора не был слышим из-за громкого шума голосов, еще более разгоряченных жженкой.

Часы пробили полночь. Вновь дали полный свет в электрические люстры, к столу подоспела большая группа офицеров, только что сдавших дежурство кавалергардам. Они принесли с собой неистраченный заряд веселья и новый круг уже выпитых тостов. Царь и Воейков держались вполне свободно, как будто и не участвовали до сих пор в питейной гусарской баталии. Лишь деревянные застывшие глаза Николая Романова наводили на мысль, что царь нагрузился основательно.

Рооп снова заговорил полушепотом, вовлекая друга в беседу. С него словно слетел хмель, и он вновь был свеж и бодр.

— Ты знаешь, я хотя и получил полк, о котором давно мечтал, и служба в Петербурге совсем не тяжела по сравнению с Киевом или Белой Церковью, но что-то все чаще вспоминаю свои венские годы. Эх, был я тогда молод, все силы отдавал нашему делу. Самое благостное, самое яркое времечко в моей жизни. Бог весть, доведется ль еще пожить так вольготно... — Рооп задумался, отсвет улыбки блуждал на его устах, он как будто бы слышал тихую музыку из тех, иных, растаявших, как дым, времен.

— Твои связи мне хорошо пригодились в Вене, — поддержал друга Соколов. — Особенно успешно работают две группы агентов-чехов — одна в Вене, а другая — ее фактический руководитель твой Альфред — в Праге, в штабе 8-го корпуса. Он мне недавно очень помог, когда я служил еще в Киеве. Австрияки чуть было меня не провели за нос...

— Расскажи, Алеша, если можешь, конечно, — попросил Рооп, заметно оживившись.

— Такому старому руководителю негласной агентуры, как ты, конечно, можно. Еще совет какой-нибудь полезный дашь... — пошутил Соколов.

Застолье шумело и веселилось, шампанское по случаю полкового праздника лилось рекой, сосед мог слышать в этом гаме только соседа, да и то ежели почти кричать друг другу.

Соколов начал свой рассказ:

— Как ты знаешь, агентурное отделение венского Генерального штаба до недавнего времени возглавлял полковник Евгений Гордличка. Как казалось моим доверенным людям в Вене, прежде всего Филимонову, которого ты рекомендовал мне, а также другим чехам из его группы, — полковник внутренне симпатизировал славянской идее, хотя и не давал повода нам или сербским коллегам искать к нему подходы... Нам, впрочем, было вполне достаточно, что Гордличка не проявлял особого рвения в разведке против России и других славянских стран, хотя это иной раз и навлекало на него гнев немецких коллег. В конце концов они его и съели — Гордличка получил под командование бригаду, а на его место в Эвиденцбюро посадили небезызвестного тебе Макса Ронге — германца до мозга костей и, естественно, ненавистника России. Как только он приступил к новой работе — а до этого он возглавлял агентурное отделение Эвиденцбюро, — Альфред сообщил мне по надежным каналам, что что-то готовится против нашей службы в Киеве. Мы, естественно, удвоили внимание, но ничего серьезного не попадалось. Потом мы потихоньку остыли и продолжали работать, как и прежде...

Соколову пришлось на время прерваться потому, что лейб-гусары вновь стали возглашать тосты за гостей. Первым снова пришлось поднимать чарочку Роопу, а затем дошел черед и до Соколова. Его визави, могучего сложения лейб-гусар в чине ротмистра, поднял свой стакан с шампанским и сказал спокойно, но таким крепким басом, что легко перекрыл шум в зале:

— За литовских гусар, коих представляет на нашем празднике лихой наездник Соколов! Ура!

— Ура! — дружно, как на параде, прогремело под сводами. Соколов, повинуясь традиции, вышел на середину зала. Он испил до дна чарку, поданную артельщиком, и его дружно подхватили песенники. Поднятый на высоту человеческого роста, он как-то по-новому увидел весь этот большой, наполненный угаром веселья зал, увидел застывшую фигурку царя в конце стола и долговязого Лукавого подле него, увидел и приветливые, и пустые, и внимательные, и ласковые глаза гвардейских гусар, дружно провозгласивших славу его любимому полку и ему самому. Теплое чувство товарищества, дружбы, кавалерийской общности захватило его душу. Соколову подали чарку шампанского, и со слезами на глазах от прихлынувшей радости и благодарности товарищам по оружию он осушил ее.

Солдаты бережно опустили офицера на паркет, и Соколов

вновь мог отдаться дружеской беседе с Роопом. Чтобы тостами не прерывалась нить повествования, столичный житель и знаток всех светских петербургских правил Рооп предложил перейти в бильярдную.

22. Царское Село, ноябрь 1912 года

В полутемной бильярдной было уютно и почти пустынно. Только за двумя столами из четырех шла довольно вялая игра. Покойные кожаные кресла были расставлены небольшими группами явно для любителей поговорить, но гусары, тем более гвардейские, отличались склонностью к иным развлечениям. Прохладная кожа приятно заскрипела под грузными фигурами Роопа и Соколова, всевидящий артельщик незаметно поставил на столик подле кресел ведерко с бутылкой шампанского во льду, бокалы и исчез, словно его и не бывало.

— Итак, — продолжил рассказ Соколов, — мы забыли и думать о том, что в Вене что-то готовится против нас. Однажды начальник нашего округа штаба Маврин...

Рооп при этом имени согласно кивнул головой и заметил:

— Да, да! Он отличался у нас удивительными хозяйственными наклонностями. Помнится, собирал в помещении штаба такие вечера для нашего брата офицера, что от обильнейшего ужина оставался весьма приличный завтрак для холостяка вроде меня!..

— Именно он! — согласился Алексей. — Так вот, он привел с концерта какого-то заезжего музыканта из Богемии — Юлиуса Пинтера. Очевидно, совсем не случайно этот прощелыга сел за ужином с полковником Ронжиным — тогдашним офицером для поручений у Драгомирова. И вот Ронжин, который всегда отличался неуемным стремлением влезать в чужие дела, услышал от Пинтера, что тот якобы близко знаком в Вене с одним офицером Генерального штаба, крайне обремененным долгами и большим любителем женщин. И что ты думаешь...

— Думаю, — хохотнул Рооп, — этот вездесущий Ронжин уже на следующий день спустил тебе приказец: завербовать одного австрийца из Генштаба через богемского музыканта. Признаюсь, я бы тоже клюнул на эту приманку, больно уж кус жирный.

— Да уж куда жирнее, — улыбнулся Соколов. — Тем более что Пинтер с большой охотой пошел на сотрудничество с моими офицерами. Я и сам встречался с ним пару раз в отеле «Интернациональ». Подозрений в двойной игре он у меня не вызвал. За щедрое вознаграждение я попросил свести в Праге задолжавшего генштабиста с одной респектабельной дамой.

— Стреляешь, как всегда, навскидку, — иронизировал Рооп.

— Наша агентесса, одна из красивейших женщин в Праге, притом весьма умная и изворотливая, также ничего не почуяла неестественного в поведении австрийского офицера, представленного ей музыкантом. Только какая-то случайность помешала ей открыться и посулить ему уплату всех долгов плюс не менее

крупную сумму авансом за согласие работать на нас. Она, как водится, решила идти напрямик лишь тогда, когда этот австриец по уши влюбится и будет готов довольствоваться меньшим гонораром.

Нас спасло то, что мы решили на всякий случай показать его Альфреду. Представляешь, как только Альфред заглянул в глазок, специально просверленный нами из соседнего номера, он тут же опознал голубчика. За майора Генерального штаба австрийской армии выдавал себя подполковник Милан Ульманский, контрразведчик Эвиденцбюро. Разумеется, даме пришлось «неожиданно» уехать из Праги, мы перевели ее в Италию. Музыкант, видимо предупрежденный австрияками, тоже «переменил климат» и исчез из поля зрения. Сделал он это вовремя, поскольку чехи из группы Альфреда готовы были его растерзать...

— Поздравляю тебя с сильным противником, — задумчиво произнес Рооп. — В мою бытность в Вене австрийцы работали грубее и примитивнее. Кстати, а ты не думал, что теперь, в новых европейских условиях, когда германцы усиленно готовятся к войне, австрийцы могут еще теснее соединиться с германской разведкой и станут действовать сообща против нас?

— Откровенно говоря, я уже имею это в виду, однако начальство, как всегда, озирается на опыт войны с Японией, когда Вильгельм был нашим любезным «союзником» и подталкивал Россию на восток, подальше от своих границ. К тому же новый начальник Генштаба Жилинский, как говорят, всячески настаивает, чтобы наши военные агенты не занимались разведкой, дабы не вызвать скандала, а довольствовались покупкой уставов и военных сборников в тех столицах, в коих исполняют свою службу... В общем, трудно нам приходится, Володя, — пожаловался другу Соколов. — Денег на оплату негласных агентов, на негласный надзор за будущими театрами войны отпускается ничтожно мало. Ты помнишь, Владимир Александрович Сухомлинов, будучи командующим нашим военным округом, писал в своем всеподданнейшем отчете после японской войны: «Война с Японией дала наглядные доказательства, какое громадное значение имеет правильная организация разведки вероятного противника и предстоящих театров войны. Дело это носит у нас случайный характер и правильной организации не имеет. Мы не только не принимаем мер, чтобы проникнуть в замыслы наших врагов и изучить их средства ведения войны, но не можем уберечься от сети тех разведочных органов, которые они распространили в наших пределах...»

— Боюсь, что даже в пределах Царского Села, — тихо, одними губами проговорил Рооп, снова подивившись непогрешимой памяти друга.

— Я могу сослаться и на Павла Александровича Базарова. Наш военный агент в Берлине совершенно справедливо считает, что при сложности современного военного дела возможный неприятель не сможет полностью скрыть всех своих приготовлений к войне. Дело разведки противника походит по своему характеру

на диагнозы врача по внутренним болезням... А теперь тот же Сухомлинов совершенно отвергает разумные предложения по совершенствованию разведочного дела, сокращает ассигнования на все статьи расходов военных агентов и наших делопроизводств. Теперь он забыл все свои новации в Киеве и, видимо, считает, что если живое дело не влезает в куцую схему, которую сложили его чиновники, выслужившиеся из писарей, то тем хуже для дела...

— Эге, братец, да ты уже склоняешься к опасным обобщениям, — добродушно посочувствовал ему Рооп.

Сочувствие друга, интимная обстановка и пропущенные уже чарочки разомкнули уста обычно молчаливого Соколова, и он стал изливать свои обиды Роопу, которого считал своим крестным отцом в области разведки. А обид накопилось немало. Самым больным вопросом в мирное время всегда была связь с военными агентами, которые работают под разными предлогами в посольствах и консульствах. Большое начальство в Генеральном штабе относится к связи совершенно легкомысленно. Недавно, например, пошла директива российскому военному агенту в Вене; отныне пересылка корреспонденции будет производиться ему не через министерство иностранных дел, ибо это затрудняет наши миссии, а через Петербургский почтамт. Значит, из-за нежелания «затруднить наши миссии» Генштаб сознательно облегчает венскому «черному кабинету» перлюстрацию важных документов. А поди утаи секрет, ежели даже на упаковку и заклейку корреспонденции в России не обращается должного внимания. Вся переписка ведется на официальных бланках, на конверте указывается полный адрес, то есть учреждение, должность, чин и прочее, а пакеты — и простые, и секретные, и совершенно секретные — прямо с этими грифами отправляются открытой почтой. Естественно, что иностранная контрразведка может по одному наружному виду безошибочно определить, над каким конвертом стоит особенно «поработать». Военные агенты отменно знают все это, много лет бьют тревогу, но Генеральный штаб не меняет ни на йоту порядок переписки...

— Мы уже до того дошли, — подытожил Соколов, — что даже в наших газетах обсуждаются вопросы сохранения секретов в русской разведке. Ты не читал об этом в «Русском Инвалиде»?

— Ты имеешь в виду статью некоего Брандта в начале нынешнего года? Если ее, то я тебе скажу, что он совершенно правильно пишет о ложности надежд на сохранение секретов при нынешних образцах конвертов, прошивании их и наложении сургучных печатей. А что-нибудь у вас изменилось после этой статьи?

— Что ты, что ты! — с сожалением покачал головой Соколов. — Года два назад был крупный скандал в нашем берлинском посольстве, но и после него все осталось по-прежнему. Ты не слышал случая с Рехаком?

Рооп, далекий уже много лет от забот закордонной разведки, случая этого не знал, а случай был из ряда вон выходящий.

В декабре десятого года, когда Соколов еще служил в Киеве,

русский военный агент в Швейцарии подслушал разговор двух германских дипломатов, из коего следовало, что немцы в русском посольстве в Берлине имеют своего негласного осведомителя — некоего Рехака. Пока Генеральный штаб раскачался, пока бумага прошла по всем «необходимым» канцеляриям, прошло около полугода. Наконец догадались запросить тогдашнего русского военного агента в Берлине, полковника Михельсона. Ответ Михельсона раскрыл совершенно кошмарную картину безалаберности, беззаботности и халатности чиновников нашего министерства иностранных дел.

Выяснилось, что немец Юлиус Рехак действительно служит около 20 лет в русском посольстве в должности старшего канцелярского служащего. На его обязанности лежала отправка и заделка в конверты курьерской почты, сдача и получение этой почты на вокзалах, покупка и выдача чиновникам посольства канцелярских принадлежностей, в том числе и сургуча для опечатывания секретных и совершенно секретных конвертов. «Работящий» Рехак по своей инициативе убирал помещения канцелярии, вытряхивал наполненные корзины для бумаг. «Папаша Юлиус», как его называли в посольстве, служил кому угодно из русского персонала комиссионером по разнообразным делам. Считалось, что в любом учреждении или заведении Берлина Рехак пользовался «черным ходом», устраивал чужие дела наилучшим, то есть самым дешевым, образом.

Для российской беззаботности Юлиус был настоящим кладом, его осведомленность во всех делах посольства была поразительна. Чтобы русские дипломаты и высокие гости Берлина еще больше ценили Рехака, соответствующие ведомства всячески помогали Юлиусу обслуживать его посольских работодателей по первому классу. Так, он мог достать билеты в театр или на концерт, когда они были все распроданы, билеты на поезд за час до отхода, получить вещи с таможни беспошлинно или так же беспошлинно отослать их в Россию...

Военный агент однажды поинтересовался у первого секретаря посольства: как же могут дипломаты, имеющие дело с секретными бумагами, держать такую личность, как Юлиус, и всю немецкую прислугу вообще в канцелярии посольства? На это бедный секретарь ответствовал с грустным бессилием: «Если мы уволим Юлиуса или немецкую прислугу, то германское министерство иностранных дел нас за это просто будет бойкотировать... Это невозможно, поскольку мы его с поличным не поймали...»

Когда военный агент, отвечая на запрос, провел в посольстве ряд бесед, один из чинов рассказал ему, что осенью 1909 года он и другой русский дипломат подъехали к канцелярии посольства в неурочное время — после театра, в 11 часов ночи. Они издали увидели ночного сторожа посольства, тоже немца, стоявшего у приоткрытых ворот. Как только сторож заметил русских, он юркнул в ворота и запер их за собой. Дипломаты стали звонить, поскольку своих ключей не имели. Только через

изрядное время сторож появился и, зевая, делая вид заспанного человека, принялся открывать ворота. Военный агент сделал по этому случаю вывод, что в канцелярии посольства устроили очередной обыск, а задача сторожа заключалась в том, чтобы дать полицейским время захлопнуть шкафы и скрыться...

— Ну и нагло работают! — возмутился Рооп. — Неужели и после этого всех немцев не убрали из канцелярии?

— Куда там! И похлеще бывали историйки... Например, в одно прекрасное время догадались наконец, что небезопасно держать все ключи от железных шкафов в простеньком стенном шкафчике, который открывался чем угодно, даже гвоздем. Решили переложить все ключи в несгораемый сейф, доступ же к нему имели только посол и его секретарь. Моментально у этого сейфа испортился замок. Никто не знал, как быть, один Юлиус не растерялся и пригласил своего знакомого слесаря, которого ранее никто в посольстве не видел. Этот слесарь в мгновение ока вскрыл сейф, как будто только этим все последнее время и занимался... Юлиуса после этого случая выгнали. Небезынтересно, что при жалованье в 100 марок в месяц он оказался обладателем приличного состояния. Михельсон справедливо предположил, что главным источником этого капитала была германская разведка и полиция.

— А скажи, Алеша, неужели нашему военному агенту понадобился грозный запрос из Петербурга, чтобы он наконец прозрел? Небось был таким же разгильдяем, как и дипломаты? — поинтересовался Рооп.

— Совсем наоборот. Михельсон упорно не сдавал на хранение в посольство своих секретных дел, тем более шифров. Вся его прислуга была из нижних чинов полевой жандармерии и отставных матросов, денно и нощно не спускавших глаз с кабинета военного агента... А то, что до запроса он не лез в дела посольства, так уж у нас, к несчастью, заведено: у них своя епархия, у нас — своя...

— Да, Алеша, — задумчиво протянул Рооп, — я вижу, почти ничего не изменилось в умах наших поприщиных из Генерального штаба. Те же мелкие заботы о параграфе и никакого понятия о главном в работе, о перспективе... Зато ордена получают аккуратно в календарные сроки выслуги...

При упоминании об орденах Соколов невольно скосил взгляд на свой новенький «Станислав с мечами». Рооп, перехватив его взгляд, понял свою невольную оплошность и поспешил ее загладить шуткой:

— К счастью, орден ордену рознь. И в мирное время случаются герои, которые получают награды отечества не за протирание служебных кресел, а за беспримерные ратные подвиги...

— Или за развлекательное путешествие, — попробовал тоже отшутиться Соколов, но ему все же пришлось уступить настояниям друга и поведать историю «Станислава с мечами».

Начальник венского Генштаба Конрад фон Гетцендорф считает себя большим любителем и еще большим знатоком военных

действий в горах, а посему питает особую склонность к итальянскому театру войны. Позапрошлым летом он устроил свои очередные маневры в Тироле, в районе озера Шварцзее. По сообщениям пражских друзей, ко всему прочему, там собирались испытывать горную пушку — очередную новинку оружейного завода в Брюнне. Соколов, само собой разумеется, не мог упустить возможности воочию увидеть и оценить маневры австрийских горных стрелков и скороспешно выправил себе документы на имя немецкого бюргера, любителя альпинизма. Разумеется, с поддельными бумагами было бы неразумно снимать гостиничный номер где-либо в районе маневров, поэтому пришлось туговато...

Соколов воспользовался тем, что в Альпах начался сезон восхождений, и отправился сначала в Швейцарию. Там он нанял инструктора, помучился с ним пару недель, чтобы не выглядеть очень уж приготовишкой... Затем снабдился первоклассным снаряжением, запасся английскими консервами и перебрался в Инсбрук. Этот милый городишко был последним, где он провел ночь в постели под надежной крышей. Рано утром за неделю до начала маневров и за пару дней до того, как контрразведка Эвиденцбюро начала поголовную проверку всех постояльцев отелей и пансионатов в радиусе ста верст от Шварцзее, он выскользнул из Инсбрука и вышел на станции Вергель, в двадцати верстах от места маневров.

Нетрудно представить, что значит, не будучи хорошим альпинистом, одолеть двадцать верст по скалистым горам, да еще прячась от пастухов и патрулей, форсировать горные речки, полные воды от тающих под июльской жарой ледников, обходить хотя и вроде бы пустые, гостеприимно манящие альпиниста горные хижины, где может таиться засада, спать на жестких камнях...

Наконец он подобрался к долине, где должны были происходить маневры, и на скалистых отрогах Китцбюльских Альп выбрал неплохой наблюдательный пункт. Небольшая пещера стала ему временным убежищем, он даже разогревал в ней на бесцветном пламени спиртовки консервы; малюсенький ручеек, приток реки Ахен, поил его выдающейся по чистоте и вкусу водой ледника. Пришлось учитывать даже направление солнечных лучей, чтобы они, не дай бог, не демаскировали разведчика во время наблюдения, предательски заиграв линзами бинокля в самый неподходящий момент...

Данные, которые он получил, наблюдая за движениями войск, хронометрируя все их перемещения, зарисовывая позиции и боевые порядки полков и даже батальонов, оказались весьма кстати. После маневров оставалось лишь сравнить заметки с полевыми наставлениями, уставами, инструкциями австрийской армии, и все секреты Конрада фон Гетцендорфа растаяли подобно миражу

В дополнение ко всему Соколову необычайно повезло еще и в том, что горная артиллерия стреляла от места расположения батарей примерно по тому азимуту, где он укрывался, как Ро-

бинзон, в пещере. Шальной снаряд даже разорвался саженях в сорока от него, так что не пришлось далеко лазить за осколком. Соколов подобрал его буквально в двух шагах от себя еще теплым...

— Ну и ну, Алеша! Тебя господь, видно, хранит! — пророкотал по окончании горной одиссеи Рооп. — Я сейчас вспомнил тоже случай, только комический, коему свидетелем был во время своей службы военным агентом. Я был командирован в Берлин из Вены, дабы подкрепить нашего военного агента в Германии во время больших маневров. Тогда проводились на полигоне стрельбы из крупповских новых гаубиц. Военный агент Британии учудил такое, что потом все долго веселились. Неподалеку от него шлепнулся в пыль осколок гранаты. Он схватил его сгоряча рукой, одетой в перчатку, и незаметно сунул в карман. Но осколок-то был раскаленный! Бедному полковнику так припекло, что даже весь карман задымился. Вот к чему может привести погоня за образцом для определения калибра и качества металла в снаряде!

— Меня мой осколок не опалил, но послужил хорошим дополнением к рисункам и схемам, тем более что на докладе об этом «альпийском восхождении» были и Палицын, и Жилинский. На следующий день после доклада его величество и пожаловал мне сей орден...

— Кстати, Алеша, пока на нас не обиделись хозяева, давай вернемся к столу, тем более что там веселье вроде бы угасает, — предложил Рооп, и друзья с сожалением покинули уютный уголок бильярдной, чтобы окунуться вновь в застольный шум офицерского собрания. А здесь уже отпели свои песни цыгане, услаждавшие слух царя и его собутыльников в дни полковых праздников. Снова гремел хор трубачей. Лица солдат были черны от долгого напряжения легких, но серебро труб звучало чисто и бодряще.

Часы пробили два с половиной как раз в тот момент, когда друзья занимали свои старые места за столом. Царь и Лукавый как будто и не кончали свой спор. За два с лишним часа, которые Рооп и Соколов провели в отсутствии, изменился только предмет спора, но не его ленивое течение. Теперь Николай II вяло пикировался со своим дядей по поводу просьбы командира полка Воейкова о производстве в следующий чин капельмейстера, прекрасно дирижировавшего весь вечер хором трубачей. Для такого производства бедный кантонист не выполнял какого-то одного условия о порядке производства гражданских чиновников военного ведомства. Великий князь настойчиво твердил, что награда в виде следующего чина невозможна, тем более что военный министр неизвестно как к этому отнесется.

Коль скоро речь у царственных особ зашла о любимце полка — дирижере и наставнике трубачей, гусары, еще не до конца оглохшие от возлияний, стали прислушиваться, и шум в трапезной постепенно стих. Соколов наконец услышал капризный голос царя, в котором уже не было былой неуверенности,

как на большом приеме. Здесь, в своем родном кругу, российский самодержец не искал слова и не пытался подбирать из них умную речь. Он был среди своих, возбужден выпитым и говорил повелительно и высокомерно.

— А я утверждаю, что военный министр мое повеление исполнит сей же час, немедленно и беспрекословно, — рубил Николай II, обращаясь к Лукавому. — Я еще нынче вечером для себя оное дело решил!

— Но, государь, ведь теперь уже почти три часа утра седьмого ноября, как же ваше повеление может быть исполнено шестым числом, помилуй бог! — ладил свое Николай Николаевич.

— Мои министры всегда бодрствуют и немедленно исполняют мои указы, — капризно настаивал на своем император всея Руси, — могу держать пари! Ставлю арабскую кобылу Одиллию против твоих двух борзых!

— Принимаю твое пари, Ники! — забыв в сердцах назвать царя величеством и на «вы», заявил великий князь совсем по-домашнему. — Они не успеют включить твое повеление в приказ вчерашним числом, поскольку эти... чиновники... — и великий князь добавил к своей фразе гирлянду нецензурных, но рифмованных характеристик. Дружный гогот гусаров был ему наградой.

— Итак, господа! — обратился царь к окружающим, выждав минуту, пока смех не умолк. — Составляем депешу Владимиру Александровичу Сухомлинову!

Тотчас явился артельщик с письменными принадлежностями и маленьким пюпитром для письма. Царь собственноручно начертал несколько слов на листке бумаги, небрежно сложил его вдвое и, не глядя, протянул в пространство за собственной спиной. Услужливые руки бережно приняли листок и с елико возможной скоростью бросились доставлять его к ближайшему телеграфному аппарату...

Веселье еще долго бурлило под сводами высокого белого зала. Соколов, непривычный к подобному времяпрепровождению, с трудом высиживал трудные предрассветные часы, когда сон особенно наваливается на усталого человека. Гусарам, казалось, было все нипочем. Шутки и песни неслись со всех сторон, сталкиваясь под сводами и превращаясь в многоголосый гомон.

Так же неожиданно, как и появился, Николай II вместе с великим князем в сопровождении Воейкова исчез из зала. Трапезная сразу же быстро стала пустеть.

...Наутро Рооп послал своего денщика за номером «Русского Инвалида», официальной военной газеты. На первой странице листка, в самом конце высочайшего указа о производстве военных чинов, набранная в спешке петитом, стояла строчка, которая свидетельствовала о том, что Николай II выиграл свое пари у Лукавого. Военный министр каким-то чудом успел исполнить каприз самодержца.

23. Германия—Италия, ноябрь 1912 года

В начале нашего века мало кто из досужих путешественников стремился в Италию летом. Летняя Италия оставалась целиком для итальянцев. Зато осенью и зимой Апеннинский полуостров переполнялся иностранцами, преимущественно знатью и богачами, подданными почти всех стран Европы. Большинство из них забивало собой гостиницы, пансионаты, частные дома, превращавшиеся на курортный сезон в мощный источник дохода для владельцев. Некоторые, особенно «русские князья и бояре», как их называли в Италии, приезжали целыми семьями, с чадами, наслаждаясь южными красотами в собственных дворцах либо арендуя роскошные особняки.

До начала «бархатного» периода гостиницы больших итальянских городов пустовали, богатые магазины не работали, нарядные экипажи почти не сновали по улицам.

Лишь осень с ее мягким средиземноморским теплом приносит оживление в здешнюю жизнь. Уставшие от всесжигающего летнего зноя и невыносимой яркости солнца, обыватели приоткрывают наконец жалюзи окон. Говор, крик, суета не смолкают на улице с раннего утра до позднего вечера, траттории переполнены почти круглые сутки — всякий мало-мальски имущий итальянец отводит душу за стаканом кьянти после вынужденного сидения все лето в самых тенистых уголках сада или глухих прохладных комнатах дома.

Вместе с состоятельными особами, съезжавшимися в Италию, ее города и музеи наполняли путешественники средней руки — художники, студенты, коммивояжеры, военные, отставные чиновники, больные легкими и ревматизмом со всей Европы — с туманного Альбиона, из княжеств Северной Германии, из полудикой, в представлении итальянцев, Скандинавии и особенно из сказочно далекой России.

Уже в свою первую заграничную командировку, когда Соколов в поощрение за высшие выпускные баллы в Академии Генерального штаба был отправлен на три месяца путешествовать по Европе, Италия как-то по-особому запечатлелась в памяти. Все здесь было внове, все в диковинку — и кажущаяся из-за присутствия толп туристов праздность, и беззаботное веселье, и крикливые, отчаянно жестикулирующие, доброжелательные люди. Впоследствии он весьма успешно научился использовать полуостров, назначая встречи своим европейским агентам в Милане, Венеции или Риме, где легко было потеряться в толпе туристов, праздных зевак, любителей латинских древностей. Вне всяких сомнений, здесь действовала относительно беспечная контрразведка, которая физически не в состоянии была уследить за всеми иностранцами, а посему и не очень старалась.

Вот и теперь, получив через четвертые руки открытку с условным текстом из Праги, которая в почтовом конверте стран-

ствовала много дней по Европе и в конце концов из Голландии была отправлена в Петербург на имя оптового торговца колониальными товарами ван дер Ойла, русский разведчик отправился в Италию на тайное свидание со связным Филимона Стечишина.

На всякий случай Соколов ехал сюда кружным путем — пароходом от Гельсингфорса до Лондона, где оставил в сейфе военного агента свой русский заграничный паспорт и снабдился визитными карточками на совершенно интернациональное имя «Алекс Брок, коммерсант». Несколько деловых бумаг и писем на то же имя лежало в его саквояже рядом с бельем, на котором были предусмотрительно вышиты инициалы «А. Б.».

Из Англии он через Голландию, Германию и Швейцарию проследовал в Северную Италию, задерживаясь по нескольку дней в крупнейших городах Южной Германии, отмечая в газетах (он оставлял их в номерах) объявления местных фирм, заходя в конторы с «деловыми» визитами, дабы удостоверить наблюдателей из местных жандармских отделений в своей полной безобидности.

И все-таки в Ульме, маленьком провинциальном городишке на берегу Дуная, ему показалось, что двое тех же самых парней, которые крутились у кассы вокзала в Кёльне, когда он брал билет, проводили его затем от гостиницы до фабричонки красителей, куда он завернул показать «образцы», которыми якобы торговала его «фирма».

Соколов нарочно выбрал такой маршрут по городу, который бы был максимально удален от казарм или других военных сооружений, быстро вернулся в гостиницу и провел остаток вечера до отхода поезда на Мюнхен в лучшем ресторане города. И снова ему показалось, что под белым колпаком повара, выглянувшего на минутку в зал, он узнал агента наружного наблюдения из Кёльна.

Уютный зал ресторана сразу потерял всю свою прелесть. Соколов стал продумывать варианты на тот случай, если он будет арестован германской контрразведкой. Ему припомнился эпизод с артиллерийским капитаном Костевичем, который был послан в научную командировку в Европу, но в Германии, когда он осматривал заводы Круппа, его обвинили в шпионаже, арестовали и продержали много недель в тюрьме, несмотря на бурные протесты российского императорского посольства, «дружбу» двух императоров и нажим на германского военного агента в Петербурге. Только после того, как в одном из приволжских городов был арестован с поличным офицер германского Генерального штаба, под чужим именем совершавший «познавательную» поездку на пароходе от Нижнего Новгорода до Астрахани, и перед немцами со всей реальностью встала угроза заключения их агента в тюрьму, а затем и возможной отправки его на каторгу в Сибирь, в Берлине быстро изыскали возможность оправдать Костевича.

Соколов не льстил себя надеждой на скорое освобождение из

лап германской контрразведки, если будет арестован. Разумеется, отдел генерал-квартирмейстера по истечении контрольного срока, после коего на Дворцовую площадь через подставной адрес не поступит условная открытка, начнет розыски Соколова, но благоприятный исход ему самому казался весьма сомнительным. Помимо громкого скандала на всю Европу с компрометацией Генерального штаба российской армии, немцы вполне могли упрятать его так далеко в казематы, что ни одна живая душа не разыскала бы его до тех пор, пока это не заблагорассудилось бы самим тюремщикам. Они могли его и убить, имитировав несчастный случай в горах, на улице или где-нибудь еще... Словом, если контрразведка всерьез пошла по его следу, полковнику грозили серьезные опасности.

Соколов весь внутренне собрался, не подавая вида, что чем-то озабочен, аккуратно допил и доел все, что заказал, зашел в отель, собрал саквояж и неторопливо, пешком отправился на вокзал. По дороге он так и не мог окончательно установить, ведется ли за ним наблюдение, или это совпадение двух-трех случайностей.

Инцидент в Ульме еще раз насторожил его и заставил потерять много времени в Мюнхене для того, чтобы, используя возможности сравнительно большого города, оторваться от сыщиков наружного наблюдения перед тем, как покинуть Германию и попасть в Швейцарию.

В эту страну он отправился только затем, чтобы въезжать в Италию с нейтральной территории и еще раз проверить перед прибытием на место встречи, не «ведут» ли его немцы и в соседнем государстве. Примеры подобному бывали. На этот случай у Соколова были четко разработанные инструкции, которые категорически запрещали дальнейшее движение к месту встречи и требовали немедленного переезда в ближайшую союзную страну — в данном случае во Францию. Но, кажется, все обстояло благополучно.

На всякий случай он несколько раз тщательно проверился в Берне и Люцерне и только после этого взял билет до Рима, намереваясь сойти во Флоренции.

Теперь он находился в одиночестве в своем купе. Его до краев наполняла глубина ощущений, воспоминаний, ожиданий. Он испытывал восторг, зажигающийся от всякого пустяка — от первой итальянской надписи, от первого звука итальянской речи, которую любил и знал в совершенстве...

Наконец в вагон вошли итальянские таможенные служители, вечно рыщущие в поисках контрабанды. Они мгновенно успокоились при виде коробки сигар, которую Соколов предназначил им под видом угощения.

На станциях появились пограничные названия — Беллинцона, Лугано, Кьяссо, Комо. Грязные станционные буфеты, длинные «фьяски» с вином, скверный кофе в толстых фарфоровых чашках, твердый крученый хлеб — все было свидетельством прибытия в милые сердцу края.

Поезд мчал над пропастями по дерзким и узким мостам, незаметным из вагона. Казалось, он летит прямо по воздуху, а потом словно вонзается в черные норы туннелей. На северных склонах гор синели стрельчатые ели, уже присыпанные кое-где снегом, шумели громкие даже через стук колес водопады. Там, на германской и швейцарской сторонах Альп, холодно, хмуро, сурово...

Вся тамошняя природа живо напоминала Соколову гранитные скалы и мшистые ели карельских окрестностей Петербурга. Одновременно с воспоминаниями о Северной Пальмире в памяти неожиданно встала пепельная головка девушки, аплодировавшей ему в Михайловском манеже во время конкур-иппика. Он корил себя за то, что, упоенный победой, не пошел тогда на трибуны. Пусть они незнакомы, пусть условности общества не позволили бы ему сразу заговорить с ней, сесть подле нее, проводить до дому, но почему он пренебрег возможностью разыскать в пестрой толпе существо, которое смотрело на него в тот день с несказанным участием.

Жена Соколова умерла родами, когда он был молодым штабс-ротмистром гусарского полка. Образ его милой Анны не тускнел, но все-таки отходил с годами в отдаление, олицетворяя для него юность и чистоту. Алексей не давал себе никакой клятвы оставаться верным всю жизнь первой любви, но за долгие годы не встречал женщины, от одного взгляда которой у него начинало бы биться сердце.

Теперь же он понял, что его существом, не стирая память о первой любимой — Анне, завладевает другая.

Соколов раньше не верил в любовь с первого взгляда, он смеялся, когда товарищи-гусары клялись в вечной страсти дамам, встреченным за час до этого на балу или в театре. После того торжественного для него дня, когда он увидел в первый раз девушку с пепельными волосами, он все чаще ловил себя на мысли, что вспоминает ее, и не просто вспоминает — жаждет увидеть вновь. Не понимая, что с ним происходит, он поначалу подтрунивал над самим собой, пытался рассеяться, отвлечься, однако наваждение не проходило. И все же он сдерживал себя и целых полгода не бросался на розыски незнакомки, хотя и загадал, уезжая, что если невредимым вернется из опасной секретной поездки, то обязательно найдет в Петербурге «пепельную головку»...

Но вот начался большой последний туннель, несколько минут ночного мрака, когда в вагоны через плотно прикрытые окна проникает противный мокрый паровозный дым и какой-то своеобразный резкий запах железной дороги. Затем во мраке начинают проступать очертания скалистых стен туннеля, становится все яснее, яснее — стены расступаются, и солнечный свет заливает скалистое полукружье. Поезд плавно сбегает на равнину, отдав весь свой пар тоннелю и хмурым Альпам.

Растительность спускается поясами — выше всех крепкий дуб, чуть ниже его высокий гордый лавр красуется своей вечно-

зеленой листвой. Рядом с лавром — светлый крокус и темная фиалка, ползучий шиповник взбирается на ветви лавра.

Далеко внизу под поездом расстилается серебристое море оливы, и из него, как черные плавники, торчат стрельчатые кипарисы. Еще ниже — там, где глаз еле различает, — природа уже разделана: на землю нанесена сетка полей, перерезанных голубыми нитями каналов, рядами плодовых деревьев...

Вот поезд уже катится по равнине, снова тяжело отдуваясь паром. Он стучит по сводчатому мосту через реку; у моста на скользких камнях пестрая толпа женщин стирает белье. На мгновение в окна врывается крикливая трескотня голосов, и тут же они уже остались позади.

Колокольня, давно видневшаяся сверху, оказывается вдруг рядом. Свисток паровоза, затем свисток кондуктора, и первый итальянский город радостно приветствует путешественников. Короткая остановка, затем остались позади Милан и Пьяченца, Парма, Модена и Болонья. Мимо, мимо! Флоренция зовет!

Вечереет, и становится прохладно, вдоль пути стоят длинные оголенные тополя с одной лишь зеленой кисточкой на макушке, а за ними — прелестные итальянские огороды «подэри», где и овощи, и цветы, и фруктовые деревья — все вперемежку... Вот уже показался Арно, и тут же его воды заслоняются темными в сумерках деревьями Кашин — городского парка; вот старые крепостные стены, дома, нитки сходящихся и расходящихся рельсов, сигнальные огни, семафоры, последние толчки тормозов. «Фиренце!» — кричат соскочившие из вагонов кондуктора.

24. Флоренция, ноябрь 1912 года

Соколов остановился в «Отель д'Итали», большой красивой гостинице на набережной, где его принимали за коммерсанта средней руки, охочего до удобств и шика. Портье кивнул ему как старому знакомому, хотя Соколов жил здесь до этого лишь дважды. Алексей поразился его памяти. Видно, пора было менять и отель, и город для деловых свиданий с подданными соседней монархии.

Комнаты ему отвели на тенистую, шумливую Боргонисанти, где с раннего утра до позднего вечера бурлила жизнь. До встречи со связником оставалось три дня.

Ужинать Соколов отправился в ближайший подвальчик. Он знал это местечко в переулке, где днем собирались на обед извозчики, рабочие, погонщики, носильщики, а вечером иногда забредала изнеженная итальянская аристократия, чтобы испробовать — от своего пресыщения — народной пищи и юмора.

Здесь было вкуснее любого ресторана: на большой плите в присутствии гостя доспевал его заказ — и фритто мисто, и ньюки на пармезане, и что только душе угодно.

Вся народная кухня Италии — на оливковом масле: сковоро-

ды шипят, дразнящий запах от них поднимается под своды, оклеенные плакатами кинематографов. Прохладное вино поднимается здесь особым журавлем из еще более глубокого подвала и раздается в глиняных кувшинах без меры — кому сколько надобно.

Устав с дороги, Соколов после ужина не стал бродить по вечерней Флоренции, а поднялся к себе в номер и мгновенно заснул.

Ранним утром он вышел по своему обыкновению на чистые и гладкие плиты флорентийской мостовой. Вначале он направился к вокзалу, чтобы проверить, нет ли за ним слежки, но, не доходя до него, обогнул старушку Санта Мария Новэлла, церковь дорического ордера с фресками Гирландайо, и свернул на шумливую даже ранним утром виа Черретани, где скрипели повозки и щелкали бичи крестьян, прибывающих в город по своим делам. Отсюда он повернул неожиданно направо, в маленькую Рондинелли и ее продолжение — виа Торнабуони.

Навстречу ему шли группы нарядных людей и расходились в переулки, отягченные букетами цветов, которые они накупили рядом — на ступенях дворца Строцци. Во всю длину своего хмурого фасада дворец опоясан венком цветов и папоротника — вдоль его цоколя цветочный рынок Флоренции. В пахучей прохладе вокруг влажных цветов сливается тосканский говор крестьянок-продавщиц и англо-саксонская речь покупательниц.

Все эти элегантные заморские гостьи Флоренции, идя с охапками цветов с рынка, обязательно останавливаются у витрин знаменитого фотографа Броджи в тайном желании, чтобы именно их он выбрал себе в модели...

Тут же рядом кондитерская Джакоза, не менее замечательная, чем все остальное в прекрасном городе на Арно. Именно эту кондитерскую назначил на этот раз местом встречи связной Соколова.

Алекс Брок заходит в кондитерскую и садится за свободный столик. Большое окно зеркального стекла, как стена огромного аквариума, выходит прямо на Палаццо Строцци. Гранитный фасад хмурит единственную бровь своей тяжелой сводчатой двери среди ряда квадратных окон. С угла щетинится знаменитый бронзовый фонарь дворца...

«Встреча завтра днем, когда народу здесь будет много. Надо прийти пораньше и занять вот тот угловой столик, кстати, там рядом есть и газеты, так что долгое пребывание здесь не бросится в глаза...» — планировал Соколов предстоящую встречу. Он полюбовался пестрыми нарядами дам и их шляпками, похожими на цветочные клумбы, с удовольствием выпил чашку шоколада и закусил ее пышными флорентийскими сдобами. Затем раскланялся с хозяйкой за стойкой и неспешной походкой фланера вышел на ту же Торнабуони. Через переулки и тенистые громады хмурых дворцов он прошел на дивную Пиацца делле Синьорие. Над площадью подняла свои зубцы каменная гладкая стена «Старого Дворца» (Палаццо Веккио), вы-

двинув с края карниза устремленную в итальянское синее небо светло-коричневую башню.

Направо от Палаццо Веккио изогнулись три арки — «Лоджиа дей Ланци», под которыми столпились бронзовый, позеленевший от времени Персей Бенвенуто Челлини, прекрасная скульптура «Похищение Сабинянки» работы Джиованни да Болоньи и целое мраморное население воинов, героев, женщин.

В полуденный час площадь Пиацца делле Синьорие тиха и молчалива. На ступенях флорентийского собора, там, где мрамор от прикосновения людских поколений стал словно фарфоровым, коротают час фиесты несколько оборванцев, а над ними гордо, сиятельно высится бронзовый конный Козимо Медичи... Не площадь, а музей; музей, в котором торговки овощами продают свой товар, стоят извозчики, лежат пьяные...

Соколов прошел мимо «Старого Дворца» и по высокой лестнице поднялся в музей Уффици. Он решил пройти по залам картинной галереи не только потому, что очень любил живопись Возрождения, но и оттого, что снова решил проверить, нет ли за ним слежки. В пустынном, несмотря на туристский сезон, музее это было очень легко сделать, а тем более пустить слежку, если она была, на ложный след, нечаянно заговорив со случайным встречным.

Он шел от полотен Чимабуэ и Джотто, Караваджо и Караччи, замечая все: от робкой наивности тосканских примитивов до разнузданной роскоши болонских мастеров. Он шел мимо нежного Перуджино, и загадочного Боттичелли, и могучего фра Бартоломео, и небесного фра Анджелико, и пышного Тициана, и светозарного Веронезе... Они встречали его как старые друзья, и чудилось, хитро подмигивали глазами своих героев. К удовольствию Алексея, он ничего не заметил для себя подозрительного, потому совершенно вольготно расхаживал в залах, где могучий дух искусства осенял человека своим волшебством...

Через пару часов Соколов оставил галерею и длинным коридором над домами, над мостом отправился на другую сторону Арно. Из окон он увидел под собой мутные воды реки. «Старый мост», по-здешнему Понте Веккио, кишел народом меж двух рядов своих лавчонок. На него, словно потоки, сливались толпы пешеходов от сходящихся улиц... Но вот длинный коридор кончился, и начался музей дворца Питти. Здесь Соколова объяла уже не та глубокая историчность, что в галерее Уффици, здесь царствовали Рафаэль, Андреа дель Сарто, фра Бартоломео...

Покинув галерею, Соколов решил обогнуть дворец и зайти в сад Боболи. Среди пахучей тишины стриженых лавровых стен, где в зеленых нишах грезят мраморные богини и боги, а львиные пасти выпускают водяные струи в порфировые лохани, он надеялся найти укромное место на тот случай, если одной встречи с агентом будет недостаточно и придется искать новое убежище для продолжения разговора.

25. Флоренция, ноябрь 1912 года

Настал день встречи. Соколов и связник, а точнее — связная, уже видели однажды друг друга года два назад, и им не было нужды разрабатывать сложные пароли или сообщать приметы одежды, дабы даже по нелепой случайности не перепутать человека. Такого рода предосторожности естественны, когда жизнь и свобода зависят от чистоты и кратковременности контакта двух разведчиков.

Соколов забрался в кондитерскую Джакоза пораньше и успел занять облюбованный им накануне столик в дальнем от окна-аквариума и достаточно затененном углу. С собой он предусмотрительно захватил газеты, дабы не одалживать их у официанта. Идя сюда, он снова тщательно проверялся и снова не обнаружил за собой признаков наблюдения.

Теперь он ждал связную и размышлял. Он не только работал с братьями чехами против общего врага — агрессивного и наглого пангерманизма, но и относился к ним с огромным уважением и дружбой, как почти никогда, за редким исключением, не относился к своим агентам — немцам, бельгийцам, швейцарцам и другим европейцам. Об авантюристах, пытавшихся иной раз поднажиться на мошенническом шпионаже, и говорить не стоило. Продажные шпионы, которым было все равно, с кем работать, частенько выдавали брошюры, купленные в ближайшем книжном магазине, с наскоро приляпанными самодельными штемпелями «Совершенно секретно!» или «Строго конфиденциально генералу такому-то!», за добытые с большим трудом из сейфа военного министра документы и до хрипоты торговались. К подобным поставщикам секретной информации Соколов относился весьма недоверчиво, проверяя и перепроверяя полученные от них документы, расплачиваясь лишь после того, как безусловно признавалась их оперативная ценность. С особым сомнением он относился к бумагам, которые якобы добыты из самого германского Генерального штаба. Соколов частенько обнаруживал в них фальсификации и был убежден, что немцы нарочно фабрикуют фальшивые секретные документы, продают их в так называемые международные шпионские бюро, которые почти открыто существовали в тогдашней Европе, и таким образом финансируют собственные тайные операции...

Соколов с интересом углубился в газеты, изредка поднимая на входные двери взгляд, внешне ленивый, но зоркий и наблюдательный. Уже дважды сменились за столиками лакомящиеся особы обоего пола и всех возрастов, часы принялись отбивать три четверти первого, когда в точно обусловленный момент появилась Млада Яроушек. В кремовом платье и широкополой шляпе, которая покрывала ее белокурые локоны, с кружевным зонтиком и бисерным кошельком на цепочке, хозяйка лесного склада из Брюнна выглядела эффектно и респектабель-

но. Она опиралась на длинную ручку зонтика и на мгновение замерла в дверях, окидывая взглядом столики.

Глаза разведчиков встретились, затем разошлись; гостья как бы ненароком направилась в угол мимо занятых столиков. Как посторонняя, она чуть присела в книксене перед Соколовым и мелодичным голосом спросила его по-английски, можно ли присесть рядом с господином на свободное место. Соколов с видимой неохотой оторвался от газет и без особого удовольствия произнес по-итальянски: «Пожалуйста». Ответ по-итальянски означал, что все в порядке, слежки не обнаружено и можно без промедления приступать к делу.

Млада уселась, аккуратно расправив складки длинного платья, и не начинала разговора до тех пор, пока Соколов нарочно чуть громче, чем принято, спросил по-английски: «Миледи родилась в Италии?» — «О нет, синьор! Моя родина Швеция!» — прозвучал ответ, в котором также была скрыта условность, показывавшая Соколову, что и Млада не заметила за собой ничего подозрительного.

Обычно Соколов стремился свести до минимума любой контакт со связным и ограничивался только обменом пакетами. Разумеется, в пакете, полученном от агента, лежали рукописные донесения, если агент был новичком или неспособным к фотографии, либо готовые уже микропленки с текстами сообщений. В обмен агент получал пакет с суммой в той валюте, которая ему была нужна или причиняла самые небольшие неудобства. В данном случае связной был опытен, снабжен необходимыми микропленками, сделанными профессионалами, и для естественности их встречи Соколов должен был согласно продуманной легенде его поведения немного пофлиртовать с иностранкой, что на курорте не только не осуждалось, но показалось бы даже странным, если бы он не сделал этого. Поэтому мистер Брок отложил в сторону свои итальянские газеты и как истый итальянец проявил вежливый интерес к даме.

Был именно тот редкий случай в жизни разведчиков, когда Соколов и его связная были уверены, что их встреча проходит в безопасной обстановке, и оба к тому же давно симпатичны друг другу. Русский разведчик решил позволить себе одну-две долгие беседы с единомышленницей, чтобы и поддержать ее морально, и разъяснить сложное новое задание, и проинструктировать по технике разведки.

В битком набитой кондитерской, где столики стояли довольно близко, вести подобные разговоры невозможно, и Соколов порадовался тому, что предусмотрительно подыскал тихое местечко — сад Боболи, — где в середине дня можно встретить, да и то изредка — ведь все-таки осень! — только влюбленных.

Совершенно невыразительно, как будто выполняя долг вежливости, призывавшей его не молчать в присутствии дамы за его столиком, мистер Брок спросил:

— А не бывала ли госпожа в прекрасном флорентийском саду Боболи, что у подножия дворца Питти?

Млада поняла его с полуслова:

— О, я уже бывала там прежде. Это действительно прелестный уголок!.. Но там днем, наверное, слишком жарко?

— Я полагаю, часов от четырех пополудни в саду наступает прохлада, — ответил Соколов, а затем, подложив монетки на тарелку со счетом, поднялся и откланялся с Младой так, словно был старинным знакомым.

В четыре часа дня Соколов появился в саду Боболи. Млада была уже там, она приветливо помахала ему рукой из тенистой ниши в лавровой стене, середину которой занимала скульптура гладиатора. Отсюда открывался хороший обзор во все стороны, и постороннему человеку было бы трудно пройти к ним незамеченным.

В саду в этот обеденный час не было никого. Все находилось в полной неподвижности. Казалось, застыли даже струи фонтанов.

Соколов поцеловал Младе руку, украшенную красивыми кольцами. Когда они опустились на мраморную скамью, Млада передала Соколову крошечный пакет и сказала:

— Здесь довольно много разного материала, в том числе планы развертывания армии, обоих ландверов и ландштурмов, таблицы численности корпусов, дивизий и бригад, их дислокация в каждом из корпусных районов. Учтите, правда, что таблицы эти отражают только строки закона, принятого австрийским рейхсратом в нынешнем году. Численность армии согласно этому закону должна быть в военное время в четыре с половиной миллиона человек. На практике во всей Австро-Венгрии не хватит оружия на такое воинство. Состоит на вооружении корпусов и хранится в арсеналах едва ли треть от всего потребного оружия. По этой причине наиболее плохо вооружен ландштурм...

— Спасибо, Млада! — прервал ее речь Соколов. — Преклоняюсь, как всегда, перед вами! Подумать только, вы — женщина, а как серьезно разобрались в столь мужском деле, как военное! Браво!

— Что вы, Алекс! Вы всегда мне льстите, — зарумянилась от смущения Млада. — Мы, женщины, тоже хотим служить своей родине на таком трудном поприще, как разведка... Правда, у нас в группе я единственная дама, и меня заставляют учить некоторые вещи наизусть для передачи вам. Так что мой секрет владения военной терминологией достаточно прост.

— О, ваша группа всегда доставляет столь добротные сведения, что их, должно быть, приятно заучивать наизусть, — улыбнулся Соколов. — Жаль, конечно, что этого нельзя делать вслух, правда?

— Еще приятней их навсегда забывать. Чтобы не проговориться хотя бы во сне, — мило парировала его шутку Млада, и он с удовольствием отметил про себя, что она понимает собеседника буквально с полуслова.

— Вы правы. Венская контрразведка становится все внима-

тельней и настойчивей. Особенно после суда над венской учительницей, баронессой Мурманн и ее сыном, нашим коллегой из Варшавского военного округа.

— Не беспокойтесь, Алекс. В нашей группе действуют опытные офицеры. Должна вам, правда, заметить, что Эвиденцбюро действительно усилило свою активность в последнее время. Гавличек видел недавно доклад группы контрразведки, приготовленный для Конрада фон Гетцендорфа. Оказывается, австрийским контрразведчикам пришлось в прошлом и нынешнем году расследовать 7000 случаев шпионажа, в то время как в 1905 году таких случаев было только 300. Господа из конторы Макса Ронге ссылаются на то, что за год им пришлось арестовать полтысячи лиц, из коих около 70 предстанут перед судом.

— Неужели так много провалов? — забеспокоился Соколов.

— Что вы! Проваливаются в основном итальянские и сербские агенты в приграничных районах. Но тем не менее Эвиденцбюро выпустило на всех языках монархии — тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров! — специальное воззвание «Остерегайтесь шпионов!». Наши австрийцы с немецкой методичностью вывесили эту афишку во всех казармах, в жандармерии, в пограничной охране. Как будто такие трюки смогут предохранить Габсбургов от ненависти славян!

— Вы весьма кстати заговорили о славянах, Млада. Как складывается ситуация в Богемии и Моравии? Удачно ли развертывается деятельность пропагандистов против Габсбургов? Кто больше всех симпатизирует России и делу славянства? На какой основе развиваются эти симпатии и прочны ли они?

— Не так много вопросов сразу, милый Алекс! — с улыбкой ответствовала Яроушек. — Ведь у нас есть, как я понимаю, по крайней мере пара часов сегодня и возможность встречи завтра, чтобы обсудить все наши проблемы... Для начала я хотела бы вам доложить, что Вена усиливает в настоящее время не только контрразведку, но и особенно разведку против России в первую очередь. Вторым объектом разведки по значению становится Сербия. Мы понимаем это так, что успехи славян в борьбе против турок во время нынешней Балканской войны вызвали усиленную контрреакцию в блоке Срединных держав у носителей идеи пангерманизма. Вы найдете в одном из донесений подробную характеристику подполковника Евгения Штрауба. Могу сейчас только коротко сказать, что этого дельного и очень активного разведчика собираются направить в Копенгаген наблюдать за русскими разведывательными центрами в Северной Европе. Через них, по данным Эвиденцбюро и его берлинских коллег, в Петербург утекает довольно много информации. Этот и подобные ему признаки, как считают офицеры из нашей группы, свидетельствуют о том, что блок германских держав вступил в период активной подготовки большой европейской войны против Франции и России.

Соколов внимательно слушал и напрягал свою память, чтобы

запомнить дословно все то, что говорила разведчица. Он поражался этой женщине, которая демонстрировала глубину понимания политики, ясный ум и знание проблем, преимущественно свойственных мужчинам.

— Теперь я отвечу на ваш первый вопрос, Алекс, — сказала Млада. — Руководящие деятели различных чешских партий — и господин Клофач, председатель национально-социалистической партии, и господин Крамарж, душа «младочехов», и господин Марков — вождь русофилов Галиции, и все пять депутатов рейхсрата от польских областей: профессор Заморский, граф Скарбек, господа Циейский, Биега и Виерчак, и сторонники «Великой Польши», имеющие русскую ориентацию, — Дмовский и Грабский, — все они в новых политических условиях приобретают больший вес и влияние. Чем решительней в Австро-Венгрии развивается немецкий национализм, чем ниже склоняется австрийский союзник перед кумиром германским, тем большее стремление в самой Праге связать перспективу решения чешского вопроса с Россией.

Вы, очевидно, знаете, Алекс, что вначале наши влиятельные чехи — и Масарик, и Крамарж — совершенно искренне хотели укрепить федеральные принципы Австро-Венгрии, повлиять на официальную внешнюю политику монархии, чтобы подтолкнуть ее к сближению с Россией и ослабить тем самым зависимость от Германии. Они весьма наивно полагали, что из Австро-Венгрии удастся создать бастион против пангерманизма, развивать в ней парламентский демократизм в противовес радикализму и революционности. Особенно решительно выступает против революционеров и радикалов наш друг Масарик, через которого мы получаем весьма ценную политическую и военную информацию. Кстати, господин Масарик заканчивает сейчас книгу «Россия и Европа», которая выйдет в будущем году и в которой он призывает преодолеть радикализм.

Теперь, когда в нашей «лоскутной» монархии всем стало ясно, что воевать придется не за Габсбургов, а за Гогенцоллернов, за пангерманский дух и за укрепление Германии против славянства, многие чешские политики засуетились. Они готовы теперь принять эгиду Романовых при сохранении известной независимости чешского государства в европейской структуре, с ориентацией на Францию и Англию. От России господин Масарик и его сторонники хотели бы получить гарантии консерватизма, поддержку против социал-демократии и марксизма, помощь в сохранении патриархальных основ чешского уклада жизни. Лидер «младочехов» доктор Крамарж вполне солидарен с ним в укреплении прогресса в рамках закона.

— А что поделывают господа Крамарж и Клофач? — поинтересовался Соколов.

Для Млады и этот вопрос не представлял сложности. Она сорвала веточку лавра, склонившуюся над скамьей, где они сидели, и, ощипывая машинально листок за листком, продолжала:

— Нам стало известно, что оба они вынашивают интересные проекты. Доктор Крамарж, например, считает, что в ближайшие год-два в Европе вспыхнет большая война между Срединными державами и странами «Сердечного согласия». В этой войне у Германии, Австро-Венгрии и их союзников нет никаких благоприятных перспектив. Даже если столкновение между Австро-Венгрией и Россией ограничится только Балканами, то и тогда наша Дунайская монархия обречена на поражение. Доктор Крамарж полагает, что после краха Австро-Венгрии следует создать под эгидой русского императора обширную систему королевств, которая будет включать в себя, помимо Российской империи, Чехию, Польшу, Болгарию, Сербию и Черногорию. Господин Крамарж собирается включить в эту «Славянскую империю», как он ее назвал, перечисленные государства на основе федеральных отношений, причем в Чешское королевство должны входить, по его мысли, не только Словакия, но значительная часть австрийских территорий до Дуная.

— Кому же он собирается оставить Вену? — с иронией спросил Соколов, не признававший никакого политического прожектерства, тем более столь нереального. Полковник сразу понял, что подобные планы, если всерьез их пропагандировать, могут обернуться против России, поскольку заставят сплотиться воедино всех ее врагов и недоброжелателей, начиная от Германии и Австро-Венгрии, кончая Англией и Францией, никогда не мирившихся с объединением и значительным усилением славян вообще, а России в частности.

— Вену и собственно австрийские земли Крамарж собирается оставить австрийцам, особенно Тироль с его горцами, — ответила Млада. — А вот наш друг Клофач разрабатывает более реальный проект...

По словам Млады, Клофач предлагал уже сейчас, не дожидаясь войны, которая, по его расчетам, также разгорится в 1915 году, создать параллельно существующей запасную агентурную и диверсионную сеть. Следовало разработать способы связи через территорию нейтральных государств, организовать и законсервировать «почтовые ящики», депонировать в банках городов Австро-Венгрии известные суммы на оплату такой сети, чтобы не быть связанными в военное время с переводами больших денежных сумм, которые всегда привлекают к себе излишнее внимание...

— Мысли в общем-то дельные, — сказал Соколов. — Попросите Клофача, если он, конечно, согласится, изложить их в форме докладной записки. Только пусть такую записку он не посылает в Петербург, а вручит лично кому-либо из важных особ, чтобы она лучше сработала. При этом упаси господь, если такая записка попадет не в те руки в нашей столице...

— Вы имеете в виду немецкие руки, прикрытые русским мундиром? — тактично осведомилась Млада.

— Или руки предателей, иуд, отягощенные немецким золотом, — горестно кивнул Соколов. Он не считал нужным скры-

вать от своих чешских друзей те проблемы, которые его особенно волновали. В данном случае он отводил угрозу ареста «самодеятельных» источников информации, если бы они вдруг решились обратиться к тем российским официальным лицам, которым и Россия, и ее интересы были чужды, а подчас и враждебны.

— Смею обратить ваше внимание еще на одну примечательную личность, — возвратилась к предмету разговора разведчица. — Хотя ни в Чехии, ни в Европе к пражскому публицисту Борскому не относятся серьезно, он частенько высказывает интересные мысли. Господин Борский — один из лидеров небольшой и не очень влиятельной прогрессивной государственно-правовой партии, точнее — группы интеллигентов, стоящих на платформе радикального, скорее даже республиканского национализма. Будучи военным обозревателем ряда чешских газет, он подчеркивает всегда, что завоевание Чехией независимости при существовании Австро-Венгрии невозможно. Орудием освобождения чехов и основой для создания нами собственного государства он полагает национальную революцию. Революцию социальную он отвергает и осуществление своих идей связывает с большой европейской войной, которая могла бы перекроить карту Европы. Хотя лично Борский относится с особенной симпатией к Англии и регулярно пытается публиковать свои идеи в английских газетах, британцы его почти не печатают, поскольку его мысли о каких-то буферных малых государствах между Германией и Россией считают несерьезными. В то же время вся его партия с большой симпатией относится к России, резко осуждает политику Тройственного союза, выступает против участия Австро-Венгрии в антирусской коалиции.

— У вашего военного обозревателя отменное чутье, — в задумчивости проговорил Соколов. — Не могли бы вы подготовить письменную информацию по тем вопросам, которые мы с вами только что обсудили? Ваш анализ очень ясен и точен. Полагаю, что он должен заинтересовать наше начальство и даже открыть, быть может, глаза на весьма интересные процессы, которые сейчас проходят в Богемии и Моравии. Желательно, конечно, чтобы было побольше конкретных имен, позиций различных кругов населения, направлений мысли, а также рекомендаций, как их подкреплять и развивать.

— Вы правы, Алекс. Пожалуй, стоит написать специально о том, как общественное мнение славян в нашей монархии постепенно меняется в пользу России. Если раньше чехи и особенно венгры тяготели к сохранению целостности Австрийской монархии, то теперь в Праге понимают опасность германской экспансии. Особенно устойчивы симпатии к России и русским среди беднейших слоев населения. Дело здесь, видимо, в том, что эта часть нашего народа подвержена особенному влиянию народных учителей в приходских школах. А они воспитывают своих учеников в уважении к русской и славянской культуре, вообще к славянству...

Солнце между тем начало клониться к закату, подходил час, когда в саду Боболи должна была появиться на вечерний променад гуляющая публика.

Млада предложила встретиться назавтра на площади Микеланджело над Флоренцией. Она обещала изложить на бумаге все рассказанное ею о национальных течениях в Австро-Венгрии, а Соколов — приготовить ряд новых вопросов, на которые должна была ответить разведгруппа.

Они расстались в зеленом убежище сада Боболи под статуей гладиатора. Элегантная женщина не спеша отправилась в сторону дворца Питти, а Соколов, подождав пяток минут и убедившись, что за коллегой не последовал неожиданный «хвост», отправился в глубь сада, туда, где красуется знаменитый фонтан с Нептуном. В огромной лохани скользили ленивые золотые и голубые рыбы, круглые, как блюдца... Он проследовал до террасы, окаймленной сквозным рисунком каменных перил. Здесь перед ним открылся простор, легкий ветерок нес аромат растительных дыханий сада. Он остановился и задумался над всем тем, что ему рассказала Яроушек. Особенно его поразило, что три разных политических деятеля маленькой австрийской провинции — Чехии — с редким единодушием оценивали мировую политическую ситуацию и ждали большую войну.

«Вот что значит центр Европы, — думалось Соколову. — Там, на тесном перекрестке европейских дорог, особенно остро ощущаются потоки нервной энергии, которые исходят из мировых столиц — Петербурга, Берлина, Парижа, Вены, Лондона...»

Полковник знал из донесений агентуры в Германии и сопредельных с нею стран, что генеральные штабы в Берлине и Вене усиленно готовятся к войне. Он знал также, что Россия вступит в состояние высокой боеготовности к 1916 году. Об этом говорили на совещаниях в Генеральном штабе, об этом судили и рядили в офицерских кругах.

Соколов видел, что Балканская война, сражения которой развертывались в эти самые дни, в частности на противоположном берегу Адриатического моря, где сербы наступали на Албанию и вот-вот должны были захватить Дураццо, могла стать детонатором большого европейского взрыва. Как военный разведчик, он привык мыслить крупными стратегическими и военно-политическими категориями, но как человек он не мог принять мысль о том, что скоро его великая родина, которая не успела еще оправиться от позора никчемной японской войны, будет ввергнута в новые сражения. Умом он готовился к войне и, как всякий офицер, даже рассчитывал в военное время на ускоренное продвижение по службе. Сердцем патриота он был против крови, страданий, разрушений, которые неизбежно принесла бы с собой большая европейская война.

Именно поэтому он в мирные дни стремился до конца выполнить свой долг в борьбе против таких исконных противников России, какими были немцы и австрийцы, помочь освобождению славянских братьев.

Этот день во Флоренции действительно заканчивался для него как праздник, который он заранее подготовил, как день, когда сбылись самые лучшие ожидания. Он радовался уходившему дню и потому, что назавтра его ждало продолжение беседы с замечательным соратником — Младой, которую он глубоко уважал за ум, храбрость, славянскую национальную гордость.

Полковник искренне любовался красотой и прекрасными манерами своего очаровательного связного, с удовольствием говорил ей комплименты. В другой обстановке и при иных обстоятельствах он был бы не прочь поухаживать за вдовушкой, если бы им, например, довелось познакомиться где-нибудь на балу. Теперь же, встречаясь с Яроушек в третий раз по долгу службы, старый гусар считал, что Млада — зависимый от него сотрудник. Поэтому полковник позволял себе флирт с нею только постольку, поскольку это было нужно для прикрытия, и сразу же дал это ей почувствовать.

В эту флорентийскую встречу Соколов был стоек как никогда. Его сердце осталось в Петербурге, на трибуне Михайловского манежа.

26. Флоренция, ноябрь 1912 года

С чувством радости, которое не покидало его в этот приезд в Италию, отправлялся Соколов к вечеру следующего дня к площади Микеланджело. Он взял извозчика на пустынной набережной Лунгаро, и возница повлек его в коляске серпантином Виале дэй Колли все выше и выше.

С высоты дороги мутный Арно казался серебряным, а город вокруг собора с огромным куполом Брунеллески — покорным стадом вокруг пастыря. Как страж поднимается рядом с красным черепичным куполом мраморная колокольня Джотто, она будто из слоновой кости, инкрустированной драгоценными черно-красными каменьями, — дивный Кампаниле, про который Наполеон сказал, что его надо поставить под стекло...

Дорога пошла горизонтально вдоль горы. Над коляской возвышались только мраморный фасад из пестрого камня церкви Сан-Миниато и старые стены крепости, воздвигнутые под наблюдением самого Микеланджело. Наконец возница доставил Соколова на Пиаццале Микеланджело, где возвышается зеленобронзовая скульптура Давида работы знаменитого флорентийца. Вокруг статуи широко раскинулась площадка, ограниченная от пропасти четким рисунком перил, за ними — только воздух и море красных черепичных крыш.

Соколов заметил у балюстрады знакомую фигуру Млады. Чешка любовалась Флоренцией, которая была дивно хороша в этот предвечерний час. Соколов отпустил извозчика и дождался, когда тот отправится налегке под гору. Затем подошел к Мла-

де, молча поцеловал ей руку и тоже залюбовался городом, серебряной лентой Арно, противоположной цепью гор, где Фьезолевский монастырь поднял колокольню над развернутым полукружием своих зданий, еле видных в дымке.

— Хорошо, что мы сегодня снова можем спокойно обсудить наши дела, — слегка опираясь на балюстраду, начала беседу Млада. — Я кое-что набросала здесь. — И она передала Соколову небольшой конверт. — Только постарайтесь спрятать это получше, а то я шифровала доклад нашим старым шифром, который помню наизусть. Не исключено, что немцы его уже разгадали...

— Почему немцы? — нарочно спросил Соколов. — Разве австрийцы не имеют дешифровальной службы?

— Иметь-то имеют, но все самое важное посылают в Берлин. Вам не передавали еще меморандум, который подписали от австрийской контрразведки Ронге, а от германской — майор Гейе, когда он приезжал в Вену в позапрошлом году?.. Кажется, один из наших полковников в Вене по старым своим связям в Эвиденцбюро достал этот документ и передал его в Петербург...

— Нет, я не помню, — состорожничал Соколов, хотя прекрасно удерживал в памяти строки этого документа, который с прошлого года лежал в его сейфе.

— Это было в ноябре десятого года, когда в Вене закончились переговоры о сотрудничестве германской и австрийской разведок. Меморандум называется «Организация службы разведки совместно с Германией», хотя точнее его можно было бы назвать «Как германская разведка командует австрийской». Согласно одному из пунктов меморандума немцы взяли на себя руководство «черными кабинетами» по всей территории Срединных держав. Этим делом руководит в Германии сам барон Турн-и-Таксис...

— У этой семейки столетиями накапливался опыт вскрытия чужих конвертов, — подтвердил полковник. — С самого начала организации ими коммерческой почты эти благородные господа основную прибыль получали от торговли чужими секретами, выуженными из писем. Посему нужна предельная осторожность, когда письмо идет через Германскую империю...

— Полагаю, в других империях тоже не дремлют, — лукаво посмотрела на Соколова Млада, но он успел отвести взгляд, и, помолчав, она продолжала импровизированный доклад: — Передайте полковнику Занкевичу, вашему военному атташе, что контрразведка Эвиденцбюро очень интересуется всеми его связями. Пусть он будет осторожен. Кстати, два наших друга — полковник Гавличек в Вене и пан Градецкий в Праге опять просили, чтобы Петербург не требовал вашей встречи обязательно с ними, как того хочет господин Энкель. У них, особенно у полковника Гавличека, нет возможности выезжать по первой открытке за границу под благовидным предлогом, как у меня,

например. Особенно просил об упразднении личных встреч агент «Мирослав». Он очень осторожен и скрытен.

— А как поживает Филимон? Что нового у него, ведь он уже давно на нелегальном положении? — поинтересовался Соколов.

— Вроде бы все благополучно. Он особенно настойчиво работает сейчас с одним преподавателем военной школы. Все новейшие программы и уставы, которые разработал сам Гетцендорф, они пересняли на микропленки именно в этом заведении.

— Кстати, о микропленках. Вам не удалось достать планы новых фортов крепости Перемышль?

— Пока нет. Мы отправили вам только фотокопию с оригинала в масштабе 1 : 25 000, сделанного в 1898 году. Поверх копии были помечены чернилами данные визуального наблюдения. Вы еще не получили эту копию? Как бы она не затерялась...

— А есть ли причины для беспокойства? Когда вы отправили?

— Пожалуй, не так давно и весьма кружным путем. Один наш артист — Франц Риттер — отправился в европейское турне, и, когда он доберется до Петербурга, знает только его антрепренер, — развела руками Яроушек.

— Наверное, стоит послать к нему нашего офицера, чтобы освободить его от тяжелой ноши... Где он теперь должен быть, как вы думаете?

— Полагаю, что он дает теперь концерты в Антверпене, а затем они собираются завернуть в Данию. Из Дании Риттер обещал отплыть прямо в Петербург...

— Боюсь, что ему придется ждать парохода до весны, — горько пошутил Соколов, — ведь пассажирская навигация на Балтийском море заканчивается в октябре, а сейчас ноябрь...

— Что вы говорите! — изумилась Млада. — Вот чего мы не предусмотрели! Как же теперь быть?

— Не волнуйтесь. Какой пароль у Риттера для связи с нами? — поинтересовался Соколов.

— Ваш человек должен подойти к нему после концерта и спросить: «Маэстро, а почему вы не играли сегодня Листа?» Риттер ответит: «Многое у Листа феноменально трудно». После этого следует еще одна фраза связного: «Надеюсь, Штраус не доставляет вам затруднений?» Мы заделали микропленки в его галстук-бабочку, которую он постоянно носит.

— Хорошо, будем считать, что это дело решено... Есть ли что-то новое в крепостных сооружениях Кракова? Или то, что вы прислали на пасху, пока не изменилось?

— В Кракове идет постоянное строительство укреплений. Австрийцы собираются сделать его опорным звеном своей обороны от вас. Мы будем присылать голубиной почтой прямо в Киев рисунки всего процесса возведенных новых фортов. Хотя ожидаются новости и поосновательней. Со следующим специальным курьером к вам поступит образец патрона и чертежи

новой винтовки, которую собираются делать на оружейной фабрике в Брно. Как только выйдет первая партия, мы переправим обязательно вам пару экземпляров, — сообщила разведчица.

— Я слышал, что на машиностроительных заводах в Пльзене готовится партия новых гаубиц для Германии, — поинтересовался Соколов. — Может быть, сможете прислать фотографии? Постарайтесь, чтобы на каждом фото было только одно орудие. Особенно ценно, если можно будет сфотографировать затвор и прицельное устройство.

— Мы имеем это в виду, Алекс, — живо откликнулась Яроушек.

— Мадам, — уважительно обратился Соколов, — что касается пропагандистов в пользу России, которые действуют в Галиции и других славянских областях империи, то ни в коем случае не приближайтесь к ним. Нам известно, что австрийская контрразведка самым внимательным образом наблюдает за ними, и нет нужды подставляться под ее сыщиков. Вы прекрасно делаете свое дело, берегитесь провала и компрометаций, а уж если что произойдет, держитесь крепко, мы постараемся вам помочь всеми силами.

— Хорошо, Алекс. Давайте следующее свидание назначим в Берне или Мадриде. В Италии становится опасно, — предложила связная. — Мы недавно узнали, как попался Кречмар. Он не входил в нашу группу, а был связан непосредственно с полковником Марченко.

— Хорошо, давайте условимся о Толедо. Приеду опять я. Что касается Кречмара, видимо, это тот служащий артиллерийского депо, из-за которого император Франц-Иосиф на приеме не подал руки Марченко?

— Да, именно он, — подтвердила Млада. — Я вам вкратце расскажу его историю, как о ней узнал Редль. Так вот, этот проныра Ронге от своих шпионов в Италии получил фотографию человека на фоне памятника Гёте в Риме и сообщение, что этот господин продал итальянцам документы Генштаба Австро-Венгрии за 2000 лир. Полгода Эвиденцбюро тайно снимало фотографические портреты всех военных и чиновников монархии и тут же сравнивало фото с тем, что было получено из Рима. В конце концов они наткнулись на Кречмара, а дальше вы все знаете...

— Да, видимо, после этого за ним установили наблюдение в Вене, и он был замечен вечером на пустынной аллее позади венского Большого рынка вместе с полковником Марченко. Тогда еще министром иностранных дел Австро-Венгрии был покойный граф Эренталь. Нам сообщали, он отнюдь не расценивал этот инцидент как трагедию. Только после того, как господа из венского Генерального штаба подняли шум, Эренталь был вынужден доложить все дело императору...

— Именно так, — подтвердила Яроушек. — Мне самой вско-

ре предстоит одна встреча с полковником Занкевичем, преемником Марченко. Дай бог, чтобы она прошла успешно!

— Может быть, вам не надо встречаться? — спросил Соколов. — Мы можем дать команду Занкевичу отменить встречу.

— Нет! Нет! Не надо, — успокоила его Млада. — Мне нужно лично передать ему одного агента, которого лучше использовать прямо в Вене, а то наша организация слишком разрослась.

— Решайте, Млада! Если есть опасность провала, то лучше не рисковать, — продолжал настаивать Соколов. Какое-то смутное беспокойство за судьбу товарища закралось в его сознание, и он решил про себя предотвратить эту встречу...

Прогуливаясь вдоль балюстрады Пиаццале Микеланджело, словно влюбленные, разведчики условились о различных приемах телеграфной связи, об условных знаках на конвертах, способах наклейки почтовых марок особым образом, который служил одновременно кодом. Соколов передал Яроушек адреса в Брюсселе и Антверпене, которыми следовало пользоваться для пересылки сообщений в Варшаву, откуда они будут немедленно, с фельдъегерем, направлены в Петербург...

Они начали прощаться, когда к вечерней службе в церкви Сан-Миниато потянулась цепочка прихожан и ударил колокол. Ему ответил другой, внизу, во Флоренции. Третий — в Фьезолевском монастыре — еле докатился до них серебряным отзвуком.

Млада легко поднялась в коляску извозчика, который подвернулся на площади, с ненатуральной веселостью помахала Соколову рукой и отправилась навстречу своей судьбе.

У Соколова защемило сердце. Он всегда с тоской расставался со своими товарищами. Каждый раз они возвращались в пасть льва, готовую сомкнуться в любую минуту.

Уныло бил колокол Сан-Миниато. Праздник разведчика кончился. Началась будничная работа. Сначала доставить в целости микропленки и записать точно все устные сообщения. Затем расшифровать донесения. Проанализировать, рассортировать по папкам. Нанести на карты. Обобщить, доложить Монкевицу, а затем начальнику Генерального штаба Жилинскому. Если прикажут — самому царю.

...Солнце зашло за горы, и Флоренция погрузилась в синюю тень. Колокол Сан-Миниато призывал на молитву. В церкви грянул орган. Осколки его звуков рассыпались в пропасти над Флоренцией.

27. Петербург, январь 1913 года

Редкий по красоте зимний день сиял над Петербургом, когда Соколов, возвратясь через Берлин и Варшаву в Петроград, оста-

вил свой чемодан дома, наскоро поцеловал тетушку, переехавшую к нему править хозяйством после смерти мужа-чиновника, и на том же извозчике поспешил на Дворцовую площадь, в Главное управление Генерального штаба. Сугробы снега обрамляли прекрасную площадь. В лазурное небо возносилась Александрийская колонна, торжественный, словно алтарь, высился Зимний дворец, геометрически четко простиралась в противоположном от него конце площади арка Генерального штаба.

Соколов взошел в боковой подъезд, где располагался отдел генерал-квартирмейстера Данилова, коему было подчинено и разведывательное отделение, мимо бронзовой статуи Петра I и обрамляющих ее мраморных досок с перечнем побед российской армии поднялся на третий этаж. Здесь в особой, изолированной и непосредственно соприкасавшейся с кабинетом Данилова комнате размещались начальник отделения Монкевиц, его помощник Энкель и подполковник Марков, исполнявший техническую работу по делопроизводству.

Монкевиц самолично сидел за пишущей машинкой, что означало его работу над особенно секретной и ответственной бумагой, каковые он составлял и перепечатывал собственноручно. Полковник Оскар Карлович Энкель, сын какого-то важного финского барина в Гельсингфорсе и потому чрезвычайно надменный и презрительно относящийся к русским, что он, кстати, почти не скрывал, занят был начертанием карты. Стол Маркова пустовал.

— Наконец-то, наконец-то! — провозгласил Монкевиц, оторвавшись от своей машинки и поднявшись со стула. — «Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть, и князь...» — произнес он свою любимую присказку, протягивая руку.

Энкель тоже сделал вид, будто очень рад благополучному возвращению товарища из негласной командировки, таящей серьезные опасности и осложнения в случае провала. Он тоже поднялся над своей картой, когда Соколов подошел пожать ему руку.

Монкевиц отодвинул пишущую машинку в сторону, демонстрируя готовность немедленно и подробно выслушать Соколова.

— Низкий поклон вам велел передать полковник Батюшкин, — начал Алексей Алексеевич, присаживаясь на стул возле стола начальника отделения. — Я останавливался в Варшаве на пару дней, чтобы обменяться новейшими данными с разведпунктом округа.

— Очень правильно вы сделали, — развел свои глаза в разные стороны Монкевиц. — Как там идут дела у наших коллег? Батюшин все так же засылает агентуру в Германию и Австро-Венгрию массами, берет, так сказать, числом, а не умением агентов? — поинтересовался генерал, перефразируя изречение Суворова.

— Да, это его метод, и, видимо, он действует очень успеш-

но, если немцы и австрийцы панически боятся Батюшина вместе с его «стекольщиками», «точильщиками» и другими бродячими соглядатаями. Его негласная сеть доставляет множество фактических данных, которые просеивают Терехов и Лебедев. Иногда они находят прямо-таки жемчужные зерна...

— Варшава часто присылает ценную информацию, — согласился Монкевиц и перешел к существу командировки Соколова. — А как ваши успехи? Все ли удалось выполнить, как задумывалось?

— Почти все, господин генерал, — отрапортовал Соколов. Монкевиц снова блеснул в разные стороны своими глазами, так что было неясно, одобряет или сомневается он в успехе своего сотрудника. — Доложите кратко, а потом пойдем к Данилову, — предложил он. Энкель обратился снова к своей карте, но Соколов заметил, что карандаши в его руке заскользили по листу гораздо медленнее, чем прежде.

Соколов недолюбливал Оскара Карловича Энкеля за презрительное отношение к России вообще, ее неграмотности и нищете, отсутствию комфорта и горькому пьянству населения. Шведские и финские порядки, чистоту, трезвость и всеобщую грамотность низших сословий тот считал идеалом современного ведения государственных дел. Своих симпатий к Германии он не открывал, но они иногда проявлялись, когда Монкевиц или Данилов после особенно напряженных работ устраивали для разрядки нервной системы, как говаривал генерал, холостяцкие пирушки старших офицеров в каком-нибудь модном ресторане. Будучи предельно собранным и трезвым на этих обедах, переходящих в ужины, Энкель все же иногда пьянел и, бледный от алкоголя, начинал говорить только по-немецки или шведски, восхваляя железную дисциплину, установленную Бисмарком в Германской империи.

— Бисмарк надел узду на германских рабочих, они не посмеют устроить таких беспорядков, какие способны развязать русские холопы на улицах, когда казаки не помогают, — бубнил Энкель под конец вечеринки, проявляя в рассуждениях недюжинные знания экономической жизни — стоимость акций и размеры падения курсов во время крупных забастовок.

Иногда полковник Энкель игрывал в карты в доме купца первой гильдии Мануса, где собиралось высшее финансовое общество Петербурга, и после таких вечеров в суждениях Энкеля звучали отголоски мнений этих тузов по «рабочему» вопросу. На чьей стороне были симпатии Энкеля, гадать не приходилось. Соколов, которого редкие встречи с другом юности — социал-демократом, успели уже в некоторых чертах просветить относительно экономических отношений в мире, недолюбливал ретрограда Энкеля.

Сейчас Алексей, нарочито приглушив голос, так, чтобы не слышно было Энкелю в его отдаленном углу большой комнаты, начал докладывать Монкевицу результаты своей поездки.

— Встреча со связной группы Стечишина прошла хорошо.

«А-17» передал, как всегда, исключительно ценную информацию. «Градецкий» и «доктор Блох» прислали с тем же связным политические обзоры. Два других агента — «Икс-8» из Генерального штаба в Вене и «Альпинист» — командир бригады в Тироле на этот раз дали весьма добротные копии документов, в том числе германских... Наблюдения за собой не обнаружил. Вот краткий отчет, писанный мною в Варшаве и в купе поезда. — Соколов положил перед Монкевицем толстый блокнот. — Что касается авиации, то в Италии она получила неплохое развитие. Аэропланы «Бреда» заслуживают всяческой похвалы, я раздобыл их тактико-технические данные... — Несколько листков легло рядом с блокнотом.

— Очень хорошо, Алексей Алексеевич! Хочу вам сообщить, в свою очередь, что по телеграфной шифровке от «А-17» — материалы вы найдете в своем делопроизводстве — мы собирались арестовать в Варшаве Генерального штаба полковника Лайкова за передачу австрийскому агенту копии нашего мобилизационного плана. Господин Лайков, к сожалению, покончил с собой прямо перед арестом. Так что ваша венско-пражская группа опять отличилась! Поздравляю!.. Сколько вам надо времени расшифровать микропленки привезенных донесений группы Стечишина?

— День-два, если нет других срочных поручений...

— Постарайтесь к завтрашнему утру. Все это настолько важно, что я хотел бы доложить содержание донесений генерал-квартирмейстеру Данилову, и не сомневаюсь, что он немедленно передаст их начальнику Генерального штаба, военному министру, а может быть, и его величеству...

Раздался звонок телефонного аппарата, укрепленного на стене поблизости от кресла Монкевица. Генерал живо поднялся и взял наушник.

— Монкевиц у аппарата, — начальственным тоном произнес он и тут же заговорил в совершенно другой тональности, любезно улыбаясь и при этом несколько смущенно приглаживая волосы на макушке: — А, это вы, Игнатий Порфирьевич! Рад слышать вас в добром здравии. Да, да, Оскар Карлович, как всегда, по соседству, сейчас я позову его к аппарату!

Отвернувшись от микрофона, генерал сообщил Энкелю, что с ним желает говорить Манус. Полковник быстро вскочил со своего стула, снял с крючка наушник, оставленный Монкевицем. Генерал продолжал разговор с Соколовым. Алексея несколько удивил этот звонок биржевого игрока и авантюриста полковнику разведки, члену замкнутой и гордой офицерско-гвардейской касты Петербурга. Еще больше он поразился, когда краем уха услышал, что Манус зазывает Энкеля, по-видимому, на ужин, на игру в карты, и генштабист с благодарностью принимает приглашение.

«Что может связывать между собой продувного купчишку и чопорного офицера Генерального штаба?» — подумалось Соколову. Он знал, что Манус владел контрольным пакетом акций Международного коммерческого банка, через который иногда

переводились деньги за рубеж на нужды военных атташе, был членом правлений других банков и промышленных товариществ, обществ и предприятий. В кругах, где вращался Соколов, поговаривали, что Манус состоит в самой тесной дружбе с Распутиным, а шталмейстер двора его величества Бурдуков, приятель царя и вхожий в будуар царицы, питает к Манусу особые симпатии, прямо пропорциональные тем суммам, которые купец ему ежемесячно отваливает, как какой-нибудь содержанке. Естественно, Бурдуков отрабатывал жалованье купца влиянием в пользу Мануса на царя и царицу...

Зная многое о Манусе как одной из самых заметных личностей на биржевом небосклоне Петербурга, о его сомнительных аферах и связях, Алексей Алексеевич и его коллеги все же не подозревали об одной тайной стороне жизни этого богатого авантюриста. Игнатий Порфирьевич занимал наряду со всеми своими директорскими постами высокое положение в петербургской масонской ложе «Обновители».

Манус никогда и ничего не делал напрасно: его участие в масонских церемониях и все его контакты с братьями-«каменщиками» были ради того, чтобы увеличивать свое огромное богатство и, может быть, на гребне масонства проскользнуть к власти, как это делали во Франции и Германии его коллеги-банкиры. Умножать капиталы, опутывать сетью своей финансовой паутины все новых людей, все новые заводы, фабрики и фирмы было главной страстью Игнатия Мануса.

Даже свое шапочное в прошлом знакомство с Энкелем Манус хитро использовал для своего обогащения. Он начал приглашать этого полковника к себе на карточную игру. За картами у Игнатия Порфирьевича собирались богатые и влиятельные люди, для которых крупный выигрыш или проигрыш не означали почти ничего, кроме приятных или неприятных временных эмоций. Зато возможность перекинуться словом с теми, кто так или иначе определяет жизнь миллионов соотечественников, почерпнуть у них новейшую информацию, услышать здравое размышление или анализ ближайших и отдаленных перспектив на бирже привлекали за карточный столик в доме Мануса на Таврической, 3б, что неподалеку от Смольного института, птиц самого высокого полета. Здесь зачастую лицезрели крупного банковского дельца Дмитрия Леоновича Рубинштейна; камергера высочайшего двора и банкира Вышнеградского; товарища* министра юстиции Веревкина, искавшего покровительства Мануса и Распутина для получения должности министра; члена Государственного совета, бывшего министра торговли и промышленности Тимашева и прочих тузов помельче. Изредка бывал здесь и сам «Старец» — Распутин.

Игнатий Порфирьевич нарочно делал так, что полковнику Энкелю дважды удавалось сорвать крупный банк в винт. Тот в

---

* Товарищ министра — соответствует современному «заместитель».

благодарность за «выигрыш» большой суммы поделился за легким ужином конфиденциальной информацией с хозяином дома. Эта информация отражала динамику военных заказов у некоторых крупных германских и французских фирм, с которыми Манус хотел вступить в деловые сношения. Информация оказалась точной, и Игнатий Порфирьевич смог удачно сыграть на парижской и берлинской биржах.

После этого купец уже открыто привлек полковника к сотрудничеству, уплатив ему из полученного барыша пятнадцать процентов. Разумеется, он объяснил смущенному партнеру по картам, каким путем тому удалось получить столь крупную сумму, исчислявшуюся несколькими десятками тысяч франков и марок. Энкелю понравился столь легкий способ зарабатывать большие деньги, тем более что офицерского жалованья ему, как и другим его коллегам по Генеральному штабу, не хватало. Если честные офицеры, нуждавшиеся по семейным обстоятельствам в дополнительном заработке, шли, как правило, читать лекции в кадетские корпуса и юнкерские училища, вели в них полевую практику или иные занятия, то русофоб Энкель предпочел продавать свои знания купцу и финансисту, не смущаясь тем, что некоторые его сведения составляют государственную тайну России.

Деловая «дружба» Мануса с Энкелем длилась уже несколько лет. Оскар Карлович все эти годы посвящал свои присутственные часы в разведывательном отделении Генерального штаба главным образом сбору по крупицам таких данных, которые помогли бы успешнее провертывать дела авантюристу Манусу. Вот и сейчас он, делая вид, что вычерчивает карту, внимательно прислушивался к отчету Соколова. Оскар Карлович прилагал все старания, чтобы расслышать тихий голос полковника и под видом уточнения обстановки набрасывал на поля карты некоторые из деталей, которые сообщил Соколов Монкевицу.

В числе таких технических мелочей, на которые обратил внимание Энкель, было развитие воздухоплавания в Италии, а следовательно, и возможность прибыльно вложить деньги в соответствующие акции Альфа-Ромео, ФИАТ и Бреды, вздувать цены на броню, сталь, медь и прочее сырье для военной промышленности, планировать иные прибыльные гешефты.

Энкель, как и Монкевиц, но со своих особых позиций, был весьма доволен докладом Соколова, тем, что сумел услышать некоторые важные факты именно сегодня, когда его снова пригласили за карточный стол к Манусу, а значит, и на задушевную беседу в кабинете хозяина. Такая встреча обычно и приносила полковнику наличные или толстый пакет акций...

28. Петербург, январь 1913 года

С удовольствием готовясь отправиться на ужин и партию в винт к Манусу, Энкель не знал, что в том же особняке за несколько часов до съезда вечерних гостей обедал с хозяином его

старый знакомец Альтшиллер и что этой встрече он и обязан приглашением на Таврическую. После добротной семейной трапезы в обществе супруги хозяина и его детей, после чинного и пустого разговора за столом, во время которого каждый из присутствующих пытался демонстрировать начитанность и тонкий художественный вкус, глава семьи и его гость удалились в библиотеку.

Прихлебывая душистый ароматный «мокко», выдыхая клубы сигарного дыма, дельцы, утопая в недрах кожаных кресел, повели неторопливый обстоятельный разговор. Они обсудили биржевые курсы в Петербурге и Москве, обменялись мнениями о пользе тесных контактов с германскими страховыми обществами и банками, вспомнили о русском займе, который финансовый агент Российского императорского правительства, парижский банкир Артур Рафалович распространял как раз в эти самые дни во Франции.

Собеседники коснулись и победы Балканской славянской коалиции над Турцией, проявив понимание тайных прогерманских пружин, дававших о себе знать в Болгарии при дворе царя Бориса. Эти силы были приведены в действие из Берлина и вызвали после окончания военных действий немедленное обострение отношений между бывшими союзниками — победителями Турции.

Наконец разговор приблизился именно к тому предмету, ради которого Альтшиллер прибыл к Манусу.

— Любезный Игнатий Порфирьевич! — обратился гость к хозяину, улучив, по его мнению, подходящий момент. — Позвольте мне обратиться к вам как к одному из столпов дружбы между германской и российской промышленностью, лицу, непосредственно заинтересованному в тесном слиянии капиталов предпринимателей Российской и Германской империй. Его величество Вильгельм хорошо знает ваш вклад в укрепление позиций германских владельцев в России, в овладении русской промышленностью и финансами...

Манус самодовольно улыбался, слушая льстивые речи Альтшиллера. Австро-венгерский подданный, известный в Петрограде как представитель германских банковских кругов, а некоторым наиболее близким своим друзьям и единомышленникам как крупный агент, если и не резидент германской и австрийской разведок, продолжал обольщать хозяина, подводя Мануса к нужному для его доверителей выводу.

— Лишь тесное сотрудничество Германии и России способно установить в Европе такой порядок, какой позволит развернуться во всем блеске способностей нам, финансистам, приведет к гармонии общественных потребностей и прогрессу культуры... — излагал свои любимые мысли Альтшиллер. — И, наоборот, столкновение германских и русских интересов в братоубийственной войне двух крупнейших и прочнейших монархий может вызвать революции и другие неисчислимые беды для власть и собственность имущих. Поражение кайзера будет означать торжество

германской социал-демократии и приход ее к власти. Крах самодержавия в России настолько потрясет весь континент, что способен вызвать мятежи и бунты не только в этой империи, но и сопредельных...

Манус с интересом смотрел на собеседника, ожидая продолжения речей, которые счастливо совпадали с его собственными мыслями. Видя такое участие, Альтшиллер продолжал, все более вдохновляясь:

— Между тем самоуверенность русских в грядущей победе над Германией и Австро-Венгрией все более и более поражает. Как стало известно в Берлине, эту уверенность очень подогревает то обстоятельство, что российский Генеральный штаб от своей агентуры неплохо знает германские и австрийские силы, их планы и возможности. Если бы удалось лишить русских этой уверенности, на некоторое время прикрыть им глаза своего рода повязкой незнания, то его величество кайзер мог бы более спокойно и уверенно развивать экономические отношения между Германией и Россией. Разумеется, он не забыл бы человека, оказавшего столь важную услугу империи, и щедро вознаградил бы его...

— Бросьте крутить, Александр Оскарович! — прищурив глаза, вдруг резко и повелительно произнес Манус. — Со мной как с деловым человеком вы можете говорить без всяких экзерсисов и уверток. Что вам, короче, надо от меня и сколько Вильгельм Второй может заплатить за это? Только учтите, что я не какой-то мелкий шпион и плату требую не в рублях или марках, а в более весомых материях. То есть мне надо влияние и пакеты акций в солидных предприятиях, освобождение товаров и зерна, которые мои российские товарищества продают в Германию, от германских пошлин и кое-что еще, чем может располагать его германское величество...

— Бог с вами, Игнатий Порфирьевич! — перепугался Альтшиллер. — Я и не думал вас оскорблять недоверием... Если вы так хотите, я выскажу вам напрямую пожелания германского императора. Его величество хотел бы знать тех лиц, кто предает его самого и его державного родственника Франца-Иосифа, снабжая Генеральный штаб России секретными документами из Берлина и Вены. Особенно важно знать источники русских в Вене, поскольку именно оттуда происходит большая утечка военных и политических секретов Срединных держав. В Берлине считают, что информаторами России, судя по тому, чем располагает Генеральный штаб на Дворцовой площади и что он докладывает Николаю II, могут быть какие-то высокопоставленные офицеры или даже деятели на правительственном уровне...

— Неужели наши солдафоны оказались столь расторопными? — удивился Манус. — Никогда бы не подумал!

— Что вы, Игнатий Порфирьевич! — заверил его Альтшиллер. — Я давно занимаюсь... — Он замялся, ища приличный синоним слова «шпионаж» и не находя его сразу. — М-мм... изучением русской армии и просто поражен, как быстро эта ар-

мия оправилась от поражения в русско-японской войне, как скоро сделала кое-какие выводы... Если бы не известная апатия в ее руководстве... как бы это выразиться поделикатней...

— Скажите лучше, если бы не старые дураки генералы и первый из них — ваш друг Владимир Александрович Сухомлинов, который только и живет, что своим «очаровательным демоном» — Екатериной Викторовной! — резко выпалил Манус.

— Согласен с вами, что мой друг Владимир Александрович не отдается целиком работе, как это было бы пристойно столь высокому государственному деятелю, а стремится побольше времени побыть со своей очаровательной молодой женой, потакая всем ее капризам. Но вы несправедливы, говоря, что он дурак. Его превосходительство достаточно умен для того, чтобы быть в неплохих отношениях с Вильгельмом Вторым и симпатизировать улучшению отношений с Германией в ущерб Англии и Франции. Однако, как говорится, ближе к дельцу... Хотелось бы обратить ваше внимание, дражайший Игнатий Порфирьевич, на некоторые подозрения, имеющиеся у его величества Вильгельма в адрес офицеров армии Франца-Иосифа, в жилах коих течет славянская кровь, — чехов, поляков, словаков, русинов и других. Видимо, следовало бы изучить прежде всего именно эту категорию русских друзей. Ведь ни один истинно германский офицер не согласится торговать тайнами своей империи...

— Ай, бросьте, Александр! — снова перебил его хозяин дома. — За приличные деньги любой германский офицер продаст вам не только тайны, но всю свою родню с потрохами! Дело только в цене.

— А как ваш «ручной» Генерального штаба полковник, которого я часто вижу у вас за ломберным столиком? — поинтересовался Альтшиллер, подходя к главной цели своего визита. — Есть ли у него доступ к таким сведениям, которые нужны в Берлине? Ведь он служит в отделе генерал-квартирмейстера, сиречь занимается разведкой...

Манус задумался. Он размышлял о том, стоит ли подвергать опасности свое знакомство с Энкелем, давая ему задание разузнать источник утечки секретов из Вены и Берлина, но жажда получить новые привилегии в торговле с Германией из рук самого кайзера пересилила осторожность.

— Хорошо, я поговорю с ним сегодня вечером, если он придет на партию винта, — сказал Манус и потянулся к черному эбонитовому ящику телефонного аппарата новейшей конструкции. Он попросил телефонистку соединить его с Генеральным штабом и повел с полковником Энкелем тот самый разговор, который случайно услышал Соколов.

Когда банкир повесил трубку на высокую медную вилку аппарата, Альтшиллер снова настойчиво стал поворачивать разговор на использование связей с Энкелем в интересах кайзера.

— А что за тип этот ваш полковник? — поинтересовался Александр. — Надежны ли сведения, им доставляемые? Не за-

подозрит ли из разговоров с вами о сотрудничестве с германской разведкой?

— Не беспокойтесь, — самодовольно отозвался Манус, — он у меня давно на золотом крючке. Оскар Карлович, говоря о своем богатстве, ссылается, разумеется, не на мою щедрость, которая его сделала материально независимым, а на капиталы своего папаши, который служит в Гельсингфорсе в канцелярии генерал-губернатора, занимая там какой-то важный пост. Энкель — типичный швед: презирает Россию, но побаивается ее мощи. Поэтому он сделает все, чтобы ослабить эту империю. Ха-ха-ха! Предателей Австро-Венгрии и Германии будет вынюхивать предатель России, а мы от оного получим прибыль...

Подобная ситуация весьма насмешила купца первой гильдии. Смех долго колыхал его грузное тело.

29. Петербург, январь 1913 года

Когда Соколов после доклада Монкевицу вернулся домой, тетушка подала ему поднос с письмами и визитными карточками, пришедшими, пока он был в отлучке. Среди них был конверт городской почты с письмом тайной советницы Шумаковой. Советница напоминала, что она была когда-то очень дружна с покойной матерью Соколова, сообщала, что по четвергам у нее собирается общество молодежи, что они решили ставить любительским спектаклем «Разбойников» Шиллера и просили бы его, Соколова, как знатока германских стран и немецкого языка в особенности помочь им советом.

Соколов показал это письмо тетушке. Мария Алексеевна, старая жительница Петербурга, хотя никуда не выходила, но знала преотлично весь столичный свет и все так называемое «культурное общество».

— Сходи, Алешенька, развейся, — сказала тетушка. — Никакие там не «Разбойники», а дочь-невеста и другие барышни, которым женихов надобно. Матушку твою, царство ей небесное, Шумакова любила, а батюшке, братцу моему Алексей Алексеевичу, даже протекцию когда-то составила. Познакомишься там с интеллигентами — как это теперь называют — может быть, и не умрешь от скуки... На угощенье не особенно надейся — будут мятные пряники, мармелад, варенье, пастила — вроде бы русские лакомства, а на самом деле для экономии — эдак у самовара дешевле посидеть, чем балы да пиры устраивать...

Алексей решил пойти. Извозчик с лошадкой, запряженной в легкие горбатые санки, живо доставил его к дому на Пушкинской улице, где квартировала тайная советница. Соколов, погрешив против петербургских обычаев, диктовавших светским людям опоздание на час, почти не задержался. Но, когда он вступил в прихожую на третьем этаже высокого каменного доходного дома, все вешалки были уже заняты гимназическими пальто и фуражками, девичьими шубками на вате и дешевом

меху, студенческими тужурками. Из гостиной, похожей по размерам на зал, несся нестройный хор молодых голосов. Гости располагались группками вокруг рояля и двух столов на простых, крытых ситцем диванах и креслах, на стульях или просто у подоконника. Гостиная была освещена, как, по-видимому, и вся квартира, керосиновыми лампами, зажженными по случаю «четверга» в большом количестве.

Когда Соколов появился, советница, дама рослая и полная, но, несмотря на свои объемы, исключительно энергичная, пошла ему навстречу из-за рояля, где она собиралась аккомпанировать певцу в толстовке, похожему на молодого Толстого, что на портрете работы Крамского. Соколов представился. При его появлении, свежего, гладко выбритого, в вицмундире и со шпагой, все разом замолкли и обратились лицами к нему. Соколов почувствовал себя неловко, но советница пришла ему на помощь:

— Не знакомьтесь сразу со всеми — это долго и грохота стульями будет много. За разговором вокруг самовара всех и узнаете! А сейчас пошли чай пить — самовар поспел, Таня уже чай заварила...

Вошли в столовую. Советница представила Соколова дочери, сидевшей у самовара и наполнявшей разнокалиберные стаканы и чашки.

— А мы и не думали, что вы откликнетесь на нашу просьбу, — обвела Таня жестом своих друзей и подруг. — Ведь вы в таких чинах, а вот приехали помочь молодежи...

Вокруг стола уже задорно шумели гости, резко сдвигая стулья, передавая чай, обсуждая сравнительное достоинство пастилы и мармелада. Соколов сразу не охватил взглядом всех гостей, но, оборотясь от хозяйки к столу, чтобы занять место, с удивлением увидел подле свободного стула ту самую пепельную головку, которая так восхитила его во время конноспортивных состязаний в манеже. Оказалось, что это была лучшая подруга Татьяны — Анастасия. Она только что вышла из комнаты Татьяны. Простая гладкая прическа с пучком волос сзади, правильные черты лица с чуть вздернутым носиком, ясные умные серо-голубые глаза, спокойная манера общения с людьми, сдержанная улыбка и скромное, но ладное платье — все создавало образ незаурядной, обаятельной личности.

Соколов почувствовал себя как на крыльях, ему только неудобно было все время поворачиваться к соседке, чтобы еще и еще любоваться ею, говорить с ней.

Стаси, как она представилась Алексею Алексеевичу, вспоминая конный праздник, где она видела этого военного в другом, красивом гусарском мундире, на прекрасном золотистом коне, буквально перелетающем самые трудные препятствия, глядела на Соколова с восхищением.

— А почему вы теперь в другой форме? — спросила она его.

— В конкур-иппике я выступал за свой прежний полк — литовских гусар, из коего вышел в Академию Генерального шта-

ба, — полушепотом, чтобы не привлекать внимания других соседей по столу, объяснил Соколов. Только теперь Стаси заметила на борту его простого вицмундира значок академии — серебряный двуглавый орел в обрамлении венка из лавровых листьев. По женской простоте она решила, что это орден, но Соколов с присущей военным дотошностью объяснил ей значение символа.

От всех своих объяснений Соколов засмущался и замолчал. Он сам не заметил, как перед ним очутился большой кусок французской булки, намазанный густо желтым сливочным маслом, и дымящийся стакан крепкого чая.

— Вы ешьте, — предложила Стаси, — и не стесняйтесь, тут все свои — Варя, Лена, Вера, Гриша, Костя, Володя, Саша... — показывала она глазами барышень и молодых людей.

Сквозь общий гам прорезался чей-то звонкий голос и попал в паузу, когда все вдруг умолкли:

— Ну вот, наконец есть между нами и представитель машины насилия — полковник, и мы можем с ним обсудить важную тему: какова должна быть армия, ежели она народная?

Кто-то счел постановку вопроса бестактной и смущенно хихикнул; кто-то бросил: «Молодец, Саша!», но оратора перебили с другого конца стола:

— Позвольте, товарищи, князь Кропоткин считает, что армии вообще не должно быть никакой!

Говоривший о машине насилия был студент, одетый с нарочитой небрежностью в синюю косоворотку, поверх которой мешковато сидела студенческая тужурка, почти проношенная на локтях, а о Кропоткине вспомнил бледный высокий студент-технолог с бородкой, росшей прямо из кадыка.

С мальчишеским жаром их перебил гимназист, который воскликнул недоуменно:

— Как никакой армии не должно быть? А стало быть, не будет и юнкерских училищ?!

Все засмеялись, потому что обнаружилось, что гимназист метит в юнкерское училище.

Молодой человек лет двадцати шести, по виду помощник присяжного поверенного или мелкий служащий банка, возмутился:

— Ну и хватил, Федя! Подай ему юнкерское училище!.. И это в двадцатом веке, когда все завоевательные войны давно отгремели!

— Теперь война немыслима! Народ не тот, он не пойдет на войну братоубийственную! Мы, пацифисты, раскроем ему на это глаза, и солдаты останутся в казармах! — подтвердил студент-технолог.

Соколов с интересом слушал молодежь.

— Помилуйте, а для чего же все вооружаются?! — возопил вдруг молчавший до сих пор Гриша, студенческий сюртук которого был сшит у отличного портного, а когда он размахивал руками от возбуждения, полы распахивались, демонстрируя белую шелковую подкладку.

«Ага, это представитель того самого богатого студенчества, ко-

их называют «белоподкладочниками» и терпеть не могут в студенческих коммунах», — подумал Соколов, а белоподкладочник между тем продолжал:

— Пушки, накопленные в избыточном количестве, сами начнут стрелять, вооруженный мир не может долго продолжаться, иначе Европа просто разорится!..

— Коллеги, товарищи! — сказала Таня умоляюще. — Вы как на сходке: беспорядок, крики с мест... никто не слушает ораторов, а норовит высказать только свое мнение. Ведь мы пригласили к нам специалиста, представителя армии, чтобы расспросить его, задать ему вопросы, а галдим и не слушаем, что он скажет!..

«Так вот, оказывается, какие барышни-невесты здесь собираются по четвергам», — с веселой иронией подумал Соколов и приготовился участвовать в диспуте, использовав весь накопленный в академии багаж знаний по военной истории.

— Давайте приступим, — продолжала призывать Татьяна, и ее наконец вроде бы послушались.

— Возможны ли теперь войны? — задал первый вопрос молчавший доселе симпатичный круглоголовый, коротко остриженный, но с пшеничными усами студент в простой куртке поверх черной сатиновой рубахи. Снова поднялся крик, через который пробился визгливый голос белоподкладочника:

— Обсудим сперва мою постановку вопроса: армия для войны или война вызывает формирование армии?

— Чушь! — резко сказал студент в потертой тужурке.

— Товарищ! Но ведь я в прошлый раз ясно доказал, что если не будет армии, то общество изживет милитаризм, народ весь будет лишен зловещих инстинктов войны, а сражения просто не состоятся! Разве вы отсутствовали на моем реферате? — надрывался белоподкладочник.

— Я присутствовал, но не разделяю вашей нелепой позиции, — огрызнулся студент в тужурке, которого звали Саша. — Свою абракадабру вы можете нести только Павлу Никитичу!

При этих словах чистенько одетый господин встрепенулся и снова вступил в спор:

— Я не разделяю целиком позиций анархистов, поскольку я эсер и считаю, что крестьянство должно вооружаться, чтобы противопоставить себя армии. Только революция крестьян, только крестьянские восстания оздоровят атмосферу России...

— У, куда вас понесло от главной темы! — возмутился гимназист.

— Господа, начинается ерунда, — пискнула было высокая и стройная брюнетка. — Сами пригласили порядочного человека, а сами себя слушаете...

— А я говорю, что существование армии нарушает равенство в обществе! — капризно продолжал белоподкладочник.

Хозяйка дома, тайная советница, вдруг махнула на молодежь рукой и ушла от самовара. Ее ухода никто, кроме Соколова, не заметил. Полковник хотел было подняться с места, чтобы

проститься с ней, но решил, что подобные церемонии здесь не приняты, и остался на своем стуле.

30. Петербург, январь 1913 года

Ужин в доме Мануса начинался довольно рано для Петербурга — около восьми вечера — и был весьма скромен для столь богатого и открытого дома, какой держал купец-хлебосол. На большом столе, сервированном дорогим серебром модных форм югенд-стиля с инициалами хозяина, расположились копченый сиг, окорок ветчины, холодная телятина, лососина под соусом провансаль, кулебяки и пирожки к бульону, фрукты, сыры и земляника из Ниццы. Посреди стола лежала искусно сплетенная гирлянда из гвоздик и зелени. Хрусталь люстр отражался в белоснежном фарфоре кувертов, играл в гранях хрустальных карафов, на каждом из которых болтался серебряный «ошейник», сообщавший, коньяк ли, водка, херес или портвейн, мадера или бургундское наполняли этот сосуд. В доме Игнатия Мануса вино в бутылках, кроме, разумеется, шампанского, никогда не подавали...

Гости дружно собирались, ибо после ужина предстояла партия в винт, модную «коммерческую» игру, приносившую отдохновение и азарт в серые будни финансовых тузов.

Еще больше гостей привлекала в этот дом возможность обсудить «в своем кругу» актуальные вопросы политики, разузнать придворные новости и обменяться впечатлениями, а иногда набросать план совместных действий в той или иной крупной финансовой афере.

В числе первых приехал камергер «высочайшего двора», директор петроградского международного банка Вышнеградский. Он был одним из активнейших и напористых воротил своего времени — председатель правления Общества коломенского машиностроительного завода, крупный акционер машиностроительного предприятия Гартмана, Кузнецких каменноугольных копей, тульских меднопрокатных и патронных заводов, организатор синдиката банков — именно он осуществлял «личную унию» банковских сфер с правительством и двором. Вышнеградский пользовался особым доверием императрицы Александры Федоровны из-за своих тесных деловых связей с германским капиталом и часто выполнял ее деликатные поручения, переводя золотые царские рубли многочисленной зарубежной родне бывшей принцессы Гессенской.

Не замедлил явиться и знаменитый Митенька — Дмитрий Леонович Рубинштейн, тридцатисемилетний кандидат юридических наук, директор правления Общества петро-марьинских и варвароплесского объединения каменноугольных копей, страхового общества «Волга», Русско-Французского банка, член правлений других подобных «русских» банков, где французские, германские, британские капиталы соединяли свою энергию для за-

хвата русской промышленности, для выжимания пота и крови из российских трудящихся, превращения их в наемных рабов страшного братства барышников, капиталистов, гешефтмахеров.

Заскочил «на огонек» старший лейтенант гвардейского флотского экипажа Васька Кузьминский, жуир и бреттер, известный в обществе, впрочем, более всего тем, что его двадцативосьмилетняя жена Надежда была фанатичной поклонницей Распутина. Пришел и журналист, барон Унгерн-Штернберг, большой приятель австрийского военного агента майора Спанокки и давний знакомец Альтшиллера.

Пришли в этот вечер к Игнатию Порфирьевичу товарищ министра Веревкин, Тимашев, оказавший в бытность свою министром торговли и промышленности немало важных услуг хозяину дома и получивший за это от него в полное владение не одну тысячу привилегированных акций банков и товариществ, где заправлял Манус. Позже всех, но почти одновременно с Энкелем прикатил на моторе, арендованном для него за счет Русского транспортного и страхового общества, председателем коего был опять-таки Игнатий Порфирьевич, шталмейстер двора его императорского величества, свиты генерал Бурдуков.

Поджидая опаздывавших, общество собралось в зале между парадной гостиной и столовой вокруг стола, уставленного различными водками, настойками, наливками. На том же столе были накрыты грибочки, маринады, соленья и разные экзотические закуски заморского происхождения вроде английских консервов. Игнатий Порфирьевич, понимавший толк в купеческих удовольствиях, при появлении первого гостя покинул вместе с Альтшиллером кабинет и радушествовал в закусочной зале.

Энкель, а за ним и Бурдуков внесли новый ажиотаж вокруг стола, все наперебой принялись рекомендовать им свои излюбленные напитки и закуски, которых уже довольно изрядно напробовались. Затем, предводительствуемые Манусом, гости проследовали чинно в столовую, где уселись на свои традиционные места. Не успели расположиться, как вошла хозяйка дома. Пришлось опять вставать и раскланиваться с супругой Игнатия Порфирьевича.

Разговор за столом вертелся вокруг последних светских новостей. Всех очень занимала случившаяся недавно, в октябре прошлого года, романтическая история великого князя Михаила Александровича, брата царя. История закончилась тем, что Михаил вступил в морганатический брак со своей возлюбленной, Наталией Сергеевной Шереметевской. Весь Петербург злословил по поводу великого князя, избранница которого носила по первому мужу фамилию Мамонтова, по второму — Вульферт, то бишь Волкова, а породнившись с российским императорским домом, получила фамилию Барсова. Каламбуры и эпиграммы на сей предмет сыпались как из рога изобилия, но все было достаточно пристойно — имен его величества или членов его семьи не называли, гнев царя признавали обоснованным и сочувствовали самодержцу, родня которого совсем не умела себя вести...

Утолив голод и страсть к злословию, гости стали с вожделением поглядывать в растворенные двери библиотеки, в глубине которой были уже расставлены ломберные столы с нераспечатанными колодами карт. Хозяйка уловила их помыслы и поднялась от стола. Все дружно встали и выстроились в очередь поцеловать ей ручку, чтобы после этого степенно удалиться в библиотеку. Как обычно, составилось два винта — один роббер затеяли всерьез Вышнеградский в паре с Рубинштейном против Кузьминского и Тимашева, за другой ломберный столик уселись Альтшиллер с Унгерн-Штернбергом против Бурдукова и Веревкина.

Митенька тотчас же снял свой сюртук, а Васька — вицмундир; вскоре на столе выросла груда золота и пестрых ассигнаций. Засучив по локоть батистовую рубашку на своих волосатых руках, Митенька нервно рвал и тасовал колоды. Вышнеградский в наглухо застегнутом сюртуке, напевая под нос шансонетку, играл как будто бы небрежно, но глаза его смотрели остро, внимательно, выдавали азарт, охвативший камергера. Тимашев в расстегнутой визитке, из-под которой выглядывал белый пикейный жилет, жадно смотрел на стол и изредка брал себе карту. Они играли сложнейший винт с прикупкой, пересыпкой и гвоздем. Никакая сила не могла отвлечь их теперь от карточного стола.

За вторым столом не играли, а баловались. Энкель решил было примкнуть к играющим, но хозяин дома знаком поманил его к себе в кабинет.

Игнатий Порфирьевич уютно расположился на своем любимом кожаном диване, а Оскару Карловичу указал место подле себя, в глубоком кресле. Звонком он вызвал лакея и заказал ему кофе, сигары и ликер. Спустя минуту лакей водрузил на столик перед ними серебряный поднос, на котором в дополнение к просимому стояла сельтерская вода и большие хрустальные стаканы. Игнатий Порфирьевич предложил гостю кофе и бенедиктин, себе налил на донышко стакана немного ликера, бросил ломтик лимона и залил все это сельтерской водой. Прихлебывая любимый напиток, купец щурился от удовольствия и не начинал разговора, поглядывая на Энкеля через щелочки глаз. Он дожидался, пока гость не отпил кофе, не пригубил ликера, а затем начал неторопливую беседу.

— Я полагаю, любезнейший Оскар Карлович, что не очень огорчил вас, лишив возможности загнуть карту и «подвинтить» игру... Тем более я должен отдать вам ваш процент, который намного перекроет даже самые роскошные тринадцать взяток... — лениво вымолвил Игнатий Порфирьевич и так же лениво поднялся к стоящему рядом сейфу. Повернув одну из металлических шишечек, украшавших этот громоздкий, но не без изящества сделанный стальной шкаф, окрашенный в тон дерева, которым были обиты стены кабинета, Манус вставил в открывшуюся под ней скважину небольшой ключ, повернул его, и со звоном, словно музыкальная шкатулка, отворилась массивная литая дверца.

— Люблю эту музыку, — произнес купец и достал из сейфа заранее приготовленный пакет синей, с вензелями министерства финансов, плотной бумаги.

Алчными глазами наблюдал всю эту операцию полковник Энкель. Он давно понял, что речь в этом кабинете пойдет о его гонораре за сведения, которые ему удалось собрать относительно кредита в 63 миллиона рублей, истребованного Сухомлиновым в нынешнем году на новое вооружение армии.

— Вы очень помогли своими советами, — деликатно сказал Манус, с поклоном передавая полковнику пакет. — Особенно ценно было узнать, что наше военное министерство собирается дать большой заказ на вооружение близкому к австрийскому правительству заводу Шкода. Ведь при получении такого государственного заказа акции любого предприятия взлетают вверх. В данном случае я заработал миллион чистой прибыли на операциях с акциями Шкоды. Здесь ваши пятнадцать процентов — сто пятьдесят тысяч... — Сердце Энкеля при сих словах учащенно забилось, и перед его глазами стены кабинета поплыли словно в тумане, — ...акциями Варшавско-Венской железной дороги. По вашим же сведениям, эту дорогу предназначено вскоре выкупать в казну, учитывая ее стратегическое значение, так что вы сможете получить за эти акции намного больше, чем они сто́ят сегодня...

Энкель едва нашел в себе силы подняться с кресла и пожать руку купца, отвалившего ему столь щедрые куртажные.

Игнатий Порфирьевич сразу увидел, что он может по горячим следам требовать новых услуг. В его проворном уме созрела тотчас комбинация вопросов, которые могли помочь ему выведать имя того русского агента, который предает Срединные империи в Вене.

— Дражайший Оскар Карлович, — елейно начал Манус, усаживаясь на свой диван и уставив на Энкеля немигающие желтые глаза, — то, что вы сейчас получили, — капля в том море денег, которые можно заработать, если знать кого-либо из венского Генерального штаба, кто мог бы сообщать нам различные актуальные сведения. Например, когда и какие заказы намерено выдать австрийское правительство тем же заводам Шкода или какие железные дороги оно намерено строить в австрийской Польше? Мы могли бы через подставных лиц брать подряды на поставки фуража или сукна на армию Австро-Венгрии... Неужели у вас нет такого человека в Вене?

Только что полученный барыш настолько затуманил сознание Энкеля, что профессиональный разведчик не уловил подвоха в вопросах Мануса. А тот продолжал разливаться соловьем, суля золотые горы за сведения, которые можно было бы получать через австрийский Генеральный штаб. Купец видел, что полковник вот-вот готов сдаться и высказать какие-то предложения. Он усилил свой нажим.

— Дорогой Оскар Карлович! Но если у вас никого нет на ключевых позициях в Вене, тогда, может быть, вы составите мне по-

средничество с российским военным агентом в австро-венгерской столице, полковником Занкевичем — ведь он, кажется, у вас в подчинении... Может быть, он захочет заработать за здорово живешь пару сотен тысяч или полмиллиона?

— Игнатий Порфирьевич! Ну какие могут быть разговоры о моем нежелании сотрудничать с вами, — смущенно начал Энкель. — Дело совсем не в том, что мое отделение не располагает агентурой в Вене. Проблема выглядит значительно сложнее. Все негласные агенты находятся на связи у офицеров в австро-венгерском делопроизводстве, — начал объяснять структуру разведки полковник, — а мы с Монкевицем — начальники отделения — знаем их только по кличкам, дабы не нарушать правила конспирации и даже случайно не провалить ценного агента. Порядок сей гарантирует, что, если к бумагам нашего отделения получит доступ некто посторонний, все равно он ничего не сможет выяснить об агентуре... Мне совсем не жалко ради отношений с вами затруднить наших самых ценных агентов добавочными заданиями, но только сообщения от них идут подчас довольно долго, так что вся коммерческая их ценность может пропасть... — оправдывался полковник.

— Не бойтесь, мой друг, — принялся успокаивать его купец, — я не буду задавать много вопросов. Иной раз один-единственный вопросик, но умело поставленный, может принести миллионы. Подумайте пока над тем, кого можете использовать для такой деликатной работы, а я попытаюсь сформулировать некоторые возникшие проблемы...

— За один-единственный вопросик — миллионы? — переспросил тупо Энкель.

— Слушайте-ка, — Манус принял такой вид, словно ему в голову пришла гениальная мысль. — А что, если мы с вами сами, минуя вашего офицера, которого незачем посвящать в суть дела, пройдем по всей почтовой линии, вплоть до получателя корреспонденции на той стороне цепочки — в Вене — и установим с ним собственные связи? А?!

— Не выйдет ничего, — упал духом Энкель, — даже если мы начнем отсюда, из Петербурга, то сможем только узнать, когда генерал-квартирмейстером будут получены деньги по статье «на известное его величеству употребление», что означает скорый перевод особых сумм агенту...

— Ну хорошо, а дальше как следуют эти суммы? — продолжал выведывать свое Манус. — Давайте посмотрим на каком-нибудь примере. Может быть, мы сможем на определенном этапе подключиться к этой цепочке? Может быть, я через свой банк переведу деньги в Вену?

— Что вы?! Господь с вами! Мы сразу провалим агента. Это делается гораздо хитрее. Мы выписываем деньги офицеру из делопроизводства, он передает их специальному курьеру, задача которого — провезти всю сумму через границу куда-нибудь в Германию, а уже оттуда в обычном конверте с немецкой маркой и штемпелями этот пакет следует в Вену, на условленное почто-

вое отделение «до востребования»... Как видите, мы нигде не сможем подключиться к этой цепочке...

— И часто вы таким способом посылаете деньги? Неужели ничего до сих пор не пропало? — искусственно удивился Манус.

— Представьте себе, ничего не потерялось, хотя суммы, посылаемые таким способом, доходили до двух-трех десятков тысяч! Но это обычное явление: многие фирмы так же посылают деньги в конвертах, — разглагольствовал Энкель. — Одному из наших самых ценных агентов в Вене мы уже много лет посылаем гонорар именно таким образом, и всегда он получает его буквально через несколько дней.

Манус понял, что в этот раз большего он не сможет узнать от словоохотливого офицера, и решил перевести разговор на другую тему, дабы не навести Энкеля на ненужные размышления.

— Милейший Оскар Карлович! — обратился он вновь к полковнику, не забыв отхлебнуть напитка. — Подумайте все-таки в свободное от ваших многотрудных занятий время над этой проблемой, а я, со своей стороны, набросаю вам несколько вопросов, ответы на которые могли бы принести нам с вами дополнительный капиталец...

Энкель, настроение которого несколько поблекло от того, что он не смог угодить до конца Игнатию Порфирьевичу, обещал в кратчайшие дни изыскать возможность передать вопросник Мануса в Вену, агентуре Генерального штаба, замаскировав его под реестр для стратегического отчета военного агента.

Манус сделал вид, что дело это его больше не интересует, и принялся раскуривать сигару, обдумывая свой предстоящий разговор с Альтшиллером. В кабинете воцарилось молчание, прерываемое лишь нервными вскриками в соседней комнате, пробивающимися даже через массивные двустворчатые двери:

— Ставлю двадцать!

— Идет в пятидесяти!

— Мажете, Дмитрий Леонович?!

Раскурив от свечи свою сигару, Манус откинулся на подушки дивана и стал мысленно составлять свое резюме от разговора с Энкелем.

«Первое. Я узнал у этого рыжего чухонца, — так Манус называл про себя Энкеля, — что в Вене есть действительно несколько крупных агентов русской разведки, в том числе и среди офицеров австро-венгерского Генерального штаба.

Второе. Здесь, в Петербурге, узнать их имена невозможно, поскольку даже помощник начальника отделения зарубежной агентуры и военных агентов не знает имена негласных сотрудников, а руководит ими, употребляя псевдонимы или клички...

Третье. Он, однако, проболтался и подсказал путь, идя которым можно нащупать их важного агента в Вене...

Ну, это уже что-то!» — самодовольно подумал Манус, прикидывая, какие привилегии ему можно вытребовать с германского кайзера за оказанную услугу.

Энкель, прихлебывая кофе, наблюдал, как все добрее стано-

вилось лицо купца, и радовался, что судьба столкнула его с этим хитрым и изворотливым финансистом, благодаря которому он нажил недурственное состояньице, сумел приобрести поместье под Гельсингфорсом и отложить даже часть денег в стокгольмский банк — на черный день. Финляндский помещик на русской службе, он не считал свое положение стабильным и прилагал все силы к тому, чтобы ценой любой подлости и интриг приумножить свой капитал. В этом он до чрезвычайности походил на Игнатия Порфирьевича, которому были нелепы и чужды какие-то там «высшие чувства» вроде патриотизма, моральной чистоты и святости долга перед отечеством. Как профессиональный разведчик, Оскар Карлович к концу разговора вполне ясно представил себе, что вопросы свои Манус ставил неспроста, что ему надо было выведать что-то о работе русской разведки в Вене, а вот зачем это ему было нужно, Энкель еще не мог понять. Но на всякий случай он решил прикинуться простачком, рассудив, что всегда в будущем сможет продать выгоднее свои знания купцу, а на сегодня ему будет довольно и того, что он ему уже сказал. Поэтому чело полковника тоже разгладилось от морщин озабоченности, которые было затемнили его, и он улыбнулся патрону широкой и добродушной улыбкой.

— Теперь, дражайший Оскар Карлович, — поднялся Манус с дивана, — можно и перекинуться картой! Не изволите ли сыграть?

— Очень даже изволю! — игриво сделал ферт рукой Энкель и присоединился к играющим.

31. Петербург, январь 1913 года

Наконец Татьяне снова удалось всех перекричать.

— Товарищи, товарищи! Дайте же мне задать вопрос! — Она говорила, сидя рядом с самоваром, и ее щеки пылали то ли от жара «чайной машины», то ли от природного здоровья. — Господин полковник, Алексей Алексеевич! Для чего служит армия?

Стол затих в предвкушении ответа.

— Защита престола и родины есть обязанность солдата и армии! — отчеканил Соколов слова из устава.

Удесятеренный гвалт поднялся вокруг.

— Позвольте, — оживился визави Соколова, молчавший до сих пор и похожий завитыми кудрями на приказчика в галантерейной лавке. — От кого защита? На нас никто не собирается нападать. Немцы — среди них много пролетариев и там сильна социал-демократия. Социал-демократические депутаты в рейхстаге будут голосовать против войны...

— Если их об этом спросит Вильгельм Второй, — обозлился вдруг Соколов. — Кстати, всего лишь два года назад, в 1911-м германский рейхстаг дружно проголосовал за военные кредиты!

— Помилуйте! Но ведь Карл Либкнехт и Клара Цеткин голо-

совали теперь против... И мы, меньшевики, будем в Думе тоже поднимать наш голос против вооружения!

— Немец может все-таки напасть! — предположил юный гимназист, тот самый, который решил идти в юнкерское училище и презреть зубрежку по-латыни текстов Марка Туллия Цицерона и Овидия Назона.

— Устами младенца глаголет истина! — обрушился на гимназиста студент-белоподкладочник.

— Надо отобрать все оружие у армии и передать его свободному народу! — внес предложение студент-анархист.

— Кто же его освободит без нас, эсеров?! — ехидненько спросил банковский служащий.

— Перестаньте упражняться в остроумии, — прервала его Татьяна. — У нас появилась редкая возможность услышать представителя армии, мы сами так договаривались, а теперь вы не даете ему слова вымолвить, — обиделась Татьяна. — Давайте наконец спросим: от кого армия должна защищать?

Соколов всерьез воспринимал все происходящее, и ему искренне хотелось прояснить молодым людям принципы существования армии. Но озорное чувство вспыхнуло у него в душе — он давно не был в молодых компаниях, ему было интересно вызвать еще больший полемический задор и в жарком споре, где сталкиваются самые разные мнения, угадать тех, кто называет себя, как и его друг юности Саша, большевиками. На участие в споре его подогревало и соседство с Анастасией, глаза которой искрились от удовольствия наблюдать за спорщиками. Соколов лукаво прищурился ей, как бы давая знак, что его ответ будет не по существу, а ироничен, и сказал опять по-уставному:

— От врагов внешних и внутренних!

Какая буря поднялась за столом! Возмущенно заговорили все, выражая крайнюю степень протеста. Только молчавший доселе аккуратно одетый, но с мозолистыми рабочими руками черноволосый и голубоглазый, улыбчивый парень высокого роста, сидевший рядом с Татьяной, видимо, разгадал намерение Соколова подразнить молодежь и широко заулыбался, обнажив белые ровные зубы.

Белоподкладочник надрывался больше всех, и, когда шум постепенно поутих, он овладел общим вниманием и начал развивать свою любимую тему.

— Врага внешнего теперь уже быть не может! — уверенно выразил он мнение большинства присутствующих, но вызвал этим утверждением ироническую на этот раз улыбку «мастерового», как его назвал про себя Соколов.

— Кто теперь пойдет воевать?! — снова вопросил Григорий. — Разве возможны войны религиозные или династические, вроде Алой и Белой розы? Прогресс наук, развитие военной техники сделали войны абсолютно немыслимыми. Культура человечества достигла сияющих вершин, и немецкий мужик не пойдет убивать русского мужика! Лев Николаевич Толстой не случайно высказал свою глубочайшую проповедь непротивления злу наси-

лием. Он уловил общественный дух, который господствует в мире. Никто не хочет воевать! Все люди братья, они не поднимут оружие друг против друга! Я сердцем чувствую, что не может в наше время, в двадцатом веке, существовать врага внешнего!..

— Браво, Гриша! — поддержал его студент-анархист.

Белоподкладочник продолжал, упоенный собственной речью:

— Относительно врага внутреннего... Наш век начинается как век реформ. Семнадцатое октября, когда царь вынужден был подписать манифест о свободах, служит залогом прогресса даже нашего государства. Вообще же во многих державах в Европе уже давно нет абсолютизма и тирании, достигнуто полное равенство граждан. Все общественные конфликты в цивилизованных странах решаются не виселицами и нагайками, не бойнями и репрессалиями, но корректными запросами в парламентах и дискуссиями...

Соколов заметил, что «мастеровой» снова иронически заулыбался, и почувствовал в нем союзника по внутреннему настроению и отношению к горячим и идеалистическим речам молодежи. Соколов удивился этому обстоятельству, поскольку молодой человек был примерно такого же возраста, как и все остальные, но явно проявлял значительно больше политической и общественной зрелости, не вступая в пустые словопрения.

Гриша продолжал распинаться:

— Двадцатый век, как я уже сказал, будет веком реформ, мирных реформ и дискуссий. Только через столкновение мнений возникнет истина и человеческий гений реконструирует общество. Бернштейн и Каутский, но не Маркс и Энгельс — гении современности...

При этих словах многие выразили свое недоумение и неприятие тезиса, но Гриша продолжал:

— Скоро и в нашем обществе процветут демократические идеи, они, как птицы, пересекут все границы и облагородят крестьянина и жандарма, придворного и купца. Скоро не будут нужны ни «ваше благородие», ни козыряние, будут отменены позорные надписи на воротах парков «Собакам и нижним чинам вход воспрещен!» — все люди станут братья!

— Как, сами собой? — иронически бросил «мастеровой» в океан пафоса Гриши камень сомнения.

Григорий осекся, как будто из него выпустили воздух.

Он не смог ничего ответить, но тем не менее был награжден аплодисментами значительной части молодежи.

— Экие они все утописты, — проворчал «мастеровой» в сторону Соколова, также признав в нем серьезного человека, которого не сбить с панталыку красивой фразой.

Словно оправдывая его слова, речь стал держать Саша.

— Товарищи! — обратился он ко всем. — Я поясню, хотя у нас сегодня и не приготовлено тезисов... Мировые отношения так запутались, что правительства всех стран сочли за благо вооружиться. Войны теперь, я не соглашусь с Гришей, — кивнул

ся в сторону оппонента, — не только возможны, но весь мир превратился в бочку с динамитом, к которой нужно только поднести фитиль... Надо призвать все монархии и все республики, кои имеются в мире, разоружиться, перековать мечи на орала...

— Когда не будет военного сословия, когда не будет офицеров и солдат, не будет воинской повинности и военных кредитов — мир вздохнет с облегчением и не будет войн. Разве не так? Василий?! — обратился он к «мастеровому».

— Не так, Саша! — подтвердил твердо Василий. — Мы, большевики, утверждаем, что войны возникают не оттого, что накапливается вооружение — воевать можно и дубинами, — войны нужны капиталистам, чтобы держать в узде нас, рабочих, и вас, крестьян, — обратился он к Павлу Никитичу. — Войны нужны торгашам и фабрикантам, чтобы захватывать новые рынки, войны нужны современному государству для того, чтобы отвлекать народ от классовой борьбы и занимать его чувства национальной розныю...

«Дельно выступает большевик! — с неожиданным для себя одобрением подумал Соколов. — Пожалуй, пример трагической японской войны подтверждает его слова».

Соколов решил послушать, что будет дальше высказывать весьма симпатичный ему человек, но того прервали другие молодые люди, снова загалдевшие все сразу и решившие доказать каждый свое вопреки оратору.

— Товарищи, товарищи! — перекричала снова всех Татьяна. — Мы опять отвлеклись от темы... Зачем же было беспокоить господина полковника, если вы никто не хотите послушать его мнение об армии?..

Соколову хотелось высказать свои мысли об армии. В то же время, когда он встречал внимательный взгляд соседки, робость охватывала тридцатисемилетнего полковника, как будто он в своей жизни и не командовал отделениями, эскадронами и даже полком, как будто и не бывал в опасных переделках, где один неверный шаг мог стоить ему не только свободы, но и жизни.

Пока кипели страсти и гостям было не до него, хотя, как теперь Соколов совершенно четко представил себе, его позвали именно в политический салон, на дискуссию молодых представителей разных партий, при этом явно противоправительственного направления, Алексей Алексеевич с любопытством разглядывал общество.

Как это было принято в тогдашней России, барышни сбились в одну массу, тяготевшую к хозяйке и ее дочери, располагавшимися у самовара. Большинство барышень были безразличны к спору. Они перешептывались, хихикали, толкали друг друга локтями и бросали изредка взгляды исподлобья на молодых людей. Особенное внимание привлекал блестящий мундир Соколова, и, казалось, в глазах барышень отсвечивало золото его шитья. Лишь одна Анастасия не обращала внимания на одежду своего соседа по столу, а внимательно заглядывала ему в глаза, когда обращалась с вопросом или просьбой передать что-то со

стола. Этот взгляд проникал до самых глубин души Соколова, и ему было очень хорошо, радостно и уютно в этой атмосфере жаркого молодого спора, резких выражений и азартного размахивания руками.

Бледный бородатый технолог улучил снова момент относительного затишья и, обращаясь к Соколову, воскликнул:

— Что же все-таки господин офицер скажет про армию? Нужна ли она народу или ее надо выбросить на свалку истории, как и государство?!

На этот раз все затихли, и Алексей Алексеевич, чувствуя в союзниках большевика и Анастасию, твердо начал:

— Сделать так, чтобы все государства немедленно разоружились, невозможно. Это самая настоящая утопия. Вы хотите, чтобы отказался от оружия и Вильгельм Второй, и микадо, и Франц-Иосиф Австрийский? Или, быть может, вы рассчитываете, что Британская империя утопит свое оружие и флоты в Индийском океане? Наивно!

Большевик с интересом уставился на Соколова, а Стаси, наоборот, потупила свой взор, но видно было, что речь полковника ей доставляет удовольствие.

— Равно и российская армия не собирается складывать своего оружия, особенно теперь, когда наши братья на Балканах ведут извечный спор с Оттоманской империей, поработителем и угнетателем всех своих соседей...

Но допустим, — продолжал Соколов, — что удастся договориться со всеми правительствами и дворами о разоружении... Разве нельзя воевать простейшими предметами и даже орудиями труда, например, топорами, цепами и косами? Когда военная наука еще была в зародыше...

Соколову не дал досказать мысль Гриша. Он беспардонно перебил полковника восклицанием:

— А что, разве есть и военная наука?

Татьяна шикнула на Григория, все общество поддержало ее, и белоподкладочник замолчал.

— Разумеется, — спокойно ответил Соколов и не дал прорваться в голосе своем презрению, которое овладело им против этого отпрыска богатого семейства, решившего развлечься политикой. — Военная наука не только существует и развивается многие века, но она так же точна, как и математика. У нее есть свои теоремы, аксиомы, и как в математике Ньютон или Пифагор оставили нам свои имена в талантливых формулах, так и в военной науке Александр Македонский или Юлий Цезарь обессмертили себя творчеством в двух разделах — тактике и стратегии...

— Ха, ха, — презрительно прыснул белоподкладочник. — Нет ли у вас теоремок посвежее?!

Его никто не поддержал. «Мастеровой» с явным одобрением посматривал на офицера Генштаба, не побрезговавшего обществом молодежи явно другого круга и спокойно излагавшего необычные мысли. Стаси тоже с живейшим интересом присмат-

ривалась к Соколову. От внимательного усердия понять его доводы она даже приоткрыла ротик с четкими контурами красивых полных губ.

— Извольте, господин пацифист! — продолжал Соколов, иронически произнеся слово «пацифист». — Сто лет назад Наполеон Бонапарт утвердил аксиому: для того чтобы победить, нужно в известном месте, в известное время быть сильнее противника. Он же добавил: большие силы всегда себя оправдывают... Ежели обратиться к японской войне, то мы в ней проигрывали сражения только потому, что надеялись на храбрость русского солдата и на русское авось. У нас не хватало пулеметов, пушек. Из рук вон плохо велось интендантство. Что касается тактики, то мы вели бой батальонами, а надо было наваливаться корпусами... Другое правило оставил нам Петр Первый — начатую победу надо довершать неутомимым, непрерывным преследованием. Пускать кавалерию и дорубать врага до конца. Батюшка Петр Великий так высказался по этому поводу: «Недорубленный лес вырастает скоро».

— Ну и наука — убивать и рубить! — взвизгнул белоподкладочник.

Барышни около самовара заохали, но в разговор вмешался Василий:

— Правильная наука. Ее надо изучать для революции, для классовой борьбы...

— Оставьте свои классы в покое, — накинулся на него эсер, — только индивидуальным террором можно воздействовать на власть...

— Никакой террор не поможет реформам! Только парламентская борьба, только Государственная дума должна выражать мнение населения! Только свободным волеизъявлением следует добиваться перемен! — ринулся в бой меньшевик Саша.

Незаметно для большинства гостей у самовара вновь появилась хозяйка дома. Ее, вероятно, озаботил откровенно политический ход дискуссии, и на правах самой старшей за столом она прервала говоривших словами:

— Господа, довольно! Вы уже зашли слишком далеко. Поспорили, подрались, и довольно! Пойдемте в гостиную к роялю...

Было видно, что гостеприимная и благодушная к молодежи советница пользовалась всеобщей любовью.

Дискуссия прекратилась, все застолье с шумом и смехом повалило от стола в гостиную.

Соколов увидел, что здесь не принято предлагать руку соседке, выходя из-за стола, и удержался от привычного жеста. Он только любезно отодвинул стул, когда Анастасия привстала, за что был награжден белозубой улыбкой.

Потом он обратился к хозяйке, начал было благодарить за хлеб-соль, но та только развела руками, словно говоря — уж прости меня, батюшка, что я вовлекла тебя в такую сходку!

Соколов прикинул, не уйти ли ему, воспользовавшись моментом, но, когда он через плечо советницы бросил беглый взгляд

в гостиную — у рояля, приготовясь петь, стояла Анастасия. Не колеблясь более, он решил остаться. Тут же ему нашлось свободное местечко неподалеку от рояля...

— Я спою вам, — Соколову казалось, что Анастасия обращается к нему одному, — романс Ивана Тургенева на музыку Абазы «Утро туманное...».

Татьяна тряхнула косой и медленно, выразительно взяла несколько аккордов. Низкий грудной голос заполнил всю гостиную.

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Зачарованный звуками этого голоса, Соколов незаметно для себя оказался далеко за пределами уютного дома, где так покойно мерцали керосиновые лампы и люстры, где замерли, затихли молодые люди, тоже захваченные талантом и обаянием певицы.

Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды, так жадно и нежно ловимые,
Первая встреча, последняя встреча,
Тихого голоса звуки любимые.

Соколов не мог понять, как юное это существо может передать одним только содроганием голоса боль, тоску великого русского человека, которому было суждено всю жизнь безбедно прокоротать на чужбине, во Франции, вдали от этих печальных нив и туманных седых рассветов и всю свою жизнь возвращаться мыслью к ним.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далекое,
Слушая говор колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое...

И снова Соколов поразился, как эти слова накладываются на его воспоминания. О, не зря он тогда, на дороге к Флоренции, в Альпах вспоминал пепельную головку, озарившую его победу на конкур-иппике, и всю свою одинокую жизнь после смерти жены, и свои негласные поездки во вражеский стан, когда никто не ждал его дома.

Потом она пела «Голодную» Цезаря Кюи на слова Некрасова, ее заставили петь еще и еще. Анастасия исполнила несколько романсов подряд, перемежая Пушкина, Тютчева, Фета... Ее голос был широкого диапазона, она с легкостью справлялась с трудными местами музыки Варламова и Кюи, Гурилева и Яковлева.

Только когда ее товарищи поняли, что певица устала, они отпустили ее от рояля. Составили хор, который тут же грянул «Дубинушку», да так звонко, что хозяйка дома в испуге оглянулась на большие напольные часы. Они показывали третий час ночи.

Гости истолковали взгляд хозяйки по-своему и стали собираться. Последовала обычная суматоха одевания в прихожей, поиски галош, муфт и башлыков. Полковник подошел к девушке и поцеловал ей руку.

— Какой сильный у вас талант, — сказал он. — Вы поете на сцене?

— Вы находите, что я уже могу? — с удивлением ответила она. — Ведь я еще только учусь в консерватории...

— Вы вполне зрелая певица... — отвечал Соколов, но тут же заметно смутился, подумав, что эпитет «зрелая» скорее подходит для хозяйки дома, чем для цветущей девушки. — Хотя, быть может, я не совсем точно... э-э-э...

Анастасия была вынуждена прийти ему на помощь.

— Вы... не хотите ли проводить меня до дому? Я буду рада! — просто сказала она.

— Я... я буду счастлив!.. — задыхаясь, выговорил Соколов банальную салонную фразу и, сам того не замечая, ухватился левой рукой за рукоять шпаги, так что побелели костяшки пальцев. Чуть прищуренными лукавыми глазами смотрела Анастасия на Соколова: с чего бы это начал заикаться отчаянный гусар, покоривший ее своей храбростью и ловкостью еще полгода назад, во время конноспортивных состязаний в манеже?

Последними из гостей они вышли на улицу. Северная Пальмира жила своей особенной ночной жизнью.

Был изрядный мороз. Там и здесь дворники в одинаковых, русского покроя кафтанах скребли тротуары и сгребали снег в кучи. К утру они должны были закончить свою работу и теперь старались так, что на морозе от них валил пар. Изредка попадались сани с коробами для снега, лошади тоже исходили морозным паром.

Соколов и Анастасия шли по ночному городу, одетые налегке, но не замечали холода. Они вышли к Неве. Река была пуста, ее замело снегом, по нему в разных направлениях в лунном свете чернели нахоженные тропки и санные колеи. Небо вокруг луны было чистым, тускло сверкал шпиль Петропавловского собора. Ангел на куполе казался живым существом, бог весть зачем воспарившим так высоко. Ветер нес по реке поземку, и только здесь, под холодным светом луны, в неверном сиянии которой словно плыла колоннада Зимнего дворца, Анастасия почувствовала, что продрогла.

На счастье, они издалека услышали цоканье копыт по торцам мостовой, почти чистой от снега. Вскорости подкатил лихач, на всякий случай завернувший ко дворцу, в надежде перехватить поздних гостей самого батюшки-царя. Соколов усадил в легкие санки свою спутницу, заботливо укрыл ее медвежьей полстью, а сам притулился с краю.

Лихач помчал так, что встречный ветер не давал им говорить. Соколов только смотрел и не мог насмотреться на девушку. Мигом пролетели санки набережную и мост, промелькнули сфинксы у Академии художеств, поднялись громады домов Большого

проспекта. Свернули с него на линию и остановились на углу, напротив госпиталя Финляндского полка, как сказала Стаси.

— Дальше не надо, а то папа будет волноваться... — прошептала она и выпорхнула из-под полсти. — Я совсем согрелась...

— Где я смогу увидеть вас? — отошел от лихача Соколов на несколько шагов вслед за девушкой.

— Приходите как-нибудь на четверг к Шумаковым, я бываю у них почти каждую неделю... — Анастасия подняла на Соколова ясные глаза и лукаво добавила: — Буду рада видеть вас! Там так редко бывают лихие гусары...

32. Петербург, ноябрь 1912 года

Когда Манус и Энкель вышли вновь в библиотеку, серьезная игра, как и предполагалось, разгорелась только за столиком Вышнеградского, Рубинштейна, Кузьминского и Тимашева. Счет здесь шел на тысячи — Вышнеградский и Рубинштейн проигрывали. Вышнеградский покрылся от досады и волнения багровыми пятнами, совсем как царица в торжественных выходах при дворе или на иных общественных церемониях. Рубинштейна, видно, проигрыш просто забавлял, и он хранил веселость даже по такой несуразной игре. Оценив ставки и настроения игроков, Манус тут же про себя предположил, что Митеньке надо было зачем-то проиграть на этот раз Кузьминскому вкупе с Тимашевым, что он и делал без зазрения совести за счет своего партнера.

Манус и сам не раз вступал в крупную игру не ради выигрыша, а для тонкого проигрыша, чтобы подобным способом вручить нужному человеку взятку. Он наловчился проигрывать незаметно для своего партнера, который обычно точно так же выходил из себя и бурно переживал каждый роббер, как это делал сейчас Вышнеградский.

«Ловок Митенька, с ним надо ухо востро держать!» — одобрительно думал Манус, присев у другого столика.

Здесь игра шла вяло, неинтересно, барон уже куда-то удалился, посему велась партия так называемого винта с болваном, когда один из партнеров — Альтшиллер — играл за двоих против Бурдукова и Веревкина. Картежники взмолились Игнатию Порфирьевичу занять место Унгерн-Штернберга, но Манус отказался, и партнером Альтшиллера стал Энкель. Он деловито осведомился, сколько должен поставить на кон, но оказалось, что Альтшиллер выигрывал, так что у полковника появился шанс «подшибить детишкам на молочишко», как он выразился.

При «мелкой» игре, когда картежники не были всецело поглощены робберами, обычно велись интересные разговоры на важные темы, занимавшие умы высших придворных и правительственных кругов. Вот и сейчас партнеров нисколько не смущало, что за ломберным столиком против них сидит подданный

австро-венгерского императора и короля Франца-Иосифа, вхожий в германское и австрийское посольства, вечно шныряющий вокруг военного министра Сухомлинова, оказывающий какие-то темные услуги Гришке Распутину, — Александр Альтшиллер.

Альтшиллер внимательно слушал все, что говорилось в библиотеке Мануса; он явно тушевался, когда собеседники ожидали и его участия в разговоре. С заметным облегчением принял он себе в партнеры полковника, который тут же вступил в разговор, поддержав мнение Бурдукова о несвоевременности принятия Государственной думой внесенного правительством законопроекта о развертывании Большой морской программы.

— Начинать строить дредноуты в момент острого европейского кризиса, когда пороховая бочка на Балканах вот-вот взорвется, — это значит провоцировать Вильгельма Второго на войну, — авторитетно поддержал Энкель германофильские построения Бурдукова, которыми тот занимал своих партнеров в момент прихода Мануса и полковника. — Могу доверительно сообщить, что Генеральный штаб российской армии отнюдь не поддержал морского министра, когда сей муж разрабатывал свою липовую программу, — уточнил Оскар Карлович, много порадовав подобным заявлением Альтшиллера.

Товарищ министра юстиции, не разобрав до конца, о чем идет речь и каких позиций придерживаются его собеседники, брякнул по глухоте своей совсем уж черт знает что:

— Вот именно, если уж австрияки паршивые имеют свой военный флот, то России и вовсе должно быть совестно... — Чего именно следует совеститься России, Веревкин так и не уточнил, поскольку роббер уже закончился. Товарищу министра пришлось разыскивать по карманам деньги, дабы расплатиться с партнерами наличными. Альтшиллер с Энкелем поделили небольшой выигрыш, засим Игнатий Порфирьевич пригласил их снова в столовую выпить чарочку.

Волнение Энкеля уже остудилось. Он решил откланяться. Его примеру последовали Веревкин и Бурдуков. Все трое отправились по домам на моторе Бурдукова.

Вышнеградский, Кузьминский и Тимашев ничего, кроме игры, не замечали. Один Митенька догадливо блеснул своими черными очами навыкате, когда заметил, с какой деловитостью удалялись в кабинет хозяина Альтшиллер и Манус.

— Сдается мне, что вас, милостивый государь, совсем не интересует, о чем я говорил здесь с полковником? — начал беседу Манус, не скрывая ехидного самодовольства.

— Зачем же нет, драгоценный Игнатий Порфирьевич! Я уверен, что вы так же блестяще, как и все остальные дела, провернули и это, — пыхнув сигарой, спокойно ответствовал Альтшиллер. — Итак, вы что-то хотите предложить его величеству кайзеру германской империи?

— Вот именно, Александр. Мне нужен подряд на два миллиона железнодорожных шпал и плюс скидка в семьдесят пять процентов с ввозной пошлины германской империи.

— Вы уже знаете имя предателя?

— Нет, но я знаю, как его можно найти...

— Так быстро? — изумился Альтшиллер. — А ведь это очень серьезно, Игнатий!

— Как видно, не случайно я получил при крещении имя отца-основателя ордена иезуитов, — благодушно захихикал Манус, — сам Лойола не смог бы быстрей меня исповедать этого грешника Энкеля! Раз это так серьезно, то я хочу еще для своей Владикавказской железной дороги тысячу километров крупповских рельсов по отпускной цене для Германии...

— Будет, будет тебе все, не томи только! — перешел на «ты» Альтшиллер. — Что же я могу передать в Берлинскую ложу для его высочества принца Генриха?

— Итак, брат Александр, — перешел на язык масонов Игнатий Порфирьевич, — теперь слушай! У русского Генштаба есть действительно важный агент в Вене, и, по-видимому, не один. Ему или им через особого курьера передается вознаграждение на одну из железнодорожных станций в Германии, расположенную, очевидно, неподалеку от русской границы. Оттуда в немецком конверте с германской маркой деньги идут по почте в Вену до востребования. Полагаю, что сыщики в почтовом ведомстве его величества Вильгельма Гогенцоллерна работают по-прежнему исправно, так что установить персону получателя — дело мелких чиновников!

— Браво, брат Игнатий! — поаплодировал кончиками пальцев Альтшиллер. — Если тебя и дальше использовать на тучных нивах разведки...

— Ближе к делу, Александр! — холодно прервал его Манус. — Я надеюсь, что в Берлин вместе с твоим донесением пойдут и мои предложения о гонораре. Через неделю я жду в своем банке представителей ведомства путей сообщения Германии и фирмы Круппа...

Альтшиллер понял тон хозяина, молча встал и откланялся.

33. Петербург, январь 1913 года

Альтшиллер вызвал Кедрина на свидание в «свой» кабинет ресторана «Медведь». Снова был подан ужин, изысканный и обильный. На этот раз, однако, гостеприимный хозяин не стал дожидаться десерта, а начал деловой разговор между пуляркой и стерлядью, где-то в середине трапезы.

— Любезный брат мой, — начал Альтшиллер несколько холодновато, неизвестно отчего сердясь на Кедрина, — просьба его высочества принца Генриха, великого магистра Прусской ложи, наконец выполнена. Кое-что удалось узнать у одного простака из Генерального штаба. К сожалению, этот болван не в состоянии выведать подлинные имена предателей в Вене и Берлине, но он дал ниточку, следуя которой можно установить по крайней мере одного из них.

Кедрин молча слушал, уплетая жаркое из рябчиков, запивая его отменным бургундским.

— Вам придется, брат мой, под предлогом каких-либо собственных дел — причем дела должны быть настоящие, а то, не дай бог, русская контрразведка что-нибудь заподозрит — отправиться завтра же в Берлин и передать мой пакет его высочеству, Великому магистру ордена. Здесь он найдет подробный доклад о том, посредством кого удалось установить интересуемое, как следовало бы вознаградить нашего друга за столь любезное вспомоществование Прусской ложе, а также суть добытых истин... Для вашего личного уведомления могу сообщить, и это на тот случай, если вам придется в силу необходимости уничтожить конверт, в коем покоится шифрованный доклад, что на днях с одной из пограничных станций в Германии, где проходит железная дорога из России, пассажиром, следующим из Петербурга, будет брошен в почтовый ящик с адресом куда-то в Берлин или Вену, до востребования, конверт или конверты с денежными суммами вознаграждения агенту. Маловероятно, что его подлинное имя будет стоять на пакете. Скорее всего его кличка или условная фраза...

— Но ведь с пограничных станций идут во все концы Германии и Австро-Венгрии сотни и тысячи писем!.. Как же найти искомое в этом огромном потоке?! — усомнился Кедрин.

— А вы что, никогда не слышали о существовании в каждой стране «черного кабинета», в обязанности коего входит негласно проверять почтовые отправления на предмет выявления крамолы, революционной заразы и прочих опасных дел — в том числе шпионажа и контрабанды?..

— Я, конечно, догадывался, что кто-то может читать чужие письма; например, ревнивый муж, конкуренты с помощью лакеев или иной прислуги, из любопытства, например, почтмейстер, как у Гоголя, помните?.. — принялся оправдывать свою наивность Кедрин. — Но чтобы это делало государство, да еще дворяне — кто бы мог подумать!

— Этого вашего Гоголя, простите, не читал, — съязвил австрийский подданный, — но уверен, что лучше всех именно немцы перлюстрируют чужие письма. Так что дело простых чиновников найти искомое...

Разговор коллег мгновенно прекращался, когда в дверь осторожно постукивали официанты и неслышно входили с кушаньями, неслышно меняли тарелки и приборы, ставили новые бутылки вин, соответствующих каждое своему блюду.

— Что же передать мне на словах его высочеству? — поинтересовался Кедрин.

Альтшиллер задумался.

— А о чем он расспрашивал вас в прошлый раз? — ответил наконец вопросом на вопрос Альтшиллер.

— О самом разном... Например, о слухах и сплетнях в русском обществе... о каких скандалах говорят больше всего... — принялся припоминать Кедрин. — О Распутине, в частности,

шла речь, о его роли и скандалезности этого дела для российского императорского двора...

— Вот и расскажите ему новые слухи про Распутина. Как растет его влияние в будуаре Александры Федоровны, как беснуются поклонницы «Старца» в Петербурге...

— Александр, а что вы сами думаете по поводу положения этого шарлатана? — осмелился поинтересоваться Кедрин. Для успеха своего вопроса он тут же капнул немножко лести: — Ведь вы так близки к придворным сферам, да и с четой Сухомлиновых на короткой ноге...

Альтшиллеру и самому было приятно изображать персону важную и осведомленную в тайнах петербургского двора. Он принялся философствовать на эту тему, бывшую в российской столице излюбленной для обсуждения:

— Несомненно, что влияние этого грязного мужика на царицу и его величество покоится на какой-то магической силе, которой он явно обладает. Совершенно достоверно известно: его присутствие и какой-то особый шепот, совмещенный с массажем, удивительно целебно действуют на наследника-цесаревича. Ни для кого не секрет, что цесаревич Алексей страдает особой формой наследственной болезни, передающейся только по материнской линии, — гемофилией, или несвертываемостью крови. Любой укол, порез или даже просто ушиб вызывает у него болезненные кровоизлияния и кровопотерю. Ни один врач до сих пор не в силах был излечить мальчика. Только этот «Старец», или, как его называют царь и царица — «Наш Друг», останавливает своим заговором кровотечение у цесаревича и избавляет его от тяжких болей во время приступов...

— Да, кое-что в этом роде я слышал... — согласился Кедрин.

— В этом и коренится причина влияния Распутина. Но представление о его решающем воздействии на российскую политику страдает чрезмерным преувеличением, — жестко и четко высказался Альтшиллер. — Впрочем, как полагает его величество кайзер, для сокрушения русского и славянского духа нам, масонам, и всем оппозиционным силам следовало бы действовать наоборот — расширять и укреплять, особенно в темном народе, это представление, могущее значительно ослабить волю русских к борьбе в грядущей битве. О, как мудры его величество кайзер Вильгельм и братья-масоны Прусской ложи...

Тут собеседники сочли необходимым пропустить по рюмочке за мудрость его величества кайзера, после чего Альтшиллер продолжал свои разглагольствования.

Изучая русское общество, он, Альтшиллер, пришел к выводу, что император Николай взял направление на систематическое игнорирование этого общества и самых здоровых — буржуазных, финансовых — кругов его. Российский монарх создает изоляцию престола и ошибается не по настояниям Распутина или ее величества императрицы, а по «велениям своей совести», как он объясняет свою политику. Влияние «Нашего Друга» пока ни-

чтожно в области политики и не столь уж значительно в переменах по кабинету министров. Гораздо опаснее для русского престола, что государь ощущает потребность искать опору исключительно во все более узком кругу непопулярных в народе и обществе «преданных» ему людей.

Дикость и азиатчина российского императора выражается и в том, что он в отличие от своих коронованных родственников в цивилизованной Европе уверен, что царь, а не народ является выразителем божественного провидения, а потому только он один прав всегда. Вот что поведал Альтшиллеру самолично граф Пурталес. Как-то граф обмолвился в присутствии Николая Александровича о том, что монарху необходимо заслужить доверие народа, и это мудро делает его кузен Вилли. Его величество император российский ответствовал с мягкой улыбкой: «А не так ли обстоит дело, что моему народу следовало бы заслужить мое доверие?» Вот в этих-то словах и таится ключ к пониманию политики Николая Романова по отношению к обществу...

Кедрин сидел, с благоговейным ужасом внимая тираде австрийского подданного. Он никогда не слышал столь откровенных оценок политики императорского двора, личности монарха. Вместе с тем не мог не отдать должное прямоте и циничной точности этих оценок. Кедрин подумал о том, что ему потребуется еще много лет заниматься политикой, приобретать шлифовку и лоск в собеседованиях с братьями-масонами, местоблюстителями важных государственных постов в империи, прежде чем он научится вот так же свободно и непринужденно изрекать глубокие формулы, касающиеся изначальных основ политики.

Он не мог представить себе, что эмиссар австро-венгерской и германской разведок, купец и финансист Альтшиллер излагал с пафосом не собственные мысли, а удачно компилировал высказывания своих высокопоставленных друзей и партнеров по картам, таких, как Вышнеградский, Манус, Тимашев, Рубинштейн.

Раздробленный огромный клан российской буржуазии — финансовой, торговой, служивой и промышленной — весьма не одобрял поведение в государственных делах самодержца всея Руси, оберегавшего все самое отсталое и феодальное в своем государстве. Вышнеградские, Манусы, Рябушинские и Тимашевы, Рубинштейны и Унгерн-Штернберги, Бурдуковы и Веревкины хотели получить больше свободы, нет, не лично для себя, ее им хватало, и не для простого народа, которому они и не собирались ее уступать, а для своих капиталов, для своих банков, фабрик, заводов, концессий, свободы бесконтрольно хозяйничать на русской земле, как делали это их собратья в Англии, Франции, Германии и других «цивилизованных» странах Европы. Царь и его жадная придворная клика, пустоголовые и бездеятельные осколки помещичьего дворянства, алчная и насквозь прогнившая бюрократия мешали им, стискивали предприимчивость толстосумов, оборотистость лабазников, размах заводчиков, предусмотрительность финансистов.

Все империалистские устремления и аппетиты буржуазии сковывались строками уложений, сохранившихся чуть ли не от царя Петра. И если мелкие купчишки, приказчики, кабатчики и прочая «мелкота» еще самозабвенно сучили кулаки супротив «революции» и «стюдентиков», вздымали хоругви над охотнорядскими дружинами «Союза русского народа», упоенно орали лужеными глотками сквозь слезы благой радости «Боже, царя храни!», то крупные гешефтмахеры, сидя в роскошных кабинетах банков, конторах фабрик и товариществ, искали форм своей новой и более совершенной, чем самодержавие, организации для движения к реальной и суверенной власти его величества «российского капитала».

...Ужин продолжался деловито и неспешно. Тут же собратья послали мальчика на Невский в отделение общества спальных вагонов взять на завтра до Берлина в норд-экспрессе купе целиком, не постояв за платой. Договорились, что из Эйдкунена, германской пограничной станции, Кедрин даст в Берлинскую ложу телеграмму с условным текстом, любезно продиктованным в его записную книжку Альтшиллером.

Кедрину все хотелось спросить партнера, какая же награда выйдет ему в Берлине за столь скорую доставку наиважнейших сообщений, но он решил, что ждать осталось всего пару суток и несолидно размениваться в глазах Альтшиллера на такие мелочи. Ему очень хотелось какого-нибудь германского ордена, пусть самого невысокого, и он старательно ловил момент, чтобы намекнуть об этом Альтшиллеру. Но тот, прекрасно понимая желание Кедрина завести разговор о вознаграждении, всячески уклонялся от каких-либо обещаний, переводил речь на биржевые котировки и концессии. Особенно занимало мысли Альтшиллера основание пресловутым Треповым в минувшем году акционерного общества Кузнецких угольных копей — так называемого «Копикуз».

— Ах, до чего же богата Россия за Уралом! — вздыхал Альтшиллер. — В Сибирь надо вкладывать капиталы!

При словах «В Сибирь...» задумавшийся было Кедрин вздрогнул и с наигранной веселостью перебил хозяина:

— А не закатиться ли нам к цыганам?!

— Пфуй, до сих пор не могу уяснить себе, что именно находят культурные жители Петербурга в этих диких кочевниках?! — возмутился Альтшиллер. Он наотрез отказался следовать за Кедриным в загородный ресторан, где цыгане и цыганки демонстрировали веселящемуся обществу Питера свое экзотическое искусство.

34. Берлин — Потсдам, январь 1913 года

Норд-экспресс вышел из Петербурга по расписанию в шесть часов вечера и на следующее утро ровно в предписанное время прибыл на пограничную станцию Вержболово. Офицер погранич-

ной стражи мельком глянул на паспорт Кедрина — Россия накануне первой мировой войны была единственной страной в Европе, где подданные, выезжавшие за границу, должны были испрашивать себе паспорт. Во всех остальных государствах паспорта были введены только после войны. Таможенники, следовавшие за пограничной стражей, также не утруждали себя досмотром пассажиров, уезжавших из России, зато они буквально набрасывались на дам и господ независимо от их чина, возвращавшихся в Россию из заграничных вояжей. Богатые и сановные путешественники везли обычно из Европы сундуки платьев, флаконы французских духов дюжинами и другую галантерею, обложенную высоким акцизом в России, но безумно дешевую, по российским барским понятиям, где-нибудь в Париже или Берлине. Ящиками ввозились в Россию консервы — весьма модные деликатесы в высшем свете, но не выпускавшиеся в империи Романовых. Даже титулованные и знатные особы из окружения царя не брезговали ввозом якобы для личных нужд ящиков сардин, шпрот и других консервированных закусок, чтобы тут же перепродать их в Петербурге или Москве приказчикам купца Елисеева, владельцев других гастрономических магазинов или рестораторам.

Кедрин погулял в свое удовольствие по дебаркадеру, чуть присыпанному снежком, поглядел на дородных жандармов и таможенников, которые прохаживались возле вагонов второго класса, выискивая «государственных преступников», покидающих Россию по подложным документам. Присяжного поверенного внезапно охватило сладкое предчувствие награды, которая уже ждет его по ту сторону границы. Он возмечтал, что сам его величество кайзер Германии приколет к его фраку один из высших орденов Германской империи, будет долго-долго пожимать ему руку в присутствии всех придворных и говорить ласковые слова, а затем одарит его поместьем и дворянским званием.

В чистеньком и добротном Эйдкунене, едва лишь вагон замедлил свой бег, Кедрин ринулся искать отделение телеграфа. Он обнаружил его в одном из углов уютного, стерильно-чистого зала ожидания, получил бланк и торопливо, брызгая чернилами из-под старого стального пера, набросал условленный текст телеграммы. Чиновник равнодушно сосчитал слова, сделал служебные пометки и неторопливо выписал квитанцию. Чтобы немного рассеяться, Кедрин отправился в буфет и спросил себе кофе с пирожными. Дебелая и рыжеволосая немка подала ароматный напиток, свежие, будто специально для Кедрина выпеченные воздушные создания, ловко сделала книксен. Адвокат из Петербурга в который раз умиленно восторгнулся германской цивилизацией и порядком, при котором каждый знал свое место и предназначение: эта девушка, например, не претендовала на большее, чем улыбка и чаевые от пассажиров, немецкий проводник, принявший на границе вагон от своего русского коллеги, — персона более высокого ранга, а следова-

тельно, и больших материальных вознаграждений и так далее, и так далее. «Эх, нам бы такую дисциплину в народе, побольше бы было богатых людей, чем в Лондоне или Париже!» — с завистью думал Кедрин, допивая кофе со сливками и доедая кольцо из теста, начиненное взбитыми сливками.

Пребывая в состоянии полублаженства, Кедрин расплатился, не забыл дать «на чай» ровно двенадцать процентов от суммы счета, добрался до своего купе, где с удовольствием откинулся на мягкие подушки дивана. Поезд тронулся, за окном поплыл ухоженный цивилизованный пейзаж Восточной Пруссии, где каменные мызы стояли словно крепости собственности и порядка.

...На огромном перроне берлинского Силезского вокзала Кедрина встречал один из известных братьев, земельный гроссмейстер масонов Германии, капитан граф цу Дона-Шлодиен. Он занимал крупный пост во вспомогательном Генеральном штабе. Его положение позволяло иметь полное представление о сравнительной силе армий Срединных империй и Антанты, изучать их потребности в новом вооружении, а главное, влиять, что касалось Германии и Австро-Венгрии, на передачу заказов вполне определенным военным заводам, владельцы коих были членами германских или венгерских лож. Брат цу Дона-Шлодиен, чопорный и заносчивый, как все германские офицеры, принял Кедрина необычайно тепло. Он даже соизволил пожать руку петербургскому брату, а затем полуобнял его за плечи. Кедрин по российскому обычаю полез было с поцелуями, но словно натолкнулся на холодное непонимание его движению души. Пришлось сразу же отказаться от попытки обслюнявить холеную щеку графа.

Говорили по-французски, как бы подчеркивая интернационализм братства. Капитан усадил адвоката в мотор, украшенный гербами принца Прусского, и братья сначала по Хольцмарктштрассе, а затем по набережным Шпрее выехали на Унтер-ден-Линден. В самом конце ее, на правой стороне, не более чем в полуверсте от посольства российского императорского двора, в двух шагах от Бранденбургских ворот и рейхстага, возвышалось здание фешенебельной гостиницы «Адлон». Здесь в апартаментах, предназначенных для князей и президентов, германские братья и разместили Кедрина.

— Не извольте волноваться, ваши покои и стол уже оплачены, — сообщил граф, видя некоторое смущение петербургского гостя.

Кедрину предложили ужин, он просил графа разделить его с ним, но капитан, сославшись на более ранние ангажементы на сегодняшний вечер, стал собираться, а затем отбыл, пожелав брату доброго отдыха перед завтрашним днем, ибо он будет насыщен встречами с важными лицами.

На прощанье гость и капитан церемонно обменялись системой масонских паролей и вновь взаимно удостоверились, что с обеих сторон не вышло никакой ошибки. Только после этого Кедрин отдал капитану хранимый на груди под платьем конверт с шиф-

ровкой Альтшиллера, сказав, что если нужны дополнительные пояснения, то он с удовольствием их даст его величеству. Тем самым он намекнул, что рассчитывает на прием самого германского монарха, поскольку знает себе цену и может быть полезен для больших государственных дел, а не для простой передачи какой-то бумаги...

Кедрин проснулся утром довольно поздно, по-питерски, но оказалось, что из-за разницы в часовых поясах обеих столиц он угадал как раз к позднему завтраку, который в «Адлоне» специально сберегали для иностранцев, ибо истинные тевтоны, даже и благородных кровей, вставали рано, как гроссбауэры, и вкушали свой обильный мясной фрюштук до восьми часов.

Завтрак гостю подали в салон, он быстро расправился с несколькими видами колбас, яичницей, сдобными булочками, кофе, после чего был готов отдаться в руки куафюра. Берлинский фигаро, приглашенный к постояльцу, принялся в просторной ванной комнате за свое ремесло. Когда он уже почти заканчивал завивку волос, в ванную скользнул лакей и осведомился, не может ли гость принять господина, который дожидается его в вестибюле гостиницы. Кедрин велел просить посетителя в гостиную и вышел спустя пару минут от парикмахера, надев визитку.

Он ничуть не изумился, увидев в кресле старого знакомого — брата Отто Фукса, великого секретаря Венской ложи.

— Я случайно узнал о вашем визите в Берлин, о достойнейший брат, — приподнявшись с кресла, согнулся в почтительном поклоне венский масон, — и не мог не засвидетельствовать вам свое почтение, благо мы живем под одной гостеприимной крышей «Адлона».

Кедрину не поверилось в случайность этой встречи, но он не подал вида, а радушно, как только мог доброжелательно поприветствовал гостя.

Подозрения русского масона оправдались, ибо почти вслед за Фуксом в гостиную вошел капитан цу Дона-Шлодиен и ничуть не удивился, увидев братьев вместе.

После взаимных приветствий капитан объявил, что его высочество принц Генрих ждет братьев в своей резиденции в Потсдаме. Кедрин испытал сразу же укол разочарования, поскольку был уверен, что его примет сам император. Он, однако, решил пока не придавать значения этому обстоятельству: вне всяких сомнений, визит к принцу будет только предварительным.

Вчерашний мотор с гербами принца на дверцах уже пыхтел у ступеней парадного подъезда гостиницы, когда гости вышли в сопровождении капитана. Уселись в авто, и он, издавая протяжные гудки, покатил по улицам Берлина. Они кишели повозками, трамваями, моторами, пешеходами, но порядок и дисциплина на улицах были столь совершенные, что, казалось, никто здесь не мешал другому. Черный лакированный «даймлер» с коронами принца Генриха на дверцах, высокими красными колесами, с тонкими пневматиками на них, надраенным медным

радиатором, огромными цилиндрами карбидных фар и небольшими каретными фонарями с хрустальными стеклами привлекал на улицах восхищенное внимание.

Видимо, Кедрину хотели показать богатство и роскошь Берлина, поэтому маршрут был несколько запутан — сначала повернули направо по Унтер-ден-Линден, проследовали мимо российского императорского посольства, оставили слева библиотеку и университет, а справа — оперу и национальную галерею, мимо Замка выехали на Кайзер-Вильгельмштрассе, повернули с нее через шесть кварталов на Шпандауэрштрассе, а затем через Мюлендамм и Лейпцигерштрассе мимо огромного комплекса из трех вокзалов — Потсдамского, Ваннзее и Окружного выкатились на Потсдамерштрассе и по этой улице, переходящей в Дорогу Королей, направились в Потсдам.

Кедрин уже бывал как частное лицо в этой резиденции прусских королей. Ему удалось даже осмотреть единожды картинную галерею во дворце Сан-Суси, поэтому он смог приблизительно представить себе, где находится конечный пункт их поездки. Раньше он думал, что будет принят во дворце самого кайзера Германской империи, но действительность пока оказалась более скромной, чем он ожидал.

Мотор миновал центр Потсдама, где, как было известно Кедрину, стоял дворец, в коем квартировал Вильгельм Гогенцоллерн со своей семьей, повернул на одну из боковых улиц и углубился в систему дорог и аллей обширного лесопарка, окружающего Потсдам. Мимо окон «даймлера» мелькали черные стволы лип, окаймляющих дороги и дорожки, засыпанные снегом ландшафты парка. Наконец быстрый ход машины замедлился, заскрипели тормоза и кто-то снаружи распахнул дверцы. Глазам Кедрина открылось прекрасное одноэтажное здание классических античных форм. Над его строгим дорическим порталом развевался на высоком флагштоке личный штандарт принца Генриха.

Гости взошли внутрь и перед пологой лестницей, ведущей в бельэтаж, сбросили шубы на руки вышколенных лакеев. Скороход в шелковом камзоле и нитяных чулках ожидал их. Он сразу же провел посетителей в скромно отделанный зал с кремовыми гладкими стенами, по которым был пущен простой орнамент из позолоченного багета. В угловой нише с куполом небесной лазури стояла античная статуя юноши. Двери переливались светло-малиновым сафьяном, золоченые шляпки гвоздей оттеняли прямоугольные линии филенок. По стенам в тонких золотых рамах висели гравюры, изображающие античный орнамент. Кедрин с первого взгляда принял их за масонскую символику, но затем убедился в своей ошибке.

Мебель составляли несколько простых деревянных кресел столь же благородных античных форм и высокая столешница, боковины которой были резные золоченые фигуры мифических зверей. На зверях покоилась плита розовато-коричневого мрамора, в тон простому полу, положенному из досок какого-то мореного дерева. Столешницу венчала полуметровая ваза из поли-

рованного порфира явно русской, колыванской работы. Золоченая люстра античных, но довольно вычурных форм дополняла убранство.

Кедрин, Фукс и граф были введены в зал скороходом, немедленно удалившимся. Спустя несколько мгновений, за которые Кедрин сумел только мельком оглядеть комнату, одна из малиновых дверей отворилась, и вошел деловитым шагом, без всякой величественности брат его величества кайзера — принц Генрих Прусский.

— Добрый день, господа, — начал без всякой масонской риторики великий гроссмейстер германских лож. — Рад приветствовать вас в Потсдаме!

— Добрый день, ваше высочество! — не сговариваясь, хором ответили гости и по очереди, начиная с Кедрина, двинулись к принцу для высочайшего рукопожатия. Здороваясь с капитаном, принц Генрих обвел вокруг себя взглядом, словно намереваясь сесть. Капитан понял и спокойно придвинул два легких кресла к уже стоящим у ниши двум другим. Принц сел первый, предложив садиться гостям.

— Господа, — звучно произнес он голосом, привыкшим к большим залам и аудиториям, — мне хотелось бы сообщить нашему русскому брату, что он находится в одном из замечательных дворцов Потсдама — Шарлоттенхофе. Эта жемчужина носит имя последней владелицы поместья — Шарлотты фон Гентцков. Наш дед, король Фридрих Вильгельм IV, еще будучи кронпринцем, собственноручно начертал проект дворца, и по его рисункам это палаццо построил знаменитый архитектор Шинкель. Как видите, здесь господствует строгий и экономный античный стиль... Между прочим, его величество кайзер любезно предоставил этот дворец для исполнения моих высоких обязанностей как гроссмейстера германских лож. Да простит нам наш русский брат, мы не декорировали к его встрече этот зал масонскими знаками и не проводим ложи со всей атрибутикой. Все это не от недостатка уважения к нашим российским собратьям, а от спешности его визита к нам, не позволившей заранее оповестить братьев...

— О, это такая высокая честь для меня быть принятым вашим высочеством, — забормотал Кедрин, — и я рад, что не делю ни с кем ваше высочайшее внимание...

— Ну и хорошо, — прервал принц гостя довольно невежливо.

«Как какого-нибудь лакея», — подумалось вдруг Кедрину.

— Я принял вас, чтобы выразить благодарность, которую вы заслужили, содействуя германским ложам в их печальной необходимости, — продолжал принц Генрих. — Письмо, вами доставленное, служит важным ключом к открытию тайны... Брат — секретарь венской ложи Отто также прибыл сюда, дабы засвидетельствовать уважение и признательность наших австрийских братьев. Мы исключительно высоко ценим то желание следовать общности целей, которая объединяет всех вольных ка-

менщиков независимо от подданства и географического пункта их пребывания.

Есть много тем, великих и малых, которые я хотел бы обсудить с вами, а через вас и с российскими братьями, но государственные обязанности оставили мне на это немного времени. Поэтому позволю себе быть кратким, и, надеюсь, наш русский брат простит мне непродолжительность нашей беседы...

«Когда же ты, черт бы тебя побрал, заговоришь о награде?» — думал Кедрин, незаметно оглядывая зал в поисках коробочки с орденом или иным знаком отличия. Но ничего похожего на коробочку не было ни в комнате, ни в руках принца.

— Более подробно изложат наши совместные цели и задачи братья цу Дона и Фукс, а я намерен преподнести наш дар брату Кедрину... — Тут принц два раза стукнул костяшками пальцев, унизанных перстнями с масонской символикой, о подлокотник кресла, дверь отворилась, и лакей в бело-голубом одеянии подал принцу зеленый сафьяновый портфель.

Сердце Кедрина учащенно забилось в предвкушении немыслимых благ.

— В этом портфеле, — напыщенно сказал Генрих Прусский, — вы не найдете ни злата, ни серебра — этих презренных металлов, кои вызывают мирскую суету и погоню за тенями... Здесь не столь материальные, сколь истинные духовные ценности двадцатого века...

«Неужели подсунут какую-нибудь картину?! — с душевным расстройством подумал Кедрин. — Ну и прохвосты немцы, вокруг пальца обвели».

— Эти ценности — прочные поводья управления людьми и материалистическими благами — акции Дрезденского банка.

При этих словах принца граф и Фукс с выражением глубочайшего уважения и подобострастия обратили свои взоры на Кедрина, и из их груди вырвался согласный звук восторга: «О-о-о!»

Кедрин расстроился было почти до слез, что ему не обломилось германского ордена. Но, услышав об акциях, да еще такого солидного, одного из влиятельнейших в Европе банков, счел награду вполне достойной и постепенно успокоился. Принц Генрих протянул ему портфель, Кедрин поднялся с кресла, пал на одно колено, как бы при посвящении в рыцари, и принял сокровище, упрятанное в зеленый сафьян, заодно облобызав руку дарителя.

Принц знаком поднял Кедрина на место и продолжал свою речь:

— Наш друг и брат в Петербурге (Кедрин понял, что это был Альтшиллер, который в день его отъезда, видимо, что-то дополнительно сообщил о нем в Берлин) отзывался о вас исключительно похвально. Он призывал доверять вам в мельчайших деталях. — Генрих умолк на мгновенье, облизнул губы, и, словно это движение было замечено кем-то, лакей вкатил в комнату небольшой столик, на котором были сервированы напитки. Ген-

рих пригубил из хрустального стакана апельсиновый сок, гости тоже взяли себе по бокалу.

— Именно поэтому мы решили доверить вам идею, которая будет, безусловно, способствовать достижению целей, поставленных ложей «Обновители», а именно проникновению наших братьев к рычагам власти, ослаблению тягости самодержавного владычества над Россией и постепенному передвижению ее на рельсы конституционной монархии. — Принц замолчал и вдруг, строго глянув на Кедрина, спросил: — Как вы находите Распутина? Можно ли его использовать в целях вольного каменщичества?

— Боюсь, что он слишком темен и хитер, ваше высочество, — быстро отреагировал Кедрин. — В нашей ложе есть кое-кто, могущий на него повлиять, но сам-то Распутин не столь ключевая фигура...

— Совсем необязательно привлекать его в братство, — брезгливо сказал принц. — Можно использовать его косвенно, возбуждая русскую общественность против этого человека, делая его ошибки достоянием прессы, а его самого посмешищем и пугалом в петербургских салонах, где делают политику... Если братья, каждый в своей области, будут ежечасно и ежедневно диффамировать Распутина, возбуждать общество против него, то истинно прогрессивные силы — я имею в виду ваши конституционно-демократическую и другие серьезные партии собственников, смогут на этой критической, но отнюдь не революционной волне одержать верх и прийти к власти в империи...

— Истинно так, ваше высочество, — поддакнул Кедрин, — кадеты и октябристы, а я имею честь принадлежать к партии кадетов, — вот истинные выразители чаяний русского народа о свободе и вольном предпринимательстве.

— Если наш венценосный брат Николай не разумеет собственной выгоды или ему не дают ее понять все эти англофильствующие помещики и хлеботорговцы, окружающие самодержца, то истинно передовые общественные силы России должны показать ему правильный путь... — продолжал подстрекать своего гостя августейший шпион. Кедрин с удовольствием слушал эти речи, которые почти полностью совпадали с программой его собственной партии и с убеждениями очень многих его знакомых. Гость и хозяева одинаково жаждали перемен в России, но только каждый в собственных интересах.

Настроение Кедрина улучшилось и от того, что он увидел в прусских братьях сильных союзников в борьбе за овладение рычагами власти в России. Здраво рассудив, он перестал в ходе аудиенции мечтать о германском ордене, предполагая, что подобная награда вызовет в Петербурге недоумение и подозрения, которые трудно будет разъяснить хотя бы другим членам Государственной думы.

Гость из Петербурга понял также, что своей беседой наследный принц прусский оказал ему высочайшее доверие, приобщил к числу своих ближайших сотрудников и направил вместе с тем

через Кедрина в определенное политическое русло всю деятельность симпатизеров германской идеи в России. Петербургский присяжный поверенный, лелея свои мысли, не забывал вместе с тем внимательно оглядывать зал, дабы впоследствии живописать прием братьям-«обновителям» и в первую голову брату Альтшиллеру. Вспомнив о нем, он спросил принца Генриха о способах дальнейших сношений с Берлинской ложей.

Великий гроссмейстер рекомендовал Кедрину для связи капитана цу Дона-Шлодиен как первоклассного знатока России и специалиста в области всех ее, как он выразился, «щекотливых династических обстоятельств».

Общая светская беседа продолжалась еще минут десять, а после нее как бы мимоходом принц рекомендовал по всем вопросам, касающимся интересов Австро-Венгрии, не затруднять перепиской брата Отто Фукса, а также сноситься прямо с капитаном цу Дона, имеющим столь же высокие степени посвящения и в Венской ложе. Брат Фукс, преимущественно молчавший, снова лишь согласно кивнул головой.

Затем принц Генрих поднялся. Перед прощаньем он милостиво поручил графу показать комнаты дворца, связанные с именем великого Александра фон Гумбольдта. Знаменитый ученый и путешественник, бывая в Потсдаме, останавливался здесь по приглашению прусского короля между 1830 и 1835 годами.

Наследный принц удалился, а граф цу Дона-Шлодиен повел гостей сначала в комнату-шатер, которая была поставлена в Новом Дворце в XVIII веке, а затем перенесена в Шарлоттенхоф. Это помещение являло собой настоящий шатер, разбитый внутри просторного зала. Бело-голубые полосы составляли декор, такой же тканью была покрыта походная кровать под балдахином в углу. Два кресла средневековых форм и табурет стояли перед бюро. Гости восторженно отметили оригинальность выдумки, затем проследовали в «розовую комнату», украшенную белой с золотом мебелью античных форм и розовой стеклянной люстрой.

Экскурсия была очень мила, тем более что во дворце оказалось всего девять залов в бельэтаже, осмотренных за полчаса. В вестибюле лакеи накинули на них шубы, и посетители отправились на том же моторе в Берлин — на обед к графу, после чего им предстояло заняться «деталями»...

После отъезда гостей принц вышел на садовую сторону из каких-то внутренних помещений дворца вместе со своим адъютантом, им подали коней, и оба всадника галопом отправились к императорской резиденции. У дворцовой коновязи напротив старой ратуши они бросили поводья дежурным конюшим, через боковой вход заспешили к кабинету кайзера на его личной половине. Вильгельм Второй уже вернулся из Берлина в свой резидентский город, сменил мундир артиллериста, в котором был с самого утра, на адмиральский сюртук и с явным нетерпением ждал прихода своего брата. Разумеется, граф Филипп Эйленбург присутствовал в кабинете.

— Удалось ли поиграть с этой русской мышкой? — с иронией обратился Вильгельм к Генриху.

— О да! Она проглотила все те приманки, которые ты так щедро подбросил ей! — в тон кайзеру ответил Генрих Прусский.

— Не жалей усилий, брат мой, для того, чтобы всеми силами расшатать мощь России перед грядущей войной. Схватка со славянством не за горами! Все средства хороши, чтобы обуздать эту чернь, — мы должны заставить даже их собственных политических лидеров служить величию Германии!

— Граф, — обратился Вильгельм к Эйленбургу, — сообщите принцу о содержании расшифрованного письма Альтшиллера... Какой молодец! Один этот венский ростовщик стоит хорошего армейского корпуса! Кстати, в Роминтене в прошлом году я просил вас усилить «черный кабинет». Как успехи моих почтмейстеров? Выловили они что-либо ценное?

— Ваше величество, отвечу сначала на ваш вопрос, — спокойно ответил руководитель разведки. — Кое-что перехвачено в корреспонденции с Францией, немного — с Англией, а в частности — мы нащупали центр британского шпионажа в Голландии... В корреспонденции из России тоже кое-что есть, однако сообщение Альтшиллера выводит нас на прямую дорогу... До сих пор попадались мелкие сплетни бояр, жуирующих на водах... Кое-что мы узнали о дислокации частей русской армии из писем офицеров своим знакомым или родственникам, обретающимся за рубежами России.

— Очень нужная работа, очень нужная... — задумался император. — Главу «черного кабинета» — государственного советника Мейера — представьте к производству в следующий чин... Особенно следить за письмами, поступающими из приграничных с Россией районов... Усильте службу наружного наблюдения на всех станциях, расположенных не далее ста километров от границы... Тому, кто перехватит пакет для русского агента, — орден!

Пока кайзер отдавал свои распоряжения, граф Эйленбург достал из вишневой папки, лежащей на столе Вильгельма, расшифрованную криптограмму и протянул ее принцу Генриху. Когда Вильгельм замолк, принц пробежал глазами документ и не мог скрыть своего восторга. «Колоссаль, колоссаль!» — повторил он.

— Вилли, а как ты вознаградишь господина Мануса? Альтшиллер пишет, что этому финансисту нужны концессии, подряды или снижение ввозных германских пошлин для его товаров...

— Мы с графом, — кивнул Вильгельм на Эйленбурга, — решили привязать его к идее Европейского нефтяного треста. Ты помнишь, я давно хотел создать такой трест в противовес американскому «Стандарт ойл», объединив в одну общую организацию европейские страны — производительницы нефти — Россию, Австрию с ее галицийскими нефтепромыслами, Румынию. Я хочу дать такое развитие нефтяному производству, чтобы, во-первых, оно было на благо Германии, устранив зависи-

мость от американской нефти, а во-вторых, связать партнеров столь строгой системой коммерческих соглашений, чтобы она надолго воспрепятствовала им развивать это производство у себя в степени, превышающей нужды Германии...

— О Вилли, я помню рождение этого твоего плана, но, признаюсь, он получил теперь просто великолепные очертания... — снова восхитился принц.

Граф Эйленбург помалкивал. Удовлетворение также было ясно выражено на его лице, ибо истинным творцом плана был именно он, удачно внушив Вильгельму идеи соперничества с Америкой за главенство на Европейском континенте.

— Что касается Мануса, то я уже написал в Петербург российскому нефтяному монополисту Нобелю, с которым полгода назад имел беседу о создании синдиката, что планирую сделать Игнатия председателем правления этого международного треста, поскольку у Мануса уже имеются пакеты акций румынских и австрийских нефтяных промыслов. Само собой разумеется, эти пакеты следует в кратчайший срок приобрести на бирже за счет сумм, выделенных Большому Генеральному штабу на подрыв экономического благосостояния противника, номинально передать их Манусу, но хранить в Немецком банке в Берлине либо в Дрезденском банке...

— Ваше величество — великий охотник! — изволил пошутить наследный принц. — Одним выстрелом вы убиваете даже не двух, а трех зайцев: первый — «Стандарт ойл», второй — Манус и Нобель, третий — предатель в собственном стане! Браво, ваше величество!

— Ваше высочество, упомянем еще одного зверя в этой охоте, — поддержал принца Генриха Эйленбург, — русского медведя, которому на этот раз уготованы капкан и клетка, сделанные из крупповской стали...

35. Вена, март—май 1913 года

Солнышко по-весеннему припекало на берегах Дуная, в парках вовсю зеленела трава, и даже мрачный двор, где вросло в землю серое здание Эвиденцбюро, выглядел на ярком свету мирно и привлекательно.

В один из мартовских дней полковник Урбанский получил депешу из Берлина, в коей его коллега майор Вальтер Николаи извещал, что в Вену скороспешно прибудет от него офицер связи с чрезвычайно важным сообщением.

— Опять германские коллеги хотят осчастливить нас поручением, — проворчал полковник, расписываясь на полях шифротелеграммы.

На второй день явился названный курьер, лейтенант Митцль, в сопровождении германского военного агента в Вене генерала фон Войрша. Предупрежденный о визите капрал торопливо от-

крыл двери перед германскими гостями и провел офицеров в кабинет Урбанского.

Лейтенант Митцль водрузил свой вместительный портфель на стол полковника Урбанского, торжественно достал из него пакет, перевязанный шнуром и скрепленный пятью огромными коричневыми сургучными печатями. Взломали печати в присутствии всех трех офицеров. Из конверта был извлечен документ, который полковник Урбанский пробежал глазами стоя.

Лицо полковника, доселе радушное и даже весьма любезное, исказилось гримасой крайнего неудовольствия. Нажав на кнопку вызова адъютанта, он недовольно бросил молодому офицеру, когда тот появился спустя несколько секунд:

— Начальника отделения контрразведки ко мне, срочно!

Затем полковник Урбанский извлек из конверта с сургучными печатями маленький почтовый конверт, положил его на стол перед собой. Запыхавшись, вошел майор Максимилиан Ронге.

— Господа, садитесь, — предложил Урбанский. — Вы видите перед собой письмо тому самому предателю, которого мы так давно ищем.

Начальник Эвиденцбюро вынул из распечатанного уже почтового конверта листок с машинописным немецким текстом и изрядную пачку австрийских крон. Полковник тщательно пересчитал банкноты, пометив на отдельном листке 6000.

— Русские щедро оплачивают своего агента! — с ноткой зависти изрек генерал фон Войрш. — За такие денежки можно торговать секретами!

— Возмутительно, но это целое состояние, господа! — не удержался от комментария и Макс Ронге.

Полковник между тем углубился в текст письма, изредка постукивая карандашом по пресс-папье.

— Наши коллеги из Берлина сообщают, — весьма торжественно начал он, — что в «черном кабинете» его величества Вильгельма Второго данное почтовое отправление из Иоганнесбурга в Восточной Пруссии показалось необычным. Во-первых, крупной суммой денег, которой явно рисковал отправитель, не объявив свое письмо ценным, а во-вторых, тем, что в нем сообщался какой-то адрес в Женеве. Все это согласно инструкции вызвало подозрение. Ронге, пометьте адрес на всякий случай и себе: Швейцария, Женева, Рю де Принс, Монкивету, Ларгье. Записали?

Видите, господа, именно здесь наши русские противники сделали, очевидно, решающий промах — в письме из восточной точки Германии призывают писать ответ даже не фирме или конторе, которая якобы высылает гонорар, а какому-то господину да еще в Швейцарии! — высказал свои догадки полковник Урбанский.

Повертев в руках конверт и посмотрев его даже на свет, начальник Эвиденцбюро недовольно поморщился и уже более спокойным тоном обратился к германскому представителю:

— Ваше превосходительство, к сожалению, сразу видно, что это письмо, прежде чем дошло до почтового окошка, побывало в слишком многих руках...

— Иначе оно не дошло бы до ваших рук, — не без ехидства ответил Урбанский и повернулся к Ронге.

— Господин майор, не сможем ли мы сфабриковать точно такой же конверт взамен истрепанного?

— Никак нет, господин полковник, но у наших германских коллег есть в Берлине отличная лаборатория, где фальсифицируются любые документы так, что самый требовательный полицейский не отличит их от подлинных... В Берлине нам еще никогда не отказывали в подобных услугах. Тем более что конверт, марки и почтовые штемпели германского производства, и коллегам легче будет найти подлинники материалов, дабы составить подделку...

Майор слегка кривил душой: лаборатория в Эвиденцбюро была ничем не хуже берлинской, однако в присутствии военного агента фон Войрша и германского курьера от самого Николаи он совсем не хотел признаваться в том, что и германские документы могут быть легко подделаны в Вене.

— Тогда отдайте все это срочно перефотографировать для будущего судебного процесса против анонимного шпиона, подготовьте сопроводительный документ, и мы с тем же любезным господином... — полковник замялся, забыв фамилию германского курьера.

— Лейтенант Митцль, господин полковник, — подсказал ему гость из Берлина.

— ...отправим конверт обратно в Берлин.

— Хотелось бы осведомиться, господин полковник, что вы намерены предпринять далее? — обратился генерал к австрийскому контрразведчику. — Не нужна ли будет какая-либо дополнительная помощь из Берлина?

— Благодарю, господин генерал! Сотрудничество с отделом «Три Б» и майором Вальтером Николаи для нас бесценно, но предателя мы найдем сами! Полагаю, что как только мы получим из Берлина этот конверт, разумеется, в более чистом виде, — снова подчеркнул он промах германских коллег, — то в комнате на почтамте назначим беспрерывное дежурство двух агентов. Из помещения, где выдается корреспонденция, в эту дежурку будет проведен электрический звонок. Как только к почтовому чиновнику обратится адресат письма — некий господин Никон Ни́цетас — впрочем, я полагаю, что это псевдоним, поскольку по просьбе из Берлина мы уже искали в Вене господина с таким именем и не нашли никого похожего, — мышеловка захлопнется — чиновник нажмет кнопку звонка. Пока будут выдавать конверт и делать обязательную запись в книгу, агенты примчатся в зал, последуют за адресатом и установят его личность... Остальное, господин генерал, дело прокурора и судейских...

— Надо надеяться, что мерзавца будет судить военно-полевой суд! — рявкнул генерал.

— Эксцеленц, этот вопрос будет решать его величество император Франц-Иосиф... — склонил почтительно голову начальник Эвиденцбюро.

— О, я восхищен трудолюбием вашего императора, который начинает свой рабочий день в четыре часа утра! И это в столь преклонном возрасте! — дипломатично начал восторгаться германский военный агент монархом-союзником.

Полковник Урбанский погладил свой правый ус, изобразил довольную улыбку, но то, что он услышал вслед за комплиментом Францу-Иосифу, мгновенно стерло улыбку.

— А не полагаете ли вы, господин фон Остромиец, что может быть более чем один предатель? — брякнул вдруг генерал.

— Эксцеленц, трудно заранее судить о деле, когда к нему только приступаешь, — осторожно ответил контрразведчик. — По данным вашего отдела «Три Б» и нашего Эвиденцбюро, Петербург располагает важной информацией как об императорской и королевской армиях, так и о доблестных вооруженных силах Германии. Мы не собираемся свертывать нашу контрразведку после поимки одного предателя, но продолжим ее и далее... Полковник Батюшин в Варшаве, полковник Галкин в Киеве, генерал Монкевиц в Петербурге, а также военные агенты в Берлине и Вене, вероятно, будут и дальше напрягать свои усилия.

— Видите, — полковник приподнял пачку денег над столом, — с какой щедростью русская разведка расплачивается со своими людьми, а мы...

— О, полковник! — перебил его военный агент. — В Петербурге тоже, наверное, считают, что наши разведорганы щедро расплачиваются за услуги, а у них самих нищенский режим и мало ассигнований!.. В негласной работе так всегда было и будет... Нам же этот случай нужен еще и затем, чтобы доказать кое-кому, что противник щедр, а посему и нам следует добавить на секретную агентуру...

— Вы правы, генерал, — улыбнулся Урбанский, — я уже раздумывал над тем, как использовать столь высокий гонорар русскому агенту, дабы доказать необходимость новых дотаций нашему бюро.

Лейтенант слушал разговор с безразличным видом и оживился только тогда, когда майор Ронге вернулся в кабинет начальника с переснятыми документами в руках. Обращение к коллегам в Берлин с просьбой подделать конверт было также готово, полковник Урбанский подписал его. Адъютант полковника принес сургуч и печать, зажгли свечу и стали опечатывать конверт. Процедура заняла несколько минут. В воздухе появился запах смолы. Конверт исчез в объемистом портфеле берлинского курьера, и германские офицеры откланялись.

36. Вена, март—май 1913 года

...Ровно через три дня лейтенант Митцль вновь входил в кабинет полковника Урбанского, на этот раз без военного агента. Из пакета, доставленного в том же объемистом портфеле, было извлечено письмо: «Господину Никону Ницетас, Вена, Главный почтамт, до востребования», — на сей раз в чистом конверте, с двумя почтовыми марками, наклеенными точно так же, как и на оригинале: одна выступала за край конверта.

Полковник оглядел конверт со всех сторон, вложил его в картонную папку и вручил Ронге.

— Приступайте, как мы договорились!..

Когда Ронге собирался выйти из кабинета, Урбанскому пришла вдруг в голову мысль.

— Минуту, Максимилиан! — остановил он майора. Полковник любил в отсутствие чужих немного пофамильярничать с подчиненными, демонстрируя им свое расположение. — Кто из полицейских чиновников будет назначать сыщиков на почтамт?

— Доктор Новак, господин полковник! — ответил недоуменно Ронге.

— Не забудьте порекомендовать соответствующему ведомству перевести этого господина сразу после начала операции в какое-нибудь другое министерство! Разумеется, с повышением. Новые впечатления отвлекут его от размышлений, зачем понадобились агенты у окошка выдачи корреспонденции «до востребования». Он тогда не сможет проболтаться. Не исключено, что русские агенты есть и в полиции!

В первые дни после того, как конверт был положен в соответствующее окошечко, полковник Урбанский, майор Ронге и агенты, дежурившие на почтамте, находились в постоянном напряжении. Но за письмом из Восточной Пруссии никто не приходил. Тянулись дни, недели.

По приказу Урбанского контрразведка установила осторожное наблюдение над другим концом следа — в Женеве. Бригада лучших сыщиков была направлена в Швейцарию с заданием изучить связи и саму личность монсеньера Ларгье. Результат оказался весьма значительным, как и следовало ожидать.

Эвиденцбюро установило, что монсеньер Ларгье — лицо не мифическое, как можно было бы предположить, а реально существующий капитан французской разведки, вышедший в отставку и удалившийся на покой в курортную Женеву. Дабы скрасить себе остаток дней участием в любимой работе, заодно получать солидную прибавку к пенсии, он подрядился служить «почтовым ящиком» для французской и русской разведок.

Несколько дней Урбанский и Ронге сидели, запершись в кабинете полковника, разрабатывая планы компрометации Ларгье перед швейцарскими властями и его высылки из страны. Дело усугублялось тем, что вместе с Ларгье работала большая группа швейцарцев, немцев, французов и итальянцев. Агентам Ронге

удалось узнать, что у отставного капитана были два главных помощника — Розетти и Росселет.

По предложению Урбанского детально спланировали операцию, в которой следовало добыть компрометирующие материалы об исполнителях в группе Ларгье — унтер-офицере армии Швейцарской конфедерации Петрилла и цюрихском купце Трокки, а затем подбросить эти сведения швейцарской контрразведке.

Эвиденцбюро только-только начало развертывать работу по делу Ларгье, как в Вене разразился скандал. Он имел свою историю.

...В январе 1910 года служащий артиллерийского депо Кречмар был арестован у себя на венской квартире. Кроме обыска у Кречмара, был произведен также налет на квартиру его зятя-фейерверкера *. На двух пролетках в Эвиденцбюро сыщики доставили материалы, которыми тут же занялась специально составленная военная комиссия. Разобрав найденные документы, комиссия установила, что Кречмар начиная с 1899 года оказывал услуги русской разведке через военного агента в Вене, с 1902 года — помогал французам, а с 1906 года — продавал копии похищенных бумаг итальянскому Генеральному штабу, зарабатывая в год тысяч по пятьдесят крон.

За свое доверие к Кречмару поплатился отставкой его лучший друг — управляющий морским арсеналом, на зятя был наложен крупный штраф за пособничество родственнику, а пяти офицерам артиллерийского депо, проявившим ротозейство, предложили выйти в отставку и заплатить крупные штрафы.

Полковник Урбанский доложил все дело министру иностранных дел графу Эренталю, но лощеный дипломат, для которого агентурная работа была всегда пугалом, отнесся к инциденту, в котором был замешан русский военный агент в Вене полковник Марченко, весьма либерально. Министр не захотел делать резких представлений посольству. Он только дал понять тогдашнему поверенному в делах России Свербееву, что желателен уход в отпуск полковника Марченко без его возвращения в Вену.

Марченко, который еще не знал о провале агента, поразмыслил над предупреждением, однако решил все же побывать на предстоящем придворном балу, чтобы попытаться определить, насколько тревожна складывающаяся обстановка.

Резонанс от «дела Кречмара» оказался весьма значительным. Марченко, как обычно, стоял на балу в группе военных агентов, разодетых в парадные мундиры и при всех орденах. Дождались выхода восьмидесятилетнего императора, который своей шаркающей походкой обходил сперва строй послов и военных агентов.

Щелкнув каблуками, Марченко, как и его коллеги, при приближении императора вышел на шаг из строя и протянул для

---

* Фейерверкер — офицерский чин в австрийской артиллерии.

рукопожатия руку Францу-Иосифу. Старец в белом мундире, еле передвигающий ноги и машинально приветствующий гостей, дернулся как ужаленный, увидев военного агента российского императора. Он убрал за спину свою костлявую руку и сквозь густые бакенбарды прошамкал, брызгая слюной, не выговаривая буквы:

— Стыдитесь, господин офицер! Запятнать честь мундира шпионажем!

По залу вихрем прокатился шепот голосов. Марченко покраснел и, вызывающе повернувшись спиной к императору, стал пробираться через толпу к выходу. Он покинул Вену на следующий день, но вместо него прибыл сюда не менее опасный для Австро-Венгрии новый руководитель агентуры, полковник Занкевич.

По тогдашним дипломатическим обычаям, полицейское наблюдение за военным агентом устанавливать было неприлично, но майор Ронге на свой страх и риск пустил за русским разведчиком бригаду вышколенных сыщиков. Занкевич был хитер и нахален. Он не бегал по темным аллеям парка на встречи с малоценной агентурой и не расшифровывал свои связи с военными.

В первый год своей работы в Вене он очень досаждал австрийцам крайней любознательностью. Регулярно, 2—3 раза в неделю он появлялся в бюро дежурного генерала военного министерства и один задавал втрое больше вопросов, казалось бы, ничего не значащих, чем все остальные военные агенты, вместе взятые. Зато сумма выясненных деталей давала ему ценную информацию.

На маневрах он вел себя вызывающе, фотографируя портативным американским фотоаппаратом «Экспо» все, что можно, и особенно — что нельзя. Он регулярно объезжал под предлогом дачи заказов военные фабрики, выяснял их мощности якобы для того, чтобы узнать, как скоро может быть выполнен заказ России. И фабриканты клевали на эту приманку, рассказывая подробно о своем производстве, планах и новых изделиях.

Но вот теперь, в апреле 1913 года, трехлетнее наблюдение за полковником начало приносить свои плоды. То ли полковнику приелись его конспиративные трюки и он стал действовать еще нахальнее, то ли в атмосфере сгустившихся приготовлений к войне агенты наружного наблюдения стали работать острее, но начиная с марта выяснилось, что полковник Занкевич дважды тайно появлялся на квартире отставного фельдфебеля Артура Итцкуша. Кроме того, он подозрительно регулярно встречался с братьями Яндрич, один из коих был обер-лейтенантом и слушателем военной школы, а второй — лейтенантом в отставке. Установили также, что Занкевич вовлек в секретную информационную деятельность отставного агента полиции Юлиуса Петрича и крупного железнодорожного чиновника Флориана Линднера.

Эвиденцбюро пришло к выводу, что все нити от этой агентуры ведут к полковнику Занкевичу, и решило нанести удар.

Итцкуш, братья Яндричи, Петрич и Линднер были арестованы, но полковник остался недосягаем по причине дипломатической неприкосновенности.

Начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф поручил майору Ронге сообщить об арестах министру иностранных дел Бертольду, который заменил на посту покойного графа Эренталя. Когда Ронге окончил свой доклад в резиденции министра, граф Бертольд от изумления превратился «в соляной столб», как рассказывал Урбанскому сам Ронге. Выйдя из этого состояния, граф со вздохом согласился сделать представление русскому посольству. Скандал выплыл наружу. Эвиденцбюро торжествовало — маленькая, но победа одержана над русской разведкой, ее официальный резидент скомпрометирован, а за его преемником можно уже на законных основаниях было с первых дней установить правительственное наблюдение.

Мировая война приближалась, ее тучи уже сгущались в небе Европы, и в свете зарниц то и дело представали высвеченные мертвенным светом трагические фигуры тех, кто стал первыми жертвами в ожесточенных сражениях разведок, начавших свою войну задолго до всемирной грозы. Теперь в столице Дунайской монархии назревал новый скандал, масштабы которого было трудно даже и предположить.

...Проходили недели. В окошечко «до востребования» господин Ницетас так и не обращался. Контрразведчики ломали себе голову в догадках, почему же получатель столь высокого гонорара не приходит за ним. Урбанский и Ронге уже стали высказывать подозрение, что высылка полковника Занкевича напугала агента и он отложил до лучших времен получение своего письма, о чем, совершенно очевидно, был извещен по другому каналу.

12 мая в Вену вновь примчался берлинский курьер лейтенант Митцль. К удивлению Эвиденцбюро, в котором интерес к письму из Иоганнесбурга уже угасал, он привез новый пакет на имя Никона Ницетаса.

На этот раз коллеги из германского «черного кабинета» не доставили хлопот венцам, поскольку почти не затрепали конверт. Как и прежде, на нем была заметна условность — одна из двух марок была наклеена так, что ее кончик как бы свешивался за край конверта. Судя по штемпелям, письмо было опущено в Берлине 10 мая и вскоре попало в поле зрения чиновника «черного кабинета».

«Уверенно работают в Берлине, — озабоченно подумал Урбанский, оглядывая конверт. — Наши цензоры возились бы неделю, чтобы выловить такую рыбку...»

К письму была приложена его фотокопия и опись на сумму семь тысяч крон. Урбанский внимательно прочитал несколько раз текст на листке, взятом из запечатанного конверта. Там стояло:

«9 мая 1913

Глубокоуважаемый господин Ницетас!

Конечно, Вы уже получили мое письмо от 7 с/мая, в котором

я извиняюсь за задержку в высылке. К сожалению, я не мог выслать Вам денег раньше. Ныне имею честь, уважаемый г-н Ницетас, препроводить Вам при сем 7000 крон, которые я рискую послать вам в этом простом письме. Что касается Ваших предложений, то все они приемлемы. Уважающий вас И. Дитрих.

Р. S. Еще раз прошу Вас писать по следующему адресу: Христиания, Норвегия, Розенборггате, № 1, фрекен Элизе Кьернли».

Начальник Эвиденцбюро тут же связался по телефону со статским советником Гайером в полицейпрезидиуме Вены, надзиравшим за прохождением «дела господина Ницетаса». Урбанский сообщил о получении второго письма для их «подопечного» и получил заверения, что дело поручено лучшим сыщикам Вены. Напряжение вновь стало увеличиваться с каждым часом, но только для того, чтобы спустя неделю снова угаснуть до уровня рутины. Никто не справлялся о письмах, в которые было вложено так много денег.

37. Вена, май 1913 года

...Наступил субботний вечер 24 мая. «Голубой» Дунай бурно мчал свои коричневые воды мимо столицы империи, лазурное небо обещало жаркий день в воскресенье, сочная весенняя зелень листвы и трав источала вечерний аромат, который не могли заглушить газолиновые моторы авто.

Без десяти минут шесть в полицейской комнате раздался оглушительный электрический звонок, вызвавший беспечно дремавших сыщиков из глубокого послеобеденного покоя, украшенного парой бутылок доброго венского пива. Покуда агенты натягивали пиджаки и бежали через внутренний проезд от Мясского рынка до Доминиканской церкви к окошку Центрального почтамта, робкий почтовый чиновник, как ни старался затянуть дело, все же успел выдать письма на имя господина Никона Ницетаса. Получатель ушел!

Сыщики выбежали на Доминиканер-бастай и успели только заметить, что какой-то статный господин вскочил в автомобиль с работающим мотором. Автомобиль тут же тронулся. Один из агентов обнаружил, что это было такси. Номер машины они тут же записали для памяти.

Но что проку было в этой записке, ведь другой машины для погони рядом не оказалось. Какой смысл будет в том, чтобы опрашивать на следующий день водителя такси, откуда он привез незнакомца и куда он его доставил? Совершенно ясно, что седок достаточно опытен в этих делах и не станет брать мотор от своего дома или места службы.

Оба агента ясно представили себе, как доктор Шобер (а он заменил доктора Новака в руководстве операцией со стороны полицейпрезидиума) возбудит против проштрафившихся дисцип-

линарное обвинение, исходом коего может быть лишь увольнение от службы с позором и уменьшенной пенсией.

Сыщики стояли на площади у Доминиканского собора, ломали голову, как быть. Один из них предложил найти еще сегодня шофера такси, опросить его с пристрастием и угрожать лишением лицензии на промысел, если он не покорится, а затем условиться с ним о какой-нибудь истории, которая живописует бегство незнакомца. Другой агент настаивал на том, чтобы сразу доложить начальству всю подноготную, а самим подать в отставку.

Пока препирались о том, кому первому в голову пришла идея выпить после обеда пива, расслабляющего волю, на площади показалось такси. О редкое счастье нижнего чина полиции! Это был тот самый номер, который увез полчаса назад из почтамта их несостоявшуюся добычу! Австро-венгерской контрразведке стало с этого момента везти, как азартному игроку, «поймавшему» талию.

Агенты бросились бегом за мотором, свистками и криками привлекли внимание водителя, и он остановился на углу, у выезда на шумную Волльцайле.

— Куда отвез седока с почтамта? — грозно спросил сыщик, вскочив на подножку машины.

— В кафе «Кайзергоф»...

— Живо вези нас туда же! — рявкнул другой агент, демонстрируя жетон политической полиции.

Усевшись в авто, сыщики обшарили весь салон в поисках окурка или иной свежей улики. Их труды не пропали даром. В сгибе сиденья и спинки они нашли футляр для перочинного ножичка, сделанный из светло-серого сукна...

Кафе «Кайзергоф» в этот субботний вечер было переполнено. Венцы целыми семьями располагались за уютными столиками не только в зале, но и прямо на тротуаре, отгороженные куртинами зелени от сутолоки улицы. Некоторые витрины были уже вынуты на лето, можно было входить в кафе прямо с улицы, минуя парадный вход и швейцара. Агенты бросились к вахмистру. Швейцар не стал искать господина в толпе посетителей, а сразу сказал, что статный светловолосый незнакомец только что покинул «Кайзергоф» и направился к стоянке такси.

В эпоху конных экипажей на каждой венской стоянке извозчиков служил мальчишка-водолей, в обязанности которого входило подносить лошадям ведра с водой для питья. Когда такси вытеснили с венских улиц большинство конных прокатных экипажей, мальчишку-водолея сменил на стоянке такси мальчишка-мойщик. Он протирал автомобили влажной замшей, полировал их зеркальные стекла и драил медяшку, щедро украшавшую самодвижущиеся коляски.

Агенты разыскали «водолея», как по традиции называли мальчишку, на стоянке у кафе «Кайзергоф» и строго спросили его.

Выяснилось, что искомый господин только что отбыл в отель «Кломзер».

Агенты понеслись по следу, ведомые самой фортуной. В отеле «Кломзер» они привычно подступили к швейцару.

— Кто приезжал за последние полчаса в отель?

— Два господина на моторе... Болгарские купцы...

— Кто до них?

— Приезжал один господин.

— В автомобиле?

— Не видел.

— Ты его знаешь?

— Еще как! Это господин полковник Редль, но только он был в штатском...

У агентов задрожали поджилки. Они хорошо знали бывшего шефа австро-венгерской контрразведки. Он был грозным начальником и не давал покоя сыщикам на императорской службе. День и ночь гонял он их в поисках шпионов, в любую погоду посылал следить за государственными преступниками или подозреваемыми. Беспощадно увольнял он тех, кто совершал малейшую оплошность, и сыщики возблагодарили бога за то, что сейчас не Редль командует в Эвиденцбюро, а то им сразу же пришлось бы уходить в отставку...

Агенты устроили тут же за конторкой небольшое совещание. Они решили доложить статскому советнику Гайеру, руководителю поисков предателя, что, по иронии судьбы, адресат письма живет в том самом отеле, что и прославленный контрразведчик Редль. Сыщики даже решили обратиться к Редлю за помощью, предварительно испросив на это разрешение у господина статского советника.

Пока один из агентов пошел к телефону докладывать ход событий и просить к отелю «Кломзер» подкрепления, другой остался побеседовать с портье. И тут новый план пришел ему в голову. Сыщик отдал футляр от перочинного ножичка портье и просил его показывать каждому проходящему гостю, авось найдется владелец.

Не прошло и пяти минут, как на лестнице показался статный светловолосый военный, в котором агент узнал своего бывшего шефа — полковника Редля. Он хотел было предупредить портье, что этого господина опрашивать не надо, но не успел. Человек за конторкой поднял футляр перед полковником и подобострастно спросил:

— Не потерял ли господин полковник футляр от перочинного ножичка?

— Да, это мой! — ответил полковник машинально и протянул руку за светло-серым мешочком... — Где это я его...

Лицо полковника мертвенно побледнело, он вспомнил, что последний раз пользовался ножичком в автомобиле по дороге от почтамта до кафе «Кайзергоф», когда вскрывал конверты с деньгами из Петербурга. Именно там, в машине, он потерял свой футляр. Но как он оказался здесь, в отеле?!

И вдруг Редль заметил недалеко от портье невзрачного господина, который с необычным интересом рассматривал пустяковое объявление на стене вестибюля. Сомнения не оставалось: он попал в ловушку.

Ничуть не выдав волнения, полковник поблагодарил портье и вышел на улицу. Ускоряя шаги, он пошел вниз по Херренгассе.

У ближайшей зеркальной витрины он попытался уяснить, следит ли кто-нибудь за ним. По-видимому, пока никто. Он торопился дальше, подходит к угловому кафе «Централь», снова оглядывается; вроде бы никого. Хотя нет, вот два господина вполне определенной наружности показались из отеля «Кломзер»...

Полковник не знал, что, прежде чем выйти из отеля, один из сыщиков уже успел соединиться по телефону с политической полицией и передать: «Все в порядке. Футляр принадлежит полковнику Редлю».

Увидев сыщиков, Редль резко завернул в кафе «Централь» — там два запасных выхода, оба ведут в здание биржи, где сейчас, в субботний вечер, почти никого нет и можно быстро пробраться на оживленную Шоттенринг.

Агенты не видят полковника, но нюх старых ищеек подсказывает им верный путь. Они вполне профессионально поражаются самообладанию человека, который несколько минут назад узнал, что погиб, но упорно ищет выхода из смертельного положения.

38. Вена, май 1913 года

Сыщики осмотрели Штраухгассе, дошли до Хааргассе и через проходной двор очутились на Наглергассе... Теперь, когда личность получателя конверта была установлена, они уже не так волновались за свою судьбу. Они знали, что по всей Вене сейчас идет перезвон телефонов. Сообщение из отеля «Кломзер» подняло на ноги все начальство в политической полиции, а оттуда, с Шоттенринга, на Штубенринг последовал звонок, который перевернул вверх дном кабинет полковника Урбанского и все разведывательное бюро императорского и королевского Генерального штаба.

Подумать только — бывший начальник архисекретного разведывательного отделения, создатель его тончайших методов работы, учитель, пастырь, главный советчик на протяжении стольких лет полковник Редль — вдруг тот самый русский агент!

Сам майор Ронге, срочно вызванный из дома, где собрались в субботний вечер гости, на авто помчался на Центральный почтамт, чтобы изъять квитанцию о получении писем, в которой есть несколько слов, писанных рукой получателя. Он лично расспросил во всех подробностях перепуганного почтового чиновника. Тот совершенно не ожидал, что прикосновение к кнопке звонка вызовет такую лавину событий, когда столь важные гос-

пода будут наперебой выяснять личность получателя письма и прочие сопутствующие обстоятельства.

Пока майор Ронге допрашивал старика, пока писали расписку в получении квитанции, без которой закоренелый служака никак не соглашался отдать бумажку, полковник Урбанский рылся в старых бумагах, разыскивая образцы почерка Редля. Долго искать не пришлось — на свет были извлечены несколько рукописных «инструкций о разведывательной работе, составленных Альфредом Редлем, капитаном императорского и королевского Генерального штаба».

Вскоре запыхавшийся Ронге буквально ворвался в бюро с заветной почтовой распиской. Необходимость в тщательной экспертизе сразу же отпала: после простого сличения почерка никто уже не сомневался, что квитанция заполнена рукой полковника Редля. Разумеется, обратили внимание и на то, что надпись сделана на почте с явным ухищрением — весьма тоненько и едва заметно.

Полковник Урбанский фон Остромиец, теперь уже окончательно убежденный в идентичности Редля и Ницетаса, бросается на розыски начальника Генерального штаба, которому первому следует быть в курсе печальных событий, разворачивающихся в этот субботний вечер.

...Погоня за Редлем по всей Вене продолжается. Сыщики находят его в Пассаже и, уже не таясь, начинают преследование. Чтобы остаться один на один против агента и попытаться уйти от него, Редль старается отвлечь внимание другого нехитрым приемом. Не глядя, достает он из кармана несколько бумаг, рвет их на клочки и выбрасывает тут же, в Пассаже, надеясь, что один из двух агентов останется собирать клочки. Но опытные сыщики неотступно следуют за своей жертвой.

Редль выходит на Фрайунг, замыкая круг преследования. Здесь сыщики останавливают первый попавшийся автомобиль, приказывают ему следовать за «опекуном» Редля, а второй шпик бегом возвращается в Пассаж собирать клочки от разорванных полковником бумаг.

В полиции клочки тщательно расправляют, склеивают и получают несколько подлинных документов, которые могут очень навредить своему бывшему хозяину, если суд над ним состоится. Бумажки представляют собой почтовые квитанции за пакеты и телеграммы, отправленные в бельгийские, швейцарские, датские адреса, которые, кстати, фигурируют в справочнике контрразведок Срединных империй как архишпионские передаточные квартиры, совместно используемые русской и французской разведками.

Обреченный полковник идет по улице Тифен-Грабен, изредка оглядываясь в зеркальные витрины магазинов. Позади все тот же постоянный преследователь и медленно ползущий, как катафалк, большой черный автомобиль.

Видя этот мотор, полковник словно в бреду вспоминает свою безвозвратную жизнь, которая кончилась всего полчаса назад.

Не далее как сегодня утром он приехал из Праги в роскошном «даймлере», купленном за кругленькую сумму — восемнадцать тысяч крон...

Редль инстинктивно поворачивает на набережную Франца-Иосифа, чтобы оттуда попасть на Бригиттенау, где у каретника Цедничека он оставил свой «даймлер». Мастер должен обить низ кузова черной лакированной кожей и заменить внутреннюю обивку на красный толстый шелк. Но о бегстве на своем автомобиле, увы, не приходится помышлять: его шофер получил на несколько дней отпуск, а сам Редль чувствует себя недостаточно сведущим в сложном искусстве вождения автомобиля...

Неожиданность разоблачения, промах у стойки портье, который может стоить ему жизни, все больше и больше выводят Редля из душевного равновесия, препятствуют трезвым поискам выхода из катастрофического положения.

«Бежать, скрыться, уйти на нелегальное положение, переменить документы — ведь может же Стечишин уже несколько лет руководить группой из подполья!.. — думает Редль. — А если арест и следствие? Нет, не удастся скрыть все связи с агентурой, с теми офицерами, кто по крупицам носит ему информацию, а он ее препарирует и подает с блеском стратега!.. Ведь Ронге и Урбанский весьма способные профессионалы — они быстро размотают весь клубок, выявят «Градецкого», «доктора Блоха», двух коллег-полковников в императорском и королевском Генеральном штабе, которые вполне сознательно дают Стечишину бесценную информацию для передачи в Петербург... Нет! Нет! Только не следствие! Ведь это грандиозный скандал! Как станут злословить все эти немчики-недоброжелатели! Как станут кричать, что славяне погубили Дунайскую империю! Проклятая империя, проклятые Габсбурги! Старого болвана Франца-Иосифа хватит кондрашка, когда ему доложат, что я, его опора и надежда, как он мне заявил при назначении в Прагу, — русский агент! Ха, ха, ха! Неужели мне никуда от них не скрыться?»

В эти минуты по всей Вене искали начальника Генерального штаба. Не без труда обнаружили генерала: в компании старых друзей он обедал в ресторане «Гранд-отель». Полковник Урбанский помчался лично доложить о несчастье, постигшем армию и особенно Генеральный штаб.

Конрад фон Гетцендорф спокойно отложил в сторону салфетку, извинился перед дамой, сидевшей рядом, и вместе с Урбанским быстро прошел через общий зал в маленькую боковую комнату, откуда полиция вела обычно наблюдение за сомнительными гостями. Генерал уже предчувствовал дурные новости. «Кто?» — бросил он Урбанскому.

— Редль! — ответил полковник. Конрад побледнел, опустился на стул.

«Какой скандал! Что скажет старый император! — лихорадочно думал генерал. — Ведь это ужасный повод для эрцгерцога Франца-Фердинанда, который и так ненавидит Генеральный штаб, повсюду трубит, что мы то и дело подводим армию!

А что скажет общество, что будут думать о нас союзники в Берлине?! А пропаганда противника! Эти русские и так твердят, что все прогнило в Австро-Венгерской монархии! Все славяне будут немало торжествовать! Оппозиция из этих чехов, словаков, русин и других непокорных начнет бурно радоваться, что один из их братьев нанес сильнейший удар по монархии. Ужас, ужас и ужас! Ведь этот случай — искра в бочку пороха, которую являют собой все эти славянские национальные меньшинства империи! И все это именно теперь, когда получена команда готовиться к войне с русскими, когда вот-вот грянет большая европейская битва!..»

Конрад встал, еле поднявшись со стула, затем снова сел. Он мучительно думал, искал выхода из позорной ситуации, в которую попадал Генеральный штаб, если случившееся станет известно прессе, депутатам, министрам...

Наконец его решение сложилось:

— Редля необходимо срочно задержать! Вы лично допросите его, узнаете, насколько далеко зашло предательство, а затем он должен немедленно умереть! Потрясение основ монархии неминуемо, если этот случай станет широко известен. Вы должны уберечь армию, империю, престол и прежде всего Генеральный штаб от позора, если факт будет оглашен! Он должен немедленно умереть!

— Ваше превосходительство, боюсь, что я один не смогу убедить полковника, здесь нужен суд или какое-то подобие суда, комиссия, например...

— Хорошо, немедленно составьте комиссию! Председателем назначить Гефера. Включить Ронге. Начальника юридического бюро Генштаба или иного подходящего юриста. И обязательно вы, полковник. После подробного допроса, повторяю, Редль должен умереть. Причину смерти не должен знать никто, кроме нас пятерых...

39. Вена, май 1913 года

...Редль решил запутать своих преследователей и пустился еще быстрее, почти бегом, по улицам прочь от набережной, где видно далеко и скрыться некуда. Агенты давно поняли, что полковник обнаружил за собой наблюдение. Теперь они действовали не таясь, следовали за ним, почти настигая. Охваченный паникой, Редль решил, что они имеют уже приказ задержать его, и петлял как заяц, спасая свою жизнь в узких улочках центра Вены, то и дело выходил к Рингу, чтобы попытаться оторваться от погони на случайном такси. Но случай изменил полковнику и помогал его врагам.

Редль устал, едкий пот заливал лицо из-под широких полей щегольской шляпы. Ботинки давно покрылись пылью, да и весь он как-то потускнел, точно постарел сразу на десяток лет. Но он еще пытался найти выход.

«Может быть, так рассчитать время, чтобы прибежать прямо к отходу поезда на Прагу, оторваться у вокзала от сыщиков, бегом вбежать в кассовый зал, бросить деньги без сдачи кассиру и умчаться в Прагу, а по дороге спрыгнуть с поезда, раствориться в чешских землях, уйти в подполье», — фантазировал он, но трезвый расчет разведчика опровергал все эти эфемерные надежды, снова и снова говорил о безвыходности положения. Потом он вспомнил, что в отеле «Кломзер» его ждет старый друг, которому он послал телеграмму из Праги о своем скором прибытии в Вену и предложил вместе поужинать в субботу вечером.

У Редля вновь затеплился луч надежды: друг этот был старый его товарищ по многим шпионским процессам, где контрразведчик Редль выступал как блестящий эксперт, а доктор Виктор Поллак как высший государственный обвинитель. Теперь доктор Поллак дослужился до одной из высших должностей — старшего прокурора при главной прокуратуре Верховного и кассационного суда. Всегда, когда Редль бывал в Вене, он непременно встречался с Поллаком. Они боролись с государственной изменой в монархии плечом к плечу не один десяток лет, и теперь Редль решил, несмотря ни на что, поужинать, как договаривались, с Виктором. Кто знает, нельзя ли будет что-нибудь предпринять...

Редль крикнул такси. Он чуть-чуть успокоился, но до конца взять себя в руки не мог. Сыщики сели в другое такси, следуя по пятам. Их изумлению не было предела, когда они увидели, что Редль направился по кратчайшей дороге к «Кломзеру», туда, где была открыта его измена.

Еще больше агенты удивились, когда, войдя в вестибюль своего отеля, полковник как к самому близкому человеку кинулся к грозе государственных преступников, прославленному прокурору доктору Поллаку, а тот заключил его в объятья. После приветствий полковник попросил у друга пять минут, чтобы переодеться к ужину, и поднялся в свои апартаменты. Подходя к двери, Редль увидел, как метнулась за угол коридора тень сыщика, приставленного к его комнате.

Денщик Иосиф Сладек, уже прибывший поездом из Праги, помог ему быстро сменить костюм на вечерний, повздыхал на безумный вид хозяина, не зная, почему он так плохо стал вдруг выглядеть, но лишних вопросов не задал.

Редль и Поллак отправились в Иосифштадт, в свой любимый ресторан «Ридгоф», где их всегда окружала изысканная публика. Уже в такси по дороге к ресторану Поллак обратил внимание на то, что с его другом творится что-то странное. Он был неестественно молчалив, глядел все время в одну точку, а его голова изредка бессильно падала на грудь. Казалось, он вот-вот разразится рыданьями.

Полковника действительно бросало то в жар, то в холод. Он не знал, как начать свой самый важный в жизни разговор с Виктором, может ли тот его спасти, или прикажет первому

полицейскому арестовать его как государственного преступника. Он лихорадочно думает только об одном: не открыться ли во всем Поллаку или симулировать перед ним сумасшествие, просить отправить в санаторий для душевнобольных, а оттуда или по дороге бежать за границу.

Полковнику удался его план, но только в первой части. За столом он не притрагивался ни к еде, ни к питью. Редль делает другу туманные намеки, говорит о своей моральной запутанности, сбивчиво признается в каком-то ужасном преступлении и вместе с тем искусно подводит доктора Поллака к мысли, что им овладело внезапное безумие...

Бессвязная речь полковника вначале приводит прокурора в изумление, а затем заставляет его попытаться прийти на помощь другу. Доктор Поллак не знает еще, что лучшие агенты полицейпрезидиума Вены присматривают за ними, пока друзья сидят за столиком...

Наконец прокурор начинает понимать, что с Редлем случилось что-то страшное, в чем он может открыться только своему корпусному командиру, если ему дадут возможность быстро вернуться в Прагу. Неумолимый прокурор, который беспощадно подписывал ордер на арест по гораздо более ничтожным мотивам, впадает в какую-то прострацию вместе с Редлем.

«Ведь это мой старый друг! — сентиментально думает Поллак. — Может быть, выяснится все дело и окажется, что он ни в чем не виноват, а только охвачен буйным умопомешательством! Его надо спасать, этого несчастного человека, а затем уж расследовать все прегрешения по службе!»

Поллак встает, идет к телефону, просит соединить его с квартирой начальника политической полиции, их общего приятеля. К изумлению прокурора, Гайер в этот субботний вечер еще на службе, в своем кабинете, как отвечает ему горничная. Телефонная барышня соединяет Виктора с кабинетом Гайера в полицейпрезидиуме.

— Добрый вечер, ваше превосходительство! — начинает разговор Поллак. — Мы сейчас с полковником Редлем ужинаем...

— Да, в «Ридгофе», господин старший прокурор! — отвечает Гайер.

— А откуда вам это известно? — изумляется Поллак.

— Случайно, господин старший прокурор! — уклончиво отвечает шеф полиции.

— Господин полковник Редль, — продолжает разговор Поллак, — как мне кажется, внезапно настигнут каким-то серьезным психическим заболеванием. У него какой-то психоз. Он все время говорит о моральных ошибках, духовной катастрофе, о каком-то преступлении, которое якобы совершил... В период просветления души он просил меня, господин статский советник, помочь ему добраться до Праги или какого-нибудь хорошего санатория для психических больных. Не можете ли вы в знак старой дружбы помочь организовать его отъезд и выделить провожатого?

— Сегодня уже поздно, господин Поллак, ничего невозможно сделать, — отвечает довольно сухо начальник полиции. — Успокойте Альфреда. Скажите ему, чтобы завтра с утра он обратился лично ко мне — я охотно сделаю все, что от меня зависит. Всего хорошего, господин старший прокурор! Сожалею, что мне невозможно дольше разговаривать с вами!..

Печально заканчивается ужин в «Ридгофе». Ни музыка, ни беззаботная обстановка, ни призывы самого метрдотеля, пришедшего на помощь Поллаку в попытках развеселить и накормить старого клиента — Редля, не дали никакого результата. Друзья выходят в душную майскую ночь, и Редль еле передвигает ноги, так он разбит волнением. Но полковник находит в себе силы зайти после ужина в кафе «Кайзергоф», то самое, где фортуна поманила за собой сыщиков.

Друзья заняли столик, и Редль, чуть смочив губы оранжадом, вновь с жаром обратился к Виктору с просьбой о помощи. Виктор снова искал по телефону поддержки у Гаейра, но получил лишь сухую рекомендацию продолжить дело только завтра утром...

Куранты на ратуше отзвонили половину двенадцатого, на Ринге еще кипела ночная жизнь, отголоски которой доносились и сюда, в Херренгассе.

Старший прокурор Поллак подвел своего друга к запертым дверям отеля «Кломзер», нажал кнопку звонка к швейцару. Затем он молча пожал руку Редлю, который глядел на него безумными глазами, вокруг которых легли синяки, и дождался, покуда вахмистр, гремя ключами, не отпер дверь и не впустил господина полковника Редля в его любимый отель. Нетвердой походкой Альфред стал подниматься к себе в бельэтаж.

40. Вена, май 1913 года

Началась ночь с субботы на воскресенье. В массивном новом здании военного министерства окна этажа, где с апреля размещалось отделение контрразведки Эвиденцбюро, так и не гасли. Здесь кипела напряженная работа, о сути которой знали во всем бюро только два человека — Урбанский и Ронге. Остальные были техническими исполнителями различных экспертиз, которые срочно проводились по приказанию фон Гетцендорфа. Для того чтобы скрыть истинный смысл следственных действий по делу Редля, которое пока не было открыто официально, проводилось еще два десятка различных срочных контрразведывательных операций якобы по поимке черногорских террористов.

...Если бы доктор Поллак задержался на несколько минут, провожая полковника Редля домой, в гостиницу, то он увидел бы, как в полночь за ближайшим углом остановился большой серый автомобиль военного ведомства, из него вышли четыре офицера в парадных мундирах и позвонили у дверей «Кломзера». Старик швейцар начал было ворчать, что согласно правилам

пользования отелем после одиннадцати вечера всякие визиты к его гостям воспрещены, но офицеры бесцеремонно оттолкнули его.

Генерал постучал в дверь с виньеткой «№ 1».

— Войдите! — говорит Редль охрипшим голосом.

Офицеры входят, затворяют дверь. Полковник, до этого сидевший за столом, машинально встает. Он в домашнем парчовом халате, с мертвенно бледным лицом. От его гордой осанки ничего не сохранилось. Несчастье, кажется, просто придавило его.

— Я знаю, господа, по какому делу вы пришли, — полковник еле выговаривает слова, — мне ничего другого не остается, как умереть. Я пишу прощальные письма...

Генерал желает учинить допрос по всей форме. Он приказывает члену комиссии, аудитору венского гарнизонного суда Форличеку сесть за стол и писать протокол.

— Кто ваши сообщники? — задает первый вопрос Гофер.

— У меня их не было... — быстро, почти скороговоркой отвечает Редль давно заготовленную фразу.

— Подумайте, мы не торопим вас... — призывает Урбанский.

Редль бросает на него взгляд, полный муки.

— Повторяю, у меня не было сообщников! Я работал один...

— Кому вы передавали информацию? — включается в допрос Ронге.

— Бесконтактно. Направлял почтой в условные адреса...

Урбанский уже успел сообщить Гоферу пожелание фон Гетцендорфа избежать разрастания этого политического скандала, и ответы полковника вполне удовлетворяют председателя комиссии. Он не видит в них характера политической бомбы, которая могла бы взорваться, как если бы вместе с Редлем работала целая группа противников монархии.

Для формы генерал задает еще один вопрос:

— Сообщите, какие важнейшие данные вы успели передать противнику?

— Все документы вы найдете в моей казенной квартире в помещении корпусного командования в Праге, — уже с холодным спокойствием отвечает полковник Редль. Он сделал выбор, утвердился в своих намерениях и ждет продолжения допроса.

Комиссия больше спрашивать не собирается. Лишь ее председатель интересуется:

— Имеете ли вы при себе огнестрельное оружие, господин Редль?

— Нет, не имею.

— Вам следует просить какое-нибудь огнестрельное оружие...

— Я... покорнейше... прошу... дать мне... револьвер! — твердо, с расстановкой произносит полковник Редль.

Но ни у кого из членов комиссии также нет с собой револьвера. Тогда майор Ронге быстро отправляется к себе домой и возвращается с маленьким браунингом, каковой вручает Альфреду Редлю. Твердой рукой полковник принимает оружие и сразу же загоняет патрон в ствол.

Форличек и Ронге невольно пятятся — оба синхронно подумали о том, что ничто не мешает сейчас полковнику перестрелять всю комиссию и скрыться. Но генерал и Урбанский лучше знают старого офицера разведки, не сомневаются в его понятиях об офицерской чести. Помедлив минуту, члены комиссии, не кланяясь, выходят.

Но на улице сомнения в том, что Редль покончит с собой, вспыхивают и у председателя комиссии. Офицеры остаются на углу Банкгассе и Херренгассе, чтобы видеть выход из отеля «Кломзер». Окно комнаты, где за глухими шторами при свете ночника предатель пишет сейчас предсмертные письма, им не видно, оно выходит во двор. По переулкам от Ринга еще идут редкие прохожие, кое-кто начинает обращать внимание на четырех офицеров Генерального штаба. Полковник Урбанский предлагает по одному съездить домой и переодеться в штатское платье.

В гостинице все тихо — ни выстрела, ни шума, ни суматохи, которая сообщила бы о развязке всей истории. Проходят часы. Снова по одному офицеры хо́дят в кафе «Централь» и пьют там по чашке кофе, подкрепляя силы.

Полная неизвестность продолжается до пяти часов утра. Члены комиссии должны выехать с первым поездом в Прагу, чтобы произвести обыск в квартире Редля, а поезд уходит в 6.15. Нужно доложить и фон Гетцендорфу, что предатель покончил с собой. Полковник Урбанский вспоминает, что те двое агентов, которые вчера выследили Редля, уже принесли присягу в том, что никогда слова не вымолвят о всей этой истории. Шеф отдела разведки вызывает по телефону одного из них. Тут же, на углу, разрабатывается план операции, как узнать, что все уже кончено. Сыщику вручают записку в конверте, которую якобы старый друг господина полковника Редля поручил ему доставить к нему в номер ровно в половине шестого утра. В дополнение к записке генерал дал инструкции агенту не поднимать шума, если он найдет в номере что-либо необычное, а вернуться и доложить.

Пронырливый агент тихо проскользнул в отель мимо дремлющего вахмистра и через три минуты примчался к офицерам:

— Господин генерал, комната была открыта. Я вошел, а он лежит у стола, скорченный и холодный. Рядом валяется браунинг...

Агента услали. Урбанский решил позвонить из кафе «Централь» в отель и попросить портье вызвать к телефону господина полковника Редля. Он не стал ждать ответа, поскольку по суматохе, вспыхнувшей в гостинице, понял, что труп обнаружен.

Через несколько минут администрация уведомила полицию о случившемся у них самоубийстве постояльца. Комиссия, заранее приготовленная и проинструктированная, в составе обер-комиссара полиции доктора Тауса и старшего участкового врача доктора Шильда явилась немедленно. Врач констатировал само-

убийство господина полковника Редля, который, стоя перед зеркалом, выстрелил себе из браунинга в рот.

Доктор Таус тем временем уложил в свой портфель письма, лежавшие на столе, — два запечатанных и одну открытую записку. В конвертах были обращения к старшему брату Редля и корпусному командиру барону Гислю фон Гислинген, а записка гласила: «Легкомыслие и страсти погубили меня. Молитесь за меня. Смертью искупаю свои заблуждения. Альфред».

И постскриптум: «Теперь три четверти второго. Сейчас умру. Прошу тела моего не вскрывать. Молитесь за меня».

Было совершенно очевидно, что произошло самоубийство, которое в те годы было отнюдь не редкостью среди офицеров европейских армий. Пулей искупали карточные долги, которые было невозможно отдать, неизлечимые болезни, скуку гарнизонной жизни в захолустье, неразделенную любовь к даме из света, позор пьяных оскорблений, обиды, невозможные стерпеть от начальства, и «позорную» для офицера нищету. Именно поэтому комиссия из полиции спокойно констатировала смерть полковника, сложила и опечатала его вещи, а труп поздно ночью, чтобы не волновать постояльцев «Кломзера», отправила в закрытом фургоне в морг при гарнизонном лазарете.

Первая часть истории — венская — закончилась ровно через двенадцать часов после того, как полковник Альфред Редль, он же «коммерсант Никон Ницетас», получил на главном почтамте свои письма до востребования.

В вечерних венских газетах императорское и королевское телеграфное агентство поместило небольшое извещение о самоубийстве начальника штаба VIII пражского корпуса. Оно было составлено в самых уважительных выражениях:

«Генеральный штаб и весь офицерский корпус императорской и королевской армии с глубоким прискорбием извещают... Высокоталантливый офицер, которому, несомненно, предстояла блестящая карьера, в припадке душевной болезни... Несколько месяцев страдал упорной бессонницей... В Вене, где он находился по делам службы...»

41. Прага, май 1913 года

В полдень 25 мая полковник Урбанский и майор-аудитор Форличек прибыли в Прагу. Фон Гетцендорф предупредил своего старого приятеля барона Гисля о приезде начальника главного разведывательного отдела Генштаба с важным поручением. Корпусного командира известили в той же телеграмме, что его любимец, полковник Редль, покончил в Вене ночью самоубийством.

Генерал от инфантерии Гисль фон Гислинген любезно встретил полковника Урбанского фон Остромиец, усадил его на самое почетное место за столом. Обедали они вдвоем, и, когда лакей, принесший блюда, вышел, Урбанский открыл Гислю истинную причину смерти Альфреда Редля.

Гисль фон Гислинген был поражен как громом. Он долго не мог прийти в себя и все вытирал лысину крахмальной салфеткой вопреки этикету, до которого был весьма охоч.

— Какой ужас! Какой ужас! — то и дело повторял генерал, едва не теряя сознание от поразившей его вести.

Кое-как офицеры доели свой обед и решили сразу же идти на квартиру Редля. Она была совсем рядом — на той же лестнице, увенчанной символической картиной «Гибель богов». Денщик полковника Иосиф Сладек, как оказалось, был со своим хозяином в Вене, куда и увез второй комплект ключей. Дубовые двери не поддавались усилиям солдат. Генерал приказал позвать гарнизонного слесаря, но оказалось, что по случаю воскресенья он мертвецки пьян и раньше утра приступить к работе не может. Сердитый Гисль потребовал от адъютанта «приволочь тогда любого штатского, лишь бы он владел молотком и всякими там железками». Этот приказ корпусного командира вызвал в дальнейшем последствия, которых так старательно пытался избежать начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф...

В воскресенье 25 мая в Праге должен был состояться футбольный матч между чешским ферейном «Унион» и немецким футбольным клубом «Штурм». Немцы рассчитывали побить в состязании своих извечных соперников чехов, но с самого начала игра складывалась не в их пользу. Болельщики, кипевшие на трибунах, узнали, что два лучших защитника «Штурма» — Маречек и Вагнер — не явились на игру. Хавтайм немцам еще удалось сыграть 3 : 3, но превосходство ферейна «Унион» к концу игры стало преобладающим, и он победил со счетом 7 : 5.

Больше всех переживал старшина немецкого клуба, который только недавно оказал большую услугу этому самому «герою» Вагнеру, лучшему беку ферейна, и тот в благодарность обещал больше не пропускать матчи. Старшина «Штурма» за пределами футбольного поля был редактором пражской газеты «Прагер тагеблатт» и корреспондентом берлинского вечернего листка. Он принял на следующий день Вагнера в своей клетушке общего редакционного зала. Редактор источал суровость и недружелюбие.

— Я на самом деле не мог прийти, — мямлил бек, по вине которого команда проиграла.

— Можешь теперь уже не объясняться, это никому не поможет, скотина, — сурово выговаривал редактор.

— Но меня увели из дома, когда я уже собрался ехать на матч, — пытался пояснить Вагнер. — Пришел офицер из штаба корпуса и сказал, что их слесарь заболел и надо идти открывать замок в квартире.

— Это пятиминутное дело, — возмутился редактор, — а мы тебя ждали целый час и не начинали игру, ублюдок ты эдакий!

— Но, кроме входной двери, мне пришлось вскрывать и другие замки в этой офицерской квартире — в шкафах и столах!..

Услышав эту тираду, журналист весь обратился в слух.

— Кому же принадлежит эта квартира? — с ехидцей спросил он слесаря. — Может быть, ты нарочно придумал эту сказочку, чтобы оправдаться?

— Что вы, господин старшина! — опять принялся объяснять простодушный слесарь. — Квартира наверняка генеральская — такая богатая...

— А где же был сам генерал?

— Эти господа из комиссии — а комиссия приехала из самой Вены — все искали какие-то документы, фотографии, и господин корпусной командир высказывался в том смысле, что хозяин квартиры, большой барин, умер вчера в Вене...

Старшина перестал покрикивать на своего футболиста, он уже был весь поглощен рассказом слесаря. А Вагнер, почувствовав в нем благодарного слушателя, готового забыть проступок, все наворачивал и наворачивал подробности вчерашнего обыска.

Он поведал, как при каждом листочке, вынутом из письменного стола и показанном генералу Гислю, старик кивал головой и бормотал: «Ужасно, ужасно! Кто бы мог подумать!»

Оказывается, в квартире имелась богатая фотолаборатория, где тоже нашли какие-то пластинки и старые отпечатки, при виде которых генерал и полковник пришли в ужас. Третий офицер из тех двух, что прибыли из Вены, все сидел и записывал каждую бумагу в особую тетрадь. А когда обыск закончился, генерал вытер лысину от пота и сказал: «Ах эти русские! Ну и помог им этот мерзавец чех! Доверяй им после этого!»

Слесарь-бек ушел, обласканный редактором, который не только простил ему вчерашнюю неявку на матч, но и предложил пяток крон на пиво. Журналисту стало совершенно ясно, что обыск вчера производился в квартире полковника Редля, начальника штаба корпуса, о неожиданной смерти которого в Вене была уже перепечатка в пражских газетах, в том числе и его собственной. Во всех газетных листках города Праги были даже помещены хвалебные некрологи в память этого видного военного. Для опытного журналиста это служило явным признаком того, что из правдивого сообщения об истинных причинах смерти полковника Редля, как их понимал редактор, цензура не пропустит ни строчки.

Простая мысль о том, как обойти все рогатки, очень быстро пришла в голову журналисту, много лет воевавшему с цензурой. «А не поместить ли сообщение в форме опровержения? — подумал он. — Ведь только патентованный идиот сможет не понять такого опровержения».

Прием этот был для пражских газетчиков ненов. Сколько раз им приходилось до этого в аллегорической или опровергательной форме писать, например, о жестокой эксплуатации и зверском обращении с чешскими рабочими в замке эрцгерцога Франца-Фердинанда Конопиште, что под Прагой. Цензура не могла придраться к таким, например, заметкам:

«Нам сообщают, что слухи о том, будто чешский батрак в имении его высочества эрцгерцога Франца-Фердинанда Коно-

пиште был жестоко избит телохранителями эрцгерцога за то, что осмелился пересечь парк по дорожке для гостей эрцгерцога, не подтвердились». Вся Прага умела читать между строк, правильно понимала такие сообщения и ненавидела австрияков, хозяйничавших на чешской земле.

Редактор помчался к главному редактору и владельцу газеты с предложением опубликовать заметку по материалам, сообщенным Вагнером, но в форме опровержения. Спорить пришлось долго. Шеф не хотел рисковать конфискацией вечернего номера газеты, но журналистская страсть в конце концов победила: он дал согласие на публикацию заметки на последней странице петитом, рядом с объявлениями.

Тогда редактор помчался в типографию и сам отлично набрал пятнадцать строк:

«Из высокоавторитетных кругов нас просят опровергнуть циркулирующие главным образом среди офицерства слухи о том, что начальник штаба VIII корпуса императорского и королевского Генерального штаба полковник Альфред Редль, как известно, два дня назад покончивший с собой в Вене, будто бы передавал наши военные тайны и занимался шпионажем в пользу России. Назначенная для расследования этого дела комиссия, прибывшая в Прагу из Вены и производившая в воскресенье обыск в присутствии корпусного командира, господина генерала барона Гисля фон Гислингена, в квартире Редля при штабе корпусного командования, со вскрытием всех ящиков и других хранилищ, пришла к заключению, что в трагической смерти полковника Редля сыграли роль преступления совершенно другого рода».

В тот же вечер газета вышла, благополучно миновав цензуру. Пражский цензор думал, вероятно, что опровержение исходит от корпусного командования, а штаб корпуса, которому немедленно доложили про заметку, решил, что опровержение из Вены.

Политическая бомба разорвалась. Тут же опровержение было передано по телефону в Вену, и за него схватились столичные газетчики. Редактор послал его уже в форме заметки, в Берлин, в свою «Берлинер Цайтунг ам Абенд», пражским корреспондентом которой являлся. Бомба детонировала в столице Германской империи...

42. Прага, май 1913 года

Вечерние венские газеты приходили в Прагу с вечерним экспрессом в тот же день. Уже на вокзале, у почтового вагона, мальчишки-газетчики вечером 25 мая начали кричать: «Экстр-р-ренное сообщение, экстр-р-ренное сообщение! В Вене прошлой ночью застрелился начальник штаба пражского корпуса полковник Редль! Торжественные похороны в Вене! Самоубийство полковника Редля! Начальник штаба пражского корпуса покончил с собой!»

Постепенно газетчики сбегали вниз, в город, растекались по

вечерним воскресным улицам, где чинно прогуливались перед сном обыватели, неторопливо, по-воскресному, цокали копыта фиакров и шелестели шины-дутики дорогих колясок. Последние лучи заходящего солнца отсвечивали зловещим пурпуром над Грачанами и Малой Страной, предвещая ясный день на завтра, когда всю идиллию воскресного вечера неожиданно нарушили эти пронзительные голоса о самоубийстве полковника Редля.

Одного из мальчишек-газетчиков, надрывавшегося на площади святого Вацлава как раз напротив подъезда Живностенского банка, поманил из коляски господин в светлом летнем костюме. Он кинул ему геллер, принял газету и ткнул кончиком зонта кучера, чтобы тот тронул. Прекрасные серые лошади легко повлекли экипаж, владелец которого небрежно развернул газету как раз на той самой странице, где сообщалось о неожиданной трагической смерти высокопоставленного военного, прибывшего по служебным делам в Вену.

Господин в коляске, пробежав глазами заметку императорского и королевского телеграфного агентства, вдруг побледнел и, приподнявшись на сиденье, скомандовал кучеру: «К ближайшему кафе, где есть телефон!»

Через минуту коляска остановилась у кафе, господин в светлом костюме, презрев косой взгляд швейцара, инстинкт которого не одобрял такого наряда в вечернее время, вошел внутрь и разыскал кабинет с телефоном.

— Фройляйн, 2-17-33, пожалуйста!.. Профессор, это вы у аппарата? Добрый вечер! Вы еще не видели вечерних венских газет?.. Выходите на улицу через четверть часа, я заеду за вами...

От Вацлавки до Томашовой улицы ровно четверть часа езды в экипаже. Когда господин вице-директор Пилат подъезжал к дому профессора, «Градецкий» уже нервно прогуливался возле парадного.

Грузный пожилой профессор с седеющей бородой неожиданно легко вскочил на подножку экипажа, пока кучер еще не успел остановить, Пилат подвинулся на сиденье, освободив место для профессора. «На набережную!» — скомандовал вознице хозяин, и экипаж стал спускаться по довольно узким улицам к Влтаве.

Было еще достаточно светло, чтобы профессор смог прочитать сообщение в венской газете. Он быстро пробежал глазами по строчкам.

— Что-то за этим кроется! — решительно высказался он, дочитав до конца. — Возможно, полковник был арестован и допрошен! Вы не исключаете такого оборота событий?

Пилат уже вновь натянул маску спокойствия на свое лицо и иногда кивком головы раскланивался со знакомыми во встречных экипажах.

— Совершенно не исключаю! — мгновенно ответил вице-директор. — Более того, я уверен, что Редль попал в Вене в какую-то ловушку.

— Вы не знаете, зачем он туда поехал?

— Последний раз он говорил мне, что собирается ремонтировать автомобиль и уладить кое-какие финансовые дела. К тому же он регулярно встречался там с полковником Урбанским и передавал ему так называемую информацию из Праги о деятельности «подрывных» элементов, то есть нас с вами, — сыронизировал Пилат.

«Градецкий» глазами показал ему на спину кучера.

— Я ему всецело доверяю — он выполняет для меня иногда деликатные поручения, — успокоил профессора Пилат. — Но вы правы, на всякий случай давайте пройдемся пешком.

Они остановили экипаж, медленно вышли на набережную, нашли свободную скамью.

— Я думаю, что ему приказали покончить с собой, — как бы размышляя вслух, вымолвил профессор. — Очевидно, мало людей знает истину, но если бы полковник выдал нашу группу, то уже утром мы могли быть арестованы...

— А если мы не арестованы, — продолжил его раздумья вице-директор, — то, значит, Редль нас не выдал!

— Логика в этом определенная имеется, — оживился профессор, — но вдруг бюрократический механизм империи не сработал за воскресенье?! Ведь тогда нам надо немедленно уезжать из Австро-Венгрии! Это во-первых! А во-вторых, следует предупредить всю группу!.. У вас есть связь с Филимоном?

— Да, я могу послать к нему одного человека, но не раньше среды... Если же до среды меня самого... — не договорил Пилат и сглотнул комок, появившийся вдруг в горле.

Профессор понял его состояние и поспешил успокоить:

— Не надо отчаиваться! Я уверен, что полковник держался молодцом, если и было какое-то следствие. Уверяю вас, если бы австрийские жандармы получили хоть какой-нибудь след, они немедленно были бы уже у наших дверей... — Профессор успокаивал финансиста, но сам отнюдь не был уверен в безопасности группы, в том, что за разведчиками не установлено тайное наблюдение, чтобы выявить их связи и знакомства. Он лихорадочно перебирал в памяти последние месяцы, вспоминал, когда и где он встречался с полковником, кто при этом присутствовал, может ли эта встреча привести к провалу всю группу, если полковник сошлется на знакомство с ним одним, но не находил такого факта, который был бы способен скомпрометировать его в глазах контрразведки.

Вице-директор также продумывал все свои контакты и решал, выйти ли ему из этой опасной игры сейчас, когда есть еще возможность, или продолжать борьбу с немчурой и дальше в рядах группы, возглавляемой Стечишиным. Он был по природе своей человек не робкого десятка, весьма сметливый, умеющий пойти на риск. Все эти качества привели его на вершину пирамиды в Живностенском банке, создали ему состояние и имя. Теперь Пилат боялся потерять все, угодить в тюрьму или даже просто быть арестованным на некоторое время, которое выбьет его из финансовой игры и разорит дотла, обесчестив и отвратив от него

всех партнеров. Но усилием воли он поборол в себе страх, твердо сказав профессору:

— Я выйду на связь с Филимоном. Временно нам надо прекратить все встречи членов группы. Я передам Стечишину ваше пожелание свернуть пока сбор информации впредь до выяснения всех обстоятельств. А теперь я отвезу вас домой.

— Не надо привлекать лишнего внимания. Я пройдусь пешком, — ответил профессор, поднялся со скамьи и откланялся. Пилат остался пока на месте: он хотел посмотреть, нет ли уже слежки за профессором.

...Спокойное утро вторника, 27 мая, не предвещало особых забот консулу России в Праге Жуковскому. Он не торопясь вышел к завтраку в своей квартире на втором этаже виллы «Сильвия» (первый этаж занимала контора консульства, и здесь жил привратник — отставной фельдфебель пограничной стражи) и с наслаждением приготовился откушать кофе с теплыми венскими булочками, которые регулярно приносил лакей Михайла из ближайшей пекарни. Внизу, под скалистым холмом, по гребню которого пролегала улица из особняков, возникших десятилетие-полтора назад, тянулись железнодорожные пути и возвышалось здание Главного вокзала Праги, а за ним скопище современных многоэтажных домов с красными черепичными крышами, лесом каминных и печных труб. Эта часть города, особенно выросшая в последние десятилетия бурного развития капитала в Чехии, уже начинала становиться признанным центром столицы.

Жуковский привычно глянул в окно, дабы определить погоду, взял со столика в прихожей газету «Прагер тагеблатт» и отправился с ней за стол, где уже был накрыт завтрак. Методично и профессионально просматривал консул газету, изредка подчеркивая карандашом некоторые заметки, пока не наткнулся на то самое «опровержение», которое уже вызвало страшный скандал в Вене и Берлине.

Консул читал в венских газетах сообщение о скоропостижной смерти Генерального штаба полковника Альфреда Редля и, верный своей привычке брать на заметку все примечательные события, касающиеся его консульского округа, приготовился передать соответствующую информацию в Петербург. Однако сообщение «Прагер тагеблатт» заставило его поторопиться с завтраком и почти бегом спуститься в свой рабочий кабинет. Здесь его уже ждал священник консульской церкви, отец Николай Рыжков, обеспокоенно мявший в руках ту же злополучную газету.

— Здравствуйте, батюшка, — приветствовал консул священника. Он весьма удивился, когда вместо приветствия услышал от взволнованного попа:

— Вы уже читали, ваше превосходительство?!

Жуковский сразу понял, что речь идет о самоубийстве полковника Редля и что интерес священника к этой истории был не бескорыстным. Как уже давно подозревал консул, батюшка регулярно оказывал услуги не только председателю Славян-

ского благотворительного общества генералу Паренцову, но и начальнику киевского разведпункта полковнику Галкину. Теперь Жуковскому стало совершенно ясно, что святой отец страшно озабочен перспективой провала всей сети информаторов и компрометации тех, кто мог оказывать влияние в пользу России, коль скоро стали широко известны связи полковника Редля с русской разведкой.

— Да, батюшка, я уже читал и восхитился, насколько высокая персона сотрудничала с российским Генеральным штабом,— искренне посочувствовал консул. — Жаль только, что он покончил с собой.

— Воистину жаль, что несчастный полковник принял на душу столь тяжкий грех перед святителем нашим, — вздохнул и перекрестился священник. — Но он показал перед лицом смерти большое мужество... А вам не было никакого представления насчет недозволенной деятельности?

— Не было, святой отец, — ответствовал консул. — Ведь австрийские власти еще не успели очухаться от такого страшного удара... Погодите, может быть, через неделю они возьмутся за ваших прихожан!

— Помилуй бог, — опять закрестился поп. — А не могли бы вы позондировать почву в полицейпрезидиуме? Разумеется, под каким-нибудь достойным предлогом? А?

Консул подумал несколько минут. В конце концов он не нарушит инструкций министерства иностранных дел, если попытается защитить интересы России, навестив кое-кого в пражском полицейском управлении.

— Ваше превосходительство, — еще раз встрепенулся священник, — а в Петербург вы уже направили свою телеграмму по поводу сообщения этой газетки? — потряс он свернутой в трубочку «Прагер тагеблатт».

— Только собираюсь, — ответствовал ему Жуковский и подумал, что на самом деле стоило бы спешно информировать шифрованной телеграммой начальство в столице Российской империи, дабы потом не упрекало оно за опоздание или бездействие.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, — поднялся со своего места расстроенный священник и пояснил: — Весьма важно узнать и успеть сообщить нашим друзьям, раскрыл ли несчастный полковник свои источники информации той комиссии, которая приговорила его к смерти...

Когда батюшка вышел из кабинета, консул ненадолго задумался, а затем принялся набрасывать на листке цифровой текст сообщения, который спустя три часа был получен в Петербурге в министерстве иностранных дел и передан самому министру Сергею Дмитриевичу Сазонову.

43. Вена, май 1913 года

После появления знаменитого «опровержения» в «Прагер тагеблатт» засуетились журналисты в Вене. Они кинулись к отелю

«Кломзер», чтобы разнюхать подробности дела, но швейцар, дежуривший в ночь с 24 на 25 мая, получил экстраординарный отпуск и исчез неизвестно куда. Портье согласно строжайшей инструкции самого статского советника Гайера держал язык за зубами. Напрасно совали ему журналисты внушительные купюры — ничто не могло заставить портье открыть страшную тайну.

В ближайшие дни в парламент было внесено 20 срочных запросов. Весь мир узнал о причинах самоубийства Редля, которые генштабисты пытались скрыть вначале даже от самого императора и его наследника — Франца-Фердинанда.

Военная каста Австро-Венгрии, ее верхушка — Генеральный штаб — не давали в обиду одного из своих бывших известных и почетных членов не только по корпоративным соображениям. Сообщество высших армейских чинов весьма предусмотрительно стремилось, с одной стороны, преуменьшить военный и политический ущерб, нанесенный Дунайской монархии Редлем, а с другой — списать на него все свои стратегические промахи, неосведомленность о силах вероятного противника, другие провалы собственной секретной службы.

По приказу майора Ронге агентура Эвиденцбюро и политической полиции изливала досаду контрразведки на бывшего полковника разными грязными слухами. Редля обвинили во всех пороках и самых страшных грехах, но никакие упреки в адрес начальника штаба VIII корпуса не могли заглушить громкости скандала в Срединных державах.

Страсти в Вене, Берлине кипели даже спустя год, в августе 1914 года, необычайно. Бывший депутат рейхсрата граф Адальберт Штернберг с упорством маньяка отстаивал, например, собственную теорию о том, что полковник Редль был, оказывается, виновником мировой войны. Глубокомысленный граф полагал, что только из-за Редля ни Германия, ни Австро-Венгрия не знали о том, что у России имелось под знаменами 75 боеспособных дивизий, превосходивших значительно австро-венгерскую армию. Срединные империи, агентуру коих на Востоке якобы совсем парализовал злодей Редль, слепо стремились в бой и нарвались на эту мощь. Граф-депутат считал также, что вездесущий Редль подробно информировал русских о военных приготовлениях австро-германских союзников и вся мало-мальски секретная документация венского Генерального штаба благодаря ему имелась в копиях в Петербурге.

Отвечая на запрос этого крайне правого члена рейхсрата, престарелый министр обороны фельдмаршал фон Георги патетически отверг обвинение. Министр информировал господ депутатов, что Редль всего два года занимался шпионажем — после своего назначения в Прагу.

Пылкий не по годам Штернберг, возмущенный столь несерьезным ответом, весьма в резких и непарламентских выражениях возразил фельдмаршалу, что Редль не два, а последние десять лет жил в неимоверной роскоши, имел богатые квартиры в Вене

и Праге, два автомобиля, поместье, содержал даму полусвета, имел собственную конюшню и неизвестно какие еще блага.

Пока немощный старец фельдмаршал соображал, что нужно ответить графу-нахалу, с правительственных скамей поднялся сам начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, которого фон Георги просил присутствовать при ответах на запросы по поводу дела Редля. Возмущенный военачальник решил собственнолично дать отпор демагогу депутату, а заодно и всем штатским, покушавшимся на честь армии.

— Слухи о богатстве Редля весьма преувеличены, — раздраженно заявил генерал. — Если бы Редль, например, имел квартиру в Вене, то ему не надо было останавливаться в отеле... В Праге он имел всего-навсего двухкомнатную казенную квартиру, а не нанимал какие-то роскошные апартаменты, как раздули господа репортеры... Из его послужного списка известно, что несколько лет назад он получил небольшое наследство, и это даже отмечено в его служебной аттестации: «владеет недвижимостью». Господа депутаты, судебное следствие идет, мы строго накажем виновных! Попрошу до окончания следствия не отвлекать военную прокуратуру беспочвенными сказками!

Слова фон Гетцендорфа вызвали бурю в рейхсрате.

Депутаты оппозиции впервые за много лет сошлись во мнениях с камарильей эрцгерцога Франца-Фердинанда, критиковавшей престарелого императора и особенно активно подкапывавшейся под клан генштабистов.

Как! Отказаться от ареста преступника, от полного расследования и выяснения всего ущерба, принесенного этим славянским изменником двуединой монархии! Не разыскать его сообщников, не устроить громкого политического процесса, который позволил бы заодно расправиться со всеми вождями славянских национальных меньшинств в империи, подрывавшими ее славный германистический дух! И при всем при том целую ночь высокопоставленные штаб-офицеры, как какие-то мелкие сыщики, охраняли отель «Кломзер»! А статский советник Гайер, шеф политической полиции, лично приводил к присяге, сберегавшей в тайне все обстоятельства, всех сыщиков, агентов, экспертов и служащих гостиницы! Господи, до чего же докатилась Дунайская монархия, если часовое опоздание бека из клуба «Штурм» на матч с ферейном «Унион» не только привело немцев к проигрышу на футбольном поле, но до основания потрясло всю Австро-Венгрию, вызвало взрыв бешенства в Берлине!

...Запросы и комментарии наворачивались друг на друга, как снежный ком, в тот самый момент, когда в столице империи — Вене — предстояло оглашение приказа гарнизонного коменданта о порядке предстоящих торжественных воинских похорон бывшего полковника императорского и королевского Генерального штаба Альфреда Редля, а военный оркестр в Россауской казарме репетировал траурные марши, под которые три батальона упражнялись в ношении венков и прочих почетных церемониях. Как и полагается, к похоронам по первому разряду были заказаны

венки от военных и гражданских учреждений, воинских частей, с которыми Редль поддерживал отношения по службе.

Однако в самый день похорон рано утром с курьерами был внезапно разослан циркуляр коменданта, гласивший: «Погребение бывшего полковника, господина Альфреда Редля, должно произойти с сохранением абсолютной тайны. Настоящим приказом отменяется ранее изданный по этому поводу приказ коменданта города Вены. Полковник Бюркль».

Приказ Бюркля вызвал новую волну критики в адрес бестолкового военного командования, особенно этих напыщенных идиотов из Генерального штаба. Но общественная критика нисколько не помешала тому, что тело Редля вопреки его предсмертной записке было вскрыто, а затем в простом лазаретном фургоне доставлено на Центральное кладбище. При погребении не присутствовало ни одного офицера. Брат покойного оплатил все расходы, которые составили менее пятисот крон. На скромную могилу номер 38 в 29-м ряду 79-й группы Центрального кладбища Вены никто не принес цветов в первые дни после того, как тело полковника Альфреда Редля было предано земле. Только спустя неделю мальчишка-посыльный торопливо положил большой букет. Агенты, на этот раз исправно дежурившие в кладбищенской сторожке, схватили мальчугана. Тут же его строго допросили, кто же передал цветы. Посыльный страшно перепугался, но рассказал сквозь слезы, что какой-то господин, явно военный по выправке, дал ему крону на вокзале перед отходом поезда, наказав снести букет на могилу старого полкового товарища...

Когда сыщики доложили всю историю майору Ронге, он только хмыкнул и спросил, не назвал ли господин свой полк — Петербургский или Киевский? Агенты поняли, что начальство изволило пошутить, и обещали удвоить бдительность. Но поиски господина, соответствовавшего описаниям посыльного, разумеется, так ни к чему не привели.

Тем временем в Праге в бывшей квартире бывшего полковника все рукописи, документы, книги и фотографические пластинки, которые имели отношение к агентурной деятельности Редля, были уложены в большой сундук, доставленный в Вену лично полковником Урбанским. Ведение дальнейшего следствия в Праге было поручено двум аудиторам — доктору Леопольду фон Майербаху и доктору Владимиру Дакупилу. Нотариус сделал опись имущества, и, поскольку требовалось освободить квартиру для преемника Редля полковника Зюндермана, мебель, личные вещи и оборудование фотолаборатории было передано на аукцион, который состоялся 30 ноября того же года.

И снова нерасторопность военных властей монархии сыграла с ними злую шутку. Какой-то пражский гимназист приобрел на этой распродаже по дешевке прекрасный фотоаппарат. Принеся домой, юноша принялся его изучать. Когда он открыл заднюю крышку, в камере оказалась непроявленная пластинка. Новый владелец проявил снимок в физическом кабинете своей гимна-

зии и обомлел. На стекле отпечаталась копия с грифом «строго секретно» дополнительного листа к книге Генерального штаба «И-15». Это была инструкция по перевозке воинских подразделений во время войны. Разумеется, снимок в тот же день доставили корпусному командиру барону Гислю, а тот отправил его нарочным в Вену.

Находка гимназиста сразу стала известна газетчикам, случай этот вышел на страницы печати, вызвав очередной скандал в Вене и Праге. Оппозиционная и крайне правая часть журналистов, недолюбливавших зазнаек из Генерального штаба, вновь использовала этот повод для того, чтобы позлословить о порядках в этом почтенном органе, расследовательные комиссии которого не удосужились даже заглянуть в фотоаппараты и утеряли таким образом неизвестно еще сколько архисекретных документов.

Восьмидесятитрехлетний монарх и его многочисленная придворная партия, которую поддерживал Генеральный штаб и все командование армии, считали историю, так сильно скомпрометировавшую Австро-Венгрию, несчастьем, которому ничем нельзя уже помочь.

Другого мнения придерживались наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд и его многочисленные сторонники в чиновничьем аппарате империи и в торгово-промышленных кругах. Эрцгерцог, который платил военным презрением за их нелюбовь к нему, находил факт падения Редля типичным для армии и всеми способами пытался возбудить преследования против высокопоставленных особ. Один из самых оголтелых пангерманистов Австро-Венгрии, Франц-Фердинанд весьма болезненно воспринимал резкие упреки, которые посыпались на союзников из Берлина, когда там, во-первых, поняли, что Конрад фон Гетцендорф хотел было утаить всю историю с Редлем, дабы не компрометировать Генеральный штаб перед немцами, а во-вторых, выразили крайнее неудовольствие фактическим отсутствием расследования масштабов «работы» Редля.

Обширная переписка через нарочных бурно разгоралась между Потсдамом и Конопиште. Вильгельм II не считал нужным щадить гордость наследника австро-венгерского престола. В каждом своем письме он то и дело возвращался к случаю с Редлем, чтобы уязвить двоюродного братца. Кайзер требовал навести порядок в армии. В конце концов эрцгерцог не стерпел упреков из Берлина и помчался специальным поездом в Вену из своего чешского имения, где проводил большую часть времени.

Едва поезд успел прибыть на Центральный вокзал столицы, как Франц-Фердинанд ринулся в ожидавший его автомобиль и без чинов свиты, лишь с одним адъютантом отправился на Штубенринг, в военное министерство. Молча, не обращая внимания на вытянувшихся в струнку часовых, наследный принц проскочил в кабинет Урбанского. Не здороваясь, он подошел к полковнику и раздраженно заговорил:

— Это не по-христиански — поощрять к самоубийству! Само-

убийство всегда было неугодным богу делом, но, если кто-то еще протягивает свою руку, чтобы помочь осуществить его, это уже варварство! Да, да! Варварство!.. Как можно допустить, чтобы человек умер, не приобщившись святых тайн?! Даже если бы он был тысячу раз негодяем. Всякая сволочь, которую вешают, хотя бы у виселицы получает церковное благословление! Этого предателя я бы тоже с удовольствием вздернул, да, вздернул, но перед вздергиванием хорошенько бы допросил, чтобы выявить сообщников! В Берлине считают, что у Редля остались сообщники, а вы их покрыли этим самоубийством...

— Ваше высочество, — позволил себе прервать злобную речь эрцгерцога полковник Урбанский, — никто не приказывал Редлю кончать с собой!

— Достаточно и того, что вы не удержали его от самоубийства. А теперь мы бессильны что-либо расследовать... Бессиль-ны!

Закончив тираду, наследник резко повернулся и почти бегом покинул комнату. Он смерил на прощанье колючим взглядом всех офицеров, собравшихся в приемной по случаю его неожиданного визита, после чего помчался в Шенбрунн к своему престарелому родичу и политическому антагонисту.

Фыркающий экипаж эрцгерцога подкатил к парадному входу во дворец, лакеи согнулись в поясном поклоне перед его высочеством, но он и здесь не удостоил никого взглядом.

Франц-Иосиф уже закончил разбор всех государственных бумаг. Теперь государь просто так сидел за своим вычурных форм белым столом и не мигая смотрел в пространство.

Несмотря на взаимное озлобление, которое царило в душах эрцгерцога Франца-Фердинанда и престарелого монарха, прислуга никогда не должна была видеть малейших проявлений нелюбезности дяди к племяннику, тем паче наоборот. Правило соблюдалось свято и в Шенбрунне.

Франц-Иосиф с трудом поднялся со своего кресла, сделал вид, что обнимает эрцгерцога за плечи. Его рот со втянутыми старческими губами под густыми седыми усами, переходящими в пышные бакенбарды, прошамкал какое-то подобие приветствия. Затем немощный император вновь опустился в теплое кресло.

Движением руки эрцгерцог удалил из кабинета секретаря его величества, для которого, собственно, и разыгрывалась эта комедия нежного приветствия и душевного объятия, и сразу же приступил к сути дела. Отношения между родственниками были весьма натянутые, поэтому наследник начал совершенно официально:

— Ваше величество! Случай с гнусным предателем Редлем показал, что вся система военной службы в империи должна быть почищена железной метлой! — Эрцгерцог говорил медленно и спокойно, но в его спокойствии клокотал скрытый гнев. — Особенно быстро следует реорганизовать военное училище — главный поставщик командиров в армию. Моя инспекция доносит, что в нем царят вопиющие беспорядки! Шпионское дело

Яндржика и такой же случай с Фирбасом, дело об убийстве посредством отравления, в котором замешан Годрихтер, и, наконец, скандальное дело Редля доказывают, поскольку все названные лица были воспитанниками этого училища, что система его воспитания и мораль прогнили насквозь!

— Нет, — спокойно ответствовал монарх.

— Следует также сменить корпусных командиров, начальников дивизий и всех основных руководителей военного министерства, — продолжал высказывать свои требования эрцгерцог, никак не отреагировав на излюбленную реплику старца. — Необходимо полное обновление состава Генерального штаба. Туда надо привлечь во что бы то ни стало представителей старых аристократических немецких семейств, не могущих запятнать честь мундира предательством! Нужно побороть существующий в армии предрассудок, что аристократы могут служить только в кавалерии!

Старый император не мигая смотрел на племянника. «Эх, молод он еще и горяч. Как бы не погубил империю!» — думал старец. Слова едва доносились до его сознания, Франц-Иосиф не вникал в их смысл, поскольку все, что он решал, было заранее продумано и взвешено секретарями, министрами, чиновниками, а ему оставалось только своей подписью придать решению силу. Однако император твердо усвоил одну истину за все шестьдесят пять лет правления, которое начиналось в эпоху революций 1848 года и приблизилось к рубежу, когда вот-вот разразится небывалая европейская война, основная задача которой, по мнению всех венценосцев, — укрепить и сохранить незыблемыми порядки предыдущего, XIX века, усмирить чреватые революциями народные толпы. Эта истина определяла всю политику монархии: военная каста — надежнейшая опора трона. Нельзя колебать и раскачивать эту основу, подвергая ее общественной критике, тем паче репрессиям за упущения по службе. Особенно верил старый император в Генеральный штаб и его офицеров, которые составляли особый клан в армии Австро-Венгрии. Именно поэтому, спокойно выслушав наследника, Франц-Иосиф снова произнес свое сакраментальное: «Нет!»

Франц-Фердинанд вспылил, но мгновенно овладел собой, резко поднялся со стула и, не прощаясь, поскольку свидетелей холодного расставания не было, удалился из залы.

Старцу, казалось, все это не причинило ни малейших неприятностей. Позвякивая орденами, он тоже поднялся с кресла и шаркающей походкой отправился в противоположный конец залы, к маленькой дверце, ведущей в личные покои.

Наследник престола Габсбургов так быстро покидал кабинет императора, что придворные и чиновники, незадолго до этого закончившие свои труды и еще не успевшие разойтись, стали невольными свидетелями его бешенства.

— Опять столкнулись его величество и его высочество! — со скрытым злорадством нашептывали друг другу старички в парадных мундирах, восседавшие по покоям Шенбрунна, когда

мимо быстрым шагом мчался эрцгерцог Франц-Фердинанд, громыхая палашом и звеня шпорами.

Его высочество смог полностью отдаться гневу только в салоне автомобиля.

«Черт побери этот проклятый Генеральный штаб и всех его преторианцев! — бранился Франц-Фердинанд под грохот мотора. — Они все стоят друг за друга, все игнорируют мои приказы — приказы наследника престола! Эта паршивая каста повинуется только приказаниям своих «старшин». Подумать только! Старший офицер скомандовал этому предателю выстрелить в себя, и тот исполняет это богохульственное приказание спустя два часа, которые ему потребовались на предсмертные письма! Нет! Надо уволить этого Урбанского, осадить Конрада! Ведь они покровительствуют славянам, подрывающим империю! И они никогда не допустят, чтобы кто-то из их клана был предан суду! К тому же ни один аудитор не осмелился бы вынести обвинительный приговор штабному офицеру! А этот свинья Урбанский еще осмеливается подавать прошение с просьбой рассмотреть его образ действий в судебном порядке — и штабные крысы поддерживают его!»

Специальный поезд в тот же день увез эрцгерцога назад в Прагу и Конопиште, где Франц-Фердинанд для успокоения предался своей страсти — охоте на коз и оленей. И, всаживая пулю в грациозное животное, наследник престола плотоядно улыбался и говорил: «Вот вам, штабные крысы! Вот вам...»

44. Петербург, май 1913 года

Получив депешу из Праги, Сергей Дмитриевич тщательно запер дверь своего кабинета, достал из сейфа книгу личных шифров, поколдовал несколько минут над колонками цифр, поданных ему только что секретарем, и в ужасе схватился за голову. Телеграмма гласила:

«Его высокопревосходительству, г-ну министру в собственные руки.

В ночь с субботы на воскресенье в Вене застрелился полковник императорского и королевского Генерального штаба Альфред Редль. Военное министерство, видимо, пыталось представить его смерть как заурядный несчастный случай, но пражские журналисты имеют сведения об истинной причине самоубийства. Предполагается разоблачение Редля как агента русской разведки, поскольку в его пражской квартире был произведен тщательный обыск, который дал кое-какие результаты. Почтой направляю газетные вырезки из «Прагер тагеблатт» от 27 мая с. г. и венских газет днем раньше. Прошу инструкций.

Консул Жуковский».

Министр задумался, затем приказал принести венские и берлинские газеты. Оказалось, пришли только венские. Сазонов тща-

тельно перечитал в них сообщение, на которое ссылался Жуковский.

— Только этого нам еще не хватало, — сердито тряхнул своей лысеющей головой Сазонов и забарабанил пальцами по столу. Затем он нажал на кнопку звонка к секретарю. Когда чиновник бесшумно появился в дверях, министр бросил: — Соедините меня по телефону с генералом Монкевицем! — И, пока не звякнул его аппарат, стоящий на специальном столике подле письменного стола министра, Сазонов нервно барабанил пальцами по бювару, в котором лежал большой лист промокательной бумаги.

— Николя, здравствуйте! — вежливо начал министр и, дождавшись ответного приветствия, так же внешне спокойно задал вопрос: — Вы уже читали, мой друг, венские воскресные газеты? Ах, да! А сегодняшняя пражская до вас еще не дошла? Да, да, это по поводу самоубийства полковника Редля! Телеграмму я уже получил!.. Был бы очень рад вас видеть... Пообедать вместе? Охотно... «Отель де Франс» на Большой Морской, в четыре? Согласен!

Маленький подвижный человек с большим носом, похожий на нахохленную птицу, вылез из кресла, нервно прошелся по кабинету, затем вытащил из жилетного кармана большие золотые часы, украшенные императорским вензелем из бриллиантов, откинул нажатием пальца крышку: было около трех часов.

...Монкевиц вернулся необычно быстро после обеда с Сазоновым, трапезы с которым обычно затягивались у него на несколько часов, к обоюдному удовольствию приятелей. Сазонов имел обыкновение во время дружеских обедов информировать начальника разведывательного отделения Генерального штаба о главных линиях политики мировых держав, а Монкевиц снабжал дипломата такими глубоко скрытыми от постороннего глаза деталями, без знания которых любому политику трудно вести внешние дела.

Николай Августович быстро прошел через коридоры генерал-квартирмейстерской части. Ему попались навстречу лишь два старших офицера — присутствие, как всегда, закончилось в 5 часов вечера, и делопроизводители успели разойтись по домам. Энкель по заведенному порядку, когда генерал отсутствовал, был на своем месте и изучал какую-то бумагу.

— Ваше превосходительство! — обратился он к Монкевицу, приподнимаясь на своем стуле в знак почтения. — Приходил адъютант генерал-квартирмейстера и сказал, если будет что-то срочное — Юрий Николаевич просил передать ему на дачу, что на Каменноостровском проспекте...

— Да, сегодня у нас будет очень срочное и неприятное! — резко подтвердил Монкевиц. — Один из наших крупных агентов в Праге раскрыт и покончил самоубийством...

У Энкеля словно оборвалось что-то внутри — он чутьем понял, что его болтовня могла вызвать какую-то катастрофу в Вене или Праге, а то и в самом Берлине. Оскар Карлович усилием воли

принял спокойный, но озабоченный вид и, выражая готовность ко всяческой деятельности, обратился к начальнику:

— Я предлагаю немедля вызвать Алексея Алексеевича, как главу австро-венгерского делопроизводства — это, вероятно, его агент — или кого-либо из его делопроизводителей...

— Немедленно вызовите шифровальщика и телеграфно запросите от нашего военного агента в Вене детали скандала, вовлеченность в него военных и придворных кругов, возможность провалов других наших легальных и нелегальных работников в Австро-Венгрии... Подготовьте телеграммы в Варшаву — Батюшину и в Киев — Галкину о провале одного из агентов, потребуйте немедленного предупреждения их работников о необходимости соблюдать крайнюю осторожность, пусть также проанализируют возможные последствия с точки зрения их разведпунктов... Сообщите нашим военным агентам в Стокгольме, Берлине, Бухаресте, Риме, Берне, Париже — словом, во всех европейских странах, откуда ведется разведка Австро-Венгрии...

Когда Монкевиц остановился на мгновение, Энкель быстро вставил свое новое предложение:

— Шифровальщикам, ваше превосходительство, надо отдать приказ работать и ночью... Вдруг что-нибудь придет из Вены... А кто будет готовить доклад на высочайшее имя?

— Сначала надо самим разобраться, а потом докладывать государю, — проворчал генерал. — Скажите вестовым, чтобы вызвали Соколова и всех других, кого я назвал, да чтобы поторопились... Пусть возьмут штабной мотор.

От сознания своей возможной вины в провале крупного агента Энкель говорил и действовал особенно услужливо. Но после минутного замешательства у него в душе даже звякнула какая-то нотка удовлетворенности. Эти самодовольные русские, которые словно медведи тщанием Петра Первого вылезли из своей берлоги в Европу и превратили его гордую и горячо любимую Швецию из великой державы во второразрядное государство, эти мужики, которые отобрали у шведского короля по сговору с Наполеоном Бонапартом восточную колонию — Финляндию, эти неучи, которые вдруг так глубоко проникли в самые сокровенные секреты обожаемых Энкелем Срединных империй, теперь они были жестоко наказаны.

Энкель боялся только за свое реноме, но по трезвому раздумью он решил, что опасности для него нет никакой. Даже если начальству и станет известно, что он иногда слишком распускает язычок у Мануса, то о секретной стороне бесед в кабинете купца никто и догадаться не сможет. Придя к такому выводу, Оскар Карлович решил не маскировать свой интерес к «делу Редля», а, наоборот, постараться выведать как можно больше, чтобы в дальнейшем припугнуть Мануса возможностью его разоблачения. Профессиональный шпион не мог не попытаться извлечь из всего дела дополнительной для себя выгоды.

Но он был немало огорчен, когда получил приказ Монкевица выехать с варшавским экспрессом в тот же вечер к Батюшину

для координации всех действий по прикрытию оставшейся секретной агентуры в Австро-Венгрии. Оскару Карловичу не оставалось ничего, как исполнять приказ и собираться в дорогу.

45. Петербург, май 1913 года

...После своего возвращения в Петербург и знакомства с Анастасией Соколов жил необыкновенной жизнью. С десяти до пяти он, как и прежде, напряженно трудился в своей стеклянной конторке в здании Генерального штаба, получал и расшифровывал донесения агентов, анализировал документы и чертежи крепостей, ставил аккуратно все новые данные на картотеку, отмечал передислокацию частей австро-венгерской армии — словом, выполнял свои обязанности как бы механически.

Когда же заканчивалось присутственное время и не надо было оставаться для дополнительных работ, Соколов попадал в другое временное измерение. Оно определялось встречами с Анастасией — от одного свидания до другого.

Девушка занималась в консерватории, давала частные уроки пения. Когда случались редкие свободные вечера, они шли в театр или в концерт, блуждали по музейной части Зимнего дворца, куда Соколов попросил временный билет у хранителя Эрмитажа, отправлялись просто бродить по улицам. Все эти часы проходили для полковника в каком-то блаженном тумане. Соколов не расспрашивал девушку ни о чем, не жаловался на свою судьбу, а исподволь стремился сделать так, чтобы Стасе было интересно бывать с ним.

Встречались они и в молодежном салоне статской советницы Шумаковой. Там привыкли к полковнику, считали его своим, называли за глаза «розовым» и уже больше не дразнили. Наоборот, большевик вел с ним товарищеские дискуссии. Этот простой питерский рабочий постепенно старался открыть ему — полковнику Генерального штаба — законы общественного развития, о которых ни в какой военной академии императорской армии и слыхом не слыхивали.

Взгляды Соколова под влиянием его любви к Стасе, общения с ее друзьями, а главное — под влиянием всей предвоенной обстановки и его собственного понимания справедливости, правды жизни постепенно трансформировались. Его взгляд на мир очищался от казенного верноподданнического патриотизма, воспитанного казармой и залом офицерского собрания, сдвигался в сторону смутного понимания забот и тревог простого люда, сочувствия бедственному положению рабочих и крестьянских масс, созревших для новой революции, которая обещала быть еще более широкой и всеохватывающей, чем в 1905 году.

Любовь к Анастасии, долгие беседы во время прогулок по набережным Невы, по проспектам «Северной Пальмиры», чистота и одухотворенность Стаси повернули по-новому его восприятие духовной жизни. Старательный и работящий офицер, отдавав-

ший себя целиком военной службе два десятка лет, вдруг увидел, что его родина богата такими гигантами мысли, как Горький, как недавно умершие Чехов, Толстой. С помощью Стаси он узнал, что в Петербурге полным-полны не только залы офицерских собраний или кафешантаны, но залы консерватории и филармонии, популярны выставки и картинные галереи, кипят споры художников группы «Мир искусства» и футуристов, происходят студенческие сходки, бурлят рабочие марксистские кружки.

Иногда Соколов приглашал Анастасию в свой старый мир, который все больше и больше отдалялся и от него самого. Он звал ее на «семейные» вечера в офицерское собрание или на балет в Мариинский театр, где в сезон почти ежевечерне собирался «весь Петербург».

...В тот день, когда в столицу пришло известие о провале одного из агентов полковника, ничего не подозревавший еще Соколов собрался с Анастасией в балет. Это было одно из последних представлений перед закрытием сезона. На извозчике они прибыли к театру в тот момент, когда владельцы лож еще не приехали, а гвардейская молодежь и остальные завсегдатаи партера уже собрались в креслах перед закрытым занавесом и судачили о своих делах.

Сбросив на руки знакомого капельдинера плащ, бережно сняв пальто с плеч Стаси, Алексей Алексеевич, придерживая свою спутницу под локоток, проследовал по мягкому ковру к купленным креслам и сначала усадил Стаси. Затем он, отвечая на поклоны знакомых офицеров, дружно уставившихся восторженными глазами на его спутницу, прошел к барьеру оркестра и положил на красный бархат свою фуражку в пеструю вереницу других военных фуражек и киверов.

Видя всеобщий интерес к девушке, он даже пожалел, что неписаные правила запрещают ему, старшему офицеру Генерального штаба, брать места в театре дальше восьмого ряда партера. Уже поднялся занавес, уже гирлянды воздушных фей порхали от кулисы до кулисы, уже корифейки, точно громадные белые розы, опрокинутые вниз, согласно исполнили танец, а знакомые и незнакомые Соколову офицеры, оборотясь спиной к сцене, высказывали Анастасии знаки восхищения и живейшее одобрение вкуса полковника.

Делая вид, что ему все это безразлично, и внутренне сгорая от стыда, Соколов независимо принялся разглядывать ложи. В одной из них он углядел старого друга Роопа, делавшего ему пригласительные знаки в то время, покуда его жена разглядывала Соколова и его спутницу в бинокль, приветствуя их веером в поднятой левой руке.

— Пойдемте, Стаси, к моим друзьям! — предложил Соколов.

— А мой туалет их не шокирует? — показала Анастасия на свое скромное платье.

— Что вы, на вас королевское одеяние, — улыбнулся Алексей своей спутнице. Они еле дождались смены картины, чтобы выскользнуть из партера в ложу.

Соколов представил Стаси жене Роопа, холеной петербургской красавице. Он с удивлением отметил, как сразу поблекло обаяние признанной салонной чаровницы рядом с безыскусной красотой Анастасии. Молодой гостье подвинули кресло поближе к хозяйке ложи, и они скоро нашли общий язык, обсуждая достоинства музыки и хореографии Петипа.

Изящная музыка, легкокрылый танец балерин, еле слышный стук пуантов о подмостки, красивые изгибы рук и талий — все это так мало походило на ту настоящую жизнь, которую Соколов узнал за минувший год.

Здесь уходили в какой-то далекий страшный сон прокопченные фабрики, на которых по двенадцать часов гнули спину мастеровые, сырые ночлежки в тумане человеческих испарений, трактиры и харчевни, где грелся кипятком и насыщался вареной требухой трудовой люд, черные рабочие казармы, где ни днем ни ночью не пустовало ни одного места на нарах: пока работала одна смена фабричных, другая спала на тех же самых местах, чтобы двойной платой еще больше увеличить прибыли хозяина...

Танцы, музыка, сладкие созвучия скрипок и труб, медовый яд женских улыбок, великолепный, ни с чем не сравнимый петербургский балет, — все это отодвигало в мнимое небытие настоящую, суровую и лихую жизнь трудового люда, создающего для немногих богачей немыслимую роскошь.

Социальные контрасты российской столицы стали словно лучами света во мраке проясняться Соколову. Он сам изумился своему прозрению, наблюдая с высоты ложи фальшь светских улыбок и мишуру блестящих мундиров, яркую россыпь бриллиантовых искр на оголенных плечах собравшихся в бельэтаже и партере театралок.

Упал занавес, в зале сразу стало светло. Внизу еще ярче засверкали золотом и серебром погоны офицеров, аксельбанты штабных, эполеты генералов, белые колеты кавалергардов, зеленые с красным мундиры гвардейской пехоты, красные, обшитые вдоль борта широким позументом конной гвардии. Дамы в вечерних открытых платьях своими большими прическами, сиянием драгоценных камней и нежной розовостью кожи смягчали четкую резкость мундиров и фраков.

Соколов, пребывая в двойственных чувствах, только вознамерился завязать ничего не значащий разговор с Роопом, как отворилась дверь ложи и, сопровождаемый его знакомым капельдинером, появился дежурный адъютант Генерального штаба.

— Ваше превосходительство! Разрешите обратиться к господину полковнику, — обратился он к генералу Роопу.

— Прошу, корнет!

— Господин полковник, его превосходительство генерал Монкевиц просит вас немедленно прибыть в отделение... Мотор ждет у подъезда... Честь имею!..

Корнет откланялся дамам, щелкнул каблуками перед офицерами и вышел из ложи. Рооп и его жена принялись уговаривать

Анастасию остаться до конца спектакля, но девушка решила уйти вместе с Алексеем. Соколов снова поразился, как много такта было у Стаси, с каким гордым достоинством и свободой держалась она в обществе светских львов, какими были, без сомнения, командир гвардейского кавалерийского полка и его высокородная спутница жизни.

«Вот тебе и русские разночинцы! — думал с восхищением Алексей, сопровождая Стаси по крытой красным ковром парадной лестнице Мариинского театра. — Ни в каких обстоятельствах в грязь лицом не ударят!..»

Он машинально отдал честь гвардейцам, стоявшим, как обычно, на карауле подле входа в царскую ложу, хотя она и была пуста, подошел к выходу, где уже стоял капельдинер с их платьем. Внимание Соколова снова переключилось на что-то очень серьезное, происшедшее в его делопроизводстве. Он не думал, что это связано с внезапно разразившейся войной где-нибудь на Балканах, поскольку тогда были бы вызваны из театра и другие офицеры, знакомые ему, хотя бы шапочно, по Генеральному штабу. Он мысленно перебирал слабые звенья в своих группах, но никак не мог и подумать, что таким звеном окажется профессиональный разведчик, ловкий, изворотливый Редль.

46. Петербург, май 1913 года

Мотор быстро преодолел расстояние, отделявшее блеск и музыку Мариинского театра от суровой строгости Генерального штаба. Соколов попрощался с Анастасией, которую шофер повез на Васильевский остров, и окунулся в новые заботы.

— Я уже не чаял вас сегодня найти, — сказал после приветствия Николай Августович. Его косые глаза враз оба уставились на Соколова, что означало чрезвычайно серьезный характер сообщения, которое он приготовился сделать своему подчиненному. — Читайте телеграмму из Праги. Мне ее любезно передал Сазонов...

Соколов впился в текст шифровки — его бросало то в жар, то в холод.

— Ну что-с? — расстроенно проскрипел Монкевиц. — Надо спасать положение... Я отправил Энкеля в Варшаву, к Батюшину скорректировать наши действия. — Генерал задумчиво пожевал губами и после тягостного молчания продолжил: — Уже вызваны ваши младшие делопроизводители, которые ведут Вену и Прагу. Один из них — капитан Терехов — пошел за папкой с личным делом Редля. Надо посмотреть прежде всего, что там у нас есть, может быть, яснее станут причины провала, и можно будет предугадать его последствия.

Соколов не проронил ни слова. Монкевиц достал папиросу, тщательно раскурил ее, стрельнул левым глазом в Соколова:

— Хотите кофе? Нам, наверное, придется работать всю

ночь — завтра поутру мы должны отправить указания в Вену и Прагу.

Корнета отослали в ближайшую кондитерскую с собственным термосом генерала.

Соколов уселся поудобнее за столом отсутствующего Энкеля. Вместе с ординарцем генерала вошел делопроизводитель, принес толстую серую папку, на обложке которой под тисненным золотом двуглавым орлом и грифом «совершенно секретно» красовалось обозначение агента «А-17».

В русской военной разведке того времени конспиративные навыки были весьма развиты, и уже давно здесь было вменено в правило, что даже высокое начальство не должно знать подлинные имена агентов. По всем документам, в том числе и финансовым, они проходили строго под кодовыми обозначениями, а их фамилии и адреса хранились на особом учете в особом сейфе, куда не имел права заглядывать ни сам Монкевиц, ни тем более другие офицеры отделения ниже его рангом. Настоящее имя агента знал, разумеется, только тот делопроизводитель, который вел с ним переписку, назначал встречи, получал информацию. Но даже он вел все бумаги на той же кодовой основе, чтобы, упаси бог, никто чужой, злонамеренно заглянув в толстые папки, не смог узнать подлинных людей и наделать им вреда.

Терехов подал папку генералу, Монкевиц уставился в бумаги.

— Вы встречались с ним лично? — задал Николай Августович вопрос Соколову, не отрываясь от бумаг.

— Только один раз, года три назад, ваше превосходительство, — ответствовал Алексей Алексеевич.

— Давайте, полковник, сегодня без официальностей, — предложил Монкевиц, и Соколов понял, что генерал хочет всерьез, а не формально обсудить провал этого чеха, сделать выводы для других негласных сотрудников в Австро-Венгрии, а может быть, и вообще всей агентуры в Срединных державах. Так же, не отрываясь от бумаг, Монкевиц предложил сесть на свободный стул капитану Терехову.

— Итак, давайте начнем набрасывать доклад генерал-квартирмейстеру, который, очевидно, пойдет дальше, на высочайшее имя, с характеристики нашего несчастного Редля. Вот здесь написано, в его личном деле, следующее: «Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь сладкая, мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, медленные. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник. Женолюбив, любит повеселиться...» Хм, хм, — пожевал губами генерал, раздумывая над прочитанным. — Характеристика не из лучших... А что за грязные намеки делают австрийские контрразведчики теперь в его адрес? Здесь нет следа тех страшных пороков, в которых его обвиняют в Вене... Как вы думаете, Алексей Алексеевич?!

— Несомненно, что австрийцы готовы всю грязь, все мыслимые пороки приписать теперь Альфреду, — подтвердил сомнения генерала Соколов. — Ведь он нанес им громадный ущерб...

— На самом деле громадный или здесь они тоже передергивают карты?

— Точнее будет сказать так: ущерб, нанесенный Центральным державам Редлем, велик, но он своей смертью снял подозрения с других высших офицеров австро-венгерского Генштаба и армии, которые регулярно снабжают нас не менее ценной информацией... Вы помните, Николай Августович, Марченко в бытность его военным агентом в Вене ходатайствовал о награждении двух особ, оказавших ценные услуги славянству...

— Да, да! — откликнулся Монкевиц, обладавший, как и все разведчики, развитой памятью. — Это были, кажется, адъютант военного министра Австро-Венгрии майор Клингспор и поручик 27-й дивизии Квойко?

— Не только они. Полковник Гавличек, начальник оперативного отдела венского Генерального штаба, ряд других офицеров и высших чиновников... Видимо, надо им сообщить через Стечишина, чтобы впредь до особого уведомления они не выходили на связь с нами. Только в случаях самых чрезвычайных...

— Вы правы, следует снова вызвать, вероятно, в Швейцарию... связника группы Стечишина. Надо передать связнику четкие инструкции, как вести себя всем нашим негласным сотрудникам, кои работают со Стечишиным... Но мы с вами отвлеклись от самого Редля. Как вы полагаете, он мог во время допроса, который неизбежно последовал после разоблачения, открыть имена и указать местопребывание господ из группы Филимона?

— Исключить совершенно подобного афронта нельзя, — раздумывая, медленно проговорил Соколов. — Но сомневаюсь, чтобы Альфред успел это сделать во время короткого суда, который, по всей видимости, был учинен над ним в гостинице...

За окнами кабинета прозрачный сумрак белой ночи придавал разговору Монкевица и Соколова какой-то мистический, нереальный колорит. В огромном здании все давно было тихо, только заунывный бой курантов Петропавловской крепости раз в четверть часа достигал венецианских окон Генерального штаба.

Вдруг тишину прорезал резкий телефонный звонок. Монкевиц снял трубку с высокого рычага, затем с удивлением отнял рожок от уха, посмотрел на него, приложил снова, спросил:

— Сергей Дмитриевич! Это вы?! И еще не спите? Слушаю, слушаю! — прикрыв рожок микрофона ладонью, он сообщил шепотом Соколову: — Это Сазонов! Он докладывал дело государю!

Монкевиц внимательно слушал, что пищал на другом конце провода министр иностранных дел Российской империи. Его лицо недоуменно вытягивалось, а глаза начинали косить еще больше.

— Мерси, Сергей Дмитриевич! Очень признателен вам, что сочли возможным разыскать меня и сообщить реакцию двора! Желаю вам покойной ночи! — Монкевиц осторожно положил

трубку на рычаг и не замедлил передать смысл разговора Соколову:

— Сазонов был сегодня в Царском Селе. Предлог был другой, но Сергея Дмитриевича интересовало это дело в первую голову... Государь рассержен, не желает ничего слышать про провал в Вене... Все дело усугубляют его августейшие родственники... Великие князья каким-то образом узнали о происшествии в Вене и теперь выражают недовольство неджентльменским поведением российского Генерального штаба...

Соколов возмутился при этих словах Монкевица и невежливо прервал генерала:

— Может быть, их высочества отдадут приказ генерал-квартирмейстеру, чтобы мы прекратили агентурную разведку немцев и австрийцев? Или они полагают, что надежные сведения о врагах России мы должны получать только из бульварных газет?! — Гнев Алексея Алексеевича, начинавшего в последние дни приходить к мыслям о бесплодности самодержавия, о необходимости перемен в России, все более и более возбуждался от этого яркого примера эгоистичности и глупости царской фамилии, всех ее бестолковых, слабовольных бездельников, стоящих у кормила правления.

Монкевиц не стал вдаваться в обсуждение высочайшего неудовольствия. Выражением лица он дал понять Соколову, что отнюдь не одобряет крамольных высказываний в адрес царствующего дома. Алексей Алексеевич понял, что его состояние глухой обиды за Россию не найдет отклика у генерала.

Монкевиц между тем по-своему переживал сообщение, сделанное ему Сазоновым. Он замолчал, и только глаза его двигались — каждый по своей орбите.

После некоторого раздумья Монкевиц закрыл папку с надписью «А-17».

— Алексей Алексеевич! Коли не нужно доклада на высочайшее имя по делу Редля, так стоит ли нам сейчас огород городить, не зная всех обстоятельств?! Давайте-ка набросайте небольшую докладную записку на имя генерал-квартирмейстера Данилова по существу известных нам сейчас фактов, укажите, что подробный анализ с учетом открывающихся данных ведется, агентурные связи предупреждены о необходимости соблюдать двойную осторожность и собирайте себе для размышлений все донесения и прессу по этому делу...

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — суховато отозвался Соколов. — Когда прикажете доложить подробный обзор?

— Давайте, голубчик, — не замечая официальности тона полковника, продолжил Монкевиц, — вернемся к этому делу всерьез через пару месяцев, когда придут из Вены и Праги отчеты дипломатов, донесения секретных агентов...

Генерал аккуратно сложил листки документов, торчащих из папки, закрыл ее, завязал тесемочки и вручил капитану, который за всю ночь не проронил ни слова. Он жестом дал понять

офицеру, что его присутствие здесь больше не необходимо. Терехов откланялся и покинул кабинет начальника отделения.

Монкевиц встал, опустил жалюзи своего шведского письменного стола-конторки, тщательно запер их, пояснил:

— Когда я по утрам прихожу пораньше, меня не покидает чувство, словно кто-то смотрел мои бумаги... А у вас с нервами все в порядке, Алексей Алексеевич?

Соколов горько улыбнулся:

— С нервами, кажется, все хорошо! А вот на сердце камень ложится, когда подумаешь, что вся наша работа проходит впустую и не интересует ни главнокомандующего, ни военного министра...

— Полноте, Алексей Алексеевич! Вы с усталости заговорили языком присяжных думских ораторов! Это они без конца провозглашают конец России с трибуны Государственной думы, ставят палки в колеса нашей военной машине. Мы, солдаты, должны служить царю без раздумий, — скаламбурил Монкевиц. Ему самому очень понравилось созвучие «дума» — «без-раз-думий», и он повторил каламбур: — Именно без разных думий служить Николаю Александровичу Романову...

— А я предпочитаю служить России! — вырвалось у Соколова.

47. Вена, июнь—август 1913 года

Летом политическая жизнь австро-венгерских столиц — Вены, Будапешта, Праги — кипела и бурлила как никогда ранее. Забыв про летнее раздолье отпусков, политики, военные, журналисты и общественные деятели сталкивались в жарких спорах, посвященных «делу полковника Редля». Наследник престола Франц-Фердинанд пребывал вместе со всей своей кликой в состоянии постоянного возмущения и раздражения. Вскоре эрцгерцогу представился случай выразить свое крайнее неудовольствие начальнику Эвиденцбюро. В июле наследник престола и его военная канцелярия проводили в районе чешского города Табор, того самого, где столетия назад чешские борцы сражались против объединенной католической реакции и неметчины, большие маневры армии и ландвера. По старой традиции «вывозил» на эти маневры группу иностранных военных агентов, аккредитованных в Вене, начальник Эвиденцбюро.

Эрцгерцогу как командующему маневрами военные атташе должны были нанести групповой визит по окончании учений. Представлял военных дипломатов Францу-Фердинанду в помещичьем доме, служившем временной резиденцией наследника, полковник Урбанский фон Остромиец.

Чудесным вечером на ровном газоне перед замком выстроился ряд военных атташе. Эрцгерцог с адъютантом обходили строй, пожимая руки, расточая любезные улыбки, высказывая каждому несколько вежливых слов. Прежде на подобных церемониях

Франц-Фердинанд бывал отменно любезен и с Урбанским. Теперь же, после «дела Редля», главнокомандующий постоянно выражал ледяное пренебрежение начальнику Эвиденцбюро. Презрев элементарный такт, он даже не подал руки и не сказал ни единого слова начальнику разведывательного отдела Генерального штаба. Все это произвело на иностранных военных атташе впечатление тщательно продуманного оскорбления в адрес полковника Урбанского, о чем, разумеется, они и не замедлили донести в свои органы военной разведки. В Большом Генеральном штабе Вильгельма Гогенцоллерна сделали вывод, что наследник престола союзной монархии, к сожалению, крайне не умен и упрям, а во всех остальных генеральных штабах, начиная от турецкого и кончая испанским, что бестактность эрцгерцога противопоставляет его армии, которой будет нелегко с подобным главнокомандующим во время войны...

А вскоре новый случай дал пищу раздражению Франца-Фердинанда, доставив повод отомстить так ненавидимому им Урбанскому. Это случилось в те дни, когда гимназист купил на аукционе пресловутый фотоаппарат с заряженной в него пластинкой.

Умерить припадок гнева наследника не могли ни начальник Генерального штаба, ни военный министр, ни военная прокуратура — все было напрасно. Через несколько часов после того, как стало известно об этой находке, в Вену уже была передана из Конопиште телеграмма наследника, в которой он требовал «судебного следствия и строжайшего наказания виновных». Аудиторы фон Майербах и доктор Дакупил, продолжавшие все лето расследование в Праге, были немедленно разжалованы и сосланы в штрафные гарнизоны. Бешенство Франца-Фердинанда привело к тому, что в один из дней конца 1913 года в кабинете Урбанского в Эвиденцбюро прозвучал обычный условный звонок, которым Конрад фон Гетцендорф вызывал к себе полковника для доклада важных бумаг. На этот раз Урбанский нашел обычно любезного генерала в состоянии крайнего возбуждения. С первых же слов он заявил полковнику, что должен ознакомить его с приказом эрцгерцога.

Стоя, держа лист дрожащей рукой, Конрад зачитал этот документ:

— «Я пришел к непреклонному убеждению, что энергия и умственная работоспособность полковника фон Урбанского в такой степени ослабели, что об его активном использовании в дальнейшем не может быть и речи. Поэтому предлагаю уволить Урбанского в отставку.

Эрцгерцог Франц-Фердинанд».

Генерал Конрад снял пенсне, запотевшее почему-то, протер его и, водрузив снова на нос, сказал:

— Генеральный штаб и армия возражают против такого решения наследника. Мы не можем допустить, чтобы заслуженный офицер был уволен от службы, которой посвятил свои лучшие годы. Мы обсуждали ваше дело с эрцгерцогом Карлом. Его вы-

сочество сказал мне: «Конрад! Вам, наверное, небезразлично, будут ли у нас на кокарде инициалы Ф.-И. (Франц-Иосиф), или В. II. (Вильгельм II)...! Да, да! Мы, Габсбурги, ясно отдаем себе отчет в том, что наш трон стоит на очень шатком фундаменте и что единственная наша опора — армия! Если в армии поколеблется доверие к трону, к династии, то нам конец! А все эти акты произвола, которые наследник позволяет себе по отношению к армии и к господину фон Остромиец, — они-то и способны подорвать доверие армии к престолу! Мужайтесь, милый Урбанский!»

Генерал умолк, он и так сказал слишком много. Полковник решил все-таки подчеркнуть, что он также знает о существовании разных партий при дворе и был бы премного благодарен тем силам, которые противодействуют наследнику.

— Ваше превосходительство, — начал он, — мне говорили о том, что в Шенбрунне есть течение, которое полагает, что наследник не годится для роли...

— Офицеру не следует осуждать членов семьи императора! — веско прервал его генерал. — Пока наследник волей божьей наш главнокомандующий, мы будем верны присяге!

Урбанский с удивлением посмотрел на своего начальника, который сам только что позволил себе критически отозваться о Франце-Фердинанде, но понял, что за внешней суровостью тона Конрада фон Гетцендорфа скрывается его уверенность в том, что удастся похоронить под сукно приказ наследника, удаляющий от службы одного из членов всемогущей при венском дворе касты генштабистов. Так оно и получилось.

Когда на следующий день полковник Урбанский явился во дворец к начальнику военной канцелярии его величества Франца-Иосифа барону Больфрасу за предписаниями, тот встретил его словами:

— Милый Урбанский! Вы, вероятно, стащили серебряную ложку со стола его высочества, раз он так сердит на вас?! Он же хочет выгнать вас в два счета из армии...

Расстроенный полковник изложил царедворцу всю историю с Редлем, где он чувствовал себя героем, а свое Эвиденцбюро — великолепнейшим аппаратом, которому одному принадлежит честь и вся заслуга в разоблачении русского агента.

Генерал Больфрас даже всплеснул руками, услышав печальную повесть полковника. А затем начальник канцелярии категорически заявил, что ни за что не будет представлять императору акт эрцгерцога об увольнении Урбанского.

— Ведь его величество так хорошо вас знает, так любит, милый полковник! — заявил генерал. — Он вас помнит со времен аннексии Боснии и Герцеговины, когда вы были назначены военным советником в реформированную македонскую жандармерию. Ведь именно вы, насколько я помню, лично изложили императору возможные последствия этой акции в отношении славянских народов. Что говорить! Пока вы служите начальником Эвиденцбюро, нам удалось выслать двух русских

военных агентов и наконец разоблачить Редля! Нет! Нет! Никаких отставок! Его величество захочет обязательно узнать причину отставки, а что я могу доложить? Если сказать ему всю правду, то есть что это акт возмутительного произвола со стороны наследника, то при натянутости отношений между его величеством и его высочеством это, несомненно, вызовет конфликт между ними! Но мы не можем подвергать слабое здоровье императора опасности, которая, безусловно, вытекает из возможного нервного потрясения!..

— Ваше превосходительство! Всегда был и остаюсь ваш покорный слуга! — только и мог вымолвить благодарственно Урбанский в ответ на гневную филиппику генерала Больфраса в адрес зарвавшегося наследника. Начальник Эвиденцбюро понял, что дух военной касты и здесь стоит на его стороне.

...К рождеству 1913 года полковник Урбанский фон Остромиец был удостоен императором знака высокого военного ордена Леопольда, который не всегда получали даже генералы императорской и королевской армии и почти никогда — полковники. В начале следующего, 1914 года ему сообщили, что он представлен к производству в генералы и вскоре получит под командование бригаду альпийских стрелков — одну из самых привилегированных частей австро-венгерской армии.

Наследник древнего престола Габсбургов — эрцгерцог Франц-Фердинанд — был снова посрамлен своим же собственным Генштабом.

48. Петербург, июнь—август 1913 года

Негромкий выстрел браунинга в венском отеле «Кломзер» словно ударом грома грянул в душной, накаленной соперничеством и шовинизмом европейской атмосфере тринадцатого года. Грозные тучи войны уже заволакивали политический горизонт, хотя безмятежное солнце еще бросало свои последние лучи на нагорья и равнины континента, на столицы и нивы, торговые города и промышленные районы, пограничные крепости и гарнизонные плацы, где дивизии штатного состава по мирному времени учились только поражать бесплотные мишени пулей, штыком или саблей.

Еще лежали в запечатанных конвертах в сейфах генеральных штабов планы мобилизации и дислокации воинских частей в первые дни войны; мирно поблескивали в арсеналах цинковые коробки с патронами; ясной латунью горели на стальной синеве снарядов головки взрывателей; в ящиках, напоминавших гробы, покоились винтовки с повернутыми к цевью воронеными жалами штыков.

Но в тишине банков, толкучке бирж Лондона, Берлина, Парижа, Вены, Петербурга уже суетились клерки, крутились арифмометры, щелкали костяшки счетов, подсчитывая и прикидывая, сколько золота выйдет из будущей крови и костей солдат, если

они сойдутся на полях сражений, сколькими ассигнациями обернутся страдания вдов, сирот и калек, которых породит Молох войны...

После разоблачения Редля истерическая шпиономания в Вене и Берлине продолжалась, но теперь появился повод списать все неудачи и провалы на мертвого полковника.

Венская придворная камарилья бесновалась, проклиная славян собственной лоскутной империи, принимала одно за другим административные ограничения и акты, унижавшие национальные меньшинства, лишавшие их последних остатков буржуазных свобод.

Из Берлина на все Срединные империи нагнетался военный психоз, почти ежедневно раздавались требования усилить подготовку к войне, очистить тыл от пораженческих элементов, потуже завинтить все гайки у парового котла, который был призван дать двигательную силу германскому локомотиву...

В далекой «Северной Пальмире», кроме немногих офицеров Генерального штаба, десятка политиков и полдюжины осведомленных финансистов, никто всерьез и не думал о близкой войне. Зато в России, более чем где бы то ни было, чувствовалось, как все больше и больше накаляется социальная атмосфера. Недовольство существующим положением было всеобщим — как внизу, так и наверху. Оно росло с каждым новым днем, с каждым новым рескриптом, подписанным царем.

Российские верхи были крайне недовольны Николаем II, потому что они потеряли при упрямом и капризном самодержце всякое влияние. Власть как песок уходила из их рук, а народ все больше и больше электризовался. Министры, члены Государственного совета, сенаторы, правители губерний и городов не знали, кто, собственно, руководит огромной и великой державой? Для них не было тайной, что у монарха отсутствуют государственный ум и прочные принципы, отсутствует определенная, помимо его постоянной жестокости, линия управления страной.

Один за другим следовали провалы в политике правительства, направляемого столь упрямой и вздорной личностью, какой был Николай II. И с каждым новым провалом, с каждым новым обострением противоречий в империи, с каждой новой вспышкой народного недовольства Николай Романов терял симпатии даже самых приближенных людей, своей опоры и поддержки — высшего чиновничества и генералитета. Только самые бездарные из бесталанных его советников оставались слепо верными трону.

Спокойствия не было и в среде чиновников-профессионалов разных ведомств и министерств. Всего за один день без предварительного объяснения или видимой причины происходила в Царском Селе смена министров, а затем перестановки более мелких бюрократов. По столице широко циркулировали слухи, что во всем повинен проклятый «Старец» Распутин, что необыкновенно влияние этого проходимца на царя, царицу, придворных дам и якобы руководимых им министров.

Общественное возмущение связью двора с Распутиным было

настолько велико, что ненависть к нему опоры трона — офицерства — вылилась в особое, хотя и в тайне от царя, поручение контрразведывательному отделению Генерального штаба установить наблюдение за «Старцем» и его ближайшим окружением. Не без интриг Мануса и его клики полковник Энкель в конце 1913 года был назначен на пост начальника этого отделения.

На товарищеских обедах в офицерском собрании Семеновского лейб-гвардии полка, где когда-то в молодости проходил службу Энкель, он без тени стеснения рассказывал теперь во всеуслышание скабрезные эпизоды похождений Распутина, почерпнутые из служебных дневников филеров. В этих рассказах звучало не только презрение «цивилизованного» шведа на русской службе в адрес «дикого» и «азиатского» народа.

Был в них определенный политический расчет. Хотя для офицеров гвардии ничего нового рассказы Энкеля не представляли, они все-таки подтверждали слухи, которыми полнилась российская столица. Со ссылкой на полковника Генерального штаба контрразведчика Энкеля сплетни эти расходились дальше по великосветским гостиным и офицерским собраниям других петербургских полков. Они серьезно расшатывали ту опору трона, которой считались гвардия и войска Петербургского военного округа.

Рискованные заявления Энкеля придавали ему ореол смелого критика-фрондера * и, как считали наивные слушатели, были весьма небезопасны для него. На самом деле фрондерам ничего не грозило. Энкель и иже с ним выполняли волю тех финансовых, промышленных и аристократических кругов, которые готовили общественное мнение к дворцовому перевороту, к преобразованию насквозь прогнившего самодержавия в конституционную монархию, истинным сувереном коей будет алчная и коварная российская, вернее, международная буржуазия.

Азартные политические картежники, прожектируя будущее правительство России, которое позволит ей избегнуть народной революции, так и эдак раскладывали в пасьянсе свои козыри: и возведение на престол великого князя Николая Николаевича; и замену Николая Романова его младшим братом Михаилом; и устранением Николая II при сохранении на троне в качестве регентши при малолетнем царевиче Алексее царицы Александры Федоровны; и призвание на формальное царство кого-либо еще из великих князей.

Промышленные и финансовые воротилы становились все нетерпеливее, а их империалистические аппетиты все разгорались. Интересы различных могущественных группировок российского капитала — прогерманских, профранцузских, проанглийских — сталкивались и переплетались, противоборствовали и союзнича-

---

* Фрондер — от слова «Фронда». Так называла себя во Франции дворянская оппозиция Людовику XIV и Анне Австрийской.

ли. Всех их объединяло одно — желание предотвратить в России народную революцию, захватить в свое групповое господство всю полноту власти, пристегнуть страну еще прочнее к одному из трех соперничающих между собой отрядов мировой буржуазии — германской, французской или английской.

Но народ уже не безмолвствовал. После расстрела на Ленских приисках, принадлежавших английскому капиталу, управлявшихся Путиловым и Вышнеградским, начался новый революционный подъем. Среди рабочих росло влияние большевиков, то и дело вспыхивали забастовки, росло политическое сознание масс. Слово «революция» становилось желанным и в среде интеллигенции, хотя в устах либералов оно носило весьма расплывчатый и неопределенный смысл.

Революции не приходят сами, как весна после зимы. Революции созревают в недрах общества, на них работают антагонистические силы, накапливая напряжение и энергию.

Энергия революции бурно аккумулировалась в России тринадцатого года.

...В Петербурге было жарко. Ртутный столбик большого термометра, укрепленного на стене арки Адмиралтейства, поднялся до невообразимой высоты.

Соколов договорился о свидании с Анастасией в воскресенье у фонтана Александровского сада, напротив главного входа Адмиралтейства и Гороховой улицы, ровно в полдень. Он был на месте задолго до выстрела сигнальной пушки Петропавловской крепости и теперь прятался в тень дерев подле скалы с лежащим на ней бронзовым верблюдом и бюстом Пржевальского. Он уже много раз перечел надпись на памятнике, сообщавшую, что сия группа воздвигнута в 1893 году по инициативе императорского Географического общества, сверил свои часы с ударом пушки и почти тотчас увидел Анастасию, шедшую к нему со стороны Зимнего.

В своем простом ситцевом платье с туго накрахмаленным кружевным воротником и маленькой соломенной шляпке девушка была чудо как хороша. Ее глаза лучились навстречу Алексею, и он подумал о том, что сегодня, может быть, он осмелится сказать ей самые главные, самые важные для его жизни слова...

В российской императорской армии офицеры не имели права надевать штатский костюм ни в отпуске, ни в воскресенье. Именно поэтому Соколов был затянут в мундир, довольно жаркий и плотный, так что противная испарина покрывала все тело.

Девушка почему-то всегда протестовала, когда Соколов галантно целовал ей руку. Но сегодня, когда Алексей приложился губами к нежной и душистой коже на запястье, Стаси не пыталась отдернуть руку, как это бывало прежде. Надев снова фуражку с белым, по-летнему, верхом, Алексей посмотрел в глаза Анастасии, и ему почудилась в них нежность, которой раньше тоже не было.

«Сегодня объяснюсь!» — твердо решил полковник для себя и,

сдерживая вспыхнувшую радость, предложил немного покататься в экипаже по Петербургу, а потом проехать на острова.

Здесь же, на Адмиралтейской площади, находилась стоянка петербургских «Ванек» — так называли извозчиков. В этот жаркий полдневный час почти все экипажи были уже разобраны, но одна из колясок на шинах-дутиках еще оставалась на стоянке. Кучер, одетый в синий мужичий армяк и клеенчатый цилиндр раструбом кверху — традиционный, спокон веку присвоенный «Ванькам» наряд, дремал в тенечке, ожидая щедрых седоков. Алексей и Анастасия не замедлили явиться перед ним. Полковник нанял экипаж, не торгуясь.

— Эх, резвая лошадка — прокачу, барин! — взмахнул кнутом кучер, и коляска покатилась сначала по Невскому, чтобы затем свернуть на Литейный, от него — по Французской набережной до Троицкого моста, через Александровский парк, по Каменноостровскому проспекту — на Каменный остров. Затем по уговору извозчик должен был по центральной аллее Каменного острова доставить седоков на Елагин остров, а там направо вокруг острова и на Стрелку.

Соколов был счастлив — полтора часа сидеть бок о бок с Анастасией, касаться ее руки, любоваться ее лицом, слушать ее слова!

Экипаж выехал на Невский. Несмотря на жару, он был полон гуляющими обывателями. Летом здесь коротал вечера по преимуществу рабочий и мелкий чиновный люд, у которого не хватало средств выезжать на дачу или даже на близкие к центру столицы острова. Жители петербургских окраин заполнили в это воскресенье главную улицу столицы Российской империи. Они с любопытством разглядывали витрины дорогих магазинов с заморскими товарами, диковинные съестные продукты, упрятанные от них за зеркальными стеклами гастрономических и колониальных лавок. Изредка простодушный прохожий, степенно скинув картуз, крестился на купол Казанского собора или, задрав бороду, любовался каланчой на башне городской думы.

Вид всех этих людей, высыпавших в воскресный день на проспект, где в будние дни простому человеку и в голову не пришло бы праздно прогуливаться, повернул мысли полковника совсем в другую, далекую от его личных переживаний сторону.

Соколов вспомнил, как Анастасия сначала рассказывала ему, а затем и показала однажды рабочие казармы за Невской заставой, так называемые «корабли», где на нарах в несколько рядов на каждом этаже здания ютились тысячи фабричных.

Зайдя в один такой «корабль», Соколов не мог продохнуть от спертого, зловонного воздуха, сгустившегося до осязаемости. Он поразился, до чего же эти «корабли» российского капитала напоминали трюмы невольничьих судов, доставлявших негров-рабов в Америку...

Несмотря на близкое соседство Стаси, Соколов углубился в свои мысли. Воспоминания о тех полутора годах, которые он носил в себе образ девушки, соединились в нем с раздумьями о

мрачных сторонах реальной российской действительности, о которых он, будучи блестящим офицером-кавалеристом, раньше, до знакомства с Анастасией, совершенно не задумывался.

Даже в Академии Генерального штаба, где, казалось, мудрые профессора-генералы исследовали все стороны жизни государств и армий, подсчитывали в минувших и рассчитывали для грядущих битв людские ресурсы до последнего солдата, решали вопросы снабжения армий и флотов, вопросы транспорта и промышленности, — в стенах этой, одной из лучших в мире военных академий на Английской набережной Петербурга ни слова не говорилось о социальной жизни общества, о тех идеях, за которые должен был сложить на войне свою голову солдат.

И только скромная девушка-консерваторка, дочь петербургского рабочего, сочувствовавшая социал-демократам, и ее друзья, бурно спорящие на студенческих сходках, смогли за год открыть глаза ему, опытному военному разведчику, на могучие социальные силы, которые набирают энергию в недрах российского общества, время от времени потрясая его основы стачками и демонстрациями.

Девушка тоже заметила какую-то перемену в настроении своего спутника.

— Что с вами, Алеша? — участливо спросила она полковника, думая, что он, быть может, переживает неполадки по службе.

— Благодарю вас, ничего! — ответил Алексей и мысленно отругал себя, что так забылся и проявил, видимо, крайнюю неучтивость. Он решил было развлечь свою спутницу обычным светским разговором, но с ужасом убедился в том, что при нынешнем настроении мыслей он не в силах вести пустую болтовню.

Кучер повернул на Литейный. Движение по нему в воскресенье было слабым, и коляска прибавила ходу. Сильная лошадь быстро влекла экипаж мимо офицерского собрания армии и флота, где Соколов с коллегами-конниками отмечал свою победу в конкур-иппике, мимо Артиллерийского управления, у фасада коего привлекали внимание несколько выставленных старинных пушек, мимо здания Окружного суда. В который раз, но уже с новыми мыслями Соколов обратил взгляд на колонны по фасаду этого дворца, построенного в 1776 году князем Орловым. Он указал Анастасии на высокую арку с барельефом, изображающим суд Соломона, и девиз под ним: «Правда и милость да царствуют в судах».

Соколов теперь знал, какие «милость и правда» царствуют в этом суде. Его молодые друзья поведали ему во время одной из встреч в салоне советницы о жестоких расправах над крестьянами и рабочими, которые учиняли царские судьи в этом помпезном здании, о процессах над большевиками — депутатами Государственной думы, которых прямо отсюда отправляли в сибирскую ссылку, о том, как модные адвокаты отсуживали

здесь последние гроши у бедняков в пользу своих состоятельных клиентов...

Петербург уже перестал видеться полковнику Соколову безмятежным городом, где царствует всеобщее благоденствие и согласие. Полковник представил себе, что предгрозовая духота, окутывавшая своим напряжением город, не только разлита в атмосфере, но и характерна для всей общественной жизни столицы, более того — всей империи. Мягко трясясь по торцам мостовой, Алексей представил себе, что удушье перед грозой распространилось на всю Европу. Вот-вот грянут молнии, зарокочет гром, прольются потоки ливня, после которых можно будет дышать полной грудью. Он невольно вздохнул и вызвал снова участливый взгляд Анастасии.

Девушка видела, что с полковником что-то происходит. Внешне невозмутимый и спокойный, Алексей то хмурился, то каменел, его глаза загорались огнем и сразу же тускнели...

Анастасия и не подозревала, что вся эта бурная работа чувств и мыслей невольно вызвана ею самой, ее «политическими» беседами с полковником, встречами его с молодежью в салоне генеральши Шумаковой, более похожими на студенческие сходки, разговорами с двумя большевиками — Михаилом и Василием.

Девушка поймала себя на мысли, что этот строгий и подтянутый военный стал ей дорог. Анастасии тоже хотелось видеться с ним, делиться своими мыслями, планами. Она чувствовала — в его душе что-то назревает, женским инстинктом догадывалась о том объяснении, которое ей предстоит. Она и боялась, и хотела, чтобы он выразил свои чувства к ней, и не знала, как ему ответить. Поэтому для нее поездка по воскресному Петербургу проходила тоже словно в тумане. Каменные громады дворцов, перспективы улиц, открывавшие один прекрасный вид за другим, — ничто не радовало Анастасию и Алексея. Они были заняты своими мыслями и отвлеклись от них только тогда, когда экипаж вкатился под сень дивных вековых дубов парка Елагина острова. От зелени дерев веяло прохладой, парк был полон гуляющими.

Возница остановил у пруда. Они зашагали в сторону стрелки-пуанта.

— Алексей, о чем вы думали всю дорогу? — спросила девушка. — Вы были так озабочены и печальны...

— Настенька, — он ее впервые назвал так, как называли дома, и от этого у нее еще больше потеплело на сердце. — Я думал о том, как много узнал благодаря вам и вашим друзьям за минувший год своей жизни. Он был таким полным, как никогда. Мне кажется, я стал совсем другим человеком...

— Я тоже рада, что смогла познакомиться с вами... — призналась Анастасия. — А помните соревнования, когда вы взяли главный приз?.. Я, не знаю сама почему, так волновалась за вас в тот момент, когда ваша Искра сбилась с ноги перед са-

мым трудным препятствием... Что с ней тогда случилось? Ведь вы могли убиться, как тот офицер, что скакал перед вами...

Как живая, во всех красках мартовского дня перед Алексеем Алексеевичем встала картина скачки и яркий луч солнца, ырвавшегося из-под неожиданно поднятой шторы.

— Да, Настенька, это могло мне стоить тогда сломанной шеи в прямом смысле слова... — сказал полковник. — Я до сих пор вспоминаю этот эпизод и никак не могу понять: отчего вдруг шторы, до той поры мирно висевшие на местах, оказались поднятыми?.. Не могу отделаться от ощущения, что кто-то нарочно решил воздействовать сильным световым ударом на мою лошадку... Но кому могла понадобиться эта подлость? Ведь все офицеры честно боролись...

— Постойте, постойте... — остановилась вдруг Анастасия. — Мне кажется, я припоминаю, как было дело... Ведь это окно, откуда вырвались лучи, находилось как раз за моей спиной через два ряда скамеек... Какие мерзкие люди! — скривила гримаску девушка, видно вспомнив что-то важное. — Это все противная старуха Кляйнмихель! Графиня, в салон которой нас один раз приглашали петь русские народные песни, а потом ее гости глумились над нами и называли наши мелодии по-немецки «азиатскими завываниями»!.. Знаете что, Алексей! Это ее рук дело!

— Графиня, подымающая штору в манеже? — поднял бровь полковник.

— Да нет, не сама графиня. Вы послушайте... Как только племянник графини — а он был на красивом вороном коне — закончил свою скачку, из ложи этой противной старухи — как раз супротив моего места на скамьях — вышел толстый и обшитый с головы до коленей позументами лакей с кривым носом, в белых чулках. Он зачем-то, я тогда еще удивилась, но потом забыла, перешел на нашу сторону трибун и встал за последней скамьей, как раз подле той самой шторы... А я была так восхищена вашим выступлением, а потом так испугалась, что не обернулась посмотреть, зачем ему понадобилось покидать ложу графини... Ну и подлая эта старуха! — возмущалась Анастасия. Девушка вместе с Алексеем теперь догадались, что графиня Кляйнмихель заранее продумала всю интригу, чтобы навредить в скачке именно тому сопернику своего племянника, который может оказаться победителем.

Соколов, раздумывая об этом, сразу вспомнил и предупреждение Вольдемара Роопа, которое он высказывал ему в отношении графини Кляйнмихель по поводу ее ненависти ко всему русскому; вспомнил и иронические отзывы о ней контрразведчиков Генерального штаба, которые располагали вескими уликами против престарелой шпионки, но не могли ее тронуть из-за влиятельнейших связей, увенчанных любовью и дружбой самой императрицы Александры Федоровны, а также всесильного министра двора барона Фредерикса.

Решив наконец для себя первую из тех загадок, что мучили

его полтора года, Соколов испытал презрение ко всей высокомерной немецкой аристократической семейке, которая не побрезговала мелкой подлостью ради выигрыша конкур-иппика... Разведчик чувствовал, что вторая загадка того же мартовского дня — откуда раньше всех Петр Кляйнмихель узнал некоторые детали его жизнеописания — находится в прямой связи с первой. Для себя он отметил, что было бы полезно приглядеться к старой графине и ее прыткому племяннику...

Между тем наступал час обеда. Они обогнули Елагин пруд, вокруг которого число катающихся в роскошных колясках заметно уменьшилось, вышли на Крестовский остров к Крестовскому саду, где подле театра был разбит летний ресторанчик. Второразрядный румынский оркестр услаждал обедающую публику популярными мелодиями, проворно бегали официанты, разнося по преимуществу ботвинью со льдом и запотевшие графинчики водок.

Нашли свободный столик, наскоро пообедали и вновь отправились на Стрелку Елагина острова дожидаться заката, который здесь славился особенной красотой. К вечеру стало не так душно. На скамьях вблизи моря легкий бриз смягчал палящий зной. Соколов и Анастасия отыскали скамейку, еще не занятую созерцателями вечерней зари, и удобно расположились, глядя на запад.

Предвечерняя истома овладела природой. Воздух был прозрачен. Лишь у самой земли, особенно в низинах, начинали слоиться невесомые перья тумана. Впереди насколько хватает взор расстилалось Балтийское море. На другом краю его, на западе, прямо из моря вдруг стала подниматься черная туча, превращая воду из лазоревой в свинцовую.

По мере того как солнце все больше склонялось к горизонту, туча все увеличивалась. Она вздымалась из моря, словно гора. Отроги ее уже начинали приближаться к солнцу, которое занималось холодным желтым цветом. Вместе с тучей в природе явилась тревога. Чайки закричали резче, над самой кромкой воды понеслись стрижи. Мрачный колорит все больше овладевал морем и сушей, но над Стрелкой еще господствовали солнце и голубое небо.

«Сейчас или никогда!» — решил Соколов.

Он взял руку девушки в свою большую ладонь и, прямо глядя в глаза Анастасии, четко, словно во сне произнес:

— Я люблю вас, Настенька! И прошу стать моей женой!

Девушка вспыхнула, словно маков цвет.

— Могу я надеяться на счастье? — снова спросил Соколов.

— Я должна спросить... своих родных! — после некоторого колебания ответила Анастасия и быстро добавила: — Вы мне нравитесь, Алексей! Но я обещала отцу окончить консерваторию. Родители так мечтают об этом! А потом — мои товарищи... Они могут подумать, что я предала их ради благополучия с вами...

— Я понимаю ваши колебания, — сказал Соколов совсем

убитым голосом, — но я хочу просить вашей руки у ваших родителей и испрашиваю вашего согласия на это...

— Я должна подумать, — почти неслышно, но твердо сказала девушка. — Не задавайте мне больше этот вопрос, пока я сама не отвечу вам!

Неожиданно для себя и для Алексея девушка поцеловала его в лоб и смутилась от этого.

— Вы моя любовь навеки! — растроганно произнес Соколов. — Как бы вы ни решили!..

Алексей не подозревал, что вовсе не послушание родителям заставило Анастасию уклониться от ответа. Он не мог даже и предположить, сколько мужества надо было найти девушке, чтобы убедить своих товарищей-партийцев, что ее чувство к полковнику не минутная слабость, каприз или, еще хуже, желание обрести буржуазный семейный уют, а любовь к доброму и честному человеку, который силой патриотизма, ума и желания служить родному народу может стать единомышленником. Настя решила доказать всем скептически настроенным в отношении Соколова товарищам, что порывы революционной бури, которые снова начинали греметь над Россией, отзовутся и в его душе, закованной пока в броню уставов и уложений.

Провидением любящего человека Анастасия знала, что Соколов уже начал свой путь в Революцию. Вместе с Россией.

ОБ АВТОРАХ

«Воспоминаний минные поля»

«Молодость моего поколения пришлась на Отечественную войну, которая стала его судьбой. Вероятно, поэтому чем дальше во времени уходит от нас та грозовая пора, тем масштабнее она видится и тем явственнее как бы отдаются события тех лет в сегодняшней жизни и тем острее осознается наш долг перед теми, кто сложил голову, отстаивая честь и независимость нашей Родины. Это долг памяти, наш долг и сегодня быть готовыми защитить мир» — эти слова Соломона Смоляницкого во многом определяют творческое кредо писателя, дают нам возможность понять, почему художник обратился в своем творчестве к теме войны — неисчерпаемой теме Победы, почему эта тема находит у него своеобразное, только ему присущее отражение.

С. Смоляницкий относится к небольшому числу тех писателей, которые прошли Великую Отечественную войну с первых до последних дней, защищали Родину с оружием в руках и в те далекие годы, конечно, не думали, что возьмутся за перо — рассказать о пережитом. Тогда до Победы было далеко, а главное было — победить.

Память прошлого («воспоминаний минные поля» — назвала ее Людмила Татьяничева) живет в человеке и ждет своего часа, чтобы однажды требовательно напомнить о себе, об уже далеких, но по-особому близких днях военной поры. Ведь с каждым днем, месяцем, годом происходит новое осмысление прошедшего, приходит новое знание, открываются новые документы, факты, свидетельства... рождаются новые книги.

Юрий Бондарев, Анатолий Ананьев, Григорий Бакланов, молодыми офицерами вступили они в схватку с фашизмом, а затем создали прекрасные книги о человеке на войне. Таким же путем пришел в литературу С. Смоляницкий.

Родился С. Смоляницкий в Смоленске, а все детские годы жил в Москве, здесь он закончил десятилетку. В 1939 году был призван в армию. Московские школы тридцатых годов... Жаркие споры, дискуссии о том, каким должен быть советский человек, каков должен быть его вклад в строительство счастливого будущего людей — коммунизм; серьезные, с участием взрослых комсомольские собрания, помогающие молодым определить свое место в жизни. Все это органично входит в биографию будущего писателя.

С первых дней пребывания в Красной Армии С. Смоляницкий — комсорг батареи. Получив специальность вычислителя и артиллерийского разведчика, он несет службу на западной границе страны. И вскоре — самое страшное испытание: война.

Молодым пареньком, комсомольцем вступил в войну С. Смоляницкий. Довоевал, дошел до Берлина, став авиамехаником и воздушным стрелком. Праздник Победы он встречал уже коммунистом, прошедшим огненными дорогами, плечом к плечу с товарищами по оружию, которые защитили мир от «коричневой чумы». Уже в те дни у С. Смоляницкого появляются вопросы: как, какими способами — сквозь годы, десятилетия — передается новым поколениям духовный опыт, мысли и чувства ушедших, как появляется неразрывная историческая нить связи времен, как переливается судьба старшего в судьбу молодого? То были поиски своего понимания духовного мира человека.

Учеба на филологическом факультете МГУ — начало журналистской работы в журналах и газетах. Очерки, рецензии, рассказы, выступления по радио... Привитая с малых лет любовь к чтению с годами превратилась в потребность постоянного общения с книгой. Окончив университет, С. Смоляницкий становится школьным учителем русского языка и литературы. Эти годы преподавания в школе не прошли даром для его творческой судьбы, сыграли в ней немалую роль. Сначала появляются очерки и статьи на педагогические темы, затем и сценарий художественного фильма «Педагогические раздумья».

Но литературный труд требовал все больше и больше времени. Стали как воздух необходимы новые впечатления, знакомства, встречи с людьми. Начинается период работы в «Литературной газете». Эта работа дала возможность многое увидеть, побывать и на целине, и на строительстве Красноярской ГЭС, и на стройке дороги Абакан — Тайшет, и на многих других объектах Сибири. Это был новый, животрепещущий, необыкновенно интересный и волнующий материал.

Для человека, прошедшего войну, этот новый опыт мирного строительства давал возможность ощутить живой пульс страны. И возникают книги: «Встречи в пути» (1957 г.), «Здравствуй, Сибирь!» (1960 г.), «Слушай, жизнь» (1961 г.), «Добрые спутники» (1961 г.), «Насовсем» (1962 г.), документальный фильм «Сутки в тайге». Их появление отразило насущную потребность художника передать ритм созидательного труда советского человека. В книгах отчетливо начинает прослеживаться стремление автора не просто отразить внешнюю сторону бытия героев, а попытка проникнуть в их внутренний мир, вскрыть причины,

приводящие в движение огромное количество людей, поднимающихся на мирные подвиги. Эстафету подвига, духовную связь созидательных успехов с героизмом военных лет видит в этом движении автор.

Почти 20 лет продолжалась работа С. Смоляницкого в «Литературной газете». За эти годы созданы пьесы: «Утро после дождя» (1967 г.), «Один день до весны» (1969 г.), выходит сборник повестей и рассказов «Торопись с ответом» (1971 г.), критическая монография «На земле отцов» (1973 г.).

В его рассказах подкупают знание жизни, тонко выписанные эпизоды, раскрывающие судьбы десятков людей. Здесь и рабочие, и служащие, и творческие работники. Во многих его рассказах — люди, стоящие перед выбором судьбы, нередко находящиеся в острых драматических ситуациях. В их изображении нет напыщенной броскости — они показаны во всей глубине и сложности внутренней жизни.

В повести «Торопись с ответом», где он рассматривает морально-этические проблемы на примере из жизни ученых, автор говорит с нами, читателями, о том, как важно быть добрым и не пойти на компромисс со своей совестью, не изменять ни себе, ни окружающим тебя людям. Жизнь коротка, и нужно торопиться держать ответ в жизни за совершенное, за свои поступки.

Шли годы, но у С. Смоляницкого оставался нетронутым, может быть, главный для его творческой судьбы — военный материал. В одном из выступлений по радио он говорил: «Я думаю, каждому фронтовику знакомо то состояние, когда как бы ощущаются глубинные подпочвенные толчки, когда мысль блуждает где-то в неясной дали и странное, будто некогда испытанное чувство охватывает вас. Не есть ли это отзвук пережитого нашими боевыми товарищами, неведомыми путями докатившегося до нас? И тогда мы поступаем, повинуясь не обстоятельствам, а внутреннему побуждению, и знаем, что иначе не можем. Но есть ли это завет тех, кто отдал ради Победы самое дорогое — жизнь?»

Да, мысли писателя все чаще обращаются к войне, возникает настоятельная необходимость рассказать о товарищах, о времени, оставившем неизгладимый след в сознании целого поколения. В 1975 году в журнале «Новый мир» появляется повесть «Майские ветры». Явились ли страницы этой книги пересказом биографии писателя? Думается, здесь нельзя говорить ни утвердительно, ни отрицательно. Жизненный путь писателя — это та почва, на которой с помощью своего таланта писатель получает возможность философски осмыслить казалось бы незначительные, обыденные черточки реальности и связать, объединить их с судьбами людей своего поколения, давая им возможность ожить, и позволит узнать себя — и обнаружить свои мысли и помыслы.

Можно с уверенностью сказать, что написанная в полную меру художественной достоверности повесть «Майские ветры» — это воспоминания фронтовика, художественно и философски обобщенные. Романтизм и точность повествования заставляют с первых страниц смотреть на молодого лейтенанта Бориса Волынина, страстно влюбленного в литературу, на его беседы со случайно встретившимся на фронте командиром стрелковой роты Кравцовым как на человека высокой нравственной чистоты. Встреча важна для всего, что произойдет после, — воспо-

минания о их общем старом учителе Романовском очищают Кравцова и Волынина от накипи будней, показывают нам мирных людей, в судьбы которых вторглась война.

«Хочу, чтобы ты остался жив. Чтобы ты остался жив, — произнес про себя Борис. Он почувствовал, как между ними протянулась нить. — Это Романовский, старче Алексей, божий человек, это он связал нас. И нас, и то, что было, с тем, что есть и будет», — подумал Борис». Любовь к возвышенному, заложенная в них с детства, сохраняется через годы и прорывается в последние майские дни войны. Последние дни войны — это знают и понимают все...

С героем повести Борисом Волыниным мы знакомимся во время воздушного боя. В нем проявляется несгибаемый характер советского человека, его воля к победе.

«Он у них на виду, весь на виду. Колющий холодок медленно разливается в груди... Запах гибели. Он уже вьется в кабине, окутывая, обволакивая, перехлестывая...

— Внимание! Атака! Атака!..

Борис жмет на гашетки — из-под крыльев вырываются эрэсы. Очереди из пушек и пулеметов. На земле сверкают разрывы, вспыхивает пламя.

Самолет с ревом несется вниз, со свистом распарывая встречный воздух. Высота — восемьсот пятьдесят. Восемьсот. Аэродром стремительно увеличивается. Семьсот пятьдесят. Семьсот. «Юнкерс» заполняет кольцо прицела. Отчетливо видны черные кресты с белой обводкой. Шестьсот пятьдесят. Еще чуть. Шестьсот. Ну! Борис жмет на кнопку сброса бомб — самолет вздрагивает от толчков, бомбы летят в цель. Мощный взрыв. И сразу за ним еще один. Взгляд назад: там, где стоял бомбардировщик, столб огня и дыма».

Потом будет прямое попадание в самолет, труднейшие минуты полета, чтобы дотянуть до своих, не попасть в плен к фашистам.

Изображение трудностей ратного труда, сверхнапряжения сил и преодоление, победы над собой и противником, счастливого спасения Бориса сменяется, казалось бы, на первый взгляд спокойными сценами, но и здесь герои повести раскрываются новыми гранями своих характеров. Прекрасны неожиданные, захлестнувшие Волынина чувство любви к польской учительнице и ее ответные чувства, та бесконечно длинная ночь с быстро приходящим рассветом и разлукой.

«Они не могли решиться выйти из этой комнаты, которая была их единственным прибежищем. Здесь они были вдвоем — только они одни, а там, за порогом, кончалась их власть друг над другом... И Борис навсегда запомнил: холодный белый свет зимнего утра, пробивающийся сквозь замороженное стекло, ее лицо с выражением застывшей боли и глаза, с немым вопросом пристально смотрящие на него». Они еще встретятся, но эта их последняя встреча будет трагична для них.

Тема любви в произведениях С. Смоляницкого звучит мягко и лирично.

Те майские дни 1945 года неотвратимо несли поражение фашистской Германии, и это чувствовала оживающая весенняя природа и люди, которые ждали с нетерпением завершения войны. Но продолжались бои. Из воздушного сражения не вернулся Димка Щепов, погибает боевой друг Волынина, острая боль утра-

ты товарища — веселого, жизнерадостного Димки, накладывает на думы Волынина свой отпечаток. Волынин смотрит на близкую победу как бы глазами боевых друзей, не доживших до этого радостного, самого счастливого для них дня. И первой на стене рейхстага он пишет фамилию младшего сержанта Дмитрия Щепова, погибшего и все же дошедшего до Берлина в нем, в лейтенанте Волынине, в других бойцах.

Тетрадь со стихами, которые остаются у Волынина — вот еще одно напоминание связи прошлого и настоящего. «Кравцова убило, а он остался. Значит, он, больше некому, должен сделать так, чтобы люди знали о Кравцове — как жил, как воевал». Это как бы наказ ему от погибших — жить достойно и честно.

Победа над фашизмом, одержанная советским народом, обязывает все последующие поколения быть достойными памяти павших. Вот главный нравственный урок повести.

Сейчас С. Смоляницкий заканчивает работу над новым романом «Какая на земле погода», где военная тема перекликается с современностью и где автор художественно раскрывает свою главную мысль — прошлое не уходит, оно всегда в нас и входит в современность, обогащая ее, делая людей более целеустремленными, совершенными, духовно богатыми.

П. ГУСЕВ

Вместе с народом

История и опыт революционных движений, в том числе и современных, свидетельствуют об огромной роли, которую в периоды решающих перемен в судьбах народов и стран играет общественная позиция армии. Если армия на стороне народа, вместе с народом, то революция побеждает. Наиболее яркий тому пример — Великая Октябрьская социалистическая революция. Когда организованная в роты, батальоны и полки крестьянская масса под руководством большевиков примкнула к революционному рабочему классу и повернула свои штыки против самодержавия и буржуазии, старый режим пал, словно смятенный бурей.

Выявляя причины катастрофы царской России и крушения старой армии, автор романа «Негромкий выстрел» Егор Иванов рассказывает, как идеи большевиков овладевали не только крестьянской массой и рабочими, одетыми в солдатские шинели, но и проникали в среду прогрессивно мыслящего офицерства. В образе офицера Генерального штаба царской армии военного разведчика Алексея Соколова автор показывает, как честная, умная, патриотически настроенная часть офицерства приходила к выводу о том, что ее место — вместе с народом на стороне Революции...

Литератор Егор Иванов еще совсем молод, в то время как автору «Негромкого выстрела» уже исполнилось пятьдесят. Парадокс объясняется тем, что Игорь Елисеевич Синицин — таково подлинное имя человека, написавшего эту книгу в 1977 году, — дебютировал в литературе поздно. Зато сразу крупно — романом, который уже изначально был задуман как первая часть трилогии. Вторая — под названием «Вместе с Россией» — была издана тем же издательством, «Молодая гвардия», в 1981 году.

Над третьим романом трилогии автор работает в настоящее время.

Таким образом, путь в литературе писателя Егора Иванова еще только начинается. Путь же в литературу Игоря Синицина был долог и непрям.

Игорь Елисеевич Синицин родился в 1932 году в Москве в семье рабочего. Уже в студенческие годы он внештатно сотрудничал в газете «Московский комсомолец». В 1955 году закончил исторический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской и поступил на работу во Всесоюзный институт научной и технической информации, продолжая занятия журналистикой.

В те годы он внештатно сотрудничал в Советском Информбюро, а в 1956 году перешел туда на постоянную работу редактором в отдел стран Северной Европы. В 60-х годах Синицин — корреспондент агентства печати «Новости» в Швеции. В начале 70-х он учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, где защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.

После окончания академии И. Синицин работал в аппарате ЦК КПСС, а с 1979 года он снова в агентстве печати «Новости», теперь уже политический обозреватель.

Для тех, кто прочел опубликованный в настоящей книжке приложения «Подвиг» роман «Негромкий выстрел», ясно, что в статье об авторе не может быть так часто употребляемых рецензентами слов о воплощении писателем в художественных образах того, что было им пережито, выношено, выстрадано в жизни. Е. Иванов — будем называть автора все-таки так, как он подписал свое произведение — естественно, не мог знать людей, изображенных в его романе, не мог жить заботами, радостями и страстями той эпохи. Он изучил ту эпоху и тех людей со скрупулезностью исследователя. Поэтому, анализируя роман, мы, казалось, могли бы говорить о нем как о литературе «от ума», рожденной знанием и мыслью ученого. Могли бы, если бы не случилось счастливого сочетания таланта историка и философа с безусловным литературным дарованием автора.

И вот тут-то, мне думается, мы смело можем повторить ставшую в критике почти штампованной, но отнюдь не утратившую своей достоверности фразу о том, что автор рецензируемого произведения как бы «пропускает описываемые им события через свое сердце». Именно сердечный запал автора, его патриотизм оплодотворил массу академических знаний и вызвал пусть поздний, но яркий и мощный творческий взрыв литературного дебюта Егора Иванова.

Роман-хроника «Негромкий выстрел» имел большой успех. В рецензии Василия Ардаматского в журнале «Октябрь» говорилось, что «книга Егора Иванова «Негромкий выстрел» содержит интересный, малоизученный материал, достоверна в передаче духа изображаемой эпохи кануна первой мировой войны... Действие в этом остросюжетном романе длится чуть больше года. Мы расстаемся с его героями на переломном этапе жизненного пути. Как-то сложатся в дальнейшем их судьбы? В одном можно быть уверенным, что путь, на который они вступили, — это путь в Революцию».

Писательница Зоя Воскресенская отмечала в «Огоньке»: «Роман Егора Иванова «Негромкий выстрел» — удачный писатель-

ский дебют, умная и увлекательная книга о деятельности старой русской разведки.

Сразу скажем, что роман относится к категории «трудных» произведений, но именно поэтому ему не угрожает невнимание читателей. Взявшись за эту книгу, ее не отложишь в сторону, ее нельзя читать «по диагонали», невозможно, наскоро листая, проследить за развитием сюжета. В нее надо вчитаться, читая — размышлять...

У Егора Иванова богатая палитра красок, и он умело пользуется ею. Он находит свежие, незаимствованные образы, эпитеты, детали быта, пейзажа, все что создает подлинную атмосферу художественного произведения. Автор легко переходит с языка салона на жаргон пирующих гусар, вводит читателя в мистическую обстановку масонской ложи, живописуя ее ритуал и символику».

Доктор исторических наук К. Шацилло, один из крупнейших специалистов по русской истории периода, описываемого в романе, отмечал, что историк-профессионал, хорошо знакомый с архивными документами и мемуарной литературой, даже в вымышленных литературных героях Е. Иванова без труда обнаружит черты сходства с теми или иными реальными историческими лицами.

Главный герой романа, полковник Генерального штаба Алексей Соколов, является собирательным образом тех десятков и сотен русских офицеров, которые в годину испытаний остались верными своему народу, своей Родине. Именно о таких людях Владимир Ильич Ленин сказал на заседании Московского Совета: «В то время как белые офицеры, бывшие царские офицеры сражались против нас на стороне наших врагов, десятки и сотни этих специалистов были нами привлечены и переварены в нашей работе. Они помогали нам работать вместе с нашими комиссарами. Они сами учились у нас работе и давали нам взамен свои технические познания. И только при помощи их Красная Армия могла одержать те победы, которые она одержала».

История дала нам яркие примеры подвига людей, порвавших со своим классом, пришедших на службу в Красную Армию и в народное хозяйство Советской России. Это были генералы Брусилов и Клембовский, бывший военный министр Российского императорского правительства генерал Поливанов и бывший военный министр Временного правительства Верховский, бывший военно-морской министр царя адмирал Григорович, крупные военные деятели дореволюционной России, генералы и адмиралы Величко, Самойло, Карбышев, Крылов, Игнатьев, полковники Шапошников и Вацетис, многие другие офицеры в разных чинах. Небезынтересно вспомнить, что в 1918—1919 годах полковник Вацетис был главнокомандующим всеми вооруженными силами Советской Республики.

Внешняя канва событий «Негромкого выстрела» не выдумана автором. Это цепь реальных фактов из истории отношений царской России в 1912—1913 годах со своими будущими противниками в первой мировой войне — Германской и Австро-Венгерской империями.

Повествование ведет читателя в кабинеты монархов и в канцелярии внешнеполитических ведомств, на заседания различных организаций и на закулисные переговоры хозяев мира прошлого. Объединяет всю эту многоплановую картину рассказ о деятель-

ности горячего патриота своей страны — подполковника, а затем и полковника русской военной разведки Соколова. Выполняя свой служебный долг, ведя невидную, но очень ответственную и опасную работу, он стоит на страже жизненных национальных интересов страны и народа.

В роли тех, кто официально представляет эти интересы, выступают царское самодержавие, придворная клика, представители господствовавших в дореволюционной России эксплуататорских классов. И главным мотивом книги — от ее пролога до историко-философских рассуждений заключительной главы — становится мысль о том, что царский режим, эксплуататорский строй неотвратимо, окончательно расходятся с подлинными стремлениями трудящихся масс России, с достоинством ее народа и национальным величием.

Изображая правящую верхушку царизма, опорные столпы самодержавно-капиталистического строя в лице аристократов и генералов, а также и колоритные фигуры буржуазных воротил, Егор Иванов убеждает читателя, что старый режим был уже неспособен обеспечить управление Россией, что к власти закономерно шли новые силы, представляющие интересы народа и сам народ.

Скупыми, но яркими штрихами автору удается показать, что с революционной народной Россией в ее светлое будущее через тяжкие испытания пойдут и те лучшие представители старого мира, которые способны разглядеть историческую правомерность революции, способны поставить народное, национальное благо выше эгоистических забот своего привилегированного класса. Именно таков главный герой романа «Негромкий выстрел», русский офицер Соколов, который всей своей предшествовавшей жизнью подводится автором к тому, чтобы начать путь в революцию вместе с Россией.

Егору Иванову удались в романе картины русской, а также и — что бывает нечасто — зарубежной жизни. Четко, психологически тонко, иногда с неожиданной стороны обрисованы видные деятели освободительного движения Чехии, а также заграничные сотрудники русской разведки и работники враждебных спецслужб.

Очень важно, что в ходе повествования писатель раскрывает перед читателем принципиальное различие понятий «шпион» и «разведчик». Так, например, ненавязчиво, но убедительно и пристально прослеживается судьба и характер ставшего агентом русского Генерального штаба австрийского полковника Редля.

История Редля является одной из основ сюжетной линии романа. Хорошо показано, как этот человек, славянин по происхождению, ненавидит немцев за их высокомерное отношение к нему, как к человеку второго сорта, что было очень типично для Австро-Венгерской монархии. По складу своего характера Редль — авантюрист и стяжатель. Он талантлив и изобретателен. Являясь одним из организаторов австро-венгерской службы разведки — Эвиденцбюро, — он в то же время продает содержимое сейфов этой разведки русскому Генеральному штабу. У него честолюбивые замыслы и корыстные цели. Он с такой же легкостью мог служить и Гогенцоллернам, как служит Романовым. Но русские щедрее платят. И эта погоня за чистоганом, стремление к роскоши, к высокому положению в обществе в конечном счете приводят его к гибели.

Редлю в романе противостоит другой образ. Это галицийский чиновник Филимон Стечишин, руководитель группы русских агентов. После провала одного из членов его группы он живет на нелегальном положении и скитается по Европе то под маской англичанина, то с паспортом француза. Он тоже агент русской разведки, ее резидент. Но он работает не за деньги. Стечишин одержим высокой идеей противодействия пангерманизму, который жаждет ввергнуть славян в рабство, сделать их культуру только «навозом» для произрастания и расцвета германской культуры. В лице благородного и одинаково с ним мыслящего начальника Соколова он видит прежде всего союзника по идее. Под стать Стечишину и полковник австро-венгерского Генерального штаба Гавличек. Эти люди вызывают чувство уважения и восхищения. Их не назовешь шпионами. Это разведчики.

Интерес массового читателя, несомненно, вызовет обращение Егора Иванова и к такой сравнительно малоизвестной у нас теме, как деятельность масонов. И на этом материале автор вскрывает не только антиреволюционную и антинациональную, но в ряде случаев и прямо предательскую деятельность оперирующих масонскими побрякушками представителей правящих классов старой России. Он показывает противоречия внутриполитического и международного плана, разделявшие русских масонов.

Разумеется, эта тема для автора — не основная, но писательское видение событий тех лет приближает нас к пониманию обстоятельств современного скандала, когда обнаружилось, что обладающая поистине неограниченным влиянием в правящей верхушке Италии масонская ложа «П-2» была создана с благоволения американской разведки как средство вмешательства США во внутренние дела страны.

Одна из удач романа Е. Иванова — образ последнего русского самодержца Николая Романова. Автор не сгущает краски, не впадает в шаржирование. Спокойно, даже суховато рисует он посредственную, ограниченную личность, которую политический механизм царизма и превратности семейной истории царствовавшей династии возвели на вершину пирамиды государственной власти. В романе хорошо показано, что слабость этого, важнейшего тогда звена механизма власти порождала цепную реакцию во всех сферах — и в виде неустойчивой, неквалифицированной политики, и в системе выдвижения на решающие посты «подходящих», то есть удобно-малоспособных деятелей, и, наконец, в бесчисленных ошибках в деле осуществления действительных национальных интересов страны.

Запоминаются сцены, в которых показано, как происходило решение вопроса о подготовке к мобилизации русской армии или как, представляя доклад о своей работе в высшую инстанцию, полковник Соколов вынужден учитывать возможность того, что из рук его начальства секретные сведения могут попасть к врагу.

Вместе с главным героем книги читатель вновь переживает духовную коллизию тех грозных лет, когда миллионы людей постигали трудную поначалу правду большевиков: для того чтобы процветала Россия, нужно сломать старую привычную жизнь, изменить ее революционным путем.

Профессор, доктор философских наук Е. Модржинская, писавшая о романе «Негромкий выстрел» в «Литературной газете», подчеркивала, что «книга эта ставит перед читателем неизбежно еще один вопрос — что такое патриотизм?

В наше время эта проблема все острее встает перед самыми широкими кругами интеллигенции капиталистического Запада. Роман Е. Иванова интересен тем, что вопросы, поставленные в нем, имеют не только исторический интерес, но проецируются на многие остросовременные проблемы нашего сегодняшнего мира».

В заключение приведем еще одно мнение о романе, высказанное о работе Е. Иванова в той же «Литературной газете» известным советским писателем Петром Проскуриным:

«...В романе как бы сам сюжет выстраивает характеры и движет ими, да так оно в самом деле и есть. Предельное насыщение событийностью предполагает вовлечение в действие множества героев. Военные сцены, борьба партий и группировок, махинации финансистов, забастовки рабочих и движение серых солдатских масс — в этом бурном стихийном потоке постепенно начинает звучать некий центральный нерв повествования, многое скрепляющий и проясняющий в романе, — это всеобщее предчувствие грядущих перемен... Роман Егора Иванова по-хорошему актуален, он раскрывает неизвестные широкому читателю многие страницы бурной эпохи подготовки и течения первой мировой войны...»

Эти слова были сказаны уже после выхода второй части трилогии Е. Иванова. Но их смело можно отнести ко всей масштабной работе писателя. Будем надеяться, что и к третьей ее части тоже.

Ю. МАШИН

СОДЕРЖАНИЕ:

Под редакцией
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

С. Смоляницкий. Майские ветры. Повесть писателя С. Смоляницкого рассказывает об одном из эпизодов победной весны 1945 года. В центре повести — образ молодого советского офицера, возвращающегося после победы на Родину.

Е. Иванов. Негромкий выстрел. Роман-хроника в остросюжетной форме воссоздает политические события в Европе накануне первой мировой войны. Главный герой романа — офицер российского Генерального штаба военный разведчик Соколов.

Приложение к журналу «Сельская молодежь», том 5, 1982 г., изд-во «Молодая гвардия».
368 с. Цена 1 руб. 60 коп.

Редактор **Б. Гурнов**
Обложка **К. Фадина**
Рисунки **К. Фадина, А. Скворцова**
Оформление **А. Шипова**
Художественный редактор **Н. Михайлов**
Технический редактор **Л. Коноплева**

Сдано в набор 06.08.82. Подписано к печати 21.10.82. А03404. Формат 84 × 108 1/32. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,5 (19,32). Уч.-изд. л. 26,5. Тираж 308 000 экз. Цена 1 руб. 60 коп. Заказ 1453.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

